

Следующий номер журнал отдает молодым.

Молодежный выпуск “Нашего современника” стал традиционным. Его ждут. И сами молодые писатели (дай Бог, чтобы за ними к журналу подтянулись их ровесники-читатели), и критики – свои, готовые поддержать, и чужие – выискивающие огрехи, и наши подписчики.

Среди имен, которые открыл “Наш современник”, имя Андрея Антипина – одно из самых ярких. В августовском номере мы продолжим публикацию его книги миниатюр “Живые листья”:

“Читаешь ли классику, слушаешь ли рассказы стариков – всегда это мучительное чувство горечи: какие люди были! Не то, что нынешнее племя! Смелчал народ. Схудал. Одни глаза остались...”

И ты, конечно, не стоял в стороне и сам вместе со своим народом – смелчал и против тех, вчерашних писателей, уже не составишь силу.

Всё это так. Всё это – правда. Не объедешь. Не сдвинешь.

И всё-таки вот ещё о чём я думаю: да – смелчал народ! Да – схудал! Да – только глаза остались! Да – о тех, былинных, теперь знаешь разве что по книжкам и рассказам стариков! Но зато и счастливо совпало в твоей жизни – увидеть народ в смуте, когда самим временем на кипящих перекатах истории этот народ испытывало, измалывало, измывало, источив основу, но и вымыв корни. И можно, конечно, натянуть очки и брюзжать: дескать, многое прошляпили... выродился народишка... Федот, да не тот!.. А лучше раскинуть мозгами и увидеть, чем народ стоит, несмотря ни на какие жернова, медные трубы и гидротурбины истории.

А ещё то важно, что в этот трагический для твоего народа момент сам ты был юн и открыт, корнями наружу, и боль и любовь, крик и молчание, печаль и чаяния своего народа особенно остро воспринял обнажённой душой. И вы всё равно что схлестнулись, сплелись всеми вашими корнями, а поверх выросла крепкая заболонь, и в каждую щёлку затекла целебная смолка, спаяла навеки, так что вас уже не разорвать, а если и разорвать – трещина пройдёт сбоку, а не между”.

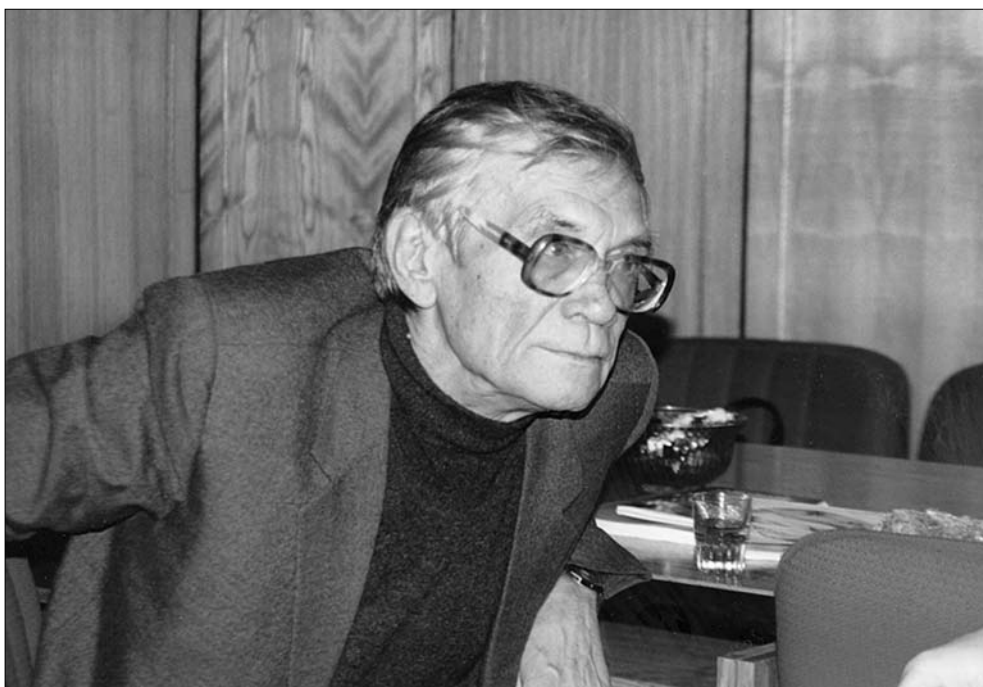
НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№7 2020

ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИЧ КОЖИНОВ К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

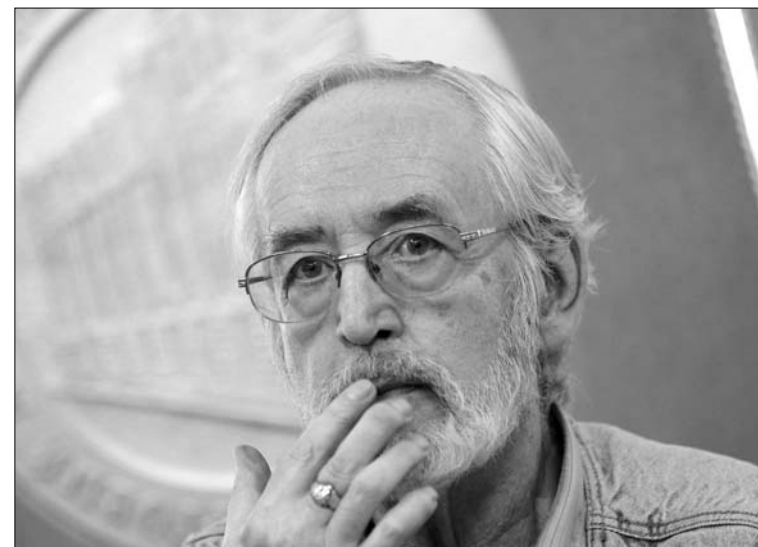


Книги Вадима Валериановича Кожинова и через два десятилетия после его ухода не залеживаются на книжных прилавках. Более того, регулярно издаваемые сборники его сочинений (включая объёмные и комментированные издания) через короткое время после выхода в свет превращаются в книжную редкость — его мысль, его слово служит необходимой “энергетической подпиткой” новым поколениям, выстраивающим и восстанавливающим Россию после всех переломов и катаклизмов.

“Я отнюдь не считаю, что русская литература — как и культура в целом, — есть прямое “отражение” или “воспроизведение” русской жизни, такой подход к делу — это, прежде всего, упрощённое, примитивизирующее истолкование культуры. Гораздо более верное понятие о творениях культуры (и, конечно, литературы) как о плодах — своего рода “последних”, высших достижениях — исторического творчества, плодах, которые, в частности, вовсе не обязаны быть “похожими” на свои жизненные корни. И, представляя собой порождения истории, творения культуры сами естественным образом становятся феноменами истории; трудно спорить с тем, что, скажем, былины об Илье Муромце, рублёвская Троица, архитектурный мир Московского Кремля, “Жизнь за Царя” Глинки, толстовская “Война и мир” или лирика Есенина — это, без сомнения, реальные факты, события русской истории, прямо и непосредственно участвующие в ней”.

Вадим Кожин “История Руси и русского слова. Современный взгляд”.

ВАСИЛИЮ БОРИСОВИЧУ ЛИВАНОВУ — 85 ЛЕТ



При произнесении имени народного артиста РСФСР Василия Борисовича Ливанова широкий зритель тут же вспоминает роль Шерлока Холмса из цикла художественных фильмов по произведениям Артура Конан Дойля. Думается, что не менее значимые роли были сыграны им в фильмах “Неотправленное письмо”, “Слепой музыкант”, “Год как жизнь”, “Ватерлоо”... А как забыть потрясающий образ Николая I в фильме “Звезда пленительного счастья”!

С радостью вспомним о Ливанове и как о писателе, авторе повестей “Мой любимый клоун”, “Ночная “Стрела”, “Богатство военного атташе”. И о самой яркой и значительной его книге — небольшом по объёму мемуаре “Невыдуманный Борис Пастернак”, издание которого произвело впечатление разорвавшейся бомбы в нашем “либеральном сообществе”.

Доброго Вам здоровья и творческого вдохновения, Василий Борисович!



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

- Александр ПРОХАНОВ
Таблица Агеева.
Роман (окончание) 6
- Евгений МАМЫКИН
Небо и земля. *Повесть* 65
- Сергей МИЛЬШИН
Федот, да не тот. *Рассказ* 105
- Юрий ХОБА
Зелёные сердечки. *Рассказ* 116

Поэзия

- Галина ТАЛАНОВА
Я вспоминаю март... 3
- Игорь ТЮЛЕНЕВ
Жизнь без руля и без ветрил 63
- Анатолий АВРУТИН
На скрепенье любви и печали... 94
- Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО
Над тьмой и смертью –
свет Победы... 99
- Вера КОБЗАРЬ
Душа иную силу обрела 103
- Владимир МОЛЧАНОВ
Живой остаётся душа 112
- Валерий ЧЕРКЕСОВ
На Прохоровском поле 114
- Станислав МИНАКОВ
После хлада и снега 120
- Вадим КОРНЕЕВ
“Двадцать второго июня...” 0

Очерк и публицистика

- Николай ГРЕБНЕВ
Букет мастеру 124
- Сергей БЕРЕЖНОЙ
Штрихи к портрету
добровольца 179
- Виталий МАЛЬКОВ
Русская земля – Донбасс 185
- Геннадий АЛЁХИН
Вернуть погибшим имена 194
- Владислав ШАПОВАЛОВ
Белгородские этюды 197

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

Я. В. Сафронова —
*редактор отдела
критики* —
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Станислав КУНЯЕВ
“К предательству
таинственная страсть...” 201

Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ
Здоровье Волги —
здоровье России 212

Александр МАРТЫНЧУК
“Ещё один момент расскажу...”215

Дневник современника

Александр КАЗИНЦЕВ
Новая ненормальность 227

Память

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожин 235
Атилла САДЫКОВ
Под сенью Рубцовского древа 251

Критика

Виктор БОЧЕНКОВ
Мужество быть одиноким 139

Яна САФРОНОВА
Поп-психология —
новая идеология 254

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
Чёртовы куклы
закабалённой России 262

Слово читателя

“Наш современник”
для меня — моё всё 273

Книжный развал

Эдуард АНАШКИН
Голос равнины продрогшей 282

Мария БУШУЕВА
Мёд жизни 285

Николай ПЕРЕЯСЛОВ
“О вере, доблести и воле...” 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 07.07.2020. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №2336-2020. Тираж 4200 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ГАЛИНА ТАЛАНОВА



Я ВСПОМИНАЮ МАРТ...

* * *

Ещё чуть-чуть —
И сгинут холода,
И распушится хвостиками верба,
И поплывут по речке глыбы льда,
И соберём в кулак покрепче нервы.
Что толку плакать?
Мама далеко...
Потоки жизни растворяют голос.
И в сердце пусто, только не легко.
Я вспоминаю март,
Где жизнь вдруг раскололась,
И склеить не смогли её врачи.
И снег последний
Ватой лёг на раны...
Капель звенела, будто бы ключи,
Что выпали на землю из кармана.
Ты уходила сквозь валивший снег.

ТАЛАНОВА (Бочкова) Галина Борисовна окончила биологический факультет Горьковского государственного университета. Биофизик, кандидат технических наук. Автор множества книг стихов и прозы. Стихи и проза публиковались в журналах "Нева", "Юность", "Роман-журнал XXI век", "Север", "Москва", "Аргамак" (Татарстан), "Новая Немига литературная" (Беларусь), "Новый свет" (Канада), "Нижний Новгород" и др. Её произведения переводились на английский, шведский, итальянский, японский, французский, болгарский, польский, греческий и венгерский языки. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

В окне больницы бушевало море.
И детский взгляд лучился из-под век —
Такой ли льётся в странном коридоре,
Где дверь назад не вышибить плечом?
...Мне тишина закладывает уши.
Молчишь,
Как не понявши,
Я о чём...
И облака скользят по талой луже.

* * *

Будто осень —
Два месяца лета...
Дождь стучит потихоньку в окно.
Дни длинные, но холщового цвета,
И в душе, как за ставней, темно.
Загрустила,
Как будто бы градом
Поломало побеги любви.
Ничего-то как будто не надо...
Жизнь летит,
Миг лови, не лови...
Дом простужен,
И кашляют двери,
Носом хлюпают краны в ночи.
Сыро, холодно, точно в пещере,
Где подземные бьются ключи.
И печаль обняла, будто мама
В тот последний сумбурный приход.
И как крест тот заснеженный — рама, —
Под которым лежит пятый год...

* * *

Ветер гнёт ковыли, лебеду.
Машет зонтиком стебель шалфея.
Лишь кувшинки спокойны в пруду
И стоят, наклониться не смея.
Вот и снова июль.
Важный шмель
Оседлал молодую ромашку.
Кружат голову мята и хмель.
И себя ощущаешь букашкой,
Что взбирается вверх на тростник,
Меж землёю и небом качаясь...
И, цепляясь за солнечный миг,
Будто с миром навеки прощаюсь.

* * *

Гул машин за окном бесконечный,
Будто падает с гор водопад.
Запах в комнате мятно-аптечный.
Вот и первый в году снегопад.
Посветлело на улице мгливой.
Лупит снег, ударяясь в окно.

Мамин голос вновь чудится чистый,
И звенит от трамвая стекло.
...Сколько яда в предзимней печали?
Снегом выбелен свет голубой.
Помню: ёлки ветвями качали
В Рождество, где вела за собой...
Через детство моё дорогое,
Где волшебный зажётся фонарь...
Что всё светит поэтам-изгоям,
Растворя осеннюю хмарь.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ТАБЛИЦА АГЕЕВА

РОМАН

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Уже в сумерках Пётр Дмитриевич подкатил к своему загородному коттеджу. Смотрел, не появится ли в свете фар кот Кузьмич, его задранный хвост, семенящие лапы. Обычно Кузьмич хоронился в кустах, издали, по звуку мотора, угадывал автомобиль Петра Дмитриевича. Выскакивал и бежал впереди, словно вёл машину к воротам, изображая хозяина.

Кота не было. Пётр Дмитриевич отворил ворота, ввёл машину и поставил её под деревьями, предвкушая, как станет выговаривать Кузьмичу, прозевавшему появление машины, сетовать на его нерадивость и нерасторопность. После дневного московского жара воздух казался прохладным, свежим, с тихими ароматами близкой осени. Пахло спелыми яблоками, флоксами, берёзами, на которых появились жёлтые серьги с нежными запахами увядания. Пётр Дмитриевич надыхался чудесной свежестью, достал ключи и пошёл открывать дверь. Вставляя ключ в скважину, почувствовал, как что-то толкнуло его в грудь. Протянул руку, и пальцы погрузились в мех. Всмотрелся и жутко ахнул. Перед входной дверью в петле висел кот. Он тихо раскачивался, поворачивался на шнурке. Рот был оскален, белели острые зубы. Передние лапы вытянуты, будто он от кого-то отталкивался.

Пётр Дмитриевич принялся освобождать кота из петли. Но шнур не распускался, глубоко ушёл в мех. Тело кота остыло, и вытянутые лапы окостенели. Агеев в ужасе оглядывался. Убийцы кота были тут, в темноте, под деревьями. Видели, как он старается вынуть кота из петли, как испуганно осматривается. Он ожидал нападения, удара. Торопливо отомкнул дверь, скакнул в прихожую, оставив кота висеть снаружи. Зажёл светильник в прихожей и фонарь перед домом. Стоял потрясённый, чувствуя, как дрожат руки. Прошёл в кухню, взял большой кухонный нож, похожий на тесак. Готовый отбиваться ножом, открыл дверь, кольхнув висящего кота.

Нападения не было. Фонарь освещал тёмную зелень клёнов, яблоки на ветвях, клумбу с поникшими флоксами. Некоторое время Пётр Дмитриевич стоял, держа наготове тесак. Затем перерезал шнур, на котором висел Кузьмич, подхватывая падающее тяжёлое тело кота. Внёс в прихожую, положил на лавку и запер дверь на все замки.

Кот лежал на лавке, оскалив зубы, подняв вверх лапы, словно ждал нападения. Был виден кончик его розового языка. Пётр Дмитриевич держал

тесак, понимая, что Кузьмича жестоко убили, дабы этим убийством послать ему знак. Предупредить, что следующим висельником будет он, если не выполнит требований насильников. Не отдаст им Таблицу Агеева.

Осторожно орудуя тесаком, Пётр Дмитриевич разрезал петлю. Отложил нож, на котором оставалась шерсть. Смерть Кузьмича ворвалась в него ошеломляющим ударом, побуждая куда-то бежать, что-то решать, у кого-то искать защиты. Он достал из шкафа чистое полотенце. Постелил на лавку. Переложил Кузьмича на полотенце. Выключил в прихожей свет, поднялся наверх и лёг в кровать. В доме было темно, тихо. В доме находился покойник.

Пётр Дмитриевич вспоминал, как Кузьмич появился в доме крохотным пушистым котёнком, — лохматый клубок, из которого глядят огромные золотые глаза. Как Кузьмич играл медным бубенцом с шёлковой ленточкой. Толкал то одной, то другой лапой. Бубенец звенел, Кузьмич пугался, кидался опрометью под кровать. Однажды, уже взрослым котом, Кузьмич улёгся на раскрытый компьютер, нажал на какую-то клавишу и стёр драгоценный текст. Пётр Дмитриевич сердился, упрекал кота, а тот тёрся головой о ногу хозяина. Вспомнил, как Кузьмич пропадал на несколько дней из дома, и Пётр Дмитриевич не находил себе места, пока Кузьмич не появлялся на карнизе окна, его круглая косматая голова и требовательные золотые глаза.

Пётр Дмитриевич прислушивался. Вдруг тихо прошуршит в дверях, кот проскользнёт в комнату и тяжело вспрыгнет на кровать, придавит ноги, станет в темноте прихорашиваться. Но было тихо. Мёртвый Кузьмич лежал в прихожей на полотенце, воздев вверх лапы, словно о чём-то умолял.

Из мёртвого кота Кузьмича вдруг вышел живой учитель словесности, чьим именем был наречён кот. Учитель явился, сухой, костлявый, с крепкими пальцами, которыми он впиался в край стола, и его брюзгливое лицо, насмешливые губы преобразались, когда он читал на уроке Блока. Пётр Дмитриевич вспомнил свою тетрадку с диктантом, выведенную красными чернилами отметку “пять с плюсом”, что и теперь, спустя много лет, вызывало у него тщеславное чувство превосходства над сверстниками. Явились танцевальные вечера, на которых он разучивал бальные танцы, обнимая за талию хрупкую барышню, имени которой не помнил, но помнил дрожащую жилку на нежной шее, которую не решался поцеловать. А однажды мать явилась поздно домой, принесла букет роз, и отец что-то громко ей выговаривал. Засыпая, он слышал их нервные голоса. И та чудесная лесная дорога с недвижимой водой в колее, и жёлтые цветы, такие яркие на чёрной земле. И взлёт ракеты в звоне и пламени. Он видел, как ракета, превращаясь в звёздочку, уходит в облако, и по небу бежит перламутровая волна. И снова кот Кузьмич, лежащий в прихожей, с молитвенно поднятыми лапами.

И внезапная паника. Его дом окружён. В берёзах и клёнах притаились убийцы. Проникнут в дом, выхватят его из постели, станут пытать, вырывать из сердца Таблицу, и он отдаст её, выхаркает с кровью этот страшный дар, данный ему на погибель и муку.

Пётр Дмитриевич сел в постели, собираясь бежать. Таблица под сердцем слабо вздрагивала, словно страшилась, что её извергнут, отдадут на поругание. Агеев улёгся, укоряя себя в малодушии.

Так длилась ночь в кошмарах, кратких сновидениях и пробуждениях.

Утром Пётр Дмитриевич спустился в прихожую. Кот Кузьмич всё так же лежал на чистом полотенце. Лапы были воздеты. Белели оскаленные зубы. Розовел кончик языка. Но открытые глаза утратили цвет самородков. Были мутно-серые, с мёртвой синевой.

Пётр Дмитриевич взял в сарае лопату. Выбрал под клёном место, лишённое травы. В жару Кузьмич ложился под клён, сладко вытягивался, щурил золотые глаза. Агеев вырыл Кузьмичу могилу, осторожно откладывая в сторону холодные пласты земли. Бабочка белянка налетела, покружилась рядом, перепорхнула забор и исчезла. Та самая, за которой охотился Кузьмич ради забавы, лениво подпрыгивая. Теперь белянка простилась с Кузьмичом, зная, что больше не будет этой забавы.

Пётр Дмитриевич отыскал старинный бубенец с лнялой шёлковой ленточкой, которым так любил играть Кузьмич. Обернул Кузьмича полотенцем

и, чувствуя его неживую тяжесть, отнёс под клён и опустил в могилу. В головах кота положил бубенец. Из-под полотенца выглядывала задняя лапа. Пётр Дмитриевич осторожно её пожал, прикрыл полотенцем. Стал бросать в могилу землю, пока не скрылся край полотенца. Насыпал аккуратный холмик и стоял, опершись на лопату. Яблоня золотилась плодами. На высокой берёзе желтела длинная, свисавшая бахрома. Но не было в этом солнечном осеннем пространстве любимого существа, и Пётр Дмитриевич ощутил такое одиночество, такую невосполнимую пустоту, такую вину перед этим преданным родным существом, что в глазах всё стало расплываться, — яблоки, желтеющая берёза, беседка, где столь часто они сидели с котом в безмолвии, дорожа возможностью быть рядом.

Слёзы текли. Агеев рыдал, плечи его сотрясались. Огромный, окружавший его мир был непознаваем, и только слёзы говорили о его подлинности, подтверждали его существование.

Петру Дмитриевичу показалось, что кто-то идёт мимо забора за деревьями. Сухой, сутулый, в мятом пиджаке и поношенных брюках. Конечно, это был он, учитель словесности Михаил Кузьмич. Пётр Дмитриевич кинулся за калитку, желая догнать учителя. Но никого не было. Улица была пустой. Какой-то мальчик мчался на велосипеде, сверкая спицами.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич помнил младенческие пробуждения. Открывал глаза, и всё ликовало, сверкало, чудесно ослепляло. Каждая частичка трепетала, благодарила, стремилась в восхитительный свет, откуда звучал бессловесный зов. Этот влекущий зов не умолкал никогда. Звал в пленительную бесконечность, которая была впереди него, была над ним в небесах, была в нём самом. Открывала божественные предчувствия, которые влекли его по городам и весям, от мечты к мечте, в ожидании чуда. Оно случилось однажды среди горячих лугов и сияющих вод. А потом повторилось во сне, наградило откровением. Вручило бесценный дар, Таблицу Агеева. Этот таинственный зов звучал в каждой русской душе, сделал русский народ народом-странником, народом-скитальцем, народом-путником. Странствуя по земным пределам, народ создал невиданное государство между трёх океанов. Странствуя среди небесных туманностей, сложил восхитительные песни, стихи и поверья. Странствуя в необозримых просторах души, он обрёл лучезарную веру в божественное небывалое царство.

Этот зов, как никто другой, слышал неутомимый скиталец, Фёдор Кононов. В одиночку он избороздил все мировые моря. Поднимался на все мировые вершины. Добредал на лыжах до Северного полюса. Одолевал пески всех земных пустынь.

К нему отправился Пётр Дмитриевич — исследовать таинственный “код русских странствий”, разгадать тайну векового русского зова.

Фёдор Кононов в свои шестьдесят был сух, лёгок, строен. Ступал весело, с птичьим подскоком. Имел кожу сухую, коричневую, просмоленную, мышцы из тонких крепких волокон, как у дерева, лишённого мякоти, где одна только звонкая твердь. Его взгляд, острый, играющий, вдруг останавливался, устремлялся мимо, в заветную даль, где бушевали океаны, голубели высокие ледники, краснели раскалённые барханы, чудились загадочные миражи. К нему и пришёл Пётр Дмитриевич, предварительно списавшись и получив приглашение.

Кононов встретил Агеева во дворе загородного дома. На зелёной лужайке стояла лодка, недостроенная, с полыми бортовинами. Хозяин в фартуке, с перевязью на лбу, строгал на верстаке длинную доску, снимал с неё кудрявую стружку. На плечах под рубахой играли мускулы, коричневые кулаки сжимали рубанок, глаз зорко следил за белым завитком, который кудрявился, как птичий хохолок.

— Достраивать надо. Время поджимает. Что хотел узнать? — Кононов цепко сжал руку Петра Дмитриевича.

— Опять в странствие? Куда, если не секрет?

— Думаю спуститься на веслах по Лимпопо. В устье у самого океана есть дюны, Эоловы пески, которые поют. Хочу послушать, как поют пески. Где пресная речная вода встречается с морской, солёной, там стоят стеклянные волны, как сосуды света. Хочу пройти сквозь это стекло. Переплыву пролив к Мадагаскару, а там, говорят, водится ночная бабочка, которая поёт. Хочу услышать, как поёт ночная бабочка.

Фёдор Кононов произнёс это тихо и радостно, предвкушая ночное пение загадочной бабочки Мадагаскара. Так, должно быть, русские странники, отправляясь за три моря, были томимы зрелищами заморских дворцов, всеячих садов, видениями восточных красавиц и вещей птиц.

— На этой лодке? На вёслах? — Пётр Дмитриевич легонько щёлкнул лодку, которая чуть слышно откликнулась сухим звоном, как чуткая виолончель.

— Русские лодки самые прочные. Их лёд не ломает, камень не бьёт. Они морскую волну держат. Я много лодок перепробовал. Нет лучше русской.

— Сам её мастеришь?

— Я каждую шпонку, каждый стык знать должен. Сейчас она мне лодка, а завтра — домовина. Или ковчег спасения, на случай потопы.

Они сидели на лавке и пили клюквенный морс, которым Фёдор потчевал гостя. Пётр Дмитриевич чувствовал себя легко и уютно с этим странником, который сегодня здесь, в подмосковном посёлке, а завтра поплывёт один по жёлтой реке, где в воду плюхаются длинные, как брёвна, крокодилы, по берегам горят хижины и бегут чернолицые люди с автоматами, а русский странник мерно налегает на вёсла, смотрит, как летит над ним ленивая синяя птица.

— Хотел тебе задать вопрос, быть может, скучный для тебя, которым много раз тебе докучали. Можно?

— Задавай. Если смогу, отвечу.

— Что тебе не сидится на месте? Уже весь мир объездил, все рекорды побил. Чего ищешь? Какой новизны? Может, смерти?

Кононов погладил лодку коричневой ладонью, как гладят собаку. Стряхнул с гладкой доски кудельку стружки.

— Если ты домосед и в Бога не веришь, меня не поймёшь.

— Может, пойму.

— Я Бога зову. А Он меня выкликает. Я с тобой здесь сижу, а Он меня ждёт. Место встречи назначил. На Мадагаскаре.

— Как же Бог тебя на Мадагаскаре ждёт? Откуда знаешь?

— Зовёт.

— И как же ты с Ним повидаться?

— Я тебе случай мой расскажу. — Фёдор Кононов пошевелил коричневыми пальцами, пошептал сухими губами, из которых солёные ветры морей выпили всю розовую свежесть. Казалось, листает невидимую книгу, читает незримые письма с узорными буквицами, в которые вплетены цветы неведомых стран, птицы небывалых лесов. Житие Фёдора Кононова, очарованного русского странника, внешнеощего божественному зову. Этот зов доносится из затуманенных далей, вещей снов, пьянящих мечтаний.

— Раз шёл пустыней Каракум. Шёл рассветами и закатами, когда нет солнца, чтобы днём не испечься. Иначе вмиг сожжёт, и от тебя на бархане только сухая кожа останется. Утром пустыня прекрасна. Песок влажный, гладкий, как шёлк. Во все стороны бегут жуки-чернотелки, оставляют лапками колючие дорожки. Ящерики-круглоголовки на лапках привстанут и метнутся, только след простыл. Черепаха ползёт, карябает песок лапами. Скользнет змея, стальная, с синим отливом. Пустыня благоухает, дышит, ласкает, как прекрасная женщина. Это всё до восхода. Солнце встало, словно открыли в печи заслонку. Польшнуло жаром, песок стал белый, сыпучий. Все жуки, черепахи, ящерики вмиг зарылись вглубь, куда жар не достанет. Ни следов, ни движений. Только белый жар, словно в барханах накаляется добела спираль, и каждый вздох, как глоток огня. Такие моменты переживаешь в туркменских стойбищах, в посёлках геологов. Планируешь переход,

чтобы добраться к жилью до полудня и не сгореть. Но раз то ли неверно маршрут рассчитал, то ли компас подвёл, то ли сбился. Солнце в зените, а я бреду по пескам, и им нет конца. Барханы белые, с острой кромкой, как лопасти. Их построил ветер и крутит, как пропеллер. Вся пустыня в волнистых холмах, которые вылизывает ветер, вытаскивает лезвия. Поднимаешься на бархан, он всё уже, тоньше, превращается в острие меча. Воздух туманится от тысяч песчинок, которые сдувает ветер, и бархан медленно плывёт, перемещается. Вся пустыня течёт, движется по спиралам, эллипсам, вращая белыми лопастями. Кажется, плывут по волнам множество обнажённых женщин, их прекрасные груди, плавные бедра, чудесные, обращённые к небу лица. Ты очарован, опьянён, гладишь ладонью шелковистую грудь, окружённую волшебной женственностью. Восходишь на бархан, по отвесной круче сползаешь вниз, увлекая жидкие потоки песка. Оказываешься на дне белой чаши, где, как в тигле, скопился жар и идёт плавка. Ты плависься в белом кварце, превращаешься в стекло. Над тобой склоняется огромный стеклодув, готовый превратить тебя в стеклянный сосуд. В этом тигле невозможно дышать, ибо сгорел весь кислород. Подошвы гнут, солнце касается головы раскалённым шкворнем. Каждая песчинка, каждый кристаллик кварца отражает солнце и бьёт в тебя тончайшим лучом. Ты внутри реактора. Луч пронзает тебя и убивает кровяную частицу. Твоя кровь закипает, изо рта вылетает синий огненный факел. Сердце ахает, и в глазах кружатся огненные вензеля. Ты хочешь выбраться из этой адекой ямы. Карабкаешься на бархан, обрушивая раскалённые оползни. Добираешься до вершины и снова скатываешься в пылающую ямину. Ты хочешь сориентироваться по солнцу, правильно ли идёшь. Но вместо одного солнца появляются два, три, четыре. Над барханами дрожат в стеклянных миражах зелёное солнце, синее, красное, чёрное. Не знаешь, какое из них настоящее. Ты начинаешь бредить. Твоя плоть испаряется. Ты понимаешь, что скоро умрёшь. Я шёл по барханам, потеряв направление. Понимал, что скоро упаду от теплового удара, и меня никто никогда не найдёт. Мои кости перетрут колючие песчинки, и мой прах будет кочевать по пустыне, по закодированным эллипсам и кругам. Я был готов упасть и сдаться. Тепловой удар приближался, я слышал его лязганье в ушах. Пески неожиданно кончились. Открылась каменная сухая земля. Впереди я увидел дерево и побрёл к нему. Оно было кривое, корявое, не имело возраста. Может быть, было посажено здесь при сотворении мира. Листва была редкая, от крохотных листиков тень была зыбкой, горячей. Я вошёл в эту тень и рухнул. Потерял сознание. Не знаю, сколько длился тепловой удар. Я очнулся. Солнце уходило в пески, пустыня была красная. Приходя в себя, я понял, что спасла меня зыбкая, прозрачная тень дерева, сберегла от жгучих лучей. Это Бог тысячу лет назад посадил на краю пустыни это дерево, чтобы оно через тысячи лет спасло меня. Господь знал, что когда-нибудь я приду сюда, и дерево дожждётся меня и спасёт. Вдалеке виднелись какие-то строения. Я добрался до них. Это было стойбище туркменскотоводов. Там был колодец. Верблюды из поилки пили воду. Чмокали толстыми губами, сосали воду сквозь жёлтые зубы. Я оттеснил верблюда и стал пить. Мне казалось, что вода, попадая в желудок, кипит. Я облил себя с ног до головы. Рядом стояло ведро. Я наполнил ведро водой и отнёс его к дереву. Полил его корни. Я смотрел на суковатый ствол, на свернувшиеся от жара листочки, и знал, что передо мной Господь, наша встреча состоялась.

Лицо Фёдора Кононова стало тихим и строгим. Он прочитал несколько страниц своего жития. Житие подтверждало целостность его жизни. Так целостно выглядит спелое яблоко с душистой плотью и твёрдой сердцевиной.

Пётр Дмитриевич, слушая житие, чувствовал, как трепещет у сердца волшебная Таблица. В ней прибавляется ещё один сокровенный элемент — “код русского Богопознания”. Этот элемент воздействовал на все другие коды Таблицы, и они начинали сверкать, переливались, как хрустальная люстра в Георгиевском зале Кремля. Пётр Дмитриевич нёс в душе эту хрустальную люстру, благодарный Фёдору Кононову, который её зажгёт.

— Расскажу ещё один случай. Ещё одна встреча с Богом. — Фёдор поднёс к лицу еловую стружку. Вдыхал запах нездешних лесов. Поцеловал

стружку и положил её на верстак. — Задумал на лыжах пройти по тундре и достичь ледового моря. Проложил маршрут. Днём переход по безлюдью, ночлег где на оленьем стойбище, где в вагончике метеорологов, где на пограничной заставе, а где на снегу в палатке. Все выверено по часам, маршрут проложен по карте. Встретил с лопарями их праздник. Гонки на оленях, стрельба, танцы. В ночном небе сполохи шелками переливаются, будто великанша подолом плещет.

Утром рано на лыжи, вперёд. За спиной рюкзак килограммов тридцать. Палатка, продовольствие, спальный мешок. Лыжи скользят по насту, снег, как сахар, сверкает. За спиной, на бечёвке запасная лыжа вьется, играет. Силы свежие, солнце белое, наст посвистывает. Благодать. Встретил лопаря-охотника. Убил росомуху, свежует, шкурку снимает. У лопаря лицо круглое, с усиками. Ножик блестит. мехом росомухи потряхивает, а голую тушку кинул на снег, и она лежит красная, с рёбрами, с заострённым хвостом. Друг другу кивнули и расстались. Бежал легко, ходко. Мороз, пар изо рта. Лыжи посвистывают, палки поскрипывают. Солнце на кончиках лыж растопило снег, и блестят водяные капли. Ни души, белизна, ни тёмного пятнышка. По обеим сторонам от солнца — круги, как воротники, жёлтый, розовый. Бегу и с солнцем играю. Сощурю глаза, и на ресницах пышные радуги. То волшебное дерево посреди тундры, как радужная пальма. Стремлюсь к дереву, а оно убегает. То крест из радуг, концы у креста пышные, из цветных перьев, и кажется, крест впереди меня шествует, мне путь указывает. То сказочная птица с огненным хвостом. Я бегу, хочу ухватить жар-птицу, а она ускользает. Ровная тундра кончилась, начался тягун. Пошёл путь в горы. Всё правильно. К закату до перевала дойду, одолею перевал, в сумерках спущусь к ледяному озеру, перееду, а там рукой подать до метеостанции. Отдохну, обогреюсь. На закате солнце красное, и тундра, как медь. Спугнул куропаток, и они, красные, от меня улетели. Вышел на перевал, когда солнце садилось. Такая божественная красота, как в раю! Кажется, бесшумные ангелы надо мной летают. Алый пролетел, сел на гору, и гора алая, как чаша с вином. Зелёный пролетел, сел на вершину, и гора изумрудная, прозрачная. Золотой ангел присел на вершину, и вершина, как слиток. Ангелы летают, меняются местами, а я люблюсь, и такая во мне радость, такое счастье, что ангелы для меня танцы танцуют. Налетались и скрылись. И сразу сумрачно. Небо, как синий камень. Я радуюсь: трудная часть пути позади. Впереди спуск, какие-то редкие камни темнеют. Сейчас спущусь с перевала, с тихим посвистом, между камней, как на слаломе. Оттолкнулся и ринулся вниз. Наст скользкий, лечу, как вихрь. А того не знал, что ветер с гор мелкий снег намёл. Лыжи в снег влетели, резкое торможение, и я кувырком падаю, в ужасе. Ударился о камни, но не телом, а рюкзаком. Такой удар, что заплечные ремни разорвало, содрало рюкзак и кинуло в сторону. Лыжа сломалась. Оглушённый, лечу, и думаю, что случилось несчастье, которого не одолеть. Скатился вниз. Ощупал себя, перелома нет, одни ушибы. От одной лыжи щепка осталась, другая целая. Запасная лыжа, которая на шнурке, тоже целая. Сломанную лыжу сбросил, запасную поставил. Где рюкзак? В нём палатка, спальник, еда. Искать его по склону? Где найдёшь? А уже стемнело. Небо каменное, а в камень одинокая звезда заморожена, яркая, жуткая. Принимаю решение не искать рюкзак, а идти к озеру и дальше, к вагончикам метеорологов. Иду медленно, руки, ноги болят. Когда шёл на перевал, вспотел, а теперь одежда леденеет, как панцирь. Застываю. Ни деревца, ни кустика. Костёр не развести. Только чёрное небо с огненными жуткими звёздами, как бриллиантовые пауки, надо мной повисли, и каждая холодом жжёт. Чувствую, что погибаю. Упаду и не встану. Так и найдут замороженного в ледяную глыбу. И так хочется спать, такая сонливость! Вижу мою комнату, лампу под оранжевым абажуром. Жена стелет постель, и я сейчас лягу, засну. Прогоню сон, и снова бреду. Вот и озеро, белая пустота, а над ней сполохи. Куски льда начинают переливаться и гаснут. Ещё в голове последняя живая мысль осталась. С этой мыслью сел на снег, обнял колени, и подумал: так и замерзну. Стал засыпать последним сном. И во сне почудилось, что в ночных снегах что-то темнеет. Собрался с последними силами,

встал, побрёл и увидел избушку. Должно, рыбаки её сложили, чтобы было где останавливаться. Лыжи сбросил, нащупал щеколду. В ней щепка торчала. Толкнул дверь, вошёл. Ледяная тьма, но глаза во тьме разглядели печку. Открыл дверцу — полна дров, под полешками бумага, для растопки. Под руку сами попали спички. Зажёг бумагу. Дрова занялись. Лежу на полу, смотрю, как огонь скачет по потолку, и в избушке теплеет. Одну закладку дров сжёг, вторую заложил, тоже сжёг. Третью спалил. В избушке потолки низкие, жар. Оконце, стол, какие-то банки, кастрюля. Лежанка наподобие нар. Какая-то ветошь наброшена. Пить хочу. Взял кастрюлю, вышел из избушки, чтобы снегу набрать. Звезд над избушкой полно, и белых, и зелёных, и золотых. Всё сверкает. Я черпаю снег кастрюлей, и вдруг меня после тепла на морозе охватил колотун. Бьёт, зубы стучат. Всё внутри колотится, будто сидит во мне кто-то и бьёт кулаками. Я чудом обратно в избушку заскочил, кастрюлю на огонь поставил, а сам катаюсь по полу, и меня колотит о все углы. Понемногу успокоился. Выпил кипяток. Открыл банку тушёнки и съел. Лёг на нары и в тепле уснул. Утром в оконце солнце, избушка светится. Я с нар слез, убрал сор с пола. Все дрова сжёг и консервы съел. Думаю, доберусь до метеорологов, заберу у них дрова и полною запас. Встал на лыжи и легонько пошёл через озеро. Дошёл до вагончиков. Меня встретили, напоили, накормили. “Какая избушка? — спрашивают. — Нет никакой избушки”. Сели на снегоходы, захватили дрова, консервы. Покатили по моему следу к избушке. След есть, а избушки нет. Не нашли. Я потом понял, что избушку эту Господь для меня поставил, чтобы я не замёрз. А потом убрал за ненадобностью. Вот так и случилась моя встреча с Богом.

Фёдор Кононов прочитал Петру Дмитриевичу ещё одну главу своего жития. В буквицы была вплетена радужная птица, перламутровый крест, красные, летящие на закат куропатки. Таблица под сердцем пела, ликовала. “Код русского Богопознания” сверкал на ней драгоценной искрой. Русскому человеку Бог являлся в чудотворной иконе, в голубых глазах младенца, в грохоте военного взрыва, в топоре палача, в вешних водах, гремящих по оврагам с цветущими ивами.

— Ну вот, отдохнул с тобой. Теперь за работу. — Кононов поднялся. Взял с верстака еловую стружку и протянул Петру Дмитриевичу: — Дарю. Ты её к губам приложи, и узнаешь, как я по Лимпопо плыву.

Пётр Дмитриевич принял от русского странника еловый локон.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Агеев вернулся домой, и его возвращение было печально. Кот Кузьмич не встречал его у ворот, не бежал впереди машины трогательной трусцой. В сумерках под клёном виднелся бугорок земли, у которого стоял Пётр Дмитриевич, вспоминая строгий, исполненный достоинства лик кота, его золотые глаза.

Дома он открыл компьютер и в ленте областных новостей прочитал два сообщения. Был убит на своей подмосковной даче космист Богданов, руководитель программы “Энергия” — “Буран”, последний из путчистов, кто пытался спасти СССР. Убитого нашли на открытом воздухе. Он лежал на топчане лицом вверх, с открытыми глазами. Убийцы ничего не взяли в доме, только зачем-то спилили растущую на участке сосну.

Во второй новости сообщалось о поджоге церкви по соседству с Ново-Иерусалимским монастырем. В церкви сгорели дорогие иконы, и был найден обгорелый труп казака, который, по-видимому, пытался спасти святыни.

Пётр Дмитриевич был потрясён. Обе смерти были связаны с ним, с его посещением космиста Богданова и священника отца Андрея. Убийцы охотились за Таблицей Агеева. За священными “русскими кодами”. За “космическим кодом” и за “кодом русского чуда”. Убийцы спилили сосну, надеясь найти в дупле “русский космический код”. Сожгли иконы, на которых было явлено “Чудо Русской Победы”. И во всём был повинен Пётр Дмитриевич. Он навёл убийц. Своей Таблицей Агеева вызвал из преисподней чёрные силы.

Желая света, накликал тьму. Желая спасения, привёл к гибели. Мечтая о возрождении, утвердил смерть.

Пётр Дмитриевич чувствовал под сердцем Таблицу, как тяжёлый чугунный слиток. Хотел избавиться от Таблицы, выдохнуть с кашлем, исторгнуть с приступом рвоты. Выдрать из себя по кускам, как вырывают во время аборта плод, рассекая на части в чреве матери.

Пётр Дмитриевич был готов отдать проклятую Таблицу насильникам, только бы они отступились. Не пришли к страннику Фёдору Кононову, к Ирине и Фаддею, которые были посвящены в тайну Таблицы.

Пётр Дмитриевич метался по дому. Хотел кому-то звонить, — в полицию, в спецслужбы. Космист Богданов ночью смотрел на звёзды и был убит. Рыжебородый казак Карп кинулся спасать чудотворные иконы и погиб в огне. А он, виновник их смерти, жив.

Мысль о коте Кузьмиче обожгла и заставила устыдиться. Кот пожертвовал жизнью, но не выдал Таблицу мучителям. Агеев не поддастся страхам. Сбережёт Таблицу, которая послужит воскрешению русского народа.

Пётр Дмитриевич не сразу нашёл звонивший телефон. Спокойный, с приятным рокотом голос произнёс:

— Я — Григорий Афанасиевич Проклов. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь моё имя?

— Разумеется, Григорий Афанасьевич. Вас знают в России. — Агеев слышал о Проклове. Богатый предприниматель, покровитель патриотических русских движений, он не скрывал имперских взглядов. Проклов был причастен к “русской весне”, содействовал возвращению Крыма, способствовал восстанию на Донбассе. — Конечно, я много слышал о вас.

— Я тоже о вас слышан, Пётр Дмитриевич. Ваше вероучение Русской Мечты созвучно с моими чаяниями. Как и вы, я считаю себя русским мечтателем.

— Ещё одним единомышленником больше, — мягко усмехнулся Пётр Дмитриевич.

— Поэтому вам и звоню. Русские мечтатели должны держаться вместе. Могли бы мы встретиться?

— Конечно.

— Тогда приезжайте сегодня вечером в Лужники, к Москва-реке, на причал. Там будет стоять моя яхта “Витязь”. Поплаваем, ближе узнаем друг друга.

— Непременно приду.

Пётр Дмитриевич удивлялся тому, как вероучение Русской Мечты захватывает умы. Так ветер срывает крылатые семена одуванчика, и вот уже соседний дуг, золотой от цветов, а потом вся округа золотая, в наивных цветах русского Рая.

Вечером, когда московское солнце садилось, Пётр Дмитриевич был в Лужниках, на набережной. Река, огибая Воробьёвы горы, казалась зелёной, с густой ленивой водой. У причала стояла яхта, нос был украшен изваянием витязя в кольчуге, в золотом шлеме, с устремлёнными вперёд голубыми глазами. На мачте развевалась малиновая хоругвь — шитый золотом Спас. Агеев вспомнил, что уже видел эту хоругвь, когда сидел с Ириной в ресторане “Зарядье”. Мимо по реке дважды, туда и обратно, проплыла яхта с малиновой хоругвью, словно хотела привлечь внимание Петра Дмитриевича. И теперь появление этой яхты казалось промыслительным.

У трапа встретил капитан в строгом кителе и фуражке с якорем.

— Григорий Афанасьевич ждёт вас. Я провожу.

На верхней палубе слышались голоса, смех, звуки рояля. Капитан провёл Агеева на нижнюю застеклённую палубу. Навстречу из-за стола поднялся ладный господин с бритым, несколько измождённым лицом, напоминающий красавца из чёрно-белого кино, которому в течение фильма предстояло соблазнить нескольких женщин, застрелить соперника и взять банк. Его чёрные большие глаза смотрели зорко и чуть насмешливо. По их виду не скажешь, что Григорий Афанасьевич Проклов возжигал огонь “крымской вес-

ны”, спасал Черноморский флот, поднял грохочущее восстание на Донбассе с атаками ополченцев, непрерывными слезами и погребениями.

— Рад, что вы откликнулись на моё приглашение, Пётр Дмитриевич. Мы давно должны были познакомиться, — Григорий Афанасьевич любезно указал на стул.

— Я уже видел однажды вашу яхту. Правда, с берега. Не думал, что окажусь на её борту.

— Я иногда провожу на яхте деловые совещания. Это приятней, чем в офисе.

Принесли ужин. Было подано белое сухое вино, салат из крабов, куриный бульон с гренками. После нескольких фраз о погоде и близкой осени завязался разговор.

— Мне кое-что удалось сделать в бизнесе, Пётр Дмитриевич. Я уцелел в смертельных схватках и приумножил состояние. Занимался благотворительностью, строил храмы, помогал русским общинам. Вам, должно быть, известна моя роль в крымских событиях и на Донбассе. Но в один прекрасный момент я понял, что мои усилия тщетны. Они не дают желаемого результата.

— В чём, по-вашему, должен быть результат? — Пётр Дмитриевич услышал слабый рокот, увидел дрожанье вина в бокале. Яхта отчалила и мягко пошла по реке. Мимо поплыл берег.

— Русский народ пребывает в плачевном состоянии. У него переломаны кости. Он лежит под наркозом, в гипсе. В этом состоянии он не способен на историческое творчество. Не способен создать цветущее имперское государство, вернуть утраченные территории, объединить вокруг себя другие имперские народы. Русским необходимо воскреснуть. Должен появиться чудесный царевич, который своим поцелуем поднимет Россию из хрустального гроба. Вернёт русскому народу его непочатые силы. Я всё ждал появления царевича и, слава Богу, дождался.

— Кто же он, Григорий Афанасьевич?

— Пётр Дмитриевич, это вы!

Воробьёвы горы чернели дубами и липами. Стадион на другом берегу зажигал аметистовые огни. Река совершала дугу, и Петру Дмитриевичу казалось, он чувствует вращенье Земли.

— Ваша Таблица Агеева — поцелуй, который разбудит спящую Россию. Я смотрел все передачи с вашим участием. Прочитал все ваши публикации. Изучил суждения ваших сторонников и врагов. Оказалось, что ваши враги — это и мои недруги. А ваших сторонников я число моими друзьями. Поэтому я вас пригласил, Пётр Дмитриевич.

— Вы не ошиблись? Чем я могу быть полезен?

Нескучный сад в своей тяжёлой вечерней зелени погружался в реку. Но впереди уже мерцали, искрились аттракционы Парка культуры. Навстречу проплыл речной трамвайчик в весёлых огоньках, с танцующими на палубе пассажирами.

— Я создаю движение “Русская мечта”. Объединяю все многочисленные, часто бестолковые и кустарные русские начинания. Скрепляю их вашим вероучением. Утверждаю Академию Русской Мечты, где начинаю готовить ваших последователей, апостолов. Вы — глава Академии. Отсюда апостолы, оснащённые вашим вероучением, расходятся по России и проповедуют Русскую Мечту. Будят ото сна Россию. Движение постепенно переходит в партию, я обретаю власть и получаю возможность осуществить мой Проект. Наш с вами Проект, Пётр Дмитриевич. Ибо ваше учение создано под мой Проект.

— В чём его суть?

Аттракционы Парка культуры сверкали, отражались в реке огненными змеями, столбами золотого света. Крутились фантастические карусели. Падали и взлетали расписные качели. По сияющим синусоидам носились шальные вагончики. Гремела музыка.

— В чём смысл Проекта? — повторил вопрос Пётр Дмитриевич, очарованный волшебным праздником.

— Разбуженный “русскими кодами” народ снова становится творцом истории. Учёные совершают невиданные открытия. Энергетики находят неисчерпаемые источники энергии. Медики одолевают смертельные болезни и приближают бессмертие. Инженеры конструируют фантастические машины, летающие в Космосе, плывущие у дна океанов, носящиеся по Земле с невиданной скоростью. Музыканты пишут “музыку русских сфер”. Литераторы сочиняют поэмы “Русской Мечты”. Живописцам дано откровение изобразить райские сады. Мы построим новые города, каких не видел мир. Дадим народу земные блага и устремим народ к благам небесным. Мы создаём нового русского человека, который и является вековечным, подлинным русским, трудами и талантами создавшим царство между трёх океанов. Мы создаём Россию благую, справедливую, имеющую свой прообраз на Небе. Ту, к которой стремились самые великие русские подвижники. Россию, которая является Душой мира и к которой станут льнуть другие народы Земли.

Григорий Афанасиевич произносил всё это без пафоса, не воздевая рук, не возвышая голоса. Он был уверен и твёрд. За его словами стояли долгие размышления, упрямые думы. Он не обольщал, не пленял, а звал в своё дело. Оно было делом и Петра Дмитриевича. Они нашли друг друга, два творца и мечтателя, среди сверкающих вод Русской Мечты.

— Но это потребует огромных усилий, огромных средств, — осторожно заметил Агеев.

— Я отдаю Русской Мечте всё моё состояние. Мои друзья — крупные предприниматели, металлурги, горняки, золотодобытчики — внесут в наше дело свою лепту. Русские люди обретут свою партию, своего лидера и своего идеолога. Вы, Пётр Дмитриевич, идеолог русского народа.

Агеев был вдохновлён. Кончилось его одиночество, страх за себя, за своё драгоценное детище. Теперь он получает защиту, средства, которые позволят продолжать исследования. Искать недостающие коды, после чего Таблица во всей полноте одухотворит Большой проект.

Григорий Афанасиевич указал перстом на верхнюю палубу, где слышались голоса и музыка:

— Теперь же, Пётр Дмитриевич, приглашаю подняться наверх. Там собрались те, кого я называю “Русское сообщество”. За каждым стоит организация, фонд, объединение. Лоскутное одеяло патриотизма. Нам предстоит создать из этих лоскутьев доспех. Гвардию русского народа.

Приближался Крымский мост, похожий на стальную летучую мышь, которая распахнула над рекой свои перепонки. Верхняя палуба была открыта, озарена. Стояли столы, блестели бокалы. Люди чокались, обнимались, переходили от стола к столу. Господин с артистическим коком играл на рояле, вскидывал голову, закрывая счастливые глаза. “Русское сообщество” веселилось. Но умолкло, едва на палубе появился Григорий Афанасиевич с гостем.

Крымский мост прошумел над головами и удалялся. Григорий Афанасиевич поглядел ему вслед и произнёс:

— Господа, позвольте представить вам выдающегося русского мыслителя и пророка Петра Дмитриевича Агеева. Он собрат нашего русского братства. Пусть он услышит, что на душе наших патриотических лидеров, чем дышит “Русское сообщество”.

Вдалеке, над чёрной рекой, всходило золотое солнце храма Христа Спасителя. Григорий Афанасиевич протягивал руку то к одному, то к другому собрату, приглашал высказаться. Тот, на кого указывал перст, послушно поднимался и говорил о наболевшем.

— Надо собирать жёлуди! — растрёпанный господин достал из кармана жёлудь. — Прошу не перебивать! Жёлуди надо собирать теперь, когда они созрели. Конечно, не все подряд, что за глупость! Прошу не перебивать! Жёлуди с заповедного дуба в селе Константиново. Дуб Есенина. Собирать жёлуди и по всей России растить дубравы. И тогда в каждой русской земле появится свой Есенин! Я писал об этом президенту. Нет ответа! Прошу не перебивать!

Но его перебил сосед с окладистой бородой, в жилетке, на которой висела цепочка карманных часов:

— Пора добраться до сути, господа! Сколько лет буюсь, чтобы городу Тутаеву вернули исконное имя “Романов-Борисоглебск”! Кто такой Тутаев? Мелкий большевик, расстрельщик! Пока город зовётся “Тутаев”, дома в нём гниют и горят, крысы загрызают младенцев, по Волге плывут утопленники! Напишем коллективное письмо президенту!

Ему не дал завершить свою речь маленький пылкий человек с сияющей лучистой звездой на шюртуке. Звезда была церковной наградой и сияла, как ёлочное украшение:

— Вернёмся к истокам, господа, вернёмся к истокам! Вся скверна от английского языка, который наводняет русские умы пакостями и нигилизмом. Вместо уроков истории и английского станем изучать в школах святоотеческое предание и церковнославянский язык! “Иже приидоха оное, и въздыхаха исчислим бысть”! — господин со звездой сел, продолжая читать наизусть “Повесть о Петре и Февронии”.

Мимо плыл восхитительный Кремль, похожий на ночное зарево. Ослепительно среди чёрного неба сверкали дворцы и соборы. Василий Блаженный казался блюдом с невиданными плодами из райского сада, отекавшими медовой сладостью. Агеев слушал речения патриотических лидеров, веря в волшебную силу Таблицы, способную пробудить в каждом животворящие “русские коды”. Превратить этих милых и взбалмошных людей в творцов и мыслителей.

— Нам нужно всем, от мала до велика, повторяю, от мала до велика, обратиться с общей молитвой к Господу о ниспослании благодати нашей матушке России! Но, повторяю, всем, от мала до велика, в единый час, лучше ночью, ибо ночная молитва скорей доносится до ушей Господа! — Говоривший это болезненный господин держал в руке бокал с вином, который осушил, завершив выступление.

— Могу показаться еретиком или даже язычником, или даже святотатцем! Но моя идея, ввиду нехватки русских людей и повсеместного их вымирания, моя идея состоит в том, чтобы выращивать русских людей в пробирках, и она весьма актуальна. Но, конечно, под наблюдением Церкви! Только под наблюдением Церкви! — На оратора, который произнёс эти неожиданные слова, тут же зашикали, стали усаживать на место. Но тот вырывался, выкрикивая: — Под наблюдением Церкви! Под пристальным наблюдением Церкви!

Из-за столов поднимались один за другим представители “Русского сообщества”. Каждый высказывал наболевшие мысли, с которыми он оббил не один порог, исписал не один лист прошений. Крепкий осанистый господин с тяжёлой бородой и гневными бровями требовал от России немедленного союза с Германией, что поставит на место Америку и Китай и создаст новый центр небывалой силы. Другой, аскетического вида, с провалившимися щеками и монашескими волосами, требовал канонизации мученика Григория Распутина, убитого по наущению иудеев и англосаксов.

Поднялся господин, свежий, с румяными щеками, с бакенбардами и усами, как у Александра Второго.

— Полно лукавить, милостивые государи! Мы знаем причину всех русских бед. Без царя в голове и без царя на троне русский человек дурак, смутяня и пьяница. Пора русским людям сойтись на Собор и, как встарь, в годину ненастья, выбрать царя из народа своего. Мы знаем, кем будет новый русский царь! Поднимем бокалы за будущего русского царя Григория Афанасьевича Проклова! Ура!

Все дружно вскричали “Ура!” Кто-то запел: “Боже, царя храни”. Кто-то пошёл из-за столов к Проклову, неся впереди полный бокал. Агеев слышал, как под сердцем волнуется и дышит Таблица. Каждый код, каждая золотая частица стремилась навстречу этим милым искренним людям, прекрасным в своей наивности и беспомощности. Таблица преобразит их, сделает могучими творцами и ясновидцами, как мечтает об этом прекрасный человек, новый друг Григорий Афанасьевич Проклов. А будет ли он царём, или вождём, или президентом, — не суть важно. Лишь бы Россия при нём цвела. Лишь бы Таблица послужила чудесному воскрешению.

Яхта “Витязь” миновала Котельническую высотку, приближалась к Ново-Спасскому монастырю, усыпальнице рода Романовых. Шлем богатыря на носу корабля золотился. Синие глаза воина грозно взирали на монастырские стены и главы церквей.

Пётр Дмитриевич увидел, как яхту догоняет другой корабль, не меньших размеров, на носу которого краснела разъятая пасть дракона с белыми зубьями. Драконьи глаза ненавидяще смотрели, чёрные, с серебряными белками. На борту виднелся китайский иероглиф. Верхняя палуба была озарена. На ней совершалось таинственное действо. Дракон поравнялся с “Витязем”, и они плыли теперь борт о борт.

— Что это? — спросил Агеев, опасаясь столкновения.

— Корабль сатаны, — ответил Проклов. — Принадлежит китайскому миллиардеру Линь Бяо, торговцу русским лесом. А также, как мне известно, промышляющему синтетическими наркотиками и проституцией. Под покровительством московских властей. Приглашает к себе на яхту представителей либеральных кругов. Похоже, и теперь они там.

На палубе Дракона стояли красные ширмы, расписанные цветами и птицами. Виднелась фаянсовая ванна, похожая на раковину. На палубу выскочил танцор, голый, в набедренной повязке, с играющими мышцами плеч, груди, ног. Его лицо, ярко раскрашенное, напоминало маску дракона, — красный зев, клыки, пылающие глаза. На голове — два козлиных рога, перевитые серебром. Звучала восточная музыка. Танцор извивался, подпрыгивал, страстно оглаживал бедра. Повязка волновалась, под ней взбухала возбуждённая плоть.

Вдруг Агеев узнал в танцоре режиссёра Эраста Богоносцева. Его ястребиный клюв вращался во все стороны, словно искал добычу.

— Главный сатанист! — Григорий Афанасиевич осенил себя крестным знаменем. — Его яхта — гнездо сатаны.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как ядовитые языки с драконьей яхты лижут витязя в золотом шлеме, обжигают, смывают позолоту. Как тяжело становится сердцу, и Таблица начинает трепетать, сердце, сбиваясь с ритма, бьётся невпопад, танцует под чужую тлетворную музыку.

Члены “Русского сообщества” столпились у борта, взирали на бесстыдный танец. Раздался робкий возглас:

— Позор!

Эраст Богоносцев приблизился к фаянсовой ванне. Кружил, тянул к ней руки, впрыскивал незримые энергии, всыпал таинственные снадобья. Его магический танец призывал духов, и Агеев слышал посвист невидимых крыльев, удары ветра от пролетавших незримых существей. Над ванной стал подниматься пар, появились перламутровые пузыри. Ванна бурлила, пенилась. Пена через край изливалась на палубу. Из пены медленно стала появляться женщина. Лица её не было видно, только волосы, собранные на затылке в рыжий пучок, гибкая шея, обнажённые плечи, округлые ягодицы и бедра. Женщина перешагнула край ванны, повернулась. Это была Ксения Фалькон во всей своей пленительной наготе. Глаза её были закрыты, рот слабо улыбался, она спала. Рождённая из перламутровой пены, ещё вся там, где обитают невоплощённые духи, она была явлена в мир света и звуков из мира теней.

Члены “Русского сообщества” заворожённо созерцали обнажённую красавицу. Некоторые полезли за очками. Кто-то беспомощно крикнул:

— Позор! — И осёкся.

Эраст Богоносцев и Ксения Фалькон танцевали эротический танец. Любовник привлекал к себе беззащитную красавицу, целовал в губы, лобзал грудь. Падал на колени и принимал лицом к её животу, бедрам, жадно вдыхал женские ароматы. Она пробуждалась, раскрывала глаза. Бедра её начинали дышать, колыхались. Она поднимала колено, перебрасывала ногу через голову жениха. Впивалась вишнёвыми ногтями в его лицо, царапала до крови. А тот стонал, щекотал рожками её соски. Наконец, оба упали на палубу, свивались узлом, распались. Ксения Фалькон вырвалась из-под неистового возлюбленного, и сама оседлала его. Мчалась верхом на Эрасте Богоносцеве, била пятками, драла когтями. Её груди металась из стороны в сторону.

Пучок волос распался, и космы развевались, как рыжий огонь. Музыка вто-рила визгам, воплям. Цветы и птицы на красных ширмах волновались, хоте-ли взлететь.

Члены “Русского сообщества” навалились на поручни и кричали:

— Позор! Позор!

Господин, что ратовал за детей в пробирке, одиноко воскликнул:

— Bravo!

Но тут же был остановлен товарищами.

Танец на палубе завершился откровенным соитием, с воплями, бесстыд-ными позами. Любовники с великой неохотой распались. Ксения Фалькон опустила в фаянсовую ванну, исчезла в пене, и ванна улетучилась, возвра-тилась в мир теней. Эраст Богоносцев схватил жестяной рупор, в какой кри-чат капитаны проходящих мимо судов.

— Вам, патриотические женихи, мы приготовили прекрасных невест! Каждая — как пушкинская мечта, Наталья Гончарова!

Эраст Богоносцев скрылся. Красные ширмы упали. На палубе появился десяток отвратительных старух. Были раскормленные бабы с раздутыми жи-вотами и чёрными пупами. Были тощие, костлявые, с длинными пустыми грудями, похожими на чулки. Были жирные старухи с жёлтыми, как дыни, грудями и вклокоченными седыми лобками. У многих беззубые рты прова-лились. У других рты не закрывались, полные вставных лошадиных зубов. Была одноногая бабка, которая опиралась на костыль. Была похожая на глыбу с раздутыми слоновыми ногами, чёрными от вздувшихся вен. У одних были медные халы, другие, облысевшие, заплетали волосы в седые косички. Третьи сделали модные причёски, из-под которых жутко выглядывали мор-щинистые лица, отёчные рты, обложенные ячменями глаза. Вся армада вы-валилась на палубу, раскачивала тяжкие груди, трясла животами, топотала кривыми ногами. Казалось, вся эта жуть полезет через борт яхты, срываясь и плюхаясь в воду, стараясь дотянуться до изумлённых членов “Русского со-общества”. Те истошно кричали:

— Позор! Позор!

Агеев хотел убежать, скрыться. Ему разрывали сердце. Клюв Эраста Бо-гносцева проникал в грудь, старался достичь Таблицы, ударить в золотую Богородицу, рассыпать на частицы, расклевать, как золотые зёрна.

— Яко запыхахо изведахо исповедахо бысть, отнюдь! — глумливо крик-нул в раструб Эраст Богоносцев.

Кинулся к борту, схватил рукоятки прожектора, который оказался лазе-ром. Тонкий луч вырвался из трубки, ударил в борт “Витязя”. Скользнул на палубу, где скопились члены “Русского сообщества”. Вонзался в шуртки, в бороды, лбы. Пронзил звезду на груди церковного старичка. Впился в пи-джак Проклова. Каждое попадание сопровождалось тихим хлопком и струй-кой дыма. Так с тихим треском и завитком пара исчезают ночные насеко-мые, налетевшие на спираль обогревателя.

Проклов не оставил без ответа лазерную атаку Дракона. Гибкий, вирту-озный, как киноактёр чёрно-белого фильма, включил бортовой лазер, направ-ил разящий луч в сторону пиратского корабля. Великолепный, бесстраш-ный, покоритель дамских сердец, любимец публики, непревзойдённая звезда чёрно-белого экрана, он стал косить направо и налево старух, рассекая их отточенными лезвиями. Старухи распались на куски, и каждый кусок про-должал танцевать. Отдельно животы, отдельно мясистые груди, отдельно го-ловы с медными шиньонами. Танцевал костыль. Подпрыгивала в воздухе старушечья голова с каменными зубами.

Вся дуэль проходила на воде, вблизи монастырских стен и тусклых зо-лотых куполов усыпальницы Романовых. Дракон не выдержал удара русско-го “Витязя”. Развернулся и ушёл в сторону Кремля. Музыка затихала. Рас-сечённые тела старух мало-помалу пропадали.

Агеев поздравил Проклова с победой в небывалом морском сражении.

— Не впервой! — с некоторой бравадой ответил Григорий Афанасевич. Его пиджак во многих местах был прожжён уколами лазера. На что и ука-зал Пётр Дмитриевич:

— Жаль пиджак. Видно, итальянский.

— Ничего, надену английский. Главное не пиджак, а бронезилет, — Проклов распахнул полу, показывая Агееву непробиваемый бронезилет. Члены “Русского сообщества” поздравляли Григория Афанасьева с внушительной победой. Пётр Дмитриевич гордился тем, что участвовал в битве с сатаной, и Таблица защитила его сердце от смертоносного сатанинского лазера.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич сладостно вспоминал, как в сумерках, расставаясь с Ириной, поцеловал её чудесные пушистые брови. Не решился поцеловать глаза и близкие губы. И теперь хотел новой встречи, чтобы поцеловать милые брови, закрытые глаза, дышащие губы. Он не мог забыть того волшебного преобразования, когда Ирина, словно над ней пролилась волна света, вдруг стала драгоценной, родной, желанной. А потом волна истаяла, и он, ошеломлённый, не знал, что это было. Какая близость между ними возникла. Куда повлекло их обоих, ставших вдруг неразлучными.

— Хочу вас увидеть, — Пётр Дмитриевич прижимал к телефону губы и мысленно её целовал. — Боялся вам звонить.

— Как я рада вашему звонку! Я слышала о ваших огорчениях. Мне хотелось кинуться к вам, быть рядом с вами. Но не решалась. Не знала, уместно ли это.

— Конечно, уместно! — Пётр Дмитриевич взволнованно слушал её обожаемый голос. — Уместно нам немедленно встретиться.

— Где?

— Есть турецкий ресторан на Смоленской площади, — предложил наугад Пётр Дмитриевич. — Приезжайте.

— Хочу повести вас на одно удивительное представление, — произнесла Ирина, принимая приглашение. — К людям, которые восхищаются вами. Видят в вас учителя, светоча. Хочу, чтобы вы оказались среди друзей и поклонников, и ваши огорчения миновали.

— Минуют, как только увижу вас.

Перед входом в турецкий ресторан стояли два медных быка. Один нацелил рога на здание МИДа, будто хотел боднуть, перекинуть его через спину, за Москву-реку. Другой бык был разъярён памятником Примакову, нелепо поставленным и раздражавшим не только быка, но и многих прохожих.

— Зачем быки? — спросила Ирина, рассматривая карту меню. На ней был зелёный жакет, в ушах — золотые серёжки с крохотными изумрудами, на шее — кулон с зелёным камнем. Всё для того, чтобы в серых глазах мелькнула зелёная искра. И Пётр Дмитриевич представил, как, готовясь к встрече, она смотрела в зеркало, подбирая кулон и серьги.

— Вы про быков? Раньше здесь было целое стадо. Но пошло на стейки. Осталось два последних быка.

— Тогда нам надо успеть с заказом, — засмеялась она.

Официант, молодой бакинец, не отличимый от турка, принял заказ. Скоро перед ними на деревянных дощечках, окружённые парными овощами, лежали плоские стейки. Пётр Дмитриевич любовался, как Ирина своими длинными пальцам держит вилку, осторожно отсекает лепесток сочного мяса, запивает белым вином. Бережно подносит бокал к влажным, таким желанным губам.

— Не знаю, кто может вас преследовать, ненавидеть? Кто может хотеть вам зла? Вы исполнены добра. Вам открылось удивительное, доброе знание. Кому вы досаждаете? — Ирина не упоминала об отвратительном нападении, не касалась убийства космиста и поджога церкви. Она хотела убедить Петра Дмитриевича в том, что причиной нападения был не он, не его доброе благодарное сердце. — Какие у вас враги?

— У меня нет врагов, как, впрочем, нет и друзей. Но какие-то злоумышленники охотятся за Таблицей, как за секретным оружием массового

уничтожения. Но Таблица — оружия массового воскрешения. Её нужно не бояться, а беречь и лелеять.

— Какой удивительный дар вы получили! — восхитилась Ирина. — Я всё хочу понять, как вы добываете “русские коды”? Как старатель, который моет золотой песок и отыскивает самородки в “реке русского времени”? Или вычитываете о них в летописях, пушкинских стихах? Собираете, как рассыпанные по земле монеты?

Петра Дмитриевича трогал её наивный интерес к самому важному, что его занимало. Она видела в нём творца, преклонялась перед его даром.

— Как я открываю “коды”? Это не объяснить. Они даются свыше. Знаете, высоко в горах, где воздух разрежён, геофизики ставят ловушки космических лучей. Космическая частичка залетает в ловушку, оставляет крохотную вспышку и тем самым себя обнаруживает. Так и я: лежу в полусне и жду, когда в сердце ударит невидимая золотая частичка. “Русский код”, который я извлекаю из сердца и помещаю в Таблицу.

— Я знаю, все эти “коды” пропущены через ваше сердце. Поэтому они чудодейственны. — Ирина испугалась своей пылкости и убрала руку, которой хотела коснуться руки Агеева. — Вы рассказали, как открыли “код Пересвет”. Узнали, что русские — “народ Пересвет”. Вы шли к Пересвету через леса и овраги. Вас влекла какая-то сила.

— Россия — место, где силы земные переходят в силы небесные. На Брянщине родился Пересвет, земной человек, который стал святым, человеком неба. На Брянщине родился Тютчев, который увидел Россию святой землёй, предтечей Небесного Царства. На Брянщине есть лесная поляна, которую зовут “Партизанской”. — Пётр Дмитриевич вспомнил просторную, пахнущую хвоей поляну, уставленную обелисками с именами партизанских отрядов, списками бойцов, погибших в петле и под пытками. — Во время войн, когда в Россию приходит враг и сокрушает государство, русский народ уходит в леса. Точит топоры, поёт: “Шумел сурово брянский лес”, выходит с отточенными топорами на опушку и прогоняет врага. Иван Сусанин, заманивший поляков в дебри, был партизаном. Денис Давыдов, гулявший по французским тылам, был партизаном. Минин и Пожарский, пришедшие спасти Москву, были партизанами. Все сегодняшние русские люди, которые против воли проклятой власти сберегли оборонные заводы, военные секреты, бесценные технологии, — это партизаны. Русские — это народ-партизан. Ещё один “русский код”!

Пётр Дмитриевич одаривал Ирину своими откровениями. Видел, как она восхищается, как благодарна ему. Он любовался блеском её глаз, в которых вдруг вспыхивали зелёные искры.

— Вы так много видели, чувствовали. У вас такая богатая жизнь. Странствия, увлечения. Вы любили? У вас была жена? Любимая подруга?

Ему вдруг захотелось поведать Ирине свою жизнь. Ни с кем, никогда он не был откровенен, не делился ожиданиями, разочарованиями, мечтами. Разве что деревенская старушка тётя Поля в зимние вечера, когда за окном шелестит метель и половик от порога к печи тихо светится полотняным узором, только она была его слушательницей.

— Мне кажется, всю жизнь я любил одну и ту же женщину. Несуществующую. В детстве влюбился в девочку, генеральскую дочку. Видел, как она кидает мяч о стену, перепрыгивает и ловит. На одну секунду, когда мяч летел, и она схватила его, и её лицо стало прекрасным, и волосы колыхнулись, я влюбился в неё до обморока. Через секунду любовь прошла. А потом генерал уехал из нашего дома, и я её больше не видел. После выпускного бала я повстречал девушку у Москва-реки. Сидели на скамейке, и я поцеловал её. Она подарила мне стеклянные синие бусы, и я влюбленно целовал эти бусы. А потом она исчезла и исчезла любовь. И я думаю, помнит ли она восход над Москва-рекой, робкого юношу, которому она вручила синие бусы? Где она? Есть ли у неё дети? Рассказала ли она кому-нибудь о том поцелуе? Когда жил в деревне, полюбил молодую женщину Веру. Она мне казалась ведуньей, Бергиней. Были первые синие подснежники, была ночная река, плывущий по воде вещей огонь. Был одурманивающий запах черёмухи, соловьи. Были

обожание, любовь. Она уехала из деревни, не простившись, и кончилась любовь. И так всегда. Видно, не нашёл ещё “код любви”. А вы нашли?

Эти воспоминания были сокровенными, принадлежали ему одному. Но теперь он пустил её в свои воспоминания, и она вошла и обрела странную власть над ним. И он не пугался этой неслышной власти, был рад поинноваться.

— Должно быть, плохо искали “код любви”, — она произнесла это тихо, закрыв глаза, словно вино, которое она пила, опьянило её.

— Мне показалось, что между Фаддеем и вами что-то есть, — он спросил об этом невольно, досадуя на себя за это недостойное выпрашивание.

— Да что вы, нет ничего! — она живо возразила и, казалось, была обрадована этому робкому выведыванию. — Фаддей Аристархович ко мне очень внимателен, консультирует мои работы. Он большой знаток русской культуры. “Русолог”, как он себя называет. Ведь это он меня познакомил с вами. Для меня быть с вами счастье.

— Это опасно. За мной охота. Всех, кто близок ко мне, постигает несчастье. Убит русский космист Богданов. Сожжена церковь, где служит мой друг отец Андрей. Быть может, лучше нам не встречаться?

— Быть с вами рядом — счастье. Видеть вас, учиться у вас, помогать вам в ваших трудах. Я ваш громоотвод. Пусть молнии бьют в меня, а вас минуют. Вы сказали, что носите Таблицу под сердцем. Враги хотят вырвать Таблицу из вашего сердца. Передайте её мне. Я стану носить её под сердцем, и враги её не найдут.

Ирина качнулась к нему. Пётр Дмитриевич увидел зелёный медальон на её груди. Представил, как прижмёт своё сердце к её сердцу, и Таблица перельётся из одного сердца в другое, как переливается из чаши в чашу золотой мёд.

— Нет, нет! Я уж совершил непоправимую ошибку. Передал Таблицу коту Кузьмичу, и он погиб. У него мучители вырывали Таблицу, но он не выдал меня. Не хочу, чтобы вы попали в руки мучителям.

— Не относитесь ко мне, как к слабой женщине. Я хочу быть вашим соратником, помощником и защитником. Ваш долг перед Россией, перед нашим многострадальным народом — сберечь Таблицу и совершить чудо русского воскрешения, Чудо русской Пасхи.

— Хочу передать мою Таблицу президенту, чтобы он своей державной волей совершил воскрешение. Не знаю, как рассказать президенту о Таблице, добиться с ним встречи. Но мне кажется, она состоится.

— Иногда становится так тяжело на душе. Такие спускаются сумерки и уныние. Что делать в такие минуты?

— Я не советчик. Делюсь моим опытом. Когда невоготу, кругом одна тьма и уныние, я представляю себе весенний золотой одуванчик, — цветок русского рая. Читаю строки Пушкина: “Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, // на утренней заре я видел Нереиду”. И произношу имя “Сталинград”. Мои мышцы становятся стальными, сердце — огненным, а глаза — ясновидящими.

— Как великолепно вы сказали! Вы сами, как золотой одуванчик, — цветок русского рая!

Они покинули ресторан. Ирина погладила рога медного быка. Агеев не слишком удачно пошутил на тему “Похищения Европы”.

Представление, куда зазывала Петра Дмитриевича Ирина, являло собой, к великому его изумлению, байк-шоу. Представление устраивал известный байкер Хирург, объединивший вокруг себя множество отважных и лихих мотоциклистов, которые на грохочущих “Ямахах”, с пылающими фарами и яростной музыкой носились по дорогам, будя сонных обывателей, пугая власти сталинскими портретами и лозунгами, внушая ужас либералам своей патриотической неистовостью, когда простолоудины оседлали раскалённые моторы и носились, как стая ревущих волков. Они так и называли себя: “Ночные волки”. Но с некоторых пор, по утверждению Ирины, они познакомились с вероучением Петра Дмитриевича и стали называться: “Волки русской мечты”.

Представление давалось на заброшенном пустыре, в промзоне, на окраине Москвы. Кругом тянулись железнодорожные пути, руины заводов, ржавые фермы. В сумерках высилась уродливая конструкция, напоминавшая Вавилонскую башню: нагромождение каких-то цистерн, сломанных подъёмных кранов. У подножия башни шло движение, подъезжали машины, пробирались в толпе мотоциклы. На земле сидели тысячи людей, напоминавших кочевое племя, опустившееся на отдых, чтобы потом снова тронуться в путь.

Ирину и Петра Дмитриевича встретил Хирург. Он подкатил на ревущем мотоцикле в сопровождении десятка сподвижников. Они поколесили вокруг и встали стеной, рыкая моторами, сверкая хромом, огнями. Хирург слез с мотоцикла и приблизился к Петру Дмитриевичу. Он был похож на витязя в кожаном доспехе с наплечниками, пестрел вышивками, среди которых виднелся оскаленный волк. Хирург был высок, черноволос, красив. Лицо, властное и одухотворённое, казалось одновременно благодушным, почти застенчивым. Глаза огненные. В них была сверкающая точка, словно отражение звезды, которая влекла его. Он срывался с места и на своём мотоцикле был готов мчаться до океана и дальше, перескакивая с волны на волну.

— Для меня огромная радость увидеться с вами, Пётр Дмитриевич. — Хирург жал Петру Дмитриевичу руку, не отпускал, хотел продлить прикосновение, чтобы вдоволь напитаться мудрыми и вещими силами. — Мои люди и я считаем вас духовным лидером. Нашим духовным волхвом. Я бы взял вас в наш пробег по Колымскому тракту. Чтобы, как вы говорите, Колыма проклятая стала Колымой благодатной. Я читал вашу работу о “русском коде”, превращающем тьму в свет, поражение в Победу.

— Россия нужна Господу, потому что превращает тьму в свет. При этом теряет миллионы своих сыновей и дочерей. В этом доля России. Но она не может отказаться от этой доли. — Агеев был смущён, поражён таким душевным приёмом. Он не мог предполагать, что его редкие статьи получают такое мощное толкование, обретут столько великолепных сторонников. Он благодарно смотрел на Ирину, которая видела его радостное изумление и улыбалась.

— Мы устраиваем это байк-шоу специально для вас, Пётр Дмитриевич. В нём воплощён ваш образ.

— Какой же?

— Вы писали о волшебном Сталинградском фонтане. Он является символом Сталинградской победы.

— Да, я писал об этом. Воистину, волшебный фонтан.

— Фонтан, построенный до войны, изображает крокодила, вокруг которого танцует хоровод пионеров. Не даёт чудищу вырваться за пределы хоровода. Вы писали, что пионеры — это новое человечество, а крокодил — мировое зло.

— Да, зло кромешное.

— Когда немцы совершили чудовищный налёт на Сталинград и превратили его в руины, они хотели разбомбить этот волшебный фонтан. Вы так писали.

— Гитлер знал, что из фонтана бьёт святая вода. Вода русского бессмертия. И он велел уничтожить фонтан.

— Но пионеры, без ног, без голов, продолжали держаться за руки и вели хоровод, не выпуская чудище из кольца. Под Сталинградом погиб мой дед. Он тоже вместе с пионерами кружился в хороводе, не выпуская фашистов из окружения.

— Крокодил — это Шестая армия Паулюса. Хоровод — кольцо окружения. Пионеры — это соединённые Донской и Сталинградский фронты. И там ваш дед, павший где-то у хутора Бабурки.

— Моё представление называется “Сталинградский фонтан”. Я правильно передал вашу мысль?

— Этот фонтан сейчас восстановлен. Из него бьёт вода. Это святая вода. Люди её пьют, омывают лица, и в них вселяется свет павших героев.

— Всё, как в нашем сценарии! Хочу вас и Ирину посадить на почётное место, чтобы народ видел своего вдохновителя.

Петра Дмитриевича и Ирину посадили на мотоциклы. Пётр Дмитриевич поместился за могучей спиной Хирурга, держась за его кожаные доспехи. Они пробрались сквозь толпу. Молодёжь приветствовала их возгласами: “Сталинград! Сталинград!” Пётр Дмитриевич и Ирина сели в ложу, сбитую из досок и железных листов. Внимая рокоту, гулу толпы, приготовились смотреть представление.

— Видите, как вас любят? — Ирина наклонилась к Агееву, и он снова уловил восхитительный запах её волос. Зелёный изумруд вспыхнул и погас у самых его губ. Все огни, освещавшие пустырь, враз померкли. В тёмном небе возвышалась уродливая громада. Ни светлячка, ни звука. Только слышался далёкий прибой города, вой проходящей вблизи электрички.

Среди мёртвых конструкций затлел огонёк. Рядом другой, третий. Ахнула, как удар с неба, громоподобная музыка, от которой заломило в ушах. Сверкнули ядовитые лазеры, похожие на ракетные трассы. Польшнули прожекторы, прожигая слепящие дыры. Громада ожила, задрожала, изрыгая пламя, отекая расплавленными ручьями. В чёрных провалах багровел адский огонь. Музыка грохотала, как орудийные залпы. Лучи скользили по толпе, выхватывали жертвы, уносили вглубь адской горы, где что-то горело, как в крематории, плавилось, как в тигле, бесследно сжигалось.

Агеев был оглушён, ослеплён. Заслонялся руками. Боялся, что ядовитые лучи нацупают его и Ирину, выхватят из ложи и унесут вглубь горы, где кипит котёл преисподней. Таблица под сердцем молчала. Погасла, пугливо спряталась. На ней не вспыхивала ни одна золотая частица.

Появились неистовые мотоциклисты. Разгонялись, брызгая пламенем. За их спинами бушевали чёрные плащи. Они взмывали, как духи тьмы, влетали в чёрные провалы башни, и там ахали взрывы, загорались красные глазницы. Башня была оплотом тьмы. Несокрушимая, господствовала в мирозданье, поливала мир карающими огнями.

Ирина была испугана. Прижималась к Петру Дмитриевичу, искала у него спасения. Среди мятущихся духов тьмы стали мелькать серебряные вспышки. Мотоциклисты, облачённые в сверкающие одежды, в белых плащах, взмывали и неслись навстречу крылатым демонам. Два крылатых войска сталкивались в вышине, обменивались ударами. Серебра становилось больше. Чёрная рать отступала. Башня содрогалась, начинала крепиться. Агеев чувствовал, как ожила под сердцем Таблица. Из неё излетали сверкающие частицы, вонзались золотыми стрелами в демонов, сшибали наземь.

— Помогайте! Помогайте! — Ирина схватила Петра Дмитриевича за руку. — Мы должны победить!

Из чёрной башни выползал змей. Его глаза горели жестокими рубинами, толстое тулово отливало синей сталью. Это был Царь Тьмы, змей преисподней, который вылез из логова, чтобы покорить мир. Серебряные мотоциклисты носились вокруг змея, замыкали в сверкающее кольцо. Змей старался разомкнуть кольцо, но сияющие наездники били его копытами. Таблица под сердцем Агеева сверкала, переливалась, в ней бушевало золото. Бессчётные золотые частицы излетали, неслись, сверкали золотом на копытах бесстрашных наездников. Змей свернулся в отвратительный узел и канул. Вспыхнул горячий свет. В победных лучах неслись небесные мотоциклисты, как серебряные ангелы. Чёрная громада озарилась. Она была куполом дымящегося рейхстага. На куполе развевалось алое знамя.

Из темноты, из дыма и гари возник белоснежный фонтан. Восхитительные пионеры, взявшись за руки, неслись счастливым хоромом. Из фонтана ударила ввысь вода, переливаясь алмазами. Опала радужным дождём. Кропила мотоциклистов, ликующих зрителей, Ирину и Петра Дмитриевича, которые сидели, взявшись за руки.

— Я говорила, мы победим! Таблица победит! Сталинград победит!

Тысячная толпа хлопала, свистела, скандировала: “Сталинград! Сталинград!” В луче прожектора появился Хирург. Он казался сияющим витязем. Его голос гремел, как поднебесная труба:

*Мы русские мечтатели.
Мы русских кладов дивные искатели.*

*Наш Крымский мост подобен Млечному пути,
И пламенный мотор поёт у нас в груди.*

*В своих мечтаниях всегда мы правы.
Мы на земле посадим райские дубравы,*

*И будет нам нетленная награда —
Божественный фонтан, святыня Сталинграда.*

Агеев был счастлив. Он любил Хирурга. Любил волшебный фонтан. Любил ликующих людей. Любил Ирину, которая счастливо обнимала его.

Пётр Дмитриевич провожал Ирину домой. Сретенка, сверкая ресторанами, витринами, нетерпеливыми огнями машин, осталась в стороне. Они шли переулками и тихими дворами, путями, известными только Ирине. Пётр Дмитриевич удивлялся, что прежде не хаживал этими милыми улочками, не проходил тесными подворотнями, оказываясь в старинных московских дворах, где пахнет травой, остывающими железными крышами, где жёлтые окна с оранжевыми абажурами, в открытых форточках звучит музыка. Ирина вела его нехоженными путями, и всё казалось чудесным. Было продолжением близости, которая, однажды возникнув, превратилось в несказанное счастье. Они проходили мимо ампириного особнячка. Медовый фасад с белыми колоннами. Фронтон с лепным гербом. Чёрная ограда, сквозь которую особняк казался нежным и трогательным. Внезапно со стороны особняка на ограду кинулись две разъяренные овчарки. Хрипели, бросались на железные прутья. Сверкали клыки, краснели мокрые языки. Пётр Дмитриевич отшатнулся:

— Откуда собаки?

— Они не представляют опасности. Им не перепрыгнуть ограду. Здесь какое-то учреждение. Чья-то резиденция. Или маленький банк.

— Видимо, есть что скрывать. — Петру Дмитриевичу хотелось поскорее миновать злобных псов, своим хрипом нарушивших очарование прогулки.

Они подошли к её дому. Пётр Дмитриевич увидел квадраты горящих окон, которые складывались в букву “М”, и он мимолетно вспомнил другой фасад на Старой площади, Фаддея, сбивавшего золочёную надпись, и букву “М”, которую поднял с асфальта Пётр Дмитриевич.

Лифт был тесный, старомодный, с деревянными створками. Они стояли, почти прижавшись друг к другу, и Агеев подумал, что Таблица может перейти к ней, от сердца к сердцу. Лифт дрогнул и встал. Ирина достала из сумочки ключи, гремела в дверях, и Петру Дмитриевичу хотелось, чтобы дверь не открывалась как можно дольше и чтобы он слышал звяканье ключей в её руке.

Дверь раскрылась, Петр Дмитриевич шагнул вслед за Ириной в темноту прихожей, которая дохнула на него множеством домашних ароматов. Среди них он уловил тот, что исходил от её волос. Ирина что-то сказала, но он не расслышал, обнял её сзади, чувствуя, как она прижалась к нему спиной. Так, обнявшись, они прошли в темноте, где сверкнуло зеркало, на стене шевельнулась тень дерева. Его острое, ставшее ночным зрение разглядело кровать, выпуклость накрытой покрывалом подушки, столик с мерцающими флакончиками. А потом он закрыл глаза и видел сквозь веки белизну её рук, обведённую тенью грудь, колени, которые она поднимала, переступая упавшую юбку. Они ещё стояли, качались, а потом полетели в бесконечную глубину, и он прижимался к ней грудью, и Таблица, как расплавленное золото, переливалась из его сердца в её, и обратно, и снова истекала из него и вливалась в неё, пока вдруг не полыхнуло, зажглась огромная люстра, которая стала гаснуть, осыпалась бесчисленными золотыми мерцаниями, и они лежали под звездопадом. Таблица, как остывающий слиток, вернулась в его сердце.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич через день, через два всё вспоминал ту чудесную ночь. В ней проступали одно за другим видения, которые тогда ускользнули. Лишь мельком задержались в дрожащих полузакрытых глазах. Теперь же всплывали, поражая своей драгоценной явью. Он помнил её стопу с гибкими пальцами, когда она выходила из вороха упавшей на пол одежды. Помнил огромные глаза, которые занимали половину лица, а потом всё лицо. Больше не было лица, а только огромные, глядящие мимо глаза. Помнил, как зеркало вдруг утратило свой чёрный блеск, наполнилось белизной. Она сидела, поправляя на затылке волосы, с гибкой ложбиной от лопаток до бёдер, и он подумал, что она похожа на греческую амфору. А потом белизна исчезла, и зеркало наполнилось чёрным блеском.

Пётр Дмитриевич замечал, что он улыбается и что-то шепчет, милое и бессмысленное, как детская считалка. И при этом думает об Ирине. Он черпал эти воспоминания, как черпают пригоршнями воду и омывают лицо. Целовал эти воспоминания, возвращал туда, откуда они явились. А потом снова бережно вычерпывал, и она сидела, отражаясь спиной в зеркале, и он радовался её сходству с греческой амфорой.

Но среди этого обожания, счастливого изумления Агеева не оставляла тревога. Он чувствовал, что за ним наблюдают. Чьи-то чужие глаза смотрят на него из толпы, из-за углов, из зарослей кустов, из ночного окна, из пролетавшего автомобиля. Иногда ему казалось, что он замечает усачей, что следили за ним возле храма отца Андрея и в турецком ресторане. Иногда эти наблюдатели маскировались под обычных прохожих, которые почему-то следовали за ним до дверей магазина, не оставляли, когда он ходил вдоль прилавков. Этих разведчиков интересовала Таблица. Им было важно знать, что она находится у сердца Петра Дмитриевича. Таблица дышала, излучала тончайшие волны, разведчики ловили эти излучения и в любой момент могли навести ракету, которая разорвёт ему сердце вместе с драгоценной Таблицей.

Он жил среди этой чудесной влюблённости и невнятной тревоги.

Московская осень медленно вливалась в город тихой желтизной, золотым свечением воздуха, астрами на клумбах, обилием загорелых прохожих, множеством шумных, как гомонящие птицы, первоклассников с горбатыми ранцами. И вдруг прошёл ночной тяжёлый дождь, и город проснулся среди мокрого золота, жёлтых, упавших на чёрный асфальт листьев, шипящих автомобилей, похожих на пятнистых леопардов, — столько прилипло к ним листья. И теперь ночами город становился чёрным зеркалом, в котором плыли огни, фары, красные и зелёные рекламы, золотые витрины, бриллиантовые гирлянды. Всё это всплывало из чёрной глубины, змеилось, волновалось, взрывалось ослепительными вспышками пролетавших кортежей, уносивших из Кремля утомлённых за день правителей на их подомённые виллы.

Пётр Дмитриевич стоял среди своих любимых деревьев под мелким дождём, глядя, как ветер вычёсывает из берёз жёлтые ворохи, посыпает ими могилу кота Кузьмича. На грудь ему опустился резной лист клена. Агеев бережно снял лист и опустил на Кузьмичёву могилу. Сел в автомобиль и поехал в город, чтобы пополнить припасы в городском супермаркете.

Оставил машину на парковке и направился к магазину, уступая дорогу осторожно пробиравшимся автомобилям. Пропустил мимо женщину с сетчатой колесницей, в которой пестрела гора банок, пакетов, рыб, окороков, красных и зелёных перцев, отметив победоносное выражение женского лица. Вдруг снова, который раз за утро, подумал об Ирине, вспоминая, как она подносила к губам бокал вина, и глаза её смеялись, выглядывая из-за кромки бокала. Почувствовал, как приближается вихрь спрессованного звука. Взрывная волна толкнула железным ударом. Падая, увидел, как вплотную прошла чёрная громада, блеск бампера, сверкание стекол, хохочущее лицо, поднятые вверх кончики усов. Хохочущая смерть с хромированным оскалом прошла у виска, как снаряд. Ввинчивалась с воем вдалёк.

Пётр Дмитриевич упал навзничь, побывав по ту сторону жизни и снова вернувшись в мокроту, в свет, в крики. Его сердце дергалось, хлопало,

захлёбывалось. Сорвалось с оси и крутилось волчком, останавливалось и снова начинало ухать. Это билась Таблица, которую хотели вырвать из сердца, но сердце её не пустило. Теперь, почти вырванное с корнем, оно больно сжималось, падало и снова взлетало.

Кругом толпились люди. Слышались крики:

— Хулиганы! Номер, номер запомните!

— “Скорую”, нужно “скорую”!

— Наркоманы проклятые!

Пётр Дмитриевич чувствовал спиной холодный асфальт. Сердце подпрыгивало, как мячик. Он старался понять, цела ли Таблица или она разбита на куски, и эти куски бьются в нём, каждый отдельно.

Неожиданно быстро явилась “скорая”. Медики переложили Агеева на носилки, задвинули вглубь машины. Взревела сирена. “Скорая” понеслась.

— Здесь болит? Здесь болит? — медик ощупывал ноги, руки Петра Дмитриевича. — Где болит?

— Сердце, доктор, — пролепетал Пётр Дмитриевич.

Ему мерили давление. Сирена выла, крикала, улюлюкала. Фиолетовая вспышка расплескивала злые лучи. Это сердце истошно вопило, скакало, брызгало страхом.

— Ого! — сказал врач. — Вовремя вас подхватили!

Его привезли в больницу, в приёмный покой, к просторному лифту. Он оказался в отдельной палате и успел подумать, что это удача — рядом не будет других пациентов. Страх, сжимающая боль в груди делали его беспомощным, беззащитным, и не было других мыслей, кроме мысли о Таблице, которая могла погибнуть.

Пришёл врач, вкрадчивый, любезный, белоснежный, с прохладными чистыми пальцами. Прикасался стальной трубкой к груди, успокаивающе улыбался. И это означало, что Таблица на месте, её не сумели похитить.

Сестра подкатила тележку с кардиографом. Поставила Петру Дмитриевичу присоски на грудь, защемила запястья и лодыжки. Шелестел кардиограф. Доктор рассматривал ленту с синусоидами и всплесками. Кивал головой. Видимо, повреждения Таблицы были невелики. И хотя сердце продолжало скакать, Петру Дмитриевичу стало спокойнее.

Ему зарядили капельницу. Сначала проткнули вену и вставили катетер. Вогнали в катетер иглу. По трубочке потекло лекарство. Из флакона капала “живая вода”, и Агеев был благодарен врачевателям. Они окропляли Таблицу чудодейственной влагой, от которой в Таблице срастались трещины и повреждения. Сердце понемногу успокаивалось. Пётр Дмитриевич почувствовал облегчение и огромную усталость. Наблюдая мерную капёль, падающую из флакона, он задремал. Лишь изредка вздрагивал, вспоминая чёрную смерть, прошумевшую у виска, хохочущее лицо усача.

Снова появилась тележка с кардиографом. Врач смотрел кардиограмму.

— Мы восстановили вам ритм, но необходимо пройти ультразвук и коронарографию. Посмотреть состояние сосудов и сердца.

— Спасибо, доктор. Но там не только сердце, — произнёс Пётр Дмитриевич.

— А что ещё?

— Там Пресвятая Богородица.

— Ну, это понятно, — улыбнулся доктор. — Мы носим Бога в сердце своём.

Петра Дмитриевича посадили в коляску и повезли в кабинет, где доктор в зеленоватом облачении, с повязкой в половину лица, предложил ему проглотить гибкий жгут со змеиной головкой.

— Через пищевод мы приблизимся вплотную к сердцу и посмотрим, есть ли в нем патология.

— Только не пугайтесь, доктор, если увидите нечто необычное. — Пётр Дмитриевич предупредил любезного доктора не удивляться, если на экране вместо пульсирующего сердца возникнет софийская Одигитрия.

— Не удивлюсь, если у вас вместо сердца пламенный мотор, — пошутил врач.

Процедура была мучительной. Гибкая змея вползла в Агеева. Он задышался, его рвало, слёзы текли. Было страшно, что змея отыщет Таблицу и ужалит её. На экране монитора билось его испуганное сердце.

Предстояла новая процедура. Петра Дмитриевича раздели догола. Уложили на каталку и помчали по этажам и лифтам. Доставили в операционную, где сильные руки переложили его на операционный стол. Кругом двигались медики в зеленоватых одеждах. Их лица были закрыты масками. Только виднелись брови и зоркие глаза. Над головой Петра Дмитриевича располагался экран, ещё потухший. Агеев надеялся, что, когда начнется операция и в артерию ему введут зонд, на экране он увидит Таблицу. Голому телу было холодно. Ему ставили на грудь присоски, сжимали запястья и щиколотки прищепками. Вгоняли в катетер иглу, вводили раствор.

— Вы меня усыпляете? — спросил Петр Дмитриевич.

— Усыпляют кошек и собак, а вам вводят наркоз, — ответил врач.

Наркоз накатился, как тёплая волна. Он погружался в тёплую ванну. Все внешние впечатления исчезали, и возникали сновидения, какие случались с ним на грани яви и сна.

Он увидел бабушку, её любимое лицо, серебряную голову. Он сидит в детской кроватке, вытягивает голые ножки. Бабушка старается надеть розовые носочки, он шалит, сует ей ногу в лицо, а она не сердится, ловит ногу и целует в пятку. Ещё увидел утреннюю траву в сверкающей росе. Золотые, розовые, голубые искры. Поворотом головы он заставлял дуг переливаться, сверкать. Играл, разбрасывал бриллианты, испытывал несказанное счастье. Вспомнил, как в бледной синеве летела высоко крохотная тёмная уточка, словно стрелка, пущенная чьей-то волшебной рукой. Он смотрел на тёмную стрелочку, запечатлев её до смерти.

Наркоз вымывал из памяти пустой песок, оставляя самородки. Зажёгся экран. Пётр Дмитриевич улыбался, думая, что это сновидение. В надрез на запястье ему вводили гибкий зонд, который пробирался к сердцу, повторяя изгибы артерии. Сквозь зонд в кровь впрыскивали раствор, который превращался в облачко мути, наполнявшей сосуд. Становились видны стенки сосуда.

В полусне Пётр Дмитриевич слышал разговоры врачей:

— Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый...

— Достигая второй космической скорости, мы покидаем орбиту и включаем звездную навигацию.

— Ангел души моей...

— От Советского информбюро...

— Хорошо бы собаку купить.

Пётр Дмитриевич наблюдал скольжение зонда в аорте. Всплывали байки деревенских мальчишек о загадочном волосе, обитавшем в тихой речке. Волос вшивается в запястье, проникает в тело и живёт там, питаясь кровью.

Врачи продолжали переговариваться. Было видно, как под повязками шевелятся губы:

— Есть женщины, сырой земле родные, // и каждый шаг их — гулкое рыданье.

— Я — “Гранит”! Я — “Гранит”! У меня два “двухсотых”! Пришлите “коробку”!

На голубоватом экране возникали тёмные пятна, как на поверхности синеватой луны.

Внезапно появилось сердце. Прозрачное, оно сжималось, расширялось, казалось космическим телом, плавающим в пустоте. Зонд проник в сердце, брызнул мутью. Но вместо чёрного сгустка сердце полыхнуло золотом. Экран засверкал, как алмазный дуг, и во всей божественной красоте возникла Богородица. Воздела руки, обращая ладони к Петру Дмитриевичу. От этих ладоней исходили дивные лучи, касались Агеева. Он целовал лучи, целовал Богородицу. Шептал: “Дево, радуйся”. Это была Таблица, незамутнённая, восхитительная, просиявшая в его сердце, как чудотворная икона.

Пётр Дмитриевич счастливо вздохнул и погрузился в полный сон, где не было ни тени, ни света, а одна пустота.

Он проснулся внезапно, словно его выкинуло из пустоты в явь. Лежал на операционном столе, опутанный проводками и трубками. Экран погас, тускло отсвечивал. Врачи склонились над ним. Их было трое. Они скинули повязки. Их головы почти касались. Они вглядывались в Петра Дмитриевича. На их лицах были усы. Жёсткие, колочей щёткой. Пушистые, переходящие в бакенбарды. Длинные, вразлёт, с загнутыми вверх кончиками. Это были усачи. Это они вгоняли зонд в его аорту. Они добирались до сердца. Они рассматривали золотую Таблицу. Агеев был во власти врагов, которые наполнили его кровь ядовитой мутью, обессилили его, и сейчас ему взрежут грудь, извлекут окровавленное, висящее на плёнках сердце и вырежут из него Таблицу.

Он готовился к мучениям. Но сильные руки перенесли его на каталку, и он, лицом вверх, помчался по коридорам, поднимался и опускался на лифтах, пока не очутился в знакомой палате. Его оставили одного.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В палате смеркалось. Пётр Дмитриевич находился в западне, в окружении врагов. Опасность была смертельна. И он решил прибегнуть к тактике “мёртвого жука”. Жук, застигнутый птицей, которая хочет его склевать, прикидывается мёртвым. Переворачивается на спину, прекращает двигаться. Птица, видя перед собой мертвеца, теряет к нему интерес и улетает. Пётр Дмитриевич затаился, перестал шевелиться, закрыл глаза и стал невидимкой.

Он хотел понять, с какого момента попал под наблюдение врагов и те начали охоту за Таблицей. Тогда ли, когда опубликовал в районной газетке, под рубрикой “Чудаки”, небольшую заметку о Русской Мечте. Или после того, как в другой газете, под рубрикой “Нечто”, поместил свои откровения о Русской Мечте и “русских кодах”, о явившейся во сне Таблице Агеева. Быть может, чьи-то зоркие глаза углядели в этих малых заметках сделанное им открытие. И эти глаза следили за его выступлениями на радио и второстепенных телепрограммах. Усматривали в этих выступлениях утечки об оружии сокрушительной силы, способном изменить ход истории.

На поединке с Эрастом Богоносцевым в программе Бориса Журавлика “Культурное побоище” Пётр Дмитриевич впервые использовал это оружие, сокрушив неприятеля и вернув изнурённым зрителям пушкинское одухотворение.

На вечеринке “Эхос Мундис” все собравшееся множество недругов атаковало Таблицу. Сотни отточенных жал впивались в сердце, стараясь ужалить Таблицу. Это был прицельный огонь, стрелки били в цель на поражение.

Враги наблюдали, как сверкающая Таблица уносила Петра Дмитриевича и космиста Богданова в сияющую лазурь, где Млечный Путь расцвёл садом райских планет. И те же враги спилили одинокую сосну с дуплом, думая, что в дупле спрятана Таблица. Они же убили великого старца, когда тот ночью смотрел на звёзды.

Впервые Пётр Дмитриевич увидел врагов в курильне, куда пригласил его Фаддей. Эти усатые лица в клубах дыма, осторожные выпрашивания о Таблице. Усачи следили за ним в Новом Иерусалиме, подслушали его беседу с отцом Андреем о Русском Чуде. Сожгли чудотворные иконы и убили рыжебородого казака Карпа. Эти трое усачей были опытные агенты, искусные исполнители, но за ними стояли стратеги, стоял целый Центр, о котором поведал ему Фаддей.

Этот Центр находился за океаном и оттуда руководил усачами. Этот тайный стратег организовал публикацию, где Агеев был представлен русским фашистом. Он же приказал убить кота Кузьмича, вырвать из него Таблицу. Петра Дмитриевича облили нечистотами, желая унижить и довести до отчаяния. И теперь, избравив покушение, вызвали сердечный приступ, привезли в клинику, положили на операционный стол. И, по-видимому, предстоит ужасная операция — рассечённая грудь, окровавленное сердце в руке хирурга, сверкающий скальпель взрезает сердце, иссекая из него Богородицу.

Зрелище было столь ужасно, что Пётр Дмитриевич забыл о принципе “мёртвого жука”, дёрнулся и вскричал:

— Богородице, Дево, спаси!

Он принялся искать спасения, уповая на золотую Богородицу, что носил в своём сердце.

Можно прокрасться больничными лабиринтами, выскользнуть. Схватить случайную машину и улизнуть. Но он был без одежды, повсюду дежурили медсёстры, а у выхода стояла охрана.

Можно позвонить в полицию, но полиция, изъеденная коррупцией, могла находиться в сговоре с насильниками.

И вдруг внезапная счастливая мысль осенила его. Фаддей! Его друг, единомышленник, фронтовой товарищ, как и он, собирающий “русские коды”, драгоценные семена русской истории, из которых всколосится дивный урожай. Звонить Фаддею, немедленно!

Пётр Дмитриевич достал спрятанный телефон. Стал набирать номер друга. Дверь в палату открылась, и вошёл Фаддей, в накинутом белом халате, осторожный, чуткий, со своей благородной бородкой. Видимо, угадал, что с Петром Дмитриевичем случилось несчастье, и поспешил на помощь.

— Какое счастье! Фаддей! Я знал, что ты придёшь! На меня напали! Эта чёрная смерть у виска! Но это подстроено! Они расшатали сердце, чтобы достать Таблицу! Их трое, усатых. Ты помнишь, в курильне? Ты их всех раскусил. Они следили в Иерусалиме, хотели спилить Древо познания Добра и Зла, но спилили сосну, тоже древо, но не для Марса, а под Москвой, а для Марса в Зарядье. Там марсианские сны. Но я не об этом! Они убили Кузьмича, он ничего не выдал, как русский мученик. И статья о фашизме, и нечистоты, и теперь эта клиника! Они проникли мне в сердце, хотят достать Таблицу! Будет операция, но ты поспешил на помощь. Ты настоящий друг, Фаддей! Наше афганское братство!

— Ты их видел, своих мучителей? — Фаддей подвинул стул и сел у изголовья Петра Дмитриевича. — Ты уверен, что это они? — В сумерках палаты лица Фаддея почти не было видно. Только белел халат и чернела бородка.

— Они, они! Но они не одни! Они исполнители, боевики, спецназ! За ними кто-то другой! Стратег, теоретик! Он даёт им задания, наводит на цель. Кто он? Не знаю. Здесь ли, в Москве? Или за океаном? Кто этот гнусный стратег?

— Это я, — тихо сказал Фаддей. — Это я стратег.

— Да нет, я не о том! Ты стратег, инопланетянин. Твой дом — метеорит, там твоё место жительства. Я о другом стратеге. Кто убил Кузьмича, направил на меня Бориса Журавлика, даёт задания усачам. Я об этом стратеге!

— Это я, — повторил Фаддей. — Я даю им задания. Я приказал облить тебя нечистотами. Я написал статью о русском фашизме. Я придумал заманить тебя в эту клинику, наблюдал за твоей коронарографией и видел золотую Таблицу!

— Ты? — ошеломлённо воскликнул Петр Дмитриевич. — Зачем тебе?

В сумерках чернела бородка Фаддея, белел халат. И вдруг всё стало проваливаться, меняться местами. Сумрак палаты стал ослепительно белым, а халат Фаддея почернел. Лицо его было чёрное, как у африканца, а бородка сияла серебром. Это был негативный снимок мира. Мир вывернулся наизнанку, и Петру Дмитриевичу казалось, что в его рассудке происходят губительные перемены, и он сходит с ума.

— Я не хотел прибегать к насилию, — Фаддей продолжал оставаться африканцем в чёрном халате. — Я предлагал тебе сотрудничество. Предлагал сложить воедино знание “русских кодов”. У меня есть мои открытия, у тебя Таблица. Мы смогли бы работать в лаборатории над общим проектом. Ты бы ни в чём не нуждался. Вилла на берегу океана. Большие деньги. Лучшая библиотека. Преданные талантливые сотрудники. Ты бы стал великим человеком, Петрусь.

— Что за лаборатория? Что за бред! Что за вилла на берегу океана?

О чём ты, Фаддей? — Агеев тщиля вернуть серебряной бородке Фаддея черный цвет. — Мне не до шуток, Фаддей!

— Петрусь, нас породнил взрыв в Герате, в районе Деванча. Он расколол твой и мой мозг. Мы дети одного взрыва. Твой расколотый мозг был подключён к ноосфере, и тебе во сне открылась Таблица. Я не был подключен к ноосфере. Хотя я тоже видел сны. Мне снились цветущие ивы, я улавливал запахи женских духов. Но вместо Таблицы я видел синюю главку мечети, пыльную бороздку на глинобитной стене, по которой прошлась пулёмная очередь, чёрно-красный взрыв, колыхнувший машину. Я кричал во сне и утром, чтобы не сойти с ума, шёл к океану и плавал один далеко от берега. Мне нужна Таблица, Петрусь.

— Чтобы добыть Таблицу, ты хочешь меня убить? — Пётр Дмитриевич почувствовал, как дрогнуло сердце. Испугался, что возвращается приступ. Но это дрогнула под сердцем Таблица, как плод в чреве матери, который грозились убить.

— Поверь, Петрусь, я не хотел насилия. Я попросил Бориса Журавлика пригласить тебя в программу “Культурное побоище”. Твоя Таблица себя обнаружила, но я не сумел её захватить. На вечеринке “Эхос Мундис” по моему приказу тебя атаковали маги, старались раздробить в твоём сердце Таблицу, извлечь её по частям. И это не удалось. В курильне мой сотрудник Майкл Вякио ловил сачком дым твоей сигары, надеясь поймать Таблицу. Но бабочка ускользнула, осталась золотая пыльца. У метеорита ты совсем было открыл мне своё сердце, хотел передать мне Таблицу, но в последний момент передумал. Оставалось одно — насилие.

— На кого ты работаешь, Фаддей? Кто ты? Лингвист? Офицер? Зачем вернулся в Россию? — Пётр Дмитриевич спрашивал, а сам искал путь спасения. Он уповал на Таблицу, на золотую Богородицу, которая волшебным цветком цвела в его сердце. “Богородице, Дево, спаси!”

— Я работаю в лаборатории Беркли, Петрусь. Подразделение “Рэндкорпорейшн”, в интересах Министерства обороны, Госдепа и нескольких финансовых групп. Не обошла нас стороной и разведка. Подразделение изучает Россию. Мой отдел исследует “русские коды”. Мы называемся отделом “Русской Мечты”.

— Ты охотишься за “Русской Мечтой”? Охотишься за Таблицей? Зачем? — Таблица раскрывала свои золотые крылья. Подхватит Петра Дмитриевича и прыгнет ввысь, к ослепительной Русской Мечте, покидая вывернутый наизнанку мир, чавкающий и чмокающий ультразвук, операционный стол, усы жестоких хирургов и этого странного человека, явленного в его жизнь из “чёрного Космоса”. “Богородице, Дево, спаси!”

— Я вернулся в Россию, чтобы уничтожить Таблицу. Подавить “русские коды”.

— Но ведь в “русских кодах” вся сущность русской истории! Всё величие русской цивилизации! Любовь, красота, образ Небесного Царства, к которому стремится Россия. Тебе мешает образ Небесного Царства?

— Он мешает не мне. Всему миру мешает.

— Как мешает? — Таблица была вихрем, скоростью света. Она подхватит Петра Дмитриевича своей могучей волной, помчит среди лун, светил и волшебных радуг в небесные сады, где ждут его мать и отец, и бабушка протянет ему золотое яблочко. — Чем тебе мешает Россия?

— От России весь мир трясёт. Тысячу лет трясёт. Россия всему миру укоризна. Тащит всех в своё Небесное Царство. А мир упирается, не хочет. А Россия его подгалкивает бердышами, пищалями, дальнобойными орудиями, ракетами “Сатана”. И при этом приговаривает: “Россия — душа мира”. “В России свет Херсонеса”. “Россия — Третий Рим и Новый Иерусалим”. “Российская история — Пасхальное Воскрешение”. И при этом бьёт из пушек во все стороны света.

— Россия — душа мира! Превращает тьму в свет! Жертвует собой за други своя! За это её ненавидят. Посылают нашествия. — Таблица была Девой несказанной красоты. Она накрывала Петра Дмитриевича Своим Белым Покровом, непроглядным для злых очей. Покров был соткан из хлопьев

русского снега, из веток черемухи, лепестков зацветающих яблонь. Агеев был неуязвим под этим Покровом. Не он сберегал Таблицу, а она спасала его.

— Ты спрашиваешь, Петрусь, чем мне досаждают Россия? Россия невыносима для мира. От неё вся тьма. Мир хочет приручить Россию, как приручают диких животных. Присылает в Россию учёных, педагогов, философов. Учит ремеслам, наукам, добрым нравам. Приглашает в семью народов. И, кажется, затея удалась, “Европа — наш общий дом”. Братания, падают “железные занавесы”. “Аполлон — Союз”, академик Сахаров, конвергенция. Но всегда найдётся какой-нибудь старец Филофей, вроде тебя, Петрусь, и снова “Святая Русь”, “проклятый Запад”, “Архипелаг ГУЛаг” и ракеты “Калибр”.

— И чего же ты хочешь, гоняясь за Таблицей? — Пётр Дмитриевич вновь ощутил страх за своё дитя, которое носил под сердцем и за которое был готов сражаться, как малая птица, отгоняющая от гнезда свирепого хищника.

— Хочу спасти мир от России и спасти Россию от самой себя. Россия — сорняк, и её нужно регулярно пропальвать. Но после каждой прополки сорняк вырастает. В 1991 году, когда мы с тобой сбивали надпись на партийном фасаде, и ты держал в руках букву “М”, казалось, что сорняк вырван с корнем. Но этот проклятый одуванчик, “цветок русского рая”, как ты его называешь, снова зацвёл. Твоя Таблица снова воскресит бредовую мечту о Царствии Небесном, и Россия потащит в это чудовищное царство весь мир. Но этому не бывать. Завтра я выну из тебя Таблицу и уничтожу.

— И что ты с ней сделаешь? Что сделаешь с цветком русского рая? Что сделаешь с Василием Блаженным, который и есть цветок русского рая?

— Сначала истолку Таблицу в мельнице, в какой дробят в крематориях кости покойников. Потом эту золотую пыль растворю в серной кислоте. Потом эту серную кислоту заряджу в космический аппарат и отправлю в дальний Космос, откуда никто никогда не возвращается. И мир станет праздновать День избавления от России! — Лицо Фаддея стало беспощадным, железным, как топор. И эта жестокость палача, предвкушавшего казнь, породила в Петре Дмитриевиче жаркую страсть, бесстрашие мученика, готового принять муку за бессмертную веру:

— Найдётся другой человек, которому приснится Таблица. Золотая пыль, которую ты развеешь в Космосе, вновь опустится на землю и превратится в “сон золотой”, в Русскую Мечту. Русским людям во все века снятся “сны золотые”.

— Кому же, кроме тебя?

— Проклову. Он настоящий русский. Я хотел передать ему Таблицу.

— Его “Русскому сообществу”? Каждый из них — карикатура на царя. У одного борода Ивана Грозного. У другого борода Алексея Михайловича. У третьего — Николай Второго. Кстати, это я направил яхту “Дракон”, которая атаковала корабль Проклова. Я сам подбирал старух из числа состарившихся актрис. В молодости они играли комсомолок, партизанок, монахинь, чеховских героинь. Но все согласились в последний раз блеснуть истлевшими телесами!

— Значит, завтра меня положат на операционный стол и зарежут?

— Не скрою. Операция будет мучительной. Последний раз предлагаю: отдай Таблицу.

— Будь проклят, Иуда! — Пётр Дмитриевич плюнул в Фаддея. Плевок оставил в темноте огненную трассу и ударил в Фаддея с металлическим звуком. Фаддей поднялся и вышел. Там, где он сидел, осталась чёрная пустота, из которой дул ледяной сквозняк.

“Завтра казнь, но без боязни // он мыслит об ужасной казни...”

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Пётр Дмитриевич искал пути к избавлению. Он знал, что путь существует. Таблица направляла его этим путём. Этот путь вёл улочками от Сретеньки к Цветному бульвару, к дому с тесным старомодным лифтом, где они

едва поместились с Ириной, и ему стало страшно от того, как близко оказались их губы, гремели ключи в замке, и он хотел, чтобы дверь дольше не открывалась, и дохнула теплом прихожая, в глубине чёрным серебром сверкнуло зеркало. Ну, конечно, Ирина, любимая, ненаглядная, спасительница. Ей передал Таблицу от сердца к сердцу, осьшая её грудь поцелуями. Ирина спасёт!

Петр Дмитриевич набрал её телефон.

— Разбудил? Это я! Извини! Только к тебе одной!

— Что случилось?

— Я в западне! Больница! Немедленно приезжай! Ты спасительница! Сможешь?

— Я еду!

— Я голый! Одежду забрали. Достань одежду! Мужскую!

— У меня нет.

— Купи!

— Сейчас ночь, магазины закрыты.

— У соседей! Домашний халат! Придумай! Возьми такси!

— Куда же мне ехать?

Пётр Дмитриевич продиктовал Ирине номер больницы и палаты, веря, что она не заплутает в ночной Москве. Навигатором ей будет служить Таблица, оттиск которой она носит в своём сердце.

Ночь текла. В тёмной палате слышались невнятные шорохи, глухие постукивания. Это в соседних палатах дышали, стонали во сне. За окном в черноте горела оранжевая дуга Кольцевой дороги, летели бессчётные огни. Оранжевая аорта гнала кровоток, омывающий громадный город. Сердце Петра Дмитриевича чувствовало пульсацию ночного города.

Агеев понимал, что случилась катастрофа. Он, мечтавший осчастливить и спасти этот мир, не понимал устройства этого мира. Не понимал, как устроена власть, кто является мнимым правителем, а кто, укрывшись в тени, подлинно управляет государством. Является ли президент главой, или за ним стоят могущественные олигархи, отобравшие у народа заводы, рудники, нефтяные поля и оставившие народу унижительные развлечения, ядовитые телешоу, лживые проповеди. Своей Таблицей не внесёт ли он в народную жизнь ещё больше разочарований и стонов?..

Начинало светать, когда дверь палаты приоткрылась, и Ирина проскользнула, держа в руках сверток.

— Наконец-то, милая! Спасительница моя!

— Почему ты здесь?

— Потом! Принесла одежду?

— Одежда брата. Он на Урале, иногда приезжает. Примерь.

Рубаха была узковата, брюки коротки, пиджак теснил, башмаки жали. Носков не было вовсе. Пётр Дмитриевич облачился.

— Как ты прошла?

— Через чёрный ход. Такси ждёт.

— Богородице, Дево, радуйся, Господь с Тобою!

Они прокрались коридорами. Через чёрный ход вышли и оказались в больничном сквере. Снаружи поджидало такси. И скоро они мчались по утренней Кольцевой, и Пётр Дмитриевич чувствовал, как удаляется опасность, тает вдалеке клубок тьмы.

Он не мог воспользоваться своей машиной, брошенной на стоянке у магазина. У него не было прав и ключей — всё осталось в больнице. Таксист привёз их в загородный коттедж Агеева, и они с Ириной оказались среди деревьев, которые желтели под утренним небом. Любимые деревья были преградой злу. Обожаемая женщина, спасительница, стояла на пороге его дома. Петру Дмитриевичу хотелось, чтобы её появление в доме было торжественным, чтобы деревья приняли её, как родную. Он взялся знакомить Ирину с деревьями, представлял её берёзам, дубам и клёнам.

— В эту сосну, мне кажется, вселилась душа моей мамы. Вижу её лицо, целую, чувствую запах её духов.

Он подвёл Ирину к сосне. Ирина тронула хвойную ветвь, погладила серебристые иглы. Ветка дрогнула от нежного прикосновения. Сосна приветствовала появление Ирины. Он подвёл Ирину к клёну. Клён горел сырым золотом, будто в кроне пряталось солнце. Листья опадали, подножье дерева было усыпано резной листвой.

— А в этом клёне живёт душа папы. Я веду с ним разговоры, и он мне отвечает, одаривает своими древесными мыслями. Иногда я слышу, как он ночью переговаривается с мамой.

Ирина тронула кленовую ветвь. Положила себе на ладонь резной, горячий золотом лист и поцеловала. Лист отпал от ветки и остался у неё на ладони. Пётр Дмитриевич подумал, что отец, одарив Ирину листом, благословил её появление.

Две берёзы росли из одного корня. Их поредевшие, потерявшие половину листы вершины качались от ветра.

— Круглый год я вижу эти берёзы в окно. Зимой они серые, горючие, в них свистит ветер. Но ранней весной вершины розовеют, и кажется, в окне стоит розовый дым. Этот розовый дым превращается в изумрудный туман. А потом свежая зелень застилает окно. Я слышу чудесный аромат маленьких клейких листьев. Во время ливня я встаю под берёзы, и они льют на меня из своих зелёных водостоков воду, пахнущую небом. На эти берёзы любят садиться сойки. Я называю берёзы “две сестры”.

Ирина пошла к берёзам, коснулась белых стволов. Пётр Дмитриевич подумал, что она породнилась с берёзами, и произнёс:

— Теперь ты и берёзы — три сестры.

Они вошли в дом. Пётр Дмитриевич водил Ирину по комнатам, чтобы она наполнила их своей женственностью. Пусть дом узнает её, примет. Её душа поселится в доме и больше не покинет его.

Он подвел её к фотографии, на которой мать и отец нежно прижались друг к другу, прекрасные в своей молодости и любви. Открыл дверцы заповедного шкафа, чтобы она вдохнула запах горького миндаля и коснулась книг, что были прочитаны им в молодые годы. Показал реликвии, привезённые из дальних странствий. Икону Николая Угодника, обгорелую и облупленную, найденную в Карелии в разорённом храме. Белый моржовый бивень с резьбой, украшенный самородками, — подарок, полученный на Колыме. Дагестанский, в золочёных ножнах, кинжал, изделие мастеров-оружейников.

Пётр Дмитриевич угощал Ирину чаем. Поставил перед ней синюю чашку из старинного бабушкиного сервиза с золотым ободком, стёртым от прикосновений множества губ. Любовался, как она касается губами золотой полустёртой каёмки, приобщаясь к родовым чаепитиям. Дом, наполненный её женственностью, тихо светился.

— Хочу, чтобы ты оставалась в моём доме. Не уходила.

— Останусь в твоём доме. Возьми вот это. — Ирина достала серебряный медальон на цепочке. — Открой!

Пётр Дмитриевич принял медальон, раскрыл. В медальон был вправлен портрет Ирины, маленькая фотография её прекрасных глаз, пушистых бровей, розовых губ.

— Дарю тебе. Пусть будет в твоём доме.

Пётр Дмитриевич поцеловал медальон и отнёс туда, где находился портрет мамы и папы, положил перед драгоценной фотографией. Теперь они были рядом, три любимых человека, живущих в его доме.

— Ты можешь мне рассказать, что случилось? Как ты оказался в больнице?

— Это Фаддей. Он из железного метеорита. Он дитя “чёрного космоса”. Дитя ядовитого дыма.

— Фаддей Аристархович? Ведь он твой друг!

— Он друг того, кто с рогами, копытами и крысиным хвостом.

— Вы вместе воевали, вас ранил один и тот же взрыв.

— Взрыв разметал нас по разным углам Вселенной. Мне досталась Таблица, образ Пресвятой Богородицы. Ему достался железный метеорит, прилетевший из “чёрной дыры”.

— Но Фаддей Аристархович так любит тебя. Называет святым. Только святым во сне может явиться такое откровение, как Таблица. Это святое учение.

— Я не святой, не праведник. Таблица дана не мне, а русскому народу. Я только хранитель, страж. Когда появится великий русский правитель, я передам ему Таблицу, и он совершит чудо русского воскрешения.

— Фаддей Аристархович — враг русского воскрешения?

— Не хочу об этом. Как-нибудь позже. Ты говорила, что я спас тебя, вытащил из проруби. Теперь ты спасла меня, вытащила из “чёрной дыры”. Мы не должны разлучаться. Оставайся со мной. Осень и зиму мы будем вместе писать труд о “русских кодах”. А весной уедем на Волгу. Поплывём по “реке русского времени”. К Волге на водопой сошла вся русская история. В Угличе пресеклись Рюриковичи. В Костроме поднялись Романовы. В Казани через слёзы и кровь породнились татары и русские. Нижний Новгород спас Москву от поляков и дал дорогу новой династии. В Симбирске Керенский сокрушил Романовых. В Симбирске родился Ленин, строитель “красного царства”. В Сталинграде решилась судьба человечества. Мы поплывём на теплоходе по Волге. Будем выходить в городах, жить среди башкир и чувашей. Мы отыщем великие “вожские коды”, которые управляют падением и рождением царств. Таблица, как ковчег, повлечёт нас по вожским волнам.

Ирина поднялась, подошла к нему. Гладила ему волосы. Он закрыл глаза. Она целовала его глаза, и он сквозь закрытые веки видел её грудь, маленькую родинку на плече, босые стопы, спинку кровати, её близкие колени и поднятый подбородок, и упавшие на плечи волосы. А потом ничего не видел в счастливой слепоте, пока не полыхнула жаркая волна, омыла дом, все его уголки, тёмные сучки в потолке, светильник, собранный из разноцветных стекол. Любимая женщина поселилась в доме, чтобы больше его не покидать.

После бессонной ночи они спали, обнявшись, и золотые берёзы смотрели на них сквозь окно.

К вечеру Ирина уехала, и Агеев счастливо ходил по комнатам, целовал серебряный медальон, смотрел на подушку с отпечатком её головы.

К нему прибыл посыльный. Передал матерчатый саквояж. В саквояже была одежда, оставленная им в больнице, паспорт, права и ключи от машины. К вещам была приложена записка:

“Дорогой Петрусь, не оставляю надежду на сотрудничество. Твой брат по взрыву Фаддей”.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Утром Петра Дмитриевича потревожил звонок. Голос, мерный, отшлифованный в своих интонациях, произнёс:

— С вами говорят из секретариата Государственной Думы по поручению председателя. Вадим Илларионович хочет с вами встретиться и, если можно, сегодня в тринадцать часов. Что мне доложить председателю?

— Конечно, приеду. Большая честь для меня.

— Тогда, пожалуйста, номер машины. Вход не общий для всех, а там, где проходят лидеры фракций. Вас встретят.

Приглашение было неожиданным и обещающим, особенно после злоключений минувшего дня. Время, которое он проживал последние недели, было подобно синусоиде, и он качался на волнах, взлетал и рушился.

Здание Государственной Думы на Охотном ряду было огромным каменным футляром, хранящим хрупкую нервную плоть государства. Было черепом, содержащим чуткий дышащий мозг. Бесчисленные волокна соединяли эту плоть с народами, землями, языками, из которых соткана неповторимая непомерная необъяснимая Россия. Она управлялась не человеческими разумениями, а снами, являвшимися в сознании русских правителей. Дума, издающая законы, видела сны, которые обрывались в дни великих пробуждений, когда разбуженные народы начинали крушить доставшееся им государство.

Так думал Агеев, приближаясь к Думе. Перед главным входом толпились люди, отчаявшиеся просители, исповедники непризнанных идей, творцы неосуществимых проектов. Стояли в ряд чёрные дорогие автомобили, надменно сверкая металлом. Из Думы появлялся депутат, ещё в полусне, во власти галлюцинаций, с отпечатком электронного табло на лбу. Некоторое время, не веря своему пробуждению, смотрел на дождливое небо, на гостиницу “Москва”, на несущийся ливень машин. Шёл к автомобилю, погружая в салон своё дородное тело, и мчался, пылая синей вспышкой, на встречу с деловым партнёром, в политический клуб или в ресторан к любовнице, которая будет ему отдушиной среди изнурительного бытия.

Агеев поставил машину у служебного входа. Вошёл сквозь тяжёлую дверь и оказался в вестибюле, среди гранита и мрамора. Постовой проверил паспорт, пропустил сквозь игольное ушко металлоискателя, и вежливый человек, строгость и вкрадчивость которого выдавали в нём аппаратное лицо, провёл Петра Дмитриевича к председателю Думы.

Председатель Думы Вадим Илларионович Крамской имел широкое безбровое распаренное лицо, как у любителя бани после третьего пара. Лицо розовое, с испариной, все поры открыты, дышали, а глаза голубые, влажные, исполнены детской благодати. Можно было подумать, что Вадим Илларионович только что покинул банный зал, где триста депутатов голыми сидели на каменных лавках, пропуская над собой огненного змея.

Однако разговор, который повёл Вадим Илларионович, был вполне строг и даже суров. Сидя под государственным флагом Российской Федерации, за столом, сплошь заваленным бумагами и папками, он спросил:

— В одной из ваших статей не без интереса прочитал о “сокровенной власти”. Могли бы вы пояснить, что подразумевали под этим понятием? — Глаза председателя были младенчески-ясными и безгрешными, но едва ли с этой наивной кротостью можно было управлять тремя сотнями дерзких и своевольных честолюбцев, именуемых депутатами Думы. Для этого требовался жезл железный, и Агеев, исподволь оглядывая дорогой кабинет с портретом президента, хотел отыскать этот пасторский жезл, оббитый о спины строптивой паствы. — Что значит “сокровенная власть”?

— Видите ли, Вадим Илларионович, — начал осторожно Пётр Дмитриевич, стараясь не спугнуть высокого чиновника суждениями, которые вполне могли сойти за фантазии и испортить многообещающую встречу, — русские правители, будь то князья, цари или вожди, создали государство в двенадцать часовых поясов. Они использовали для этого батальоны, казну, дипломатию. Посылали за Урал Ермака, направляли Скобелева в Бухару, а Ермолова в Дагестан. Всё это была явная власть. Но была и неявная, сокровенная. Правители знали “русские коды”, которыми управлялся народ, сражался, трудился, терпел, искал благодать, верил в чудо, искал бессмертие. Сочетая власть видимую и невидимую, русские правители создавали царство, сберегали его в час беды, возвышали и выстраивали в час цветения.

Крамской похлопал губами, словно пробовал на вкус услышанное:

— Вы хотите сказать, что владеете этими “русскими кодами”? Вам место в Кремле, рядом с президентом, в числе его ближайших советников?

— Быть может, я смогу быть полезен президенту. Таблица Агеева содержит “русские коды”. С их помощью русскому народу можно вернуть Мечту и совершить возрождение России, о котором много сказано и которое так и не наступает.

Он усомнился, не слишком ли самонадеянно высказался и не прозвучал ли в высказывании упрёк властям за невыполненные посулы?

Вадим Илларионович молчал, думал, поглядывал на портрет президента, который смотрел чуть сбоку с хитрым выражением глаз.

— А как вы относитесь к Конституции? — Крамской умел обескуражить собеседника вопросом, и это удалось ему в полной мере.

— К Конституции? К какой? — смутился Пётр Дмитриевич.

— Ну, разумеется не к Сталинской, а к нынешней!

— Сказать вам откровенно, Вадим Илларионович?

— Разумеется. Иначе зачем мы встретились?

— Эта Конституция стреляла в меня из танков. Эта Конституция чмокала пулями в Останкино, и я кинул в неё бутылку с бензином, но промахнулся. Эта Конституция подожгла Дом Советов, и жених и невеста, обвенчавшись на баррикаде, сгорели в пожаре. Мой приятель приднестровец Кукушка взял икону и пошёл навстречу стреляющим танкам, и был сражён пулемётом. Эта Конституция гналась за мной, когда я убежал из проклятой Москвы, а она смотрела на меня из прорезей чёрных масок. За что мне любить Конституцию, у которой из каждой строки торчит танковая пушка?

Пётр Дмитриевич решил, что Вадим Илларионович взорвётся гневом, укажет ему на дверь. Но председатель Думы посмотрел на портрет президента, на лисье выражение его лица и произнёс:

— Но всё-таки благодаря этой танковой Конституции президент построил новое государство, вооружил его, вернул на мировую арену, сбросил американскую пятерню с русского плеча. Надо быть справедливым.

— Я справедлив, Вадим Илларионович. Вот только жаль погибшего приднестровца Кукушку.

Крамской помял губами слово “кукушка”, проглотил, подвигав кадыком.

— Сейчас в истории государства Российского наступает новый период. Мы затаеваем долгожданное развитие. Двинем страну вперёд. Нам нужно вдохновить народ, вернуть, как вы говорите, народу Мечту. Использовать “сокровенную власть”. Для этого я вас пригласил.

— Как вы думаете мной воспользоваться, Вадим Илларионович?

— Вы бы могли написать новую Конституцию?

— Я? Но я не юрист, не законник!

— У нас немало законников и юристов. Они будут вам подспорьем. Но вы напишете Конституцию, состоящую из сокровенных заповедей.

— Конституцию Русской Мечты?

— Да, Конституцию Русской Мечты, с которой мы начнём наше русское возрождение! Оживим наши увядшие города и деревни. Пойдём в Арктику. Полетим в дальний Космос. Напомним народу, что он самый сильный, добрый, отважный народ. Народ Мечты!

Агеев был поражён. Всё, о чём мечтал, что казалось несбыточным и было готово умереть вместе с ним, так и не дождавшись чудесного русского воскресения, — всё вдруг начало сбываться. Этот безбровый человек с розовым лицом и глазами младенца казался величественным государственным, принадлежал к плеяде великих русских деятелей.

— Уже сейчас, сию минуту я могу нарисовать проект Конституции Русской Мечты! — заторопился Агеев.

— Я слушаю вас, Пётр Дмитриевич. — Крамской приготовился слушать, а вместе с ним слушал президент на стене со своим хитроватым взглядом.

— В основе Конституции Русской Мечты лежит уложение, утверждающее, что народ в своей тысячелетней истории стремится к Царствию божественной справедливости, где нет угнетения, а только любовь, где нет смерти, а жизнь вечная, где цветок луговой и звезда небесная знают и любят друг друга.

Крамской взял лист бумаги, ручку. Агеев подумал, что председатель, не доверяя памяти, решил записать прозвучавшую мысль. Но вместо записи Вадим Илларионович нарисовал еловую шишку. Было видно, что рисует он шишку не в первый раз — так ловко были изображены на шишке чешуйки.

Агеев не стал задавать вопроса, при чём здесь шишка, и продолжал:

— Основной обязанностью и правом народа является возыскание этого царства как высшего смысла народного бытия, что и закреплено в Конституции Русской Мечты.

Вадим Илларионович кивал, подавая знак, что мысль дошла до него. Кивая, ловко, единым росчерком, нарисовал самовар. Пётр Дмитриевич хотел угадать, коим образом самовар сочетается со возысканием благодатного царства. Но прямой связи не находил.

— Образом этого царства является Священная Победа, в которой силы ада попираются силами рая. В основании Государства Российского лежит идеология Победы, делающая само государство носителем святости.

Вадим Илларионович нарисовал птицу, по виду, голубя, держащего в клюве ромашку. Нарисовав свою композицию, он посмотрел на портрет президента, словно хотел убедиться, что смысл рисунка понят главой государства. Агееву казалась странной эта манера председателя слушать серьёзные мысли и сопровождать их легкомысленными изображениями.

— Способность русского народа принимать на себя мировую тьму и превращать её в свет есть обязанность, вменённая народу Творцом, что и записано в Конституции Русской Мечты как священное бремя русских.

Вадим Илларионович кивнул и нарисовал крокодила с зубатой пастью и изогнутым хвостом. Заметив изумление Петра Дмитриевича, пояснил:

— Я постоянно боюсь утечек и просушек. Эти рисунки — тайнопись, которой владеют всего несколько лиц, в том числе президент. Я доложу президенту о нашей встрече и присовокуплю к докладу эту запись. Продолжайте!

Пётр Дмитриевич восхитился этой изощрённой манерой изъясняться с помощью иероглифов и продолжал:

— Стремление к Победе чревато поражениями, и народ, потерпев поражение, вновь восстаёт из пепла, возрождается и стремится к Победе. Суть русской истории есть Пасхальное Воскрешение, что закрепляется в Конституции Русской Мечты как право народа на воскрешение.

Завонил телефон, один из тех, что теснились на столике, свесив шнуры. Председатель снял трубку. Приложил палец к губам, кивнул на портрет, и Пётр Дмитриевич понял, что звонит президент.

— Да, шишка, Максим Тимофеевич. Да, самовар. Хотя возможен и столовый нож. Но это же не мои идеи. Что касается меня, я бы видел не голубя, а дятла, и не ромашку, а василёк. По итогам я вам доложу. Всё будет зависеть от половника или гуся. Спасибо, Максим Тимофеевич.

Председатель положил трубку:

— Президент заинтересован в нашей встрече. Возможно, в скором времени вы получите приглашение в Кремль.

Агеев был вдохновлён. Долгожданная встреча с президентом, которому он мечтал передать Таблицу, казалась возможной. И он был готов изучить тайнопись и иероглифику, чтобы изъясняться с президентом на его языке.

— Продолжайте, Пётр Дмитриевич, — поощрял его председатель.

— Обретение Царства Небесного даётся великими трудами, что делает труд священной обязанностью и правом народа, стремящегося в Небеса.

На листке Вадима Илларионовича появился белый гриб.

— Оборона Небесного царства от тьмы побуждает народ к жертвенности и героизму, делает русское оружие святым оружием Победы.

Крамской нарисовал жука, и это неприятно поразило Агеева. Вернулись воспоминания минувшего дня и страхи, побудившие его принять позу “мёртвого жука”. Однако неприятные воспоминания уступили место надеждам, и он продолжал говорить, желая быть понятым:

— Русская история есть непрерывное проявление Чуда, когда народу в его одолении тьмы приходит на помощь Господь, делающий русскую историю проявлением божественной воли, что находит своё воплощение в Конституции Русской Мечты.

Чудо на этом таинственном языке, ведомом лишь высшим чинам государства, изображалось в виде крылатой рыбы, причём крыльев было восемь, так что рыба не могла сойти за серафима. “О, рыба, отроешь ли мне своё имя?” — обратился Пётр Дмитриевич к морскому диву и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Устройство государства Российского, деятельность его институтов, полный перечень гражданских прав и обязанностей исходят из упомянутых постулатов и могут меняться в зависимости от эпох, сберегая свою неизменную божественную сущность. Я кончил, Вадим Илларионович!

Председатель нарисовал лист папоротника и молча стал смотреть на Петра Дмитриевича.

— Ну как? — спросил Агеев, страшась услышать слова осуждения.

Вадим Илларионович молча смотрел, дыша всеми порами распаренного лица, а потом поднялся, приблизился к Петру Дмитриевичу и расцеловал троекратно, окружив запахами бани и берёзовых веников:

— Молодец вы наш! Будет что показать президенту!

— Но ведь это всё не окончено! Вы меня застали врасплох.

— Ничего, у вас будет время подготовиться. Отправим вас в чудесное место. Сосновый бор, озеро, чудесный дом, камин. Запрётесь там на всю осень и зиму и напишете Конституцию Русской Мечты. Никого! Только белки! Дрова в камине, музыка. Связь со всеми библиотеками мира. Согласны?

— Могу ли я взять с собой помощницу?

— Конечно! Снег, камин, лёгкое вино, помощница! — Глаза Крамского сияли, как у младенца, который видит новогоднюю ёлку. — Не откажите в любезности. Хочу представить вас депутатам Государственной Думы!

По тяжеловесным коридорам они прошли в зал заседаний, где шло обсуждение какого-то закона, кажется, о платных парковках. Ничтожность закона, его несопоставимость с Конституцией Русской Мечты объяснили Петру Дмитриевичу унылый вид депутатов. Они были скучны, сонны, исполнены небрежения и равнодушия, им наскучило многолетнее сидение в зале и бессмысленное нажатие кнопок, которое отражалось на электронном табло, но не на положении в стране, где дела становились всё хуже и хуже. С такими депутатами страна не могла начать долгожданное преобразование. Они не могли повести народ к Мечте.

— Коллеги, — произнёс председатель, — хочу представить вам известного философа и историка Петра Дмитриевича Агеева, которому во сне явилась чудесная Таблица. В этой Таблице есть всё, что нужно народу для свершения трудовых и ратных подвигов. Пётр Дмитриевич, скажите несколько слов депутатамскому корпусу!

Депутаты смотрели на Агеева равнодушно, устало, готовясь выслушать несколько никчёмных слов, чтобы тут же их забыть. Пётр Дмитриевич некоторое время молчал, озирая пресыщенных погасших людей, для которых ничего не значил. А потом подключил Таблицу к сердцу, кровь жарко хлынула на золотое табло, зажгла его, так что свет полетел по рядам, передаваясь депутатам “от сердца к сердцу”. Каждый оживал, озарялся, изумлённо раскрывал глаза, и казалось, в зале открылся сияющий свод, сыпались бесчисленные хрустали, изливались стоцветные радуги.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Удача была несказанная. Мечта увидеть президента, передать ему Таблицу, участвовать в великом проекте русского возрождения, — эта мечта сбывалась. Он уедет на уединённую государственную дачу в заповедном бору и там, среди снегов, на берегу ледяного озера станет писать Конституцию Русской Мечты. И с ним будет его любимая, его избавительница, его сподвижница Ирина. Днём они станут работать над Конституцией, насыщая её “русскими кодами”, а вечером будут сидеть у камина, пить вино, слушать музыку, а за окнами будет шуметь восхитительный зимний буран.

Пётр Дмитриевич ещё по дороге из Думы стал звонить Ирине, но она не откликнулась. Он покружил по Москве, желая облюбовать место, где они могут пообедать и он расскажет Ирине о своём небывалом успехе.

Агеев звонил, но ответа не было. Он звонил целый день. Звонил, вернувшись домой, но Ирина не отзывалась. Стало тревожно. Зловещий Фаддей мог мстить Ирине за её участие в победе Петра Дмитриевича. Эта мысль испугала Агеева. Он продолжал звонить, посылал электронные сообщения. Не выдержал и поехал в город.

Москва была в чёрном дожде, шипела, взрывалась огнями, ветер лепил к лобовому стеклу кленовые листья.

Пётр Дмитриевич оставил машину на стоянке у Сретенки и пошёл дворами к дому Ирины. У ампириного особняка с жёлтым озарённым фасадом на него ринулись свирепые овчарки. Прыгали на стальную изгородь, хрипели, лязгали клыками, провожали ненавидящим лаем. Знакомый двор был залит дождём. Среди тусклых желтоватых окон окно Ирины было погашено. Пётр Дмитриевич ждал во дворе среди детских качелей и лесенок, промок, огорчённый и встревоженный вернулся домой.

Весь следующий день звонил непрерывно. Ирина молчала. Он обратился в полицию, но там предложили подождать три дня и лишь после этого начать поиски.

Агеев сидел в ресторанчике “Восточный дворик” на съезде к трём вокзалам и обречённо попивал вино. Мимо сновали расторопные черноглазые официанты, разнося шашлык, азиатскую зелень, душистые лепёшки. Пётр Дмитриевич названивал Ирине, не надеясь услышать ответ. Но вдруг телефон отозвался. Голос Ирины был глухой, низкий, как у больной.

— Что случилось? Где ты была? Почему не отвечала?

— Не могла.

— Как не могла? Я с ума сходил. Дежурил под твоим окном.

— Я видела.

— Как видела? Почему не вышла?

— Не могла.

— Объясни! Не мучай меня! Почему ты скрываешься?

— Мы не должны видеться.

— Вздор! Приезжай сейчас же и объясни!

— Мы не должны видеться.

— Сейчас же приезжай, слышишь? Я требую!

— Ты где?

— В “Восточном дворике”. В двух шагах от тебя!

— Я приеду.

Она вошла, и лицо её казалось чёрным, стиснутым, будто его держали в тисках, с провалившимися глазами и опущенными углами рта. Она сутулилась, не знала, куда девать руки. Села перед ним, смотрела чёрными невидящими глазами.

— Ира, милая, любимая, что случилось? Кто напал на тебя?

Она молчала, губы дрожали, в глазах был страх.

— Ты не должна бояться, родная. У нас всё хорошо. Я был на приёме, обласкан. Нам выделяют прекрасный дом, деревянную лесную дачу. Сосны, белки, заячьи следы на снегу. Озеро ледяное, ветер сдувает снег, и лёд сизый, как оперенье голубя. А голубь, ты знаешь, с ромашкой, хотя мог быть дятел с васильком. Такой благородный человек, как банщик, с розовым лицом, и сам президент позвонил, а он ему “шишки”, “самовар”, “крылатая рыба”. Это тайные знаки, иероглифы власти. Мы будем писать Конституцию Русской Мечты! — Агеев говорил и не мог остановиться. Знал, что если остановится, то случится ужасное, непоправимое, и надо не дать этому ужасному проявиться. — Вечерами, представляешь, камин. Дрова, золотые угольки. Мы пьём вино, какое закажем. “Шабли”, или “Шардоне”, или грузинское “Цинандали”. А за окнами бушует буря, а нам так чудесно вдвоём!

— Ты не должен видеть меня. Я тебя предала. Меня к тебе подослала.

— Подожди, не об этом. Ты спасла меня. Мои деревья тебя полюбили. Мама, я видел, протянула тебе свою серебряную хвою. Папа подарил тебе золотой лист, и ты поцеловала его. Ты вошла в мой дом, и дом тебя принял, полюбил. Ты хозяйка дома!

— Меня подослал к тебе Фаддей. Велел шпионить за тобой, выведывать про “русские коды”. Велел похитить Таблицу, от сердца к сердцу. Он следил за нами, когда мы сидели в “Зарядье”, когда обедали в турецком ресторане с медными быками.

— Не может быть! Это невозможно!

— Он запер тебя в клинике и пугал операцией на сердце. Знал, что ты позовёшь меня на помощь. Это он передал рубаху, пиджак и брюки. Нет никакого брата на Урале! Не было проруби, из которой ты меня спас! Всё придумал Фаддей! Я мерзкая, гадкая! Подсадная утка! Ты должен испытывать ко мне отвращение! Прогони меня, ударь! Я гнусная, омерзительная!

Пётр Дмитриевич чувствовал, что сейчас упадёт. Пол кривился, как палуба, со стола летели тарелки, вилки, бутылка вина, бокал. Пётр Дмитриевич падал, стараясь зацепиться за скатерть, за светильник, но они скользили и падали. Он чувствовал, что Таблица, которая сияла в сердце, превратилась в чёрное железо, в метеорит, и оттуда дул ледяной сквозняк:

— Уйди! Ненавижу! На тебе весь ужас и скверна мира!

Агеев, захватив в кулак скатерть, упал под стол. Ирина что-то кричала. Официант держал на ладони поднос с соленьями, склонился к Петру Дмитриевичу.

Пётр Дмитриевич бежал по Москве, и мир, в котором он перемещался, был рваный, в нём возникали прорехи, в этих прорехах исчезала материя, память, он проваливался в чёрную пустоту, в беспомыслие. И снова выныривал в свет, в знакомые очертания города, в несчастье, которое с ним случилось. Он помнил, что пересёк площадь Трёх вокзалов с ревущей гущей машин и знакомыми силуэтами привокзальных зданий. Следовал провал, он погружался в прорубь и всплывал в другом месте города, у театра Российской армии, у каменной нелепой звезды, плутова в её колоннадах. Снова провал, тьма, выпадение из мира, его несло в чёрных донных потоках, пока вновь не выкидывало на Садовой, возле “Пекина”, у памятника Маяковскому, льдистому от дождя. Пётр Дмитриевич был в рваном мире, и этот мир разорвала женщина, которую он любил, и он испытывал страдание, неведомое прежде, приготовленное ему на самый конец жизни. В этом мире не стоило жить. Мир не был приспособлен для жизни, не подлежал преобразению, не нуждался в Таблице. Не было иглы и дратвы, которыми можно было залатать чёрные дыры мира. Пётр Дмитриевич хотел провалиться в очередную прорубь, чтобы больше не всплывать, чтобы мёртвые воды унесли его в вечную тьму.

Он шаркал по мокрому асфальту у Зубовской площади. Лица встречаемых прохожих были похожи на бесформенные сырые пельмени. Другие прохожие его обгоняли, и он видел их поднятые воротники. Лицо встречной женщины, расплывшееся и туманное, вдруг прояснилось, на лице появились глаза, рот, нос, и это внезапно прояснившееся лицо показалось Агееву знакомым. Оно опять слиплось, наполнилось мутью, но ему захотелось его рассмотреть. Женщина прошла мимо, он обернулся, и женщина обернулась, словно лицо Агеева тоже показалось знакомым.

Женщина стояла, будто ждала Петра Дмитриевича. Тот подошёл:

— Извините, мне кажется, я вас где-то видел. Я могу ошибаться. — Женщина улыбалась. Она была не молода, но в её утомленных глазах, полных щеках, лёгких морщинках у рта сохранялась женская сила, тяжёлая красота. — Мне кажется, я вас где-то встречал.

— И я вас где-то видела. — Женщина улыбалась, и по этой улыбке Пётр Дмитриевич понял, что она узнала его, но не спешит признаться ему в этом.

— Где мы виделись? — Он мучился, не мог вспомнить.

— А ты вспомни, Петенька, как мы целовались, и всю ночь пели соловьи.

— Боже мой. Вера! Ты? Не узнал!

— И ты изменился, Петенька. Время не красит.

— Где ты теперь? Куда идёшь? — Это была она, та самая Вера, которая вдруг объявилась в деревне, где он работал лесником, ютился в избушке у тёти Поли, и Вера пришла в вечерний клуб, где хрипел проигрыватель и танцевали пары, не снимая пальто, и они танцевали с Верой, и её грудь не помещалась в расстёгнутой блузке, и на пальце блестело обручальное колечко, и они шли по пустынному мокрому шоссе, и пахло талой землёй, первыми лесными цветами, по реке в тумане плыл размытый огонь, слышались неразборчивые голоса рыбаков, и она повторяла: “Боги! Русские боги!” У пустой автобусной будки он обнял её, пробираясь губами к её груди, и она помогла ему, расстегнула пальто.

— Боже мой, Вера! Ты уехала, не простившись. Неужели и теперь так же расстанемся?

— Я тороплюсь.

— Ну хоть полчаса! Здесь есть кафе. Расскажешь, как жила!

В кафе они сняли пальто, Вера поставила на пол большую сумку. Пили кофе, ели ягодный торт.

— Ты помнишь беседку, где я тебя ждал, и ты принесла мне букет черемухи?

— Хозяйка твоя, тётя Поля, поймала меня на улице и отчитала. Дескать, мужу напишет, что с тобой гуляю.

— А помнишь, как лежали на сене, а ночью гуси летели и гоготали?

— Ты мне все какие-то стихи читал, а мне целоваться хотелось.

Агеев вспоминал, как с Верой лежали на сеновале под крышей, а в ночи, невидимые, летели гусиные стаи, а в стойле вздыхала лошадь, и Вера наутро искала в сене серёжку и не могла отыскать.

Пётр Дмитриевич пережил страшную беду, оказался в разорванном мире и сейчас спасался, не отпуская от себя эту женщину. Стремился туда, где был молод и свеж, и красивая женщина любила его, и они шли по пустому шоссе под морозящим дождём, и рядом, на невидимой реке плыл волшебный огонь, вёл их туда, где он остановил её, сильно привлёк к себе, и была холодная лавка, и её тёплые голые ноги, и потом они молча возвращались обратно, и в нём была такая нежность, сила, такое счастье...

— Ах, как хорошо было бы нам оказаться на той дороге, увидеть туманный огонь, — произнёс Пётр Дмитриевич.

— Хорошо, — сказала Вера.

— Как ты живёшь? Муж, дети?

— Муж погиб. Он был военный. Где-то в Чечне. Детей нет. А ты?

— Как перст. Мы с тобой два перста. Наколдовать бы, чтобы всё вернулось обратно.

— Я колдунья. Могу попробовать.

— На картах гадаешь?

— Поклоняюсь русским богам.

— Это как же?

— Русские боги — Сварог, Стрибог, Велес, Ярило, Мавка, Берегиня, Домовой, Водяной. Им служу, а они помогают.

— Язычница, что ли?

— Можно и так сказать. Служу русским богам.

— Как же ты служишь?

— Вот ты меня задержал. А я в рощу ехала. Везла богам подарки. Вон сумка полная.

— А где твоя роща?

— Есть березняк под Домодедовом. Сейчас туда поеду.

— Возьми меня!

— Тебе зачем? Ты русских богов не знаешь.

— Я русский, знаю русских богов. Возьми!

— Поедем!

Петру Дмитриевичу было необходимо с ней оставаться. Он боялся её отпускать. Через двадцать лет, что они не виделись, она появилась в час непомерной беды, словно кто-то вызвал её из небытия, чтобы он не погиб, не провалился в чёрный провал. Если она вдруг уйдёт, то возникнет провал, и он ухнет в мёртвую прорубь.

— “Русские коды” — это “русские боги”. Не уходи, останься со мной! — умолял он беззвучно.

Несколько часов назад женщина, которую любил, которую обрёл в скитаньях, в многолетних ожиданиях счастья, растерзала в клочья его незащищенную жизнь. И другая женщина, явленная через множество лет, сшивала разорванные лоскуты, возвращая ему целостный мир.

Пётр Дмитриевич взял на парковке машину, и они с Верой пробирались сквозь чавкающий ревущий город туда, где находилось языческое капище, священная роща, обитель русских богов. Москва понемногу отпускала. Каширское шоссе превращалось в ровный стальной поток. Открывались дали. Становилось видным небо с низкими тучами и серым самолётом. И вот, наконец, потянулись чудесные березняки, мерцающая белизна перелесков с золотыми вершинами, ещё в листве, но уже зыбкими, полупрозрачными.

— Осторожно, здесь будет съезд, — предупредила Вера.

Они свернули на узкое шоссе, Вера указала съезд на просёлок. Проехали по лужам. В роще просёлок исчез среди жухлой травы с редкими,

доживающими век геранями, торопящимися доцвести до морозов. Остановили машину и вышли.

— Давай помогу. — Пётр Дмитриевич перенял у Веры тяжёлую сумку. Шёл за ней, чувствуя, как промокают ноги.

Они миновали поле с колочей стернёй и вышли к березняку. Небо было серое, угрюмое, но в березняке было так бело, светло, чисто, что казалось, каждый ствол светится, по роще летят чудесные лучи. Далёкие леса стояли в угрюмом золоте, а здесь дышало нежное серебро.

— Вот здесь поставь сумку. — Вера остановилась у высокой берёзы. Её ствол совершенно белый, без темных метин, вливался в небо, как ручей света. На вершине ещё оставалась золотая листва, но серебро пролетало сквозь золото, и в небе над берёзой плавало озеро света.

Вера раскрыла сумку, стала извлекать пластмассовые тарелки, ставила на траву полукругом. На тарелках появились вареная куриная нога, копчёная рыба, хлеб, ломти сыра. Вера насыпала в тарелку ячменное зерно, выложила огурцы, помидоры. Доставала из сумки деревянные резные фигурки, пёстро раскрашенные. Пётр Дмитриевич решил, что эти расписные уродцы и есть русские боги. Не умел определить, кто из них Велес, Сварог или Стрибог.

Ему не были странны эти приготовления. Всё, что случилось с ним, было так огромно, сокрушительно, страшно, что уже ничто не могло его поразить. Напротив, отвлекало от ужасного и большого, служило успокоению и исцелению.

Вера скинула пальто, осталась в шерстяном платье, на которое тут же упал и прицепился жёлтый лист берёзы. Берёза тронула её, узнала, позвала к себе. Вера обняла берёзу, ласкала, вела руками вверх по стволу, будто толкала, устремляла ввысь потоки света, и серебряное озеро над вершиной волновалось, плескалось. Вера оттолкнулась от ствола, воздела руки и побежала вокруг дерева, издавая булькающие горловые звуки. Её грузное тело стало лёгким, прыжки были молодые и длинные, грудь колыхалась, а руки гибко изгибались, как плавники или крылья. Она кружила, скакала. Пробегая мимо Петра Дмитриевича, подала знак бежать следом. И он, повинувшись, побежал, видя, как подбрасывает она ноги, плещет руками, и волосы, растрепавшись, мотаются вокруг головы. Она заготовала, как гогочут дикие гуси. Пётр Дмитриевич вспомнил тот ночной гусиный гогот и заготовал, подражая ей. Они бежали, махали руками, Агееву казалось, что их руки обрастают перьями, превращаются в крылья, и сейчас они взмоют над осенними лесами.

Вера широко развела руки, слабо ими поводила, покачиваясь. Она планировала в потоках воздуха. Стала издавать тонкие надрывные крики, подражая сове. Агеев вторил ей. Они были две совы, совершающий полёт вокруг священного дерева. Пётр Дмитриевич священнодействовал. Повиновался Вере, чувствовал спасительную зависимость от неё, боялся отстать, ошибиться. Вера выла волком, и этот тоскливый вой разносился по берёзовым рощам. Агеев чувствовал себя осенним зверем, выражал свою неприкаянность, предчувствие близкой зимы, ночных раскалённых звёзд тоскливым волчьим завыванием.

Они блеяли овцами, кричали рассерженной кошкой, хрипели диким кабаном. Русские боги принимали их подношенья, внимали крикам совы, гусиным гоготам, волчьим воям. Пётр Дмитриевич был оборотнем, обростал мехом, перьями, чешуёй. Ему было чудесно в этом зверином обличье. Не хотелось возвращаться в чудовищный мир людей, из которого увела его эта колдунья. Вера, глубоко дыша, остановилась под берёзой. Скинула платье. Осталась нагая, с тяжёлой грудью, дышащим животом, тяжеловесными бёдрами, растрёпанная, с листьями в волосах. Пётр Дмитриевич обнял её колени, целовал её влажные груди, гладил бедра, икры. И вдруг испытал сладостный обморок, мучительное обожание. Хмурое небо над берёзой просветлело, тучи раздвинулись, далёкие леса стали золотыми, сверкающими, как иконостасы, и солнце осветило Веру и Петра Дмитриевича. Она гладила его голову, а он целовал её пальцы, грудь, берёзовый листок в её волосах.

Агеев вдруг испытал тревогу. Обернулся. За берёзой мелькнул человек. Пётр Дмитриевич успел его рассмотреть. На нём была тирольская шапка с пером, клетчатый сюртук и брюки гольф. Такое облачение носят альпийские охотники. Но главное — усы. Темные, вразлёт, с загнутыми вверх концами. Это был усач, его неизменный преследователь. Агеев посмотрел в другую сторону. И там появился человек и скрылся за берёзой. На нём была фуражка с жёлтым околышем, длинный сюртук с блестящими пуговицами. Он был похож на старинного кондуктора. Усы щёткой накрывали верхнюю губу. И это был усач, неотступный преследователь. Третий усач обнаружился тут же. На нём был картуз и тёплый свитер, мягкие усы переходили в бакенбарды.

Пётр Дмитриевич опять находился в западне. Другая женщина, вслед за первой, влекла его в погибель. Агеев оттолкнул Веру, крикнул, как кричит подстреленный заяц, просвистел соловьём, проблеял бекасом и кинулся бежать по стерне, чувствуя за собой погоню. Вслед ему раздавался сорочий стрёкот и визг дикой кошки. Пробежал сквозь кусты, оставляя на ветках часть одежды. Разбрызгивая грязь, пересёк промоину, вбежал в рощу, где стоял его автомобиль. Не разбирая дороги, по просёлку выехал на асфальт. Влился в ровный поток машин на Каширском шоссе.

Он был измощён. Мир, в котором он жил, был полон вероломства. Мир был сконструирован так, что являл собой западню, куда попал Пётр Дмитриевич со своей Таблицей Агеева. И, быть может, Таблица Агеева и была западнёй, куда его заманили.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Пётр Дмитриевич гнал по шоссе, и ему чудился летящий вслед сорочий стрёкот и визг дикой кошки. Он не мог размышлять, не мог объяснить встречу с Верой, с колдуньей и чародейкой. Чей-то изощрённый ум и лукавая воля вызвали из прошлого женщину, которая могла утешить его после страшного крушения. В этом крушении он был унижен, разрушен. Женщина завладела его разрушенной душой, ублажала мифами о русских богах и повела в новую западню, из которой он чудом вырвался. Западня сменяла западню, предательство сменялось предательством.

Всему виной была Таблица. Она влекла его в катастрофу. Она приносила несчастье людям, и некоторые уже заплатились жизнью. Обещая чудесное воскрешение, суля божественное преображение, Таблица несла смерть.

Возникла жаркая мысль — избавиться от Таблицы. Вымолить у Господа, чтобы он забрал Таблицу обратно. Заснуть, и Таблица вместе со сновидением покинет его. Или принять рвотное, чтобы Таблица вместе с кашлем, слезами и рвотой выпала из него, и он ушёл бы от того места, где она осталась лежать под забором. Или убить себя, прекратить эти страхи, погони. Разогнать машину, врезаться в столб, чтобы вместе с сердцем раскололась Таблица.

Пётр Дмитриевич разогнал машину, обогнав “мерседес”. Выбрал столб для удара, но в последний момент отвернул. Увидел разгневанное лицо водителя в “мерседесе”.

Он въехал в Москву и бессмысленно кружил, ныряя в туннели, путаясь в развязках. Страшно устал. Поставил машину на парковке и осмотрелся. Он находился у метро “Баррикадная”, вышел и побрел туда, где за деревьями возвышался Дом правительства — Белый дом или Дом Советов, слишком хорошо знакомый ему по восстанию 1993 года. Он брёл по парку, по мокрым листьям и видел огромный голубоватый фасад того мертвенного лунного цвета, который обрёл Дом после массовых убийств. В те крошечные ясные годы здесь ревела толпа. На балкон выходили возбуждённые и восхищённые люди, читали стихи, пели песни, говорили о свободе и народной победе. А потом грохотали танки, болванки ломали бетонные стены, десантники, прячась за бронёй, готовились к штурму, и Пётр Дмитриевич, молодой баррикадник, вносил в вестибюль раненного в живот казака, а тот стонал: “Больно! Как больно, братцы!”

Теперь Пётр Дмитриевич подходил к Белому Дому, и всё в нём начинало болеть, кричало, ненавидело. Ничто не уснуло, не забылось, требовало продолжения. Белый дом был обнесён оградой, рядами остроконечных пик, на которые, как показала Петру Дмитриевичу, были насажены головы баррикадников. Тут же под сенью деревьев находился памятник тем кровавым дням. Большой деревянный крест с грубой резьбой и тусклой лампадкой был поставлен православными, совершавшими своё поминовение. Малый фрагмент баррикады с торчащей арматурой и зубчатой спиралью Бруно — дело рук коммунистов, которые здесь в последний раз сражались за Советский Союз. И высокое, начинавшее сохнуть дерево с языческими ленточками на ветвях. В дни памяти на нём висели три флага — советский, Андреевский и чёрно-золотой, имперский.

Пётр Дмитриевич приложился к кресту, поминая баррикадников. Тронул железную арматуру и коснулся акульих зубов колючей спирали. Пошёл к дереву. Прижался лбом к сырому стволу и замер. Не вспоминал, а просто сказал дереву, что пришёл.

Кто-то тронул его за плечо. Пётр Дмитриевич оглянулся. Это был сутулый человек, стареющий, с лицом тёмным, какое бывает у шахтёров, но не суровым, а печальным и добрым.

— Пришёл помянуть? Из наших?

— Давно тут не был.

— Одни забывают или помирают. А других тянет, приходят.

— Ты где стоял?

— А везде. Сперва на баррикаде, а началось, в Дом перешёл. А ты где? Вроде я тебя помню. Не с казаком ли Морозом?

— Нет.

— Союз офицеров? Терехов?

— Нет.

— Баркашовцы?

— Нет.

— Марковцы? Добровольческий полк?

— Я с приднестровцами. Один ручной пулемёт на всех. А потом перевели в группу “Север”. Там вообще три автомата, все укороченные.

— Да уж, они нас из танков, а мы АКСУ против них. Такая война. Поубивали нас.

— Мы-то остались. Помним.

— Их потом Бог стал прибирать. Ельцину бычьё сердце поставили. Он, как бык, ревел и помер. Танкисты, какие по нам стреляли, все в Чечне сгорели. Генерал Романов, который на стадионе наших расстреливал, в Грозном на фугасе взорвался. Теперь, как овощ.

— наших больше легло. Одних нашли, другие пропали без вести. Помнишь парня? Кукушкой звали. Взял икону, пошёл на танк, а его нехристи из пулемёта скосили. Пропал Кукушка.

— Ой ли? А может, и не пропал?

— Ты где его видел?

— А ты сюда посмотри! — человек, стоящий перед Петром Дмитриевичем, приблизил лицо, повернулся в профиль, сначала одной стороной, потом другой. — Не узнаешь? Я Кукушка!

— Да как же! Ты же плясал, кренделя выделывал. Кукушкой кричал! У тебя на голове хохолок был птичий!

Человек стянул картуз. Показал лысину.

— Хохолок слинял, а кукушкой могу кричать. — Он звонко, чисто, будто в весеннем гулком лесу, прокричал кукушкой. Пётр Дмитриевич тихо ахнул, задрожал от рыданий. Они обнялись и стояли под вещим деревом. Моросило тёмное небо. Присели на лавочку у креста.

— Как же ты выжил, Кукушка? Я тебя всегда поминаю.

— А как выжил? Чудом! А как ещё?

Они сидели, прижавшись боками, два белодомовца, которых таинственный вихрь вынес из пожара, носил по миру, и судьбе было угодно, чтобы они повидались под вещим деревом, которое их позвало к себе.

— А люди думали, что ты погиб. А ты вот он, живой. Что с тобой вышло?

Кукушка не сразу ответил. Будто оглядел всю случившуюся с ним жизнь, с минуты, когда танки подпрыгивали на мосту с каждым выстрелом, и в стене огромного дома взбухал взрыв.

— Думаю, кто же вы там, танкисты, сидите? Не русские? Или не мать вас родила? Взял икону Пресвятой Богородицы и пошёл. Иду к мосту, пули свистят, а ни одна не попадает. Вижу, один танк пушку на меня наводит, сейчас стрельнёт. Я взмолился: “Пресвятая Богородица, сохрани!” Вижу, снаряд из танка в меня летит, прямо в лоб. А икона вверх поднялась и понесла меня. Помню, мост над рекой, танки, Дом Советов горит, а потом ничего не помню. Очнулся в лесу. Тихо, мягко, лежу на земле под деревьями. В руках икона, а кругом грибы растут. Подосиновики, такие ядрёные, с красными головами. Что за чудо! Я пиджак снял, грибов набрал, икону под мышкой держу, иду по дорожке. Дорожка меня к дому вывела, в котором беспризорники жили, к детскому дому. Я заведующего вызвал, отдал грибы, а он спрашивает, могу ли я им кое-чем подсобить. Я плотник. Остался у них в детдоме, крыльцо отремонтировал, терраску, ребятки ко мне привязались, так я у них на три года задержался. Икона меня сподобила.

Кукушка улыбался. Воспоминания были приятные.

— Пожил и дальше пошёл. Познакомился с одной матушкой, ну, то есть, с монахиней. Ей поручили обитель восстанавливать. Одни камни в степи. Одни могилы. Я принял от неё послушание. Начал с другим мужиком, который глухой был, камни разгребать, келью строить. А там, надо сказать, много змей было. Камень отвернёшь, а там змея. Но не кусались. Так я в этой обители ещё три года прожил, пока первую часовню не освятили. Это я Пресвятой Богородице долг отдавал за то, что меня сберегла. Там, в обители, икону и оставил.

Кукушка улыбался. Воспоминания грели душу.

— В лесхозе работал. Ну, эти саженцы, ёлочки всякие, дубки на горях высаживал. И не просто в землю тыкал, а с умыслом. Один саженец Руцкой. Другой Хасбулатов. Третий Макашов. Четвёртый Ачалов. Пятый Баркашов. Пусть рядом растут, вспоминают, как что было. Что так, что не так. Лес посадил, должно, на деревьях моих птицы гнёзда выют.

Кукушка после чудесного избавления проживал свою жизнь осмысленно, старался исправить случившиеся в этой жизни поломки. Ту огромную поломку в центре Москвы с горящим Домом Советов нельзя было исправить. Но исправлять поломки поменьше было под силу Кукушке, и он, как мог, устранял нестроения русской жизни.

— Пришлось посидеть два года за драку. Одному коммерсанту морду набил. Ничего, отсидел. Два года брезентовые рукавицы шил. Полезное дело. Шью, а сам думаю: сварщику какому-нибудь польза от меня будет. Или каменщику. Или рыбаку на промысле. А может, кто-то из наших, из баррикадников, эти рукавицы получит, и они ему руки защитят от царапин.

Кукушка довольно хмыкнул. Его жизнь была служением. Он служил, стараясь облегчить трудности, выпадающие на долю людей. Своих трудностей он не замечал. Он перелетел на иконе Пресвятой Богородицы через горящую Москву, опустился в грибном лесу и с тех пор перелетал с места на место, находясь в услужении у людей.

— А теперь? — спросил Петр Дмитриевич. — Теперь чем живёшь?

— Теперь это место берегу. Народный сторож. Лампадку зажгу. Земельку подмету. Народ приходит, я ему всё расскажу по порядку. Фотографии показываю. Цветы положу у баррикады. Служитель я.

Сидели бок о бок. Было им хорошо. Агеев устыдился недавней слабости, когда хотел уничтожить Таблицу. Он будет беречь её до тех дней, когда придут сюда торжествующие толпы, и чудо Пресвятой Богородицы повторится. Никто не убит. Все живы и любят друг друга.

— Ну, я пошёл, — сказал Пётр Дмитриевич, вставая.

— Приходи ещё. Я всегда рядом, — сказал Кукушка.

Они обнялись. Таблица Агеева пополнилась ещё одним “русским кодом” — “кодом служения”. Пётр Дмитриевич удалялся, и вслед ему кричала кукушка, суля долголетье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вдруг за ночь всё высохло. И земля, вчера ещё чёрная, липкая, стала седой, как сталь. Лужи покрылись сизым льдом, в них были вморожены пузыри воздуха, опавшие листья. Пётр Дмитриевич не мог себе отказать и топтал лёд, слушал хруст и хлоп воды. Вернулось чудесное ощущение детства, и он искал новую лужу, предвкушая хруст льда под каблуком. Поднял кленовый лист. Весь в инее, серебристый, он охлаждал губы. От дыхания иней таял, лист становился золотым. Пётр Дмитриевич подумал, что это тот самый лист, который упал с ветки на руку Ирины, и она поцеловала его. И внезапно такая боль, такое смятение, такое желание увидеть Ирину, целующую резной жёлтый лист, пронзило его. Агеев понял, что всё это время думал об Ирине, тосковал по ней, любил её.

Зима наступала не сразу, а играючи. То начинала сыпать снегом, выбеливая землю, понижывая метелью прозрачные вершины берёз и застревая в густой хвое сосен. То вдруг насылала оттепель, и земля неохотно совлекала с себя белое облачение, оставаясь в чёрной неприглядной наготе. А то вдруг так повалит снег, что ветки согнутся под сырыми комьями, и всё начинает благоухать влажной корой, снегом, близким небом, и такого запаха нет нигде в мире, кроме как в ноябре в России.

Агеев тосковал по Ирине. Подходил к деревьям, которые помнили Ирину, и те будто спрашивали, почему она вновь не приходит. Во время оттепели, когда навалило снегу, слепил снеговика. Обжигая руки, катал снежные шары. Ставил один на другой. Из кленовых листьев смастерил венец. Скомкал снежки и прилепил груди. Из дома принёс медальон с её портретом, повесил на грудь. Целовал медальон и два снежка, словно целовал её груди и чувствовал, как любит её, как её ему не хватает.

Несколько раз порывался звонить, но тут же просыпался ужас, мерещились чёрные провалы, куда он падал после её жуткого признания, и он откладывал телефон. Он вспоминал чудесную ночь, когда она превращалась в античную вазу, а потом ложилась на него, как в лодку, и они плыли по волнам летней московской ночи.

Его желание видеть Ирину было столь велико, что он прокрадывался вечерами к её дому мимо ампирного особняка с мерзкими овчарками и смотрел на её окно, не мелькнет ли любимая тень. А однажды подкараулил её, выходящую из дома. Мела метель, Ирина была в короткой шубке, без шапки, в шерстяном розовом шарфе. Пётр Дмитриевич видел, как набивается снег в её волосы. Уже хотел броситься к ней, но подкатило такси, Ирина села, и её унесло, а Пётр Дмитриевич стоял с разведёнными руками, словно выпустил птицу, и чувствовал себя таким обездоленным.

Через несколько дней он получил сообщение, что его желает видеть в Кремле президент. Эта новость была ошеломляющей. “Русская Мечта”, ещё недавно казавшаяся курьёзом ничтожных провинциальных изданий, забавой мелкотравчатых развлекательных шоу, “Русская Мечта” вызывала интерес у влиятельных предпринимателей, таких, как Проклов, у высших чиновников, как председатель Думы Крамской, а теперь у самого президента России Максима Тимофеевича Младорossoва.

Через несколько дней машина, пахнувшая благовониями, с молодцеватым, офицерского вида шофёром привезла его в Кремль. Постовой у Троицкой башни отдал честь, и это свидетельство почёта предназначалось Петру Дмитриевичу. Заснеженная Ивановская площадь, по которой сделала круг машина, казалась воплощением могучей красоты, от которой дух сладко замирал, а память, казалась, помнила все величие русской истории, делая Агеева её творцом и участником. Промелькнули соборы и колокольни. Машина остановилась у дворца. Перед входом его уже ждали. Проверка документов.

Проход через металлоискатель. Подъём в зеркальном лифте. Движение по коридору, где в нишах через каждые пятьдесят шагов располагался пост охраны. И вот Пётр Дмитриевич в приёмной с золочёными дверями и резным двуглавым орлом.

— Вас пригласят, — произнёс секретарь и скрылся, оставив его волноваться и ждать. За золочёной дверью было тихо, но эта тишина казалась наполненной, грозной, дышащей.

Появился секретарь:

— Президент вас ждёт, Пётр Дмитриевич.

Золочёная дверь отворилась, и он вошёл в кабинет.

В кабинете не было величия, но присутствовало всё, что помогало работать. Стол с аккуратными стопками документов. Хрустальная чернильница с пером, которое, видимо, летало в руках президента, нанося росчерки под документами. Стол, заставленный белыми, из слоновой кости, телефонами, которые строго молчали, но таили в себе голоса министров, губернаторов, иностранных президентов. Флаг России и президентский штандарт, как два крыла разноцветной бабочки, на которую походил сидящий между ними президент.

Все это заметил Пётр Дмитриевич позже, когда прошла первая минута его встречи с президентом. Агеев ожидал увидеть повелителя, исполненного величия, милостиво снисходящего до малых мира сего. Но увидел милого улыбающегося человека, который заждался желанного гостя и теперь открыто радовался его появлению.

Младороссов был уютный, полный, с мягким округлым лицом, которое украшала светлая бородка, какие носили чеховские персонажи, — врачи, учителя, земские чиновники. Его каштановые волосы были слегка вклокочены. Видимо, принимая решение или подписывая документ, президент ерошил их.

Увидев Петра Дмитриевича, президент вышел из-за рабочего стола и сел за маленький уютный столик, указав Агееву место напротив. И так мило, так радушно, так по-домашнему улыбнулся, что Пётр Дмитриевич почувствовал себя легко, свободно, испытывая к хозяину сначала благодарность, а потом обожание, желание быть рядом, слушать его указания, которые имели вид остоорожных просьб и вкрадчивых убеждений.

— Крамской сообщил, что вы, Пётр Дмитриевич, являетесь автором оригинального вероучения Русской Мечты. Вы владеете кодами, с помощью которых народ достигает Мечты. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? — Было видно, что президент крайне заинтересован.

— У русского народа есть Мечта. Она о праведном государстве, эскизом которого является Царство Небесное. В этом царстве нет насилия, нет смерти, нет убийства птицы или цветка. Чтобы достичь благодатного Царства, народ совершает усилия. Это “русские коды”. Таблица, которой я владею, определяет порядок кодов, которые включаются в работу по мере приближения Царства. — Пётр Дмитриевич излагал свою теорию простым языком, как если бы его слушал не многоопытный президент, а пытливый ученик. Так Пётр Великий на архангельской верфи слушал поморского шкипера. Так Сталин, отложив заседание Политбюро, рассматривал чертёж скорострельной пушки.

— Вы сказали, Пётр Дмитриевич, что коды следует вводить в определённом порядке. В том, в каком они закреплены в Таблице. А если целью будет не Царствие, а нечто другое? Как работают коды?

— Если вместо Мечты, вместо Царствия будет предложена народу ложная задача и на её выполнение будут направлены коды, то произойдёт катастрофа. Коды родят Пугачёва, родят революцию. Таблица взорвётся, как реактор в Чернобыле, и государство погибнет.

Президент задумался. Рассеянно взял ручку и прямо на столе нарисовал шишку, а рядом дрозда, держащего в клюве гроздь рябины. Пётр Дмитриевич не удивился. Это была тайнопись, которой владели самые посвящённые чины государства. Дрозд с рябиновой гроздьёй, возможно, изображал Пугачёва.

— Я строил государство Российское в страшных условиях, среди кавказских войн, террористических актов, ползучих суверенитетов. Строил из подсобных материалов, что попадётся под руку. Построил государство и защитил

его. Мы создали могучую армию, самое мощное в мире оружие. Я вернул Россию в центр мировой политики, вернул её на Ближний Восток. Теперь мы должны заняться возрождением исконной России. Мы должны построить новые прекрасные города, невиданные заводы и университеты. У нас должны быть лучшее в мире образование и медицина. Появятся многодетные семьи. Предстоит огромный, рассчитанный на десятилетия проект. Но как мы его затеем? Народ потерял Мечту! Как вернуть народу Мечту? — Президент был возбуждён. Он был погружён в проект, о котором поведал Петру Дмитриевичу. С этим проектом он должен войти в историю. Начертать своё имя на скрижалях русской истории рядом с Владимиром Святым, Иваном Грозным, Петром Великим и Иосифом Сталиным. Рядом с этими громогласными именами должно появиться имя Младорossoва.

Пётр Дмитриевич ловил мысль президента, был восхищён, благодарен ему за эти откровения. Президент делал Агеева соучастником великого проекта, и Агеев был готов служить, помогать любимому президенту.

— Мы вернём народу Мечту, Максим Тимофеевич! Русский народ мечтатель. Он не забыл своей Мечты!

— Но как мы её вернём?

— В вашем проекте будут отдельные программы, на которых мы сосредоточим внимание. Например, “Космос русской Мечты”. Мы напомним народу, что в основе космических полётов лежала идея космиста Николая Фёдорова воскресить все умершие поколения людей, победить смерть, а воскрещённое человечество на ракетах Циолковского расселить по другим планетам. Мы напомним, что человечество в небе искало Божественное Царство, что стремление в небо — это поиск Рая. Что осетинские пироги изображают землю, луну и солнце, и каждый испечённый осетинский пирог — это выход в открытый космос. Марийские волхвы, восхваляющие ветер, солнечный свет, лунную тень — это космонавты, летящие в мироздании. А стих Лермонтова “Спит земля в сиянье голубом” был написан, когда он облетал землю на космическом корабле. Пусть каждая взлетающая с космодрома ракета будет полётом русского народа в бессмертие!

Президент был взволнован. Не закончив один рисунок, переходил к другому. Там были изображения овощей, таких как огурец или морковь, причём морковь, по-видимому, изображала ракету. Электрический чайник был космистом Фёдоровым, а гребень для волос — Циолковским. Президент умоляющим взглядом просил Агеева говорить медленней, чтобы рисунки успевали за рассказом. Но тот, увлечённый, не мог остановиться, создавая тем самым неудобство президенту.

— Вторая программа — “Атом Русской Мечты”! Не забудем, что советская атомная бомба создавалась в Сарове, в развалинах монастыря, где подвизался Серафим Саровский. И хотя кельи монастыря были разгромлены, а монахи расстреляны, сам Преподобный Серафим духовно руководил сталинским атомным проектом, не позволил американцам разбомбить СССР. Поэтому сталинскую бомбу называют “православной бомбой”, а среди руководителей проекта, кроме Келдыша, Курчатова, Королёва, называют Серафима!

Бомба изображалась ананасом. Серафим Саровский был рыбой. Три помидора были столь похожи один на другой, что Пётр Дмитриевич не мог понять, кто из них был Курчатов и Келдыш, а кто Королёв.

— Есть множество других программ, возвращающих народу Мечту. “Армия Русской Мечты”. “Город Русской Мечты”. “Арктика Русской Мечты”. “Херсонес Русской Мечты”. Отдельная, быть может, самая важная программа — “Лидер Русской Мечты”.

— И каким же, по-вашему, Пётр Дмитриевич, должен быть Лидер Русской Мечты? — спросил президент, откладывая ручку.

— Он должен верить в Мечту. Направлять к ней народ, используя весь драгоценный арсенал “русских кодов” Таблицы Агеева. При этом он должен любить народ и бояться Бога!

— Великолепно! — воскликнул президент. Схватил ручку и нарисовал графин. Пётр Дмитриевич понял, что это был автопортрет, который обладал странным сходством с оригиналом.

— Признателен вам, Пётр Дмитриевич, за содержательный разговор. Нам следует создать лабораторию, а потом, быть может, институт для продвижения ваших идей. Для вас дверь в мой кабинет всегда открыта.

Они расстались. Двигаясь по кремлёвскому коридору, Пётр Дмитриевич думал, какое счастье быть соратником великого человека, отдать все свои таланты служению, служить президенту и благословенной Родине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Москву завалило снегом, и она барахталась в сугробах. Машины выезжали из дворов неохотно, горбатые, вывозили на капотах и крышах белые горы. По улицам стадами двигались снегоуборочные грузовики, сдерживая торопящийся злой поток. Светофоры беспомощно переключали красные и зелёные рыльца, замутнённые снегом. У памятников на головы были нахлобучены белые папахи, словно городские власти выдали им всем одинаковые безразмерные шапки. Прохожие шли, отворачиваясь от ветра, и на бровях и ресницах женщин таял снег.

Агеев боролся со снегопадом один, среди деревьев, опустивших ветки под тяжестью снега. Снег лёг ровно, без бугорков, сравнив клумбы, могилку кота Кузьмича, забытое полешко. Пётр Дмитриевич орудовал лопатой, задыхаясь, краснолицый, расценивая свою работу как сраженье, борьбу за выживание, прорубал проходы от крыльца до калитки, от машины до ворот. В своей работе он находил что-то богатырское, удалое, возможное только на Руси. И какое счастье было увидеть на снегу оранжевую корку мандарина, а в магазине на прилавке — коробку ёлочных игрушек: хрупкие восхитительные шары, звёзды, стеклянные пики, фиолетовые, серебряные, алые. И такое умиление, нежность, незабываемое детское чудо исходило от них.

И всё это время, каждое мгновение он думал о Ирине. Он её любил всё нежнее, мучительнее, винил себя, больше не находил её вины, а только свою. Свою чёрствость, себялюбие, истеричность, неумение понять, что значило для неё это признание, что побудило её это сделать, какая самоотверженность, какая любовь, какая вера, что будет понято, прощена, и их любовь одолеет всю скверну и тьму.

Двигался ли по Москве, или работал дома, или наносил визиты, каждый из которых был важнее другого, — он думал об Ирине, хотел ей звонить и не решался. Горько откладывал телефон.

Он зашёл перекусить в ресторан Дома литераторов. Не в тот знаменитый на всю Москву клуб, где бурилась яростная литературная братия, под общим сводом дубового зала сходились диссиденты, сторонники власти, печально-раздражительные поклонники Трифонова, рыдающие и дерущиеся деревенщины. Того Дома литераторов больше не было. Дубовым залом владели уважаемые бандиты, и туда больше не было хода обедневшим писателям. Вражда и ненависть литературных направлений привела их к обоюдному истреблению. Крупные писатели советской поры поумирали или выродились, и уже не захаживали в обмельчавший клуб. А новая поросль литераторов предпочитала встречаться в других ресторанах, которых развелось несусветное количество.

Пётр Дмитриевич зашёл сюда, но не в дубовый аристократический зал, а в ресторан поскромнее, попроще, хотя и обладавший хорошей кухней. За соседним столиком восседал знаменитый либеральный поэт Дмитрий Быков. У него полностью отсутствовала шея, и он поворачивался к собеседнику всем своим тучным телом. Чёрные кудряшки, всегда почему-то потные, прилипли ко лбу. Он был окружён почитателями и что-то рассказывал про франкфуртскую книжную ярмарку, громко повторяя:

— Мандельштама, чтобы понять, нужно рассматривать в ультрафиолетовых лучах.

Через ресторанный зал проходил режиссёр Никита Михалков — пышные усы, зоркие смешливые глаза, пальцы, усыпанные перстнями. Увидев Дмитрия Быкова, своего давнего противника, которого не раз прилюдно

в телепередачах именовал самыми низменными, почти собачьими кличками, Михалков не прошёл мимо, а радостно кинулся к Быкову, заключил в объятия:

— Гениальный стих! “Наш президент — мышонок тонкохвостый!” Это гениально! Позвони как-нибудь! — И, блестя перстнями, Михалков прошёл в дубовый зал, где его ожидал продюсер из Голливуда. Быков стёр со щеки слюну поцелуя и повторил:

— Мандельштама, чтобы понять, нужно рассматривать в ультрафиолетовых лучах!

Агеев заказал стейк, бокал вина. Приготовился есть и вдруг бессильно опустил приборы. Он подумал об Ирине и почувствовал: если не увидит её, то упадёт без сил, зарыдает, совершит безумное деяние, после которого ничего невозможно будет исправить. Он схватил телефон и позвонил:

— Я не могу без тебя! Каждую секунду! Каждый шаг! Просыпаюсь ночью! Мерещишься на улице, и я иду, и вижу — это другая женщина! Приезжай! Сейчас! Приходи!

— Ты простил меня? Я гадкая, я скверная. Ты меня презираешь?

— Я люблю тебя! Все эти дни, что я не видел тебя. Такая глупость! Столько потеряно дней, часов, минут, секунд! Всё это время мы могли быть вместе!

— Я вся высохла. Ты меня не узнаешь. Я каждый день хожу в церковь, прошу Богородицу простить меня!

— Приходи сейчас же! Это близко!

Он отложил телефон, и у него задрожали руки. Давнишний афганский взрыв накатил на него, и он не мог поймать свои пальцы. Бил ими о край стола, умеряя дрожь болью.

Ирина вошла и некоторое время от порога искала его. И он несколько секунд мог наблюдать её. Видел, как она похудела, как испуганно сжаты её губы, как ссутулились её плечи. И такая в нём поднялась боль, любовь, жалость, вина, такое обожание и ликование, что он поднялся, пошёл к ней, обнял, вдыхая запах московского снега, который таял в её волосах, чудесный армат её любимых духов. Пушистая мягкость бровей, которые он теперь целовал не во сне. Это чудесное место на её переносице, которого он касался губами, и руки, обнимавшие её, продолжали дрожать.

— Не будем о худом, об ужасном! Только чудесное! Ты со мной! Ты знаешь, деревья скучают, упрекают меня. Где Ирина? Ты нас познакомил, мы её полюбили. Поедем ко мне, я покажу тебя деревьям, и они успокоятся!

— Поедем, — соглашалась она, и он видел на глазах её слёзы.

— Ты знаешь, здесь такие события! Сам президент меня пригласил. Предложил сотрудничество. Он очень глубокий обаятельный человек. К тому же хороший художник. Нарисовал автопортрет в виде графина. Много общего. Психологическое сходство!

— Не понимаю, что ты говоришь, мой любимый.

— У нас будет своя лаборатория, может, институт. Мы сможем вместе работать.

— Но ведь кругом столько опасностей, столько врагов! Они взяли нас с тобою в кольцо!

— Они жалкие ничтожные трусы. За нами мощь государства!

— Я сказала Фаддею Аристарховичу, что больше не могу, что всё тебе рассказала. Она кричал, топал ногами, сказал, что я предала корпорацию, и он меня убьёт. А потом он исчез со своими усачами, должно быть, уехал в Америку. Но он вернётся. Он страшный человек!

— Мы скроемся от него. Скроемся от всех. От президента, от депутатов, от журналистов. Я знаю место, где нас никто не найдёт.

— Это где?

— В Якутии, на Лене, у самого океана. Там есть приток. Чистейшая вода и скалы. Как страницы каменной книги. И на них письмена на древнем, уже не существующем языке. Господь сотворил землю, и сотворил этот язык, и на нём написал всю судьбу человечества. Там, у этих скал есть избушка. Печь, лежанка, стол, оконце. Будем там жить. Летом я стану ловить рыбу, скользких серебряных ленков, а ты будешь вялить, готовить на зиму.

Грибы, ягоды, кедровые орехи. Я стану охотиться. Зимой стужа страшная, скалы поют, с них падают камни. И звёзды, огненные, жгучие, страшные. Посмотрим на звёзды, окоченеем, и в избу. Печь, жар. Ты на лежанке под ворохом одеял, и я к тебе пробираться. Лежим в полярной ночи, огоньки по стенам бегают. Снаружи вой, стук камней, а я тебя обнимаю, целую, и знает о нас только один Господь. Уже написал о нас в Своей книге.

— Такое возможно? — он держал её руки в своих руках, и в них больше не было дрожи.

Куда-то встал и важно прошествовал Быков, окружённый обожателями. Несколько раз туда и обратно пробежал Михалков, растопырив пальцы, сверкая перстнями.

— Почему мы здесь сидим? Пойдём к тебе. Хочу увидеть твоё ночное зеркало, и как в нём появляется античная ваза!

— Поедем. Только просьба. Давай прокатимся по Тверской. На ней уже поставили ёлки. Полюбуйся на ёлки?

— Конечно!

Они вышли из ресторана, сели в машину и покатали по Тверской, великолепной в этот снежный вечерний час. Тверская блистала предновогодней роскошью. Бриллианты высыпали из витрин и повисли на люстрах, деревьях, бессчётных экипажах, сверкающих в лёгкой пурге. У Белорусского вокзала стояла царственная ель, вся увешенная тёмно-лиловыми шарами, в которых переливалась площадь, и казалось, дышит шелками, переливается драгоценностями кринолин блистательной дамы.

— Она похожа на императрицу Елизавету Петровну! — восхищалась Ирина, провожая проплывающую ель, которая, казалось, поворачивается на каблучках.

На площади Маяковского ель была шире, дородней. Под тяжёлой парчой угадывалось сильное зрелое тело. Ель поводила плечами, вся усыпанная аметистами, увенчанная жемчужной короной.

— Не правда ли, она похожа на Екатерину Великую? — Ирина восхищалась императрицей, и Пётр Дмитриевич был рад этому наивному обожанию, которое отвлекало её от тёмных воспоминаний.

Ёлка у Пушкинской площади была в белых кружевах с бриллиантовыми подвесками, и, конечно же, она была Натальей Гончаровой. В прозрачной метели она кружилась перед Пушкиным, а тот печально, влюблённо смотрел на её пленительный вальс.

Ёлка у Юрия Долгорукова была Анной Ахматовой, чёрно-бархатная, в серебре, с алым веером и хрустальным бокалом, в котором плескалось гранатовое вино.

Ёлка на Манежной с вихрями машин, в стеклянных бусах, всплёскивала ветвями при каждом проносящемся автомобиле, была наречена Мариной Цветаевой. Ирина успела прочитать цветаевский стих, когда они вылетели к Лубянке. И ёлка в карусели машин своей изумрудной и золотой красотою заставляла кружить замороженные автомобили, не отпускала их от себя. И казалось, Москва нашла свою ось и вращается вокруг прекрасного дерева своими дворцами, куполами и шпильями.

— А это кто? — спросила Ирина.

— Это ты, моя любовь! Моя царственная, ненаглядная!

Ирина поцеловала его, и он видел её счастливое, озарённое огнями лицо.

Они оставили машину на парковке и пробирались дворами, в которых сугробы поглотили детские лесенки и качели. Из-за тёмных фасадов появилась знакомый особняк. Он был особенно хорош среди блестящего снега, с янтарным фасадом, чугунным крыльцом и железной изгородью. Он напоминал старомосковские усадьбы, у которых дожидался извозчик с каретой. На крыльце появляются гости, запахивая тяжёлые шубы...

Пётр Дмитриевич и Ирина проходили мимо особняка, как вдруг из открытых ворот на них с рёвом и хрипом бросились две овчарки. Агеев видел, как одна собака сбила Ирину на снег, возилась на ней, рвала. Ирина кричала, защищалась руками. Вторая овчарка литым ударом кинулась Петру Дмитриевичу на грудь. Он видел близко огромные блестящие зубы, розовые

десны, мокрый язык. Собака хрипела, подбиралась к горлу. Пётр Дмитриевич сбрасывал с себя зверя, стремился на помощь Ирине. Но овчарка вгрызалась ему в плечо, локоть, грудь, стремилась к горлу. Он кричал, отбивал собаку. Второй пёс урчал, тербил лежащую на снегу Ирину. Пётр Дмитриевич изнемогал. Слышал крики, видел бегущих из особняка людей. Падал, заслонял локтем горло, а локоть прогрызала до костей собака.

Он потерял сознание и очнулся в больничной палате, весь в бинтах и гипсе, под капельницей. К нему склонился врач в белом колпаке:

— Как вы?

— Что с женщиной? Где она?

— Спасти не удалось.

Пётр Дмитриевич снова потерял сознание.

Его излечение в больнице проходило медленно. Укусов было множество. Некоторые кости имели трещины. Особенно глубокие раны были на груди. Собака прогрызала грудь, добираясь до сердца. Хотела вырвать Таблицу. Агеев не сомневался, что всё это зверство устроил Фаддей. Пётр Дмитриевич с Ириной любовались ёлкой Натальей Гончаровой, а Фаддей держал на поводке собак. Любовались ёлкой Анной Ахматовой, а Фаддей снимал с ворот замок. Пётр Дмитриевич восхищался царственной ёлкой на Лубянке, а Фаддей подводил собак к раскрытым воротам. А потом Фаддей исчез. Все думали, что он уехал в Америку, а он спрятался в метеорит, в свой космический дом, в обитель “чёрного космоса”. И собаки были животными “чёрного космоса”, из созвездия Псов. Совершили в Москве своё зверство и улетели обратно на небо, улеглись среди звёзд.

Пётр Дмитриевич корил себя за то, что вызвал Ирину из дома и тем самым отдал на растерзание собакам.

К нему в больницу приходили какие-то следователи, о чём-то спрашивали, что-то записывали. Когда Агеев начал понемногу вставать, он узнал, что Ирину похоронили на Домодедовском кладбище. Отправился туда искать могилу. Кладбище было огромное, до горизонта. Мела метель. Всё туманилось. Сливались одна с другой могилы, памятники, оградки. До горизонта под снегом лежал народ, дожидаясь, когда сбудется предсказание космиста Фёдорова, и всё это множество воскреснет и на ракетах Циолковского улетит на другие планеты.

Не найдя могилы, Пётр Дмитриевич вернулся домой. Он затих, замер. Надел на себя медальон с портретом Ирины и целыми днями лежал без мыслей, без чувств, слыша, как слабо ноет рана в груди. Не знал, есть ли под сердцем Таблица или её унесли в “созвездие Псов”.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Агеев жил в сумерках, словно ему на глаза накинута дымчатая кисея, через которую проходил тусклый свет и были видны не предметы, а их тени, не мысли, а тени мыслей. Но вдруг появились сосульки. На крыше образовалась и росла с каждым днём стеклянная гребёнка. Волнистые, разной длины, с опасными острьями, они наращивали по капле свою длину. И в них сверкало солнце. Сверкало так ослепительно, с радужными переливами, как великолепное светило. Серая кисея не могла затмить этот весенний ликующий свет.

Пётр Дмитриевич подходил к сосулькам, сжимал веки, превращая гребень в огненный белый шар, от которого летели перламутровые хвосты. Сосульки превращались в павлина, сидевшего на крыше дома. Пётр Дмитриевич играл с павлином, превращал его в радужный крест, в летящую комету, в хрустальный бокал, полный разноцветного вина.

Берёзы, ещё неживые и голые, вдруг стали ярко-серебряными, и этот сияющий свет стволов будил Петра Дмитриевича по утрам. А днём в вершинах берёз скапливалась такая синева, такой густоты, такой неземной силы, до черноты, что начинала кружиться голова, и близился обморок.

Деревья, ещё недавно полные снега, сожгли его в своих ветвях, стояли сухие, коричневые, горячие, и на снегу вокруг стволов образовались лунки.

Прилетела сойка, трескучая, беспокойная, торопилась сообщить Петру Дмитриевичу важную новость. А он и сам знал новость — пришла весна.

Снег сходил бурно. Под ветками сосны открылась земля, и показались кудрявые головки синих гиацинтов, бело-розовые крокусы. И, наконец, ожидаемая Петром Дмитриевичем, над снегами пролетела шальная бабочка-лимонница.

Агеев был подранок. Он знал, что ему никогда не выздороветь. Медальон с портретом Ирины был всегда на нём и причинял боль, которой он дорожил и от которой не хотел отказываться. Но как надрубленное дерево склоняет к земле чёрные бесплодные ветки, а другие, уцелевшие, полны соков и завязей, так Пётр Дмитриевич встречал весну, радуясь сосулькам, сойке и бабочке.

В конце апреля к нему явился фельдшер и доставил приглашение президента присутствовать на параде Победы. Приглашение удивило и обрадовало Петра Дмитриевича. О нем помнили, его звали.

Он готовился. Приводил в порядок костюм, отдал в прачечную рубахи, навел лоск на не слишком новые туфли. Утренняя Москва, по которой он ехал в Кремль, казалась просторной, озарённой и румяной, как лицо, получившее утренний свежий загар. Люди были приветливы, повсюду блестели ордена, постовые отдавали честь.

Пётр Дмитриевич оставил машину на Васильевском спуске и шёл вверх по брусчатке, одолевая склон. Всегда в этом месте с самого детства он испытывал волнение, предвещавшее встречу с чудесным. Тянулась красная кремлёвская стена, круглились впереди золотые куранты, храм Василия Блаженного каждый раз обретал новое обличье, рождая сказочные образы. Теперь плотно прилежавшие один к другому цветные купола, острые шатры, разнокрашенные столпы и переходы напоминали рвущиеся из клумбы головки гиацинтов, бутоны крокусов, стрелки тюльпанов. Казалось, от храма исходит запах весенних цветов.

Петру Дмитриевичу указали место на каменных трибунах. За спиной у него в смуглом граните высился Мавзолей. Через площадь на стене ГУМа чуть колыхался от ветра огромный орден Победы. Агеева окружали оживлённые провинциалки. Поодаль сидел ветеран, сухой и нахохленный, как орёл, с набором орденов, в золотых потемневших погонах сталинского образца. На дальней стороне площади стояли войска, сама площадь была пуста. Блестела, как солнечная морская рябь, брусчатка. Но в этой пустоте была наполненность. Бестелесные летучие силы витали над площадью, беспокоя прозрачный воздух, собирали на мгновения сгустки солнца и вновь рассыпали их на лучистые вспышки.

Агеев чувствовал волнение, его восхищали Мавзолей, войска, соборы, но он не мог понять, присутствует ли в его сердце Таблица? Радость, что изливается из его сердца, омывает ли она драгоценное сокровище, которое притаилось в глубине израненной, в страшных рубцах груди?

Линейные, как танцующие журавли, проплыли у края площади, и окаменели, воздев карабины. Куранты совершили магический круг, сомкнули стрелки и издали звук, собранный со всех колоколен, словно с этого звука начиналось сотворение мира. Так почувствовал удар курантов Пётр Дмитриевич, не зная, ликует ли его израненное, продолжающее жить сердце или это Таблица откликнулась своими кодами на “музыку русских сфер”.

Из Спасских ворот скользнула длинная, как чёрная рыба, машина. Министр обороны, выезжая на площадь, осенил себя крестным знаменем, как это делают на пороге храма. И действительно, синее небо, золотые волны соборов, райский куст Василия Блаженного, замирающий в синеве золотой звук курантов — всё превращало площадь в храм, готовый к богослужению.

Машина с министром объезжала войска. Голос министра произносил что-то короткое, лязгающее, и в ответ гудело многоголосье, рокотало тысячью радостных глотков. Так гудит лес под напором бури. Так ревёт в ущелье водопад. Люди на трибунах вслушивались, старались угадать слова. Так слушают,

не понимая слов, рокочущий гром. Министр покинул машину, строевым шагом приблизился к Мавзолею, где президент принял его рапорт. В парадной речи президента Агеев мало что разобрал, но отчетливо уловил слово “Мечта”. То ли мечта о Победе. То ли о мирной жизни. То ли о будущем, к которому стремится народ. Упоминание о мечте восхитило Петра Дмитриевича. Таблица у сердца дрогнула. Была жива. Откликнулась, когда её позвал президент.

Грянул оркестр. Войска, стоявшие тяжким монолитом, зашевелились, заколыхались. От них стали отламываться бруски. Выдвигались к Историческому музею, сверкающему своими орлами. Разворачивались и шли к Мавзолею, стуча по брусчатке, раскрыв знамена, сияя саблями. И первым знаменосцем, с красной лентой через плечо, окружённый сверканием сабель, был знаменосец Победы. Рослый, могучий, с плавным воздушным шагом, он нес алое знамя со звездой, серпом и молотом. Солнечные сабли полосовали воздух. Офицер, ровняясь на президента, бил в брусчатку сапогами, рвал грудью воздух.

Пётр Дмитриевич ощутил восторг. Брызнули слёзы. Мимо проносили чудотворную икону его страны, его веры. Таблица мироточила в груди. В ней ожили все “русские коды”, которые собрала в себя божественная Победа, Золотая Богородица Государства Российского.

Войска, ещё недавно застывшие монолитом на другой половине площади, теперь волновались, клубились. От них отламывались литые бруски, гранёные коробки. Шли к Историческому музею, разворачивались и начинали движение к Мавзолею. Приближались, яростные, грозные, дрожащие от нетерпения. Развевались красные, из тяжёлого бархата знамена с золотыми орлами. Командиры стучали по брусчатке сапогами, жадно жгли ненасытными глазами трибуны, президента, министра обороны. Сияло серой сталью оружие наперевес. Красавцы, молодцы, стать и сила, оплот государства. Готовые прямо с парада ринуться в бой, в огонь, в пекло. Защитники воскрешённой, не покорённой России. Провинциалки на трибуне прижимали руки к груди. Ветеран, похожий на орла, поднял плечи, желая взлететь.

Шли десантники, сапёры, морская пехота, химики, выбивая из брусчатки стальной блеск, словно под ногами у них гудели колокола. И когда прошла последняя коробка, польхнув знаменем, сверкнув сабельным солнцем, наступила тишина, из которой стал вырастать подземный рокот. Пошла техника. Машины появлялись словно из-под земли, от Манежной и шли мимо Иверской часовни вверх, появляясь внезапно, — огромные танки и самоходки, звеня гусеницами, качая громадными пушками. В люках танкисты подняли ладони к вискам. Казалось, эти громады пекут где-то рядом, в них ещё не остыл жар печей, над ними вился голубоватый дымок жаровень. Они драли площадь стальными когтями, обнюхивали дулами пушек соборы, кремлёвские стены, ликующие трибуны.

Шло богослужение. Сияла лазурь. Колыхались золотые волны соборов. Василий Блаженный раскрывал бутоны райских цветов. В мраморных саркофагах лежали цари. В красной стене покоился прах полярников, лётчиков, землепроходцев. И повсюду на площади витал огонь, который сходит с небес и зажигает лампы и свечи. И когда пошли ракеты, юркие, остроносые, как горностаи, и тяжёлые, тупые, как носороги, Пётр Дмитриевич привстал на трибуне, воздавая долг возрождённому русскому царству, которому готов был служить всеми опущенными ему дарованиями.

Небо загрохотало, как буфет с хрусталём. Громадный “Белый лебедь”, закрывая полнеба, срезая кресты соборов, прошёл над площадью, и следом помчались серые размытые вихри истребителей, парами, тройками, журавлиными косяками, роняя из небес ветер и свист.

Пётр Дмитриевич почувствовал, как Таблица разметала вокруг золотые зёрна своих сокровенных кодов, и последний покидающий небо истребитель стал золотым, как слиток.

Агеев влился в шествие “Бессмертного полка”. У него не было в руках фотографии любимого человека, которого он хотел бы воскресить в этом пасхальном шествии. Но у него был медальон с портретом Ирины. В крестном

ходе витали такие могучие и святые силы, что у Петра Дмитриевича появилась надежда увидеть любимую женщину живой.

Многолюдье было ошеломляющим. Люди выходили из подъездов, дворов, переулков, улиц. Тверская была полна до краёв. На балконах махали красными флагами. Все миллионы воевавших и погибших за Родину явились сюда. Их портреты в руках стариков и детей раскачивались, касались друг друга, сияли восхищёнными глазами, словно они были ясновидцами. Шествие предполагалось траурным, поминальным, но в нём не было уныния, печали, слёзного надрыва. Повсюду была радость, желание поделиться этой радостью с другими. Те, кто воевал и погиб в давнишних боях, хотели радоваться встрече, наслаждаться тёплой весной, узнать народ, народившийся после их смерти. Слышалась гармошка. Кто-то приплясывал. Кто-то нёс портретик Сталина, кто-то — картину Васнецова “Три богатыря”.

Пётр Дмитриевич незаметно целовал серебряный медальон и нашёптывал: “Видишь, как липы распустились? Какие чудесные на клумбе тюльпаны? Мы идём с тобой, как жених и невеста”.

Агеев шёл в толпе, зная, что в каждом, кто шагает рядом, живёт таинственный код русского воскресения, русской извечной веры, что смерти нет, что возможно — всеобщий вздох, всеобщий молитвенный возглас — и мёртвые воскреснут, и тогда не поймёшь, кто был мёртв и воскрес, а кто не умерал и будет жить вечно. Его вера в это была столь сильна, столь сильна была вера в эти тысячи и тысячи окружавших его людей, что совершилось чудо, какое совершается в крестных ходах. Те, кого несли на портретах их поздние родичи, поменялись местами с теми, кто их нёс. Мёртвые воскресли и понесли живых, а живые шли по воздуху, на руках своих прадедов.

Пётр Дмитриевич шёл, не касаясь земли, и Ирина несла его на руках.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

После визита к президенту и посещения парада Агеева стали забрасывать различными приглашениями, от которых Пётр Дмитриевич по простоте душевной не мог отказаться. Так он побывал на конкурсе собаководов, разводящих собак породы корги. Ещё он побывал на юбилейном вечере штангистов станкостроительного завода. Принял участие в чествовании выпускников пожарного училища. И среди этих назойливых и наивных приглашений его поразило одно. Господин Эраст Богоносцев и Ксения Фалькон имеют честь пригласить господина Агеева Петра Дмитриевича на бракосочетание, которое состоится в храме “Большое Вознесение”, что у Никитских ворот. Венчание продолжит театрализованное представление с участием молодожёнов. Приглашаемый гость включён в список вип-персон, и за ним закреплены лучшие места обозрения.

Это приглашение невозможно было оставить без внимания, и Пётр Дмитриевич на него откликнулся. Ксения Фалькон была крестницей президента, и многие приглашённые, откликаясь на приглашение, отдавали дань уважения президенту.

Гости собирались на Ильинке возле Гостиного двора. Уже выстроился кортеж дорогих машин. В них размещались видные режиссёры, телеведущие, известные актёры, редакторы журналов. Во главе кортежа красовался великолепный катафалк с полированными дверцами и балдахином, на больших деревянных колесах, на которые обычно ставились кареты. Катафалк был запряжён шестёркой вороных лошадей в плюмажах из чёрных страусовых перьев. Пётр Дмитриевич был слегка удивлён катафалком, который не совсем вязался с венчанием, но большинство гостей усматривало в этом театральную интригу, и Агеев поверил в тонкий замысел режиссёра Эраста Богоносцева и его изобретательной невесты Ксении Фалькон.

Были полицейские машины сопровождения. Машины главных телевизионных каналов. В небе сновали квадрокоптеры. Самый юркий проник под балдахин катафалка и снимал лежащих в гробах Эраста Богоносцева и Ксению Фалькон. Гробы были обшиты чёрным сафьяном с серебряными кистя-

ми. Молодожёны выглядели как истинные покойники с жёлтыми окаменелыми лицами. Клов Эраста Богоносцева слегка согнулся на конце, утратив в смерти стальную крепость.

Раздался звук погребальной трубы. Катафалк застучал деревянными колёсами. Форейторы в чёрных плащах побежали, придерживая лошадей по уздцы. Процессия обогнула Кремль, выкатила на бульвары и причалила к ампириному храму “Большое Вознесение”, где когда-то венчались Пушкин и Наталья Гончарова. Множество зевак на тротуарах провожали процессию, некоторые горько рыдали.

Молодожёнов в гробах внесли в храм, поставили на столы. Батюшка с косой бородой, с засученными рукавами и в фартуке, похожий на мясника, тут же стал охаживать венчающихся парными венниками, восклицая:

— Всякое дыхание требует махания! Пусть невеста будет в теле, чтобы валенки слетели!

Покойники, получив изрядную порцию прутьев, выскочили из гробов. Ксения Фалькон была в розовой мини-юбке, отороченной кружевами. Эраст Богоносцев был в чёрном сюртуке с оранжевым цветком мальвы и в жёлтых канареечных панталонах. Он стали прытко бегать по храму. Священник носился за ним, размахивая кадиллом:

— Если Пушкин очарован, значит, выбрал Гончарову. Гончарова же при этом вышла замуж за поэта!

Некоторые гости усмотрели в представлении подвох. Но, не желая выглядеть отсталыми ретроgrадами, криво улыбались. Пётр Дмитриевич, едва вошёл в храм, оказался среди тихого золота, блёклых икон, зелёных и красных лампад, сразу же ощутил целомудренное дуновение того дивного венчания. И эти мерзкие скачки и гримасы были осквернением и святотатством, но он не мог поверить, что столько достойных людей способны смотреть на это и не остановят святотатцев.

Жених и невеста встали в середине храма. Священник в фартуке делал жениху знаки, подмигивал. Эраст Богоносцев вытащил из сюртука пухлую кипу ассигнаций, сунул священнику. Тот ловко спрятал деньги под косой бородой. Метнулся в алтарь и вышел оттуда со свиной головой и топором, каким на рынке рубят мясо:

— Венчается раб Божий Эраст рабе Божией Ксении! Венчается раба Божия Ксения рабу Божьему Эрасту!

Проревев эти ритуальные возгласы, священник трижды рубанул топором свиную голову, так что из нее полетели зубы.

— Люблю тебя, Натали!

Агеев почувствовал страшный удар в череп. Гератский взрыв раскроил ему кость, мозг распался, и его коснулась жуткая тьма. Код Пушкина был уничтожен. В Таблице зияла чёрная скважина, из которой тянул ледяной сквозняк. У Петра Дмитриевича дрожали руки, и он никак не мог поставить в подсвечник свечу.

Шаловливая кавалькада погрузилась в машины. Молодожёны сидели в чёрных сафьяновых гробах с серебряными кистями и весело целовались. Журналисты снимали. Наиболее проворные брали интервью.

Петр Дмитриевич не мог унять страшную дрожь в руках. С этой дрожью из него уходила всякая мысль, понимание мира, в котором он оказался. Его замкнули на электрический кабель, в котором сотрясается ток.

Кавалькада продолжала движение по Москве. Услужливая полиция перекрывала улицы, давала ход процессии. Они приблизились к памятнику Гагарина на Калужской. Эраст Богоносцев и Ксения Фалькон возложили к подножию серебряного памятника траурные венки из кладбищенских цветов, среди которых шевелилась большая рыжая черепаха.

Агеев опять испытал удар в череп. Это погиб “русский комический код”. На взорванный, лишённый защиты мозг легла жёлтая черепаха, скребла мозг тупыми когтями.

Процессия побывала у памятника Владимиру Святому, украсив его подножье тушками общипанных кур, что сокрушало “код Херсонеса”. У конной статуи Жукова была насыпана груда несвежих костей. Пётр Дмитриевич

хотел вырваться из автомобиля, но дрожь в руках не позволяла нащупать ручку двери. Он смотрел в небо, и оно было наполнено мутью. Множество чёрных пылинок, мелких соринки летели в небе. Приближаясь к земле, они увеличивались, обретали форму крылатых насекомых. Падали на землю, превращаясь в жукелиц, сороконожек, улиток, червячков. Шустро бежали, скрывались в трещинах тротуаров, под камнями. Некоторые завязывались в узелки, шевелили кожаными щупальцами, как свастики, и ползли на брусчатку боком, как крабы из волн у Галапагосских островов.

Пётр Дмитриевич чувствовал смертельную угрозу, исходящую от этих едких червячков, блестящих сороконожек, которые по крошкам изгрызут железо самоходок и танков, марширующих лихих знаменосцев.

Процессия, совершив круг по Москве, истребив несколько базовых “русских кодов”, вернулась к Гостиному двору. Гостей пригласили в залы. В огромном зале были расставлены кресла, среди них выделялись ложи для высокопоставленных лиц. Вся середина зала отводилась под сцену, где молодёжь давала спектакль под названием: “Верность исторической памяти”. Агеев, не в силах унять дрожь в руках, разместился во втором ряду напротив золочёной ложи с приспущенными гардинами. Зал был почти полон. Законодатели театральной моды. Блистательные телеведущие. Остроловы, славные насмешками над православными иерархами. Юмористы, сочиняющие комические водевили по романам Толстого и Достоевского. Вальяжные геи, создающие особенную эстетику сексуальных извращений. Насмешники, вызывающие хохот своими пародиями на пьяных русских мужиков и обделённых любовью баб. Знатки эзопова языка, представляющие русское общество зверофермой. Выделялся оживлённый Борис Журавлик. Как всегда, в центре внимания пребывал главный редактор “Эхос Мундис” Плиний Краснопевцев, чьи немытые волосы набивались в открытые рты восхищённых поклонников.

Внезапно свет померк. Осталась освещённая одна лишь сцена, где предстояло играть Эрасту Богоносцеву и Ксении Фалькон.

В первом акте зритель увидел опочивальню Зимнего дворца, где на брачном ложе тешились император и императрица. В опочивальню врывается Григорий Распутин — его играет Эраст Богоносцев. Вышвыривает императора из постели императрицы — её играет Ксения Фалькон, — и овладевает императрицей со словами:

— Есть у матушки-царицы и у батюшки-царя, что поесть, повеселиться, погулять до октября.

Следует распутная сцена. Первый акт завершён.

Во втором акте Владимир Ленин, — его играет Эраст Богоносцев, — обнимает в постели без видимой охоты Надежду Крупскую. В спальню врывается Инесса Арманд — её играет Ксения Фалькон.

— Пусть реки слёз кровавые прольются, моя любовь к нему, как революция!

Ленин забывает о Крупской в объятиях Инессы Арманд. Не всякий выносит эту сцену.

В третьем акте Аллилуеву мучает своей неистовой похотью Троцкий. Аллилуева — её играет Ксения Фалькон — уже готова расстаться с жизнью. В спальню врывается взбешённый Сталин — его играет Эраст Богоносцев.

— Одна дыра тебе на свете люба — кровавая дыра от ледоруба.

Происходит ужасная кровавая оргия. Часть зрителей, в большинстве своём геи, на время покидают зал.

Следующий акт происходит в блокадном Ленинграде. Изнурённая голодом Ольга Берггольц — её играет Ксения Фалькон — вяло отвечает на ласки Шостаковича. Это унылое действие нарушает Жданов — его играет Эраст Богоносцев, — он бурей врывается в спальню, где в графине замёрзла вода. Ласки Жданова грубы и по-народному свирепы. Любовь умирающей Ольги Берггольц смотрится ужасно. Утолённый Жданов уходит, попутно выливает из графина растаявшую воду.

— Минует радость, кончится беда. Останется лишь талая вода

В последнем акте происходит космическая оргия. Космонавтка Терешкова — ее играет Ксения Фалькон — в открытом Космосе предается неистовой страсти с космонавтом Николаевым — его играет Эраст Богоносцев. Буря страстей столь велика, что космический корабль едва не сходит с орбиты. Тысячи земных телескопов направлены на космическую станцию. Причём детям не позволяют смотреть. Раздаётся торжествующий гимн:

— Если хочешь, попроси. Закручусь вокруг оси!

Свет в зале гаснет. Слышатся глубокие вздохи зрителей. Редкие попискивания дам. Все ждут продолжения. И оно наступает.

В чёрном бархатном мраке сцены загорелся яркий прожектор. Он осветил странное сооружение, напоминавшее спортивный снаряд под названием “конь” — длинное, похожее на конское тулово, бревно и четыре грубо прибитых ноги. Странность этого сооружения довершала розовая мини-юбка с кружавчиками, в которой Ксения Фалькон совершала венчание. Юбка была натянута на задние опоры станка, что странным образом напоминало Ксению Фалькон, вставшую на четвереньки. В темноте послышался хрип и рёв, и в свет прожектора ввели на цепях быка. Мускулистые силачи, играя бицепсами, сдерживали могучие порывы животного. Его фиолетовые губы переполняла слюна. Красные глаза под белёсыми ресницами слепо вращались, словно он чувствовал, но не видел предмет своего вождения. На быка был напаян чёрный стюртук с рыжим цветком мальвы, принадлежавший Эрасту Богоносцеву в момент бракосочетания. Наконец, шумные ноздри быка уловили сладкий аромат мини-юбки. Бык рванулся, повлёк за собой силачей. Со стуком взгромоздился на бревно с мини-юбкой. Неземная, не бычья страсть выдавили из бычьего паха огромный отросток, красно-синий, перекрученный венами. С диким рёвом бык ринулся, скользя копытами по бревну, и выбросил жаркую, тугую, как из брандспойта, струю, которая прожгла воздух, расплескалась на полу. Пол кипел и дымился, а из темноты раздались крики боли и наслаждения, видимо, капли горючей жидкости попали в кого-то из гостей. Быка поспешили увести. Горел свет. В липких лужах лежал жёлтый цветок мальвы. Восторженные крики сопровождали новую порцию гостей, успевших захватить завершение грандиозной сцены.

Пётр Дмитриевич стоял во втором ряду, и его руки продолжали дрожать пуще прежнего. Он вдруг с ослепляющей ясностью понял, что присутствует не на скабрезных посиделках порочного режиссёра Эраста Богоносцева и его растленной подруги Ксении Фалькон. Он присутствует при колдовской магической мистерии, при истреблении “русских кодов”. На адскую наковальню кидался “русский код”, по нему наносился удар страшной кувалды и превращал драгоценный кристалл в пыль. Так был уничтожен “код Пушкина” в храме “Большое Вознесение”, “код русского космоса” у серебряного памятника Гагарину, “код Херсонеса” и “код Победы”. И теперь была истерзана, истоптана, разорвана, полита ядовитой бычьей спермой вся русская история, пасхальный смысл которой Пётр Дмитриевич проповедовал. И это торжественное осквернение совершалось во имя него, было его казнью, было уничтожением сокровенной Таблицы.

Он решил, что казнь подошла к концу, и его можно выкинуть из Гостиного двора на Ильинку, где дождь, sireны полицейских машин, вся ничтожная, лишённая высшего смысла жизнь. Но раздался торжественный марш, и в зале появились Крамской и Младороссов.

За ними теснился православный предприниматель Проклов, окружённый “Русским сообществом”, причем кавалеры “сообщества” были под руку с отвратительными старухами из бывших народных артисток.

Все обступили вельможных особ. У президента в руках был букет цветов, который он тут же вручил своей крестнице, триумфальной Ксении Фалькон. Множество фотоаппаратов запечатлели нежные поцелуи.

Пётр Дмитриевич с криком выбежал из Гостиного двора. Стал метаться по Ильинке, тиснетая стараясь схватить машину. Одна машина затормозила. Три усача заломили ему руки за спину. Заклеили рот скотчем, кинули в багажник. Агеев лишился чувств и свернулся калачиком в просторном багажнике иномарки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Он очнулся в багажнике и вспомнил всё, что тому предшествовало. Агеев прислушивался к звуку тормозов, к полицейским и медицинским сиренам, к частым остановкам. Видно, машина шла по центральным улицам города. Остановки стали реже. Сирены поутихли. Машина катила по проспекту с редкими светофорами. Звук моторов стал тише. Машина ровно катила с редкими обгонами, и Пётр Дмитриевич решил, что они выехали за город. И не ошибся. Машина остановилась. Багажник раскрылся, и три неотступных усача наклонились над ним. Среди них появилось знакомое лицо Фаддея, чья борода делала его похожим на испанского идальго. И ещё одно лицо, милостивое, какие бывают у затейников на детских ёлках. Ну, конечно, это был Майкл Вякио, гостеприимный хозяин курильни.

— Поднимите его, — приказал Фаддей.

Усачи извлекли Петра Дмитриевича из багажника. Потянули в лес, в заросли дубов и орешника. Какая-то рыхлая, укутанная в тряпье старуха тащила хилую вязанку хвороста.

— Бабка, хромай отсюда, — прикрикнул на неё Фаддей, и та испуганно укрывалась в лесу. — Давайте его сюда, — приказал Фаддей.

В лесу среди корней была вырыта яма. На ее краю стоял гроб, черный, с сафьяновым нутром, с серебряными кистями по углам.

— Для тебя такая честь, Петрусь, лечь в гроб самой Ксении Фалькон. Будешь лежать, как скрипка в футляре. Загрузите моего друга в гроб!

Усачи уложили Петра Дмитриевича в гроб. Его руки и ноги были стиснуты скотчем, рот заклеен липучкой. Агеев понимал всю безысходность своего положения и не пробовал шевелиться или издавать звуки. Гроб был жёсткий и тесный. Ксения Фалькон с раскормленными бедрами едва помещалась в гробу.

— Майк Вякио отличный работник. Работает в полевых условиях так же виртуозно, как и в лаборатории. Сейчас он сканирует с твоего сердца Таблицу, и для этого не придется вскрывать тебе полость. Правда, Майкл?

Вякио не отвечал, только тихо улыбался. Устанавливал в изголовье гроба мониторы, стойки, штативы и камеры. И лицо его было таким же наивным, детским, как в курильне, когда он ловил сачком думы.

— Не думай, что твоя Таблица — особое для нас приобретение. Курьёз. Я отвезу Таблицу в Швейцарию, в Лозанну. Там размещается хранилище раритетов, претендовавших на то, чтобы изменить ход истории. Глиняные таблички Хаммурапи. Берестяные грамоты. Велесова книга. И вот твоя Таблица Агеева. Сон разума, потревоженного взрывом фугаса. Майкл, ты готов?

— Мне нужно увеличить разрешающую способность по оси “зет”. — отозвался Майкл Вякио.

— Прошу, сделай почётче фрагменты “Арктика Русской Мечты”, “Космос Русской Мечты” и “Армия Русской Мечты”.

— Синхронизация обеспечена. Могу начинать, — ответил Майкл Вякио.

— Конечно, я лукавлю, Петрусь, говоря, что твоя Таблица безделица. Русский народ находится в плачевном состоянии. Он почти не народ. Но русские всегда выкидывают фокусы. Как поведут себя они, если к ним в руки попадёт твоя Таблица? Опять “Пятая империя”? “Эхо Херсонеса”? “Святое оружие”? “Религия русской победы”? Опять “Русская Мечта”, когда на Святой Софии появятся православные кресты? Таблица не должна попасть в руки русских. Русские должны отдохнуть от своей пасхальной истории. Хватит им маяться, добредая то до Берлина, то до Парижа. Хватит русским правителям — князьям, царям, вождам, президентам — рвать пупки и строить империи. Дадим им, чёрт возьми, отдохнуть! Ну как там, Майкл?

— Пять минут, Фаддей Аристархович.

— Ты не знаешь, Петрусь, как устроена российская власть. Думаешь, президент не хочет иметь твоей Таблицы? Хочет, но чтобы его называли “ваше величество”. А председатель Думы? Тоже хочет, но чтобы его называли “господин президент”. А Проклов хочет стать председателем Думы. Дадим же им отдохнуть. К чёрту Таблицу Агеева! Как ты, Майкл?

— Файлы пошли. Процесс окончен.

— Вот и ладно. Прощай, Петрусь. Встретимся на метеорите. Тебя закопают, но оставят трубу. Сможешь ещё подышать.

Майкл Вякио собрал свои приборы и отнёс к машине. Усачи тяжело спихнули гроб в могилу. Прикрыли крышкой. Стали забрасывать землёй. Трубка позволяла Петру Дмитриевичу дышать. Удары земли о гроб стихли. Раздался далёкий рокот отъезжавшей машины, и всё смолкло.

Пётр Дмитриевич лежал в гробу и прощался. Ему не было страшно. Только сжимал тесный гроб и холодила земля. Он думал о бабушке и её Евангелии с золотым обрезом, которое она читала перед сном. Вспоминал, как отец взял его на руки и вошёл в реку, и он прижимался к отцу, веря, что ничего не случится. Как мама нашла на даче большой белый гриб, и все сошлись, восхищались, а мама порозовела от удовольствия. Он думал об Ирине, она ждёт его, и они скоро встретятся, обнимутся и пойдут по дугу, синему от цветного горошка, и взлетит коростель, красная птица, полетит, свесив ноги, и упадёт в далёкий куст, перевитый вьюнками. Зимой земля вокруг станет колючей и твёрдой, а весной размякнет, пропитается струйками воды. И, быть может, над его могилой прошумят ураганы, прокатятся востания и революции, или враг пройдёт своими железными дивизиями. И он будет защищать эту пядь земли, отпущенную Богом, крохотный ломоть России, и, быть может, враг будет здесь остановлен.

Пётр Дмитриевич дремал, остывал. Произносил чьё-то тихое имя.

Он услышал над собою звуки. Кто-то скрёб землю, откапывал его. Звук прекращался и снова раздавался. Наконец, что-то стало скрести по крышке гроба. Крышка сдвинулась, отвалилась. Он лежал в открытом гробу, и над ним наклонилось старушечье лицо.

— Ишь, что надумали изверги! Христа на них нет, чтобы живого человека закапывать!

Пётр Дмитриевич подумал, что это та старуха, которая встретила его на опушке и шмыгнула в кусты, когда на неё прикрикнул Фаддей.

— А ежели бы их закопали, а кругом ни души!

Агеев подумал, что старуха руками, по-собачьи, разгребла могилу. Она размотала скотч на его руках и ногах, и Пётр Дмитриевич сел в гробу. Он отодрал липучку с губ. Спросил:

— Ты кто?

— Кто я, и сама не знаю.

Старуха была в тряпье, измазанная землёй. Но что-то в её лице показалось Петру Дмитриевичу знакомо.

— Ты кто?

Старуха не ответила и бочком, пятясь, стала удаляться, и Пётр Дмитриевич узнал в ней тётю Полю, с которой играл в дурака, разбрасывая по клеёнке дам и валетов.

— Тётя Поля, ты, что ли?

Старуха дошла до опушки, обернулась, и Агеев узнал в ней маму, её волшебную женственность и красоту. Мама улыбнулась и скрылась за дубом, только листва шевельнулась.

Пётр Дмитриевич поднялся и пошёл к дороге. Он чувствовал странную лёгкость. Тяжесть, которую носил на сердце, пропала. Таблицы на сердце не было. Но он не жалел об этом, радуясь необычайной лёгкости, о которой успел отвыкнуть.

Он вышел на шоссе. Оно было уезжено, давно не знало ремонта. Но тем и красиво. На обочине росли кусты, круглые, как шары. Дубы набросали желудей, и те превратились в дубраву.

Пётр Дмитриевич наслаждался небывалой лёгкостью. Таблица не давила на сердце. Страх её потерять или с ней расстаться не было и в помине. Он был свободен, спасён для жизни. На шоссе лежали длинные тени, и по этим теням прыгали сороки.

Он услышал далёкий дружный грохот. Ревели моторы, их грохот становился ближе. Показались мотоциклисты на великолепных машинах, которые извергали огонь, пульсирующий свет, громогласную музыку. Агеев

посторонился, лихие мотоциклисты промчались мимо, оглушив выхлопами. Один из них развернулся, накатил на Агеева:

— Пётр Дмитриевич, как вы тут оказались? — Хирург, предводитель “Ночных волков” во всём великолепии дорожной амуниции, на неподобном “Ямаха” принял его в объятья.

— Да я вот так, на прогулке, ноги размять, — лепетал Пётр Дмитриевич.

— У нас пробег Русской Мечты до Осташкова. Нам по дороге.

И уже через минуту Пётр Дмитриевич держался за спину Хирурга, на которой маслом был нарисован портрет Сталина. И они рвали весенний воздух всей мощью своих шестицилиндровых машин, прорываясь то ли на Магадан, то ли на Марс.

Расстались в Осташкове, превратив тихий городок в космодром, и они стинули, оставив Агеева. Пётр Дмитриевич покидал городок, наслаждаясь ароматами невидимых озёр, слыша тихие звуки далёких колоколен.

Рядом затормозила машина. Фешенебельный “Ауди”. Стекло опустилось, и человек с длинным сухим лицом и жгучими глазами спросил:

— Если не ошибаюсь, Пётр Дмитриевич Агеев?

Пётр Дмитриевич тотчас узнал в человеке Данилу Величко, экстравагантного режиссёра магического театра, где побывал с Ириной.

— Не могу ли вас подвезти?

— Да мне здесь близко, — ответил Агеев, не желая прерывать своё одинокое шествие.

— Но всё-таки!

Пришлось сесть, и разговор зашёл о возможности управлять историческим процессом с помощью театральных постановок.

— Я вам благодарен за неожиданный финал в моём спектакле. В чёрно-белом Космосе возник великолепный, как Царствие небесное, фонтан.

Они расстались, и Пётр Дмитриевич был благодарен неординарному человеку за любезность.

Впереди показалось село с неказистой, скучной церковью. Главная дорога с уцелевшим асфальтом вела в село, но в сторону, мимо села, плутал просёлок. Агеев выбрал просёлок, чтобы не оказаться рядом с храмом, у которого были нарушены все пропорции, купол был липкого синего цвета, и от него на версту пахло ацетоном.

Просёлок спускался к оврагу, к мелким зарослям и не сулил ни приюта, ни ночлега. Навстречу по тропке поднимался велосипедист. Он вёл велосипед, у которого под рамой была прикручена коса. Сам владелец велосипеда был худой, загорелый дочерна, как человек, весь день проводивший на покосе.

— Здравствуйте, — поклонился Пётр Дмитриевич. — Куда дорога ведёт?

— А то не знаешь?

— Знал бы, не спрашивал.

— К Волге ведёт, куда же!

— Как к Волге?

Человек не ответил, провёл мимо свой велосипед, от которого пахло свежим сеном. Пётр Дмитриевич заторопился. Дорожка резво сбегала вниз, и скоро он очутился на дне оврага, у деревянного сруба, над которым голубела луковка. Чьей-то старательной рукой на дощечке было выведено: “Река Волга. Исток. Просьба не мусорить”.

Агеев стоял ошарашенный. Он и не думал мусорить. Дорога сама привела его туда, куда и должна была привести после всех злоключений.

Пётр Дмитриевич спустился по сырым ступеням к источнику, над которым синела луковка. Ямка, откуда бил источник, была светлая, песчаная, а дальше переходила в тёмный, заросший травой ручей. Он склонился к источнику, вдохнув запах студёной воды. Жёлтое дно родника бурлило. Там прыгали и крутились песчинки. Донная вода находила себе выход и играла песчинками. И это была Волга. Волга, укрытая кустами, спрятанная в овраге, позвала Петра Дмитриевича, и он пришёл.

Он прилёг на сырые ступени, приблизил лицо к воде, окунул губы и стал пить. Сладость омыла губы и рот. Он жадно пил, дышал в воду. Вода бурлила вокруг него пузырями. Он не мог поверить тому, что пьёт Волгу.

Он чувствовал, как переполняется Волгой. Он был в ней, а она в нём, и оба они — в громадном сверкающем мире. Он нашёл тот ключик, который приводил в движение все “русские коды”, отмыкал и замыкал Таблицу. Таблица опять была в нём. Песчинки, что танцевали на дне родника, эти золотые песчинки, были “русские коды”. Он пил Волгу, куда сошлись на водопой великие народы, где менялись династии, возникали и падали царства. Где родился акушер, принявший роды великого красного государства. Где Сталинград ополаскивал своё окровавленное победное лицо. Где рождались великие трудники, прозорливцы и мученики, небывалые художники, певцы и сказители. Он пил Волгу, а она пила его, его невыплаканные слезы, неопалимую веру, негасимую любовь.

Пётр Дмитриевич поднялся и пошёл *вдоль по матушке по Волге*, видя, как расступаются берега, как вливаются ручьи и реки.

Мимо по воде прошла лодка, поражавшая своей крепостью и красотой. Это неуспынный странник Фёдор Кононов шёл на веслах по Волге до Каспийского моря, а потом, погостив в священном городе Кум, решил обогнуть Индию и добраться до Японии.

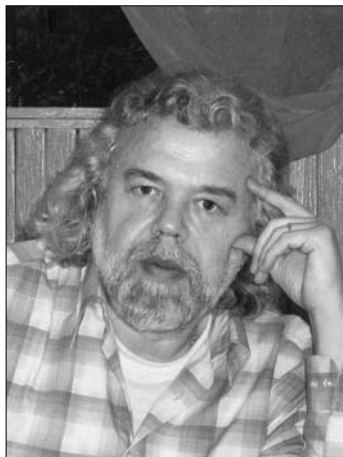
С другого берега реки кричала кукушка. Это хранитель народного памятника провожал Петра Дмитриевича, не переставал куковать, суля ему долголетие.

Под Костромой, строя из мокрого песка волшебный дворец, Пётр Дмитриевич вдруг нашёл синюю стеклянную бусину, которую подарила ему девушка в ночь выпускного бала. Бусинка мерцала. В ней была проколота дырочка. Пётр Дмитриевич долго играл ею, пока не потерял, уже окончательно.

Теперь они шли с Ириной где-то за Городцом, босые, омывая ноги в волжской воде. Ирина нашла в песке большую перламутровую ракушку. Показала Петру Дмитриевичу и сказала:

— Положи эту ракушку себе на стол. Когда мы состаримся, мы станем рассматривать эту ракушку и вспоминать, как мы шли вдоль Волги.

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ



ЖИЗНЬ БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИА

ЛЁД НЕДОЛГИЙ

Лёд последний, лёд недолгий
Мимо берега плывёт!
То не Кама и не Волга,
И не белый пароход.

Под ногой шуршанье гальки
Не сравню с пригоршней звёзд.
Там другие ёлки-палки,
Скорость и вселенский рост!

Выдох прогибает воздух,
Но на место ставит вдох!
Полсекунды будет роздых —
Не застанут нас врасплох!

Лёд последний, лёд недолгий
По небу уже плывёт.
Это Кама! Это Волга!
Это белый пароход!

ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич родился в 1953 году в посёлке Ново-Ильинский Пермской области. В 1991 году с отличием закончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. Автор многих поэтических книг. Член Союза писателей России. Постоянно печатается в нашем журнале. Живёт в Перми.

ЛУЧ

С Камы-матушки широкой,
С Камы-матушки глубокой,
Между лодок и плотов
На колёсном пароходе
(Что-то динозавра вроде...),
Позабыв родимый кров,
Приплывём в Москву-столицу,
Поцелуем голубицу,
Что летает выше туч,

Над её семью холмами,
Над кремлёвскими орлами
Пронося Господний луч.
Этот луч насытит перья,
Как стрелу насытит зелье,
А стрела насытит цель.
Слово не острее кинжала!
Но из раны побежала
Кама в общую купель.

* * *

Прошли мимо окон стихи луговые,
Стихи-буреломы за ними бредут,
Цепляя сучками цветы голубые...
Люблю васильки — их полно нынче тут!

Идут мимо дома родного поэта
Стихи — проложил же им кто-то маршрут?
И клён шелестит, словно флаг сельсовета,
Как средство от гриппа и прочих простуд.

Стихи не гремят по земле кандалами
И в кровь не сбивают подошвы свои.
То днями живут они, то временами,
Их в небо возносят восторги твои.

Они, как молитвы, как ангелов крылья...
Не стой против неба, талантом хвалясь...
Не можешь писать? — Так рыдай от бессилья,
Слезами смывая житейскую грязь.

* * *

А мамы нет, и дома нет.
Но это я в душе запрятал.
А с неба так же льётся свет,
Как лился в юности когда-то!

Жизнь без руля и без ветрил
Несётся волею поэта!
Я многих на земле любил!
И всё же песня не допета...

Я рвал из ножен свой кинжал,
Коль яблоко вражды созрело!
Но я на Бога не роптал!
На Господа роптать не дело.

А утром наступал рассвет.
Звенели годовые кольца.
Я к вам был послан как поэт —
От Бога, Родины и Солнца!

ЕВГЕНИЙ МАМЫКИН



НЕБО И ЗЕМЛЯ

ПОВЕСТЬ

За окном стояли солнечные, тёплые дни с безоблачным небом и чуть заметным ветерком. В кабинете комбрига 237-й танковой бригады подполковника Викторова шло совещание с участием маршала Советского Союза Жукова. Дверь распахнулась, и в кабинет комбрига вошла девушка в форме капитана.

— Товарищ комбриг! Разрешите доложить... — Она увидела Жукова и обомлела. Но быстро пришла в себя: — Товарищ маршал Советского Союза! Разрешите обратиться к товарищу подполковнику!

— Разрешаю.

— Товарищ подполковник! Капитан Бондарь по вашему приказанию прибыла!

— Вольно. Ну что, Нина, решением командования твой экипаж удостоивается почётногo участия в Параде Победы, который пройдёт в Москве.

— Спасибо, товарищ подполковник! Служу Советскому Союзу!

Опустив голову, Нина добавляет:

— Мне бы в отпуск лучше, к маме.

В разговор вступает Жуков:

— Будет тебе отпуск, и в параде поучаствуешь. Поможем с отпуском?

— Так точно, товарищ Жуков!

— Трёх суток хватит, капитан Бондарь? — обращается к Нине комбриг.

Мамыкин Евгений Вячеславович родился в 1968 году в Бийске. Окончил Бийский государственный педагогический институт. Работал в школах города в качестве учителя труда и физкультуры. В 2001 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. Работал юристом на предприятиях города. В настоящее время сотрудник Межрегионального общественного фонда имени Михаила Евдокимова.

- Никак нет.
- Почему?
- Мама живёт на Алтае, а это очень далеко.
- Организуйте перелёт капитана Бондарь. Пять суток хватит, капитан?
- На самолёте хватит, товарищ Жуков!

Она подошла к самолёту, и вдруг у неё защемило сердце. Как давно она не летала! С чувством радостной тревоги поднимается в самолёт. Из кабины самолёта выходит лётчик со словами:

— Это вы ценный пассажир?

В лётчике Нине кажется что-то знакомое. Это же Клава Фёдорова, с которой она закончила авиационное училище в Омске.

— Клава! Ты ли это?!

— Я, Нина, я! Мы же все думали, что ты погибла тогда, при перегоне самолётов. Немец тебя подбил, и мы видели взрыв на земле.

— Нет, я успела выйти из пике и выпрыгнуть с парашютом, а фашист врезался в землю.

Они крепко обнялись и заплакали.

— Пора лететь. Перелёт будет долгим. Надень куртку, в полёте будет холодно.

Она вспоминала школу и один из жарких майских дней перед сдачей экзаменов на аттестат, когда пришёл инструктор из аэроклуба.

— Есть желающие поступить?

И тут Нина поняла, что хочет стать лётчиком. В последние дни ей только и снилось, что она летает! Летит над крышами домов, над городом и над рекой Бией. Земля сверху такая красивая, что плакать хочется. Просыпалась вся в слезах...

Несколько человек из класса, в том числе и Нина, записались в аэроклуб. Прошли медицинскую и мандатную комиссии. И началась учёба. Первое время изучали устройство самолёта, затем как управлять им. Первый свой прыжок с парашютом Нина запомнила на всю жизнь. Падают в реку, парашют накрывает, вода холодная! Спасатели на лодках караулили учащихся и быстро вытаскивали из воды...

Нина начала полёты очень уверенно. Любила похулиганить в воздухе. Над городом давали зону облёта. Она низко спускалась, летела чуть не по крышам. Дома бабушка ругалась:

— Черти тебя носят! Ты, холера, чуть трубу не снесла!

Инструктор тоже делал замечание:

— Почему так низко летаешь?!

— А мне просто нравится летать. Я чувствую небо! — отвечала Нина.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года инструктор назначил нескольким курсантам, наиболее уверенным в себе, ночные прыжки с парашютом. В небо улетали в мирное время, а на землю вернулись уже в войну!

В училище, куда зачислили Нину, была только одна эскадрилья девушек, таких же настойчивых, целеустремлённых, как она. Это её очень обрадовало. Словно в родную семью попала.

В октябре состоялся первый выпуск командиров-лётчиков. Нине присвоили звание младшего лейтенанта. Одели в красивую лётную форму, и в тот же день они выехали в распоряжение командующего военно-воздушными силами Западного фронта под Москву. В штабе поставили задачу: перегнать самолёты с одного аэродрома на запасной.

Нина подняла свою машину быстро и легко. Очень радовало, что машина хорошая, послушная. Ровно поёт мотор. Проплывают под крылом леса, деревни, дороги. По дорогам идут танки, автомашины, пехота. Строй самолётов выровнялся. Летели клином, как журавли. Майор держал высоту не более трёхсот метров. Нина поняла его манёвр: в случае опасности легко перейти на бреющий полёт. Те, кто побывал в боях, ещё в училище рассказывали: это лучший манёвр при встрече с немецкими самолётами.

Примерно через час Нина заметила в небе серебристые точки самолётов, насчитала более сорока. И вдруг от них отделились две и ринулись прямо навстречу тихоходной девичьей эскадрилье. Вот уже видно, что это немецкие истребители. Они не сворачивают, не сбавляют скорости, словно проверяют на смелость и выдержку. Нина вспомнила фильм про Чкалова, где показан учебный воздушный бой, когда пилоты не хотели друг другу уступить и чуть было не столкнулись. Вот и эти пугают.

Нина делает манёвр и направляет самолёт в сторону впереди идущего вражеского истребителя, жмёт на гашетку. Немец загорается. Где же второй? А второй сзади. Догоняет её. Нина переводит самолёт в пикирование. Чем-то больно ударило по ногам. Кое-как вывела самолёт из пикирования. И почему-то вспомнила голубя над рекой, который спасся от истреба, — картинку, которую она своими глазами видела накануне войны.

Снизу звучит страшный взрыв, из-за которого самолёт Нины начинает терять высоту. Не чувствуя левой ноги, Нина вываливается из кабины самолёта, парашют раскрывается, но не полностью. Высоты не хватает. Удар о землю. Нина теряет сознание. Подоспевшие солдаты поднимают её и несут в санитарную машину.

Очнулась в госпитале.

— Что с ногами? Они не двигаются, — спрашивает Нина у подошедшего врача.

— У вас пулевое ранение левой ноги и перелом правой. Мы её собрали по частям. Ходить сможете.

— А летать, летать я смогу?!

— Летать нет. А в медицину, радистом, пожалуйста.

— Нет, только на фронт, — возразила Нина и, уткнувшись в подушку, тихо заплакала. Ведь она сильная, сможет вернуться в авиацию, несмотря на запреты врачей!

Ребята, которые уже успели побывать в боях и сами сейчас находились в госпитале, предложили записаться в танковое училище, куда уже шёл набор добровольцев. Сначала она боялась, что девушек туда не возьмут, но они настояли и написали письмо на имя самого Сталина, приложив к нему список желающих учиться в танковом училище. Была в этом списке и Нина. Скорее всего, никому и в голову не пришло, что это девушка. Даже в госпитале, в документах, когда видели Н. И. Бондарь, часто писали Николай.

Перед самой выпиской в палату, где лежала Нина, вошёл суровый военный.

— Кто из вас младший лейтенант Бондарь? — спросил военный.

Нина, опираясь на костыли, бодрым голосом ответила:

— Я!

— Девушка?

— Так точно!

— За мужество и героизм, проявленный в воздушном бою, Указом Президиума Верховного Совета СССР награждается орденом Красной Звезды Бондарь Н. И. — И вручил Нине коробочку с наградой.

— Служу Советскому Союзу!

— Если все будут так воевать, как товарищ Бондарь, мы скоро победим врага, — попытожил суровый военный.

А вскоре пришло одобрение на её ходатайство. В Москве она долго плутала по улицам, пока разыскала управление кадров бронетанковых войск.

Начальник отдела с утомлёнными, покрасневшими от бессонницы глазами долго читал её личное дело.

— Почему вас списали из авиации?

Хотела огрызнуться, что в личном деле всё написано, но сдержалась.

— Из-за ранения. Сейчас всё прошло, я совершенно здорова, товарищ полковник.

— Вы танковую службу представляете?

— Так точно, я умею водить и трактор, и автомобиль...

— Это ещё не всё, что нужно.

— Я понимаю, но я ничего не боюсь и не прошу ничего, кроме возможности учиться и пойти в бой. Как вы не поймёте?!

— Успокойтесь. Всё понимаю, но если вы силы свои не рассчитали? А ведь вам будут доверены люди, техника.

Нина сжала губы, чтоб не сказать какой-нибудь резкости. Ему-то чего бояться? Сидит здоровый, чистенький, в тёплом сухом месте и рассуждает об опасности, об ответственности.

Подполковник связался по телефону с каким-то, судя по вежливому тону разговора, большим начальником.

— Есть! Сейчас едем.

Подполковник встал из-за стола, одёрнул гимнастерку и, сильно прихрамывая на левую ногу, пошёл к выходу, приказав Нине:

— Идите за мной.

Они вышли из здания. У подъезда уже стояла легковая машина.

— Садитесь.

Когда Нина села, он с трудом разместил свою негнущуюся ногу. Ехали долго по вечерней затемнённой Москве. Подполковник всю дорогу молчал. Нина не решалась спросить, куда они едут. Тайно надеялась, что к товарищу Сталину, и очень трусил. Вспомнилось, как провозжали ребята из резерва, многие из них уезжали в Саратовское танковое училище и ей наказывали, чтоб туда же просилась. Ребят очень удивило, как она осмелилась написать письмо Сталину. Отшутилась:

— А он мне дядя, потому и вызвал в Москву.

Машина остановилась возле подъезда высокого здания. Разделись в гардеробе. Подполковник внимательно со всех сторон критически осмотрел Нину.

— Ничего, сойдёт, — подвёл он итог осмотра, — не на бал. Война...

Нина мысленно похвалила себя: как бы трудно ни было, а успела привести себя в порядок.

— Обстановка такова, товарищ Бондарь, — сказал подполковник, — сейчас с вами будет беседовать маршал Ворошилов.

— Ворошилов?!

Они поднялись по широкой лестнице на второй этаж, прошли длинным, с высоким потолком коридором.

— Вот. Это приёмная. Да ты не тушуйся, — неожиданно перешёл на "ты" подполковник. — Климент Ефремович не любит тюх-матюх. Смелее.

Нина глубоко вздохнула. Так она всегда делала, когда решалась на что-нибудь отчаянное. Но за высокой дверью её встретил моложавый полковник, он кивнул головой, подошёл к двери и, открыв её, сказал Нине:

— Сюда входите. Маршал ждёт вас, товарищ Бондарь.

Нина увидела в глубине просторного кабинета массивный стол и за ним Ворошилова, пошла строевым шагом, чуть прихрамывая на раненую ногу. Маршал вышел из-за стола, дождался, когда Нина отчеканила слова рапорта, и тихо, спокойно улыбаясь, произнёс:

— Вот вы какая! Проходите. Садитесь. — Он показал на мягкое кресло. — Ну, и задали же вы работы нашим кадровикам.

Только теперь Нина разглядела его. Точь-в-точь, как на портрете. Только роста небольшого, чуть повыше неё, да седины много. А глаза молодые, улыбчивые. Не приходилось ей разговаривать даже с генералами. А тут маршал, да ещё какой! Ворошилов!

— Рад познакомиться с вами, товарищ Бондарь. Ваша просьба удовлетворена. Будете учиться в танковом училище. После окончания будете командовать танком, а дальше — как сами себя покажете. Вы пока первая девушка-танкист в Красной армии. Понимаете, что это значит?

— Климент Ефремович... товарищ маршал, я всё, всё понимаю. Честное комсомольское слово, вы не услышите обо мне ничего плохого. Никогда. Я обязательно до Берлина дойду!

— Ну, ну. Прямо уж и до Берлина. Пока вот врага только от Москвы отогнали. Но это хорошо, что вы так убеждены в победе. Если встретите какое-нибудь непонимание со стороны командования, а это очень даже может быть, дайте знать. В то же время не ждите особого к себе отношения.

Командир учебной танковой роты, когда ему сказали, что в его роте будет учиться девушка, нагрубил начальнику строевой части и в тот же день получил “строгача”, а вечером сам с курсантами торопливо оборудовал в казарме место под жильё для необычного курсанта.

Курсанты, в основном парни её же возраста, шептались за её спиной, в строю похохатывали. Первое время отмалчивалась, присматривалась. А когда присмотрелась, на первом же комсомольском собрании высказала всё. И добавила под конец:

— Посмотрим ещё, кто из нас будет настоящим танкистом.

Ребята сидели красные от стыда и не знали, что сказать.

Секретарь комсомольской организации Витя Петров выручил всех.

— Ты, Бондарь, нас извини. Больше этого не повторится. Верно я, ребята, говорю? А насчёт соревнования правильно сказала. Давайте посмотрим, кто кого?!

Не просто, оказалось, угнаться за этой девчонкой. На спортивных снарядах, она, как птица, летает, особенно на брусках, бегают — не догонишь. А о грамоте говорить не приходится — в школе училась отлично. Ну, а потом узнали ребята и про аэроклуб, и про воздушный бой, за который она получила орден Красной Звезды, и что товарищ Сталин — “дядя”...

Недели через две после комсомольского собрания они с Витей в парке приводили ходовую часть танка в порядок. Во всей танковой службе — это самое муторное и трудоёмкое дело. Гусеница танка расчлениается на траки, и из каждого трака надо выбить спрессованную до крепости камня грязь. И ковыряют её, и кувалдой бьют.

— Вот же оказия, чтоб они сгорели, — ругался Витя, стараясь кувалдой выбить грязь из выемок в траке. — И на кой чёрт, кому эта чистота нужна? Ну, в моторе бы, а то железно голимое. В бою не до них...

— Устал? Дай я постучу, — предложила Нина.

— Ладно тебе! Не твоя забота, ты лучше внутри всё прибери, это по твоей части.

— Витя, ты в настоящем бою был?

— Да как сказать, Нина, отходили мы. Командир сказал держать оборону! Ну, и держали. С места огонь вёл. Ты же знаешь эту пукалку — “сорокапятку”. Ею только мух гонять, а не танки. Вот у “тридцатчетвёрки” пушка как пушка. Ну, высмотрел меня фриц и выстрелил. Будто вот такой кувалдой по башке кто огрел. Вытащили меня ребята из машины, кое-как до своих добрались. Вот и весь бой. А к чему ты спросила?

— Смогу ли я? Вдруг струшу.

— Конечно, струсить. Первый раз все трусят. Ни черта же не видно. Хорошо, если попадётся механик-водитель толковый. У нас был так себе парень. Тракторист недавний, какой с него спрос. Он и о танках-то едва слышал. Ну, и угораздило же тебя в танкисты. Уж лучше бы в зенитчики. Там хоть служба чистая. А тут — беда. К девчатам не сходишь: за версту соляркой, мазутом несёт... Нина, я всё хотел спросить тебя: жених у тебя есть какой?

— Нашёл заботу. — Нина опустила через люк в башню танка, и разговор сам собой прекратился. Но не забылся. Недаром же покраснела Нина при вопросе Виктора. Потому и нырнула в люк.

Вспомнила аэроклуб, Бийск. Как это было давно! Словно во сне, словно не с ней. Нет, женихов у неё не было. И не будет до конца войны. В это она верила. Она будет командиром-танкистом. Задумалась, протирая ветoshью пушку, прицел. Но почему она от дружбы бежит? Это же совсем другое дело. Сама себе монастырь создала среди ребят. Они всей душой, а она, как коза дикая. Ну, дурёха!

Виктор — земляк, он из Рубцовска, небольшого городка на Алтае, и стал первым другом, товарищем. Ребята из взвода между собой договорились Нину освободить от тяжёлой работы. Нина это заметила и взяла на себя другую нагрузку — помогала всем в теории, в изучении техники. Моторы она знала ничуть не хуже преподавателей, и ей даже поручали, особенно в часы самоподготовки, проводить занятия по устройству моторов или по теории ар-

тиллерийской стрельбы, где очень важно было знать математику. А она ей давалась легко.

Как-то ещё в начале учёбы Нина замешкалась в башне танка, приводя после рейса танк в порядок, и услышала разговор:

— Ну, как твоя курсистка? — спросил один голос.

Узнала — командир батальона.

Ответил командир роты:

— Наплачемся мы с этим танкистом в юбке, — и добавил ещё что-то.

Нина не сдержалась. Поднялась резко из люка.

— Товарищ капитан, и вам не стыдно? Я делаю всё, что делают курсанты, и даже больше. А вы... Мало мне приходится терпеть от курсантов, так ещё и вы...

Командиры смутились, оба покраснели. Первым опомнился комбат.

— Капитан Третьяков, извинитесь перед курсантом Бондарь.

Капитану ничего не оставалось делать.

— Извините, товарищ курсант Бондарь. Нехорошо получилось.

А командир батальона добавил:

— За нетактичное и грубое поведение по отношению к девушке объявляю вам, капитан, выговор.

— Есть выговор!

Нина, не спросив уставное: “Разрешите идти?” — отошла от танка.

Майор ткнул капитана в бок.

— Влипли мы с тобой.

— Кто знал, что она там сидит. Вот настырная.

— А ты дурак, если прямо сказать. У тебя такая возможность для воспитательной работы. Где это видано — девушка-танкист? Придёт время, ты ещё и рад будешь, что Бондарь училась в твоей роте. А девчонка-то ничего!

— К ней пытались подкатиться кое-кто, отшила почище, чем нас с тобой сейчас...

Командиры мужчины молодые, здоровые. Их недавно отозвали с фронта. Нужно передавать курсантам боевой опыт. Оба горели в танке, чудом спаслись, и оба больше всего ненавидели эту тыловую службу. После трёх месяцев работы в училище подали рапорт об отправке на фронт. Начальник училища даже разговаривать не стал с ними, а написал на рапортах резолюцию: “Мальчишки!”

А теперь ещё этот танкист в юбке укоряет! Оба готовы были провалиться сквозь землю. Хорошо ещё, что никто не слышал этого разговора.

В училище были разные системы машин: тяжёлый “Т-28”, “БТ-7”, “БТ-70” и даже старый малютка “Т-27” с одним пулемётом; скорее, это был броневедомитель, только на гусеницах. Совсем недавно училище получили новые “Т-34”, которые теперь заменяли средние танки. Ради них и проходили учёбу курсанты. Войска получали таких машин всё больше, а использовать по-настоящему их было некому: не хватало командиров.

Этот танк казался Нине самолётом, только без крыльев. Такая у него была обтекаемая, устремлённая вперёд форма, и внутри для экипажа созданы удобства, почти как в самолёте. Переговорное устройство и радиосвязь есть.

Командир роты для всех курсантов училища показал боевые возможности танка. Он на большой скорости гонял его по пересечённой местности, разворачивал на все 360 градусов, нырял в котлованы с водой, и мокрый, словно конь в мыле, танк вылетал с рёвом наверх, снова летел по полю, стрелял из пушки по мишени с ходу, с остановки.

— Вот это машина! — восхищались курсанты. Каждому не терпелось сесть за её рычаги.

Но преподаватели, командиры рот, взводов не торопили события. Политзанятия, тактика, строевая, стрелковая, химическая подготовка и ещё целый десяток боевых дисциплин значились в расписании. И это всё надо было знать.

Молодые курсанты, кто ещё не побывал в боях, с нетерпением ждали конца учёбы. Так можно в тылу просидеть и войны не увидеть! А те, кто

в училище пришёл с фронта или из госпиталя, не спешили и другим не советовали спешить. Они знали — войны с лихвой хватит на всех, надо только хорошенько овладеть новой техникой.

Весной сорок второго программу подготовки значительно сжали. Остались главные дисциплины — тактика, вождение танка, стрельба из танковой пушки и пулемёта.

Под конец учёбы, в холодный мартовский день с Ниной приключилась беда. А может, и не беда... Командир роты приказал ей сесть на место механика-водителя во второй танк и следовать по маршруту танкодром — училище. Первый танк вёл сам командир роты. В третьем ехал за водителя заместитель начальника училища подполковник Золотарёв — страстный любитель вождения танка.

На танкодроме командир взвода поставил Нине оценку “хорошо”, похвалил за аккуратность при вождении, при преодолении препятствий, но предупредил, что надо быть решительнее.

— Раздумываешь, Бондарь, долго. А в бою на это времени нет.

— Да я не раздумываю, товарищ старший лейтенант. Рычаги не отожмёшь. Смазка загустела. Надо бы отогреть. А то можно заехать куда-нибудь.

— Какая там смазка! Другие же водят.

Нина закусила губу. Опять... Ладно.... И пожалела, что не настояла на своём.

При спуске с невысокого косогора почувствовала, что танк стал неуправляемым. Заклинило рычаги поворотов, не поддаётся ноге рычаг подачи горючего. А внизу под склоном — поворот влево, и недалеко от поворота чуть видна из-под снега крыша избушки. Это окраина небольшой деревушки. Ни остановить танк Нина не может, ни повернуть. Валенком стучит по педали главного фрикциона, тянет изо всех сил двумя руками левый рычаг. Пот заливает глаза.

Командир танка кричит над головой:

— Газ сбрось! Слышишь? Да тyani ты рычаг!!!

Как будто Нина не знает, что делать.

Танк перемахнул по прямой через небольшой кювет, зарылся в глубокий сугроб, подняв облако снега. И врезался в угол избушки.

Не снег бы, который смягчил удар, от избушки осталось бы одно воспоминание. В ней хозяйка, ветхая старушка, у печки разжигала самовар, да так и замерла, когда что-то грохнуло над головой. Посыпалась земля с потолка. Потолочная балка упала на печку. Тем и спаслась старушка от смерти.

— Свят, свят! — крестилась она. Так и нашли её курсанты у самовара.

Нина вместе с командиром танка с трудом завела танк, включила заднюю передачу и развернула машину к дороге.

А у избушки уже народ деревенский собрался. Старушки причитают да ахают. Когда подошла Нина, хозяйка избушки уже в себя пришла. Не кричала, не плакала. Она в такой же, как сама, ветхой шубейке стояла около избушки, скорбно глядела на дела Нины, и скупые слезинки скатывались по морщинистым щекам. Нина подбежала к ней.

— Бабушка, простите меня. Это я виновата. Не смогла повернуть танк.

Старушка изумленно смотрела на неё.

— Никак, девка? — спросила старушка.

— Ну, да...

— Это что же, мужиков нет, что ли? — сердито, сильно окая, спросила старушка, у всех. — Девку в такую машину посадили. Где ж ей... Что же ты, девонька, села туда, если не могёшь...

— В чём дело? — раздался громкий хриплый голос. Нина обмерла. Это заместитель начальника училища подполковник Золотарев.

Командир танка доложил:

— Товарищ подполковник, водитель Бондарь не справилась с управлением, и вот, — он показал рукой на свороченный угол избушки.

Подполковник обошёл избу, взглянул на угол.

— Ну что, хозяйка, будем делать?

— Да делать-то нечего. Избушке сто лет. Она была такой же старой, когда я замуж выходила. Уж не о ней жалеть. Да вот беда, жить-то негде. Куда я теперь? Два сына на войне. Да эвакуированные у меня квартируют, невестка с детьми. Вот беда-то.

— Ладно, бабушка, не расстраивайся. Пока соседи тебя приютят. Отремонтируем мы тебе избу. В воскресенье как новая будет, — подвёл итог разговору подполковник и скомандовал курсантам:

— По танкам!

Курсанты разбежались по танкам, остановились у люков. Подполковник подошёл к Нине. Она и командир танка стояли навытяжку возле чуть слышно гудящего танка.

— Что произошло, курсант Бондарь?

— Смазка замёрзла, заело рычаги поворотов.

— Ну-ка, попробуем. — Он ловко нырнул в люк. Танк рывками проехал несколько метров. И вскоре голова подполковника в шлеме показалась из люка.

— Командиров роты и взвода сюда!

Нина побежала. Командир роты уже, наверное, подъезжал к училищу, не обратив внимания на то, что танки отстали. Командир взвода бежал к танку и на ходу отчитывал:

— И как тебя угораздило? Заварила кашу.

Нина молча бежала за старшим лейтенантом. Хотела напомнить о разговоре на танкодроме, но ожидала, что сейчас командиру взвода скажут и без неё. Подполковник уже вылез из танка. Он, не выслушав рапорта старшего лейтенанта, жестом показал:

— Садись и веди танк в училище. Бондарь — в мой танк за водителя!

Нина уверенно, по всем правилам вождения повела танк. Понимала — это для неё самый серьёзный экзамен из экзаменов. И она его выдержала с честью!

— Молодец, курсант Бондарь, — сказал подполковник, когда она точно, с первого захода, поставила танк в парк училища в общий ряд со всеми. — А избушки, всё-таки, надо объезжать стороной.

— Есть объезжать!

В начале июня 1942 года ускоренным темпом были проведены экзамены курсантов. Перед отъездом на фронт ребята, кто успел завести знакомство среди городских девушек, устроили вечеринку с танцами. Пригласили и Нину. Потом она пожалела, что пошла. Своим видом, а обмундировали курсантов с иголочки, она ввела в смущение девчат: получилось вроде бы — вот, дескать, как надо поступать в военное время. Командирская форма будто специально создана для Нины. Курсанты привыкли видеть своего старшину в брюках, в курсантской застиранной форме, разношенных сапогах. Словом, была, как все, не выделялась ничем. Кое-кто даже начал забывать, что их старшина женского пола. А тут на вечеринке удивились. Нина была неузнаваемой. Чёрная пилотка на тёмно-русых волосах, габардиновая гимнастёрка с отложным воротничком, петлицы с лейтенантскими кубарями, портупея, кобура сбоку и чёрная аккуратная юбка. Парни невольно косятся на её высокую грудь под гимнастёркой, на стройные сильные ноги в хромовых сапогах.

Не получилось вечеринки. Девчата грустили, заскучили и засобирались вскоре по домам, парням же хотелось побыть вместе. Встретятся ли теперь когда? Едут в огонь войны. Туда дороги широкие.

Нина поздно поняла свою промашку. Но ей тоже хотелось побыть вместе со своими. Это же её ребята! Встретит ли она ещё где такую же бескорыстную дружбу? Разве она не видела, как они вместо неё подставляли свои плечи, делили её груз на всех, ограждали от обид?..

Когда девушки засобирались домой, а за ними начали собираться и ребята, Нина налила в рюмку вина и попросила:

— Тише, ребята! Дайте, я на прощание скажу тост, как смогу.

Все затихли.

— Ребята, дорогие мои товарищи! Мне сегодня очень, очень хорошо оттого, что я всех знаю, со всеми училась, и очень грустно, что мы расстаёмся, может быть, навсегда. Но я хочу, чтобы мы все оставили в памяти вот этот не очень весёлый вечер и наше танковое училище, и нашу дружную роту. Я хочу вышить за победу, чтобы мы все вернулись домой, чтобы вы встретили своих девушек.

Нина пригубила рюмку, закашлялась с непривычки.

— Пойдём, Витя! Проводи меня, если ты свободен.

До самого КПП училища шли молча. Нина ждала особенных слов от Виктора и знала, что оборвёт его, но всё-таки ждала. Что он скажет? Любила ли она его? Нет. Нисколько. Просто привыкла. Он очень красив, не очень умен, не хватает, как говорится, звёзд с неба. Он был вроде защищён от соблазнов. Многие удивлялись их дружбе. Виктору завидовали.

Возле КПП Витя замедлил шаги.

— Не торопись, Нина. Давай постоим. Ты на юг едешь, а я под Калинин, ясно, что больше мы не увидимся. Если только после войны. Рядом ведь живём. Я бы мог тебе, Нина, рассказать, как я тебя люблю и как я тебя уважаю. Но знаю, не для тебя эти слова. Верно ведь?

Нина не ответила.

— В общем, ты сама всё знаешь. Все ребята в тебя влюблены, и я не знаю, что ещё сказать... Можно тебя поцеловать?

— Ой, Витя, чудик ты мой преданный, — засмеялась Нина и сама поцеловала Виктора. Потом сказала:

— Разве об этом у девушек спрашивают? Пошли в роту.

— Ну, ещё немного постоим. А?

— Как хочешь, а я пошла, — сухо ответила Нина.

Она проснулась от сильной тряски. Самолёт попал в “воздушную яму”. Открыв глаза, осмотрелась по сторонам. Как же в самолёте чисто, прямо как в её танке. И ей вспомнилась первая встреча со своим экипажем. Трое танкистов стояли возле танка и приводили себя в порядок. Старшина Михаил Толмачёв, пожилой механик-водитель, прикрикнул на двух молодых танкистов:

— Ребята, полундра, комроты идёт и с ним какая-то цаца. Не иначе, опять докторша с уколами. Ей-богу, сбегу...

Сергей Зырянов, стрелок-радист, торопливо убрал свой чуб под шлем. От врачей жди всяких неприятностей.

— А ты хоть морду оботри. Подойдут — испугаются, — сказал старшина Ваньке Камышеву.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался старший лейтенант.

Танкисты удивились. Они же виделись с командиром роты утром. Поздоровались не очень дружно, но с интересом посмотрели на смеющиеся глаза старшего лейтенанта Семёнова. Вот-вот расхохочется. Рядом с ним стоит в синем новеньком комбинезоне лейтенант — молоденькая девушка. Смотрит сердито и внимательно на каждого по очереди. Всё норовит в глаза заглянуть. Пауза затянулась. Первым не выдержал Серёга.

— Мы слушаем, товарищ старший лейтенант.

Командир роты не ответил, зачем-то подошёл к опущенному чуть ли не до земли дулу пушки, заглянул в ствол, покачал недовольно головой и снова подошёл к танкистам. А девушка-лейтенант всё стоит и смотрит. Старшина понял, что она разглядела его небритый подбородок, оторванную пуговицу на гимнастёрке, прожжённую дырку на комбинезоне. Михаил знал: никому не нравится его замызганный вид. Ходят тут разные, но что делать? Вот стоит, любитесь. Точно доктор!

А девушка роста невысокого, кареглазая. Под пилотку аккуратно зачёсаны тёмно-русые волосы, в талии тоненькая и вообще хрупкая девчонка. Видно, что на городских хлебах росла. Пальчики тоненькие нервно теребят комбинезон.

Наконец старший лейтенант заговорил:

— Дело такое, знакомьтесь — командир вашего экипажа лейтенант Бондарь, — и показал рукой на девушку.

— Что-о?! — почти одновременно воскликнули изумлённые танкисты.
Старший лейтенант Семёнов ещё раз повторил:
— Лейтенант Бондарь назначена командиром вашего танка. Всё.
Он обратился к Нине:
— Знакомьтесь с экипажем, наводите порядок. Я пошёл.
Нина осталась с растерянными танкистами.
— Ну что ж, будем знакомиться? — бодро спросила Нина танкистов, всё ещё не пришедших в себя от такого неожиданного известия. На войне всего можно ждать, ко всему были готовы танкисты, но такого сюрприза...
Первым опомнился Сергей.
— А вы что умеете делать? Это же танк!
— Спасибо за разъяснение, — насмешливо ответила Нина. — Чтоб у вас нормально шарика заработали, докладываю: я окончила танковое училище, до этого летала на самолётах, так что кое в чём разбираюсь. Хватит на первых порах для знакомства?
— А в боях были? — не унимался Сергей.
— На танке — нет.
О том, как подбила немецкий истребитель, распространяться не стала.
— Меня зовут Нина. Можно лейтенант. А как вас? — обратилась она к старшине.
Тот угрюмо ответил:
— Толмачёв Михаил, старшина, механик-водитель.
— А откуда родом?
— С Томской губернии я.
— Откуда, откуда? — обрадовалась Нина.
— Город Томск.
— А я из Бийска. Он раньше входил в состав Томской губернии. Почти земляки. Я рада, что будем вместе служить.
Михаил не ответил, и не видно было, что он рад такому обстоятельству. Нина прищурилась, с головы до ног окинула его взглядом и уже без всяких радостных ноток, по-командирски строго заметила:
— Чтобы я в последний раз видела вас небритым и таким... — она чуть скривила губы.
— Ладно...
— Не ладно, а есть!
Нина вроде бы не заметила его открытой молчаливой демонстрации, повернулась к Сергею. Тот не стал ждать вопросов, а весело, с улыбкой заговорил.
— Сергей Зырянов, стрелок-радист, двадцать второго года рождения, холост, комсомолец, из пехоты, в бою бывал, в танкисты попал по недоразумению.... Всё!
— Не густо. Ну, а вы? — спросила она третьего, чумазого по самые уши танкиста.
— А я чо? Мы пскопские, замковый, значит, ну, и комсомолец опять же... Иван Тимофеевич Камышев.
— Что же вы такой грязный?
— Да танк же...
— Сходите к речке, и чтоб через час были здесь в выстиранном обмундировании, и сами помойтесь. На кого вы похожи? Механик-водитель, доложите о техническом состоянии танка.
— В порядке. После боя он к нам, из ремонта. Готов к бою.
— А что делали с оружием?
Сергей вмешался в разговор:
— Пробивали. Знаете, что это такое? А сил не хватило. Одной человеческой силы.
Нина, сделав вид, что не заметила подковырку об одной человеческой силе, сказала:
— Оружие сегодня же привести в порядок. Завтра — учебная стрельба. Я хочу проверить слаженность экипажа.

— А вы и стрелять будете? — не унимался Сергей.

— Буду.

Сергей многозначительно посмотрел на старшину. Мимо танка стали пробегать танкисты с котелками, буханками хлеба.

— Товарищ лейтенант, разрешите сходить за обедом? На вас получать?

— Я не знаю. На довольствие ещё не поставлена.

— Значит, получать. Я мигом.

Нина легко, уверенно поднялась к башенному люку. Ожидала увидеть внутри башни полнейший беспорядок и очень удивилась — кругом идеальная чистота, снаряды протёрты, пол вымыт.

— Прицельную линию выверяли? — спросила она старшину.

— Нет, а что?

— Вот этим сейчас и займёмся.

— Так пробить же надо.

Нина отругала себя за рассеянность. Ничего не поделаешь, только после обеда можно заняться выверкой, то есть проверкой параллельности линии прицела и оси канала ствола. Довольно кропотливое занятие. В училище командир роты очень толково объяснил, как эту выверку сделать...

Стрельбой Нина и рассчитывала завтра поднять свой авторитет в экипаже. Она внимательно осмотрела всё внутри танка, покрутила рукоятки орудия, закрыла и открыла замок его. Молодцы какие! А не подумаешь по виду, что чистоту любят. Сами как кочегары, а тут хоть платочком вытирай. Пылинки не найдёшь.

Сергей, пока ходил за обедом, успел растрезвонить друзьям о своём новом командире. Конечно, никто не поверил. Когда Нина поднялась из люка, Сергей стоял возле танка и ложкой стучал по котелку, приговаривая:

— Бери ложку, бери бак, нету ложки — рубай так...

— А у меня, в самом деле, нет ложки, — сказала Нина.

— Найдём. Эй, ребята, у кого есть “собственный разводящий”?

Только теперь Нина заметила, что в отдалении от танка собралось с десяток танкистов. Смотрят на неё, чуть не открыв рот от удивления. Один из них крикнул Сергею:

— Вот, друг, бери, насовсем! Заветная, — и он подошёл к танку, не спуская глаз с необычного лейтенанта. Ухмыльнулся, глазами смерил Нину и вразвалочку отошёл. Нина услышала, как он вроде бы для ребят, но так, что бы слышала она, позавидовал:

— Повезло же чертям.

Нина вспыхнула от возмущения и очень обрадовалась, когда в ответ услышала:

— Дурак, хоть и танкист...

Михаил расстелил сравнительно чистый кусок брезента. Обедали молча.

— Иван Тимофеевич наш с горя, наверное, утопился, — сказал Сергей, пряча в тень под днище танка котелок с супом и крышку от котелка с кашей — обед Камышева, — ему же до конца войны не отмыться.

— А в башне навёл чистоту...

— Это он, — показал на Сергея Михаил. — Заел всех чистотой.

— Правильно сделал. Как же пробить ствол? Не сможем мы втрём.

— Сделаем! — Сергею понравилось выполнять приказы симпатичного лейтенанта. Были бы крылья — полетел. Ведь очень трудно найти такого командира.

Михаил, неразговорчивый, сердитый, будто его кто-то обманул: пообещал сделать одно, а сделал другое. Он самый пожилой среди танкистов не только своего экипажа, но и во всём батальоне. Ему тридцать пятый. Конечно, обидно воевать под командой какой-то девчонки.

Сергей сбегал к соседнему танку, замаскированному чуть в глубине рощи, и привёл оттуда нескольких танкистов. Они дружно застучали пробойниками и вскоре вытолкнули спрессованный, чёрный от гари кляп с глубоко врезавшимися от нарезки ствола канавками.

— Серёжа, теперь надо проверить прицельную линию. Знаете, как наклеить на дуло перекрестие из ниток? Вот нитки. Пушсалом намазать ствол.

Нет, лучше мылом, сало растопится. Там есть на срезе ствола риски. Наклей нитки. Вот и всё.

Нина поднялась в танк, развернула башню, чтобы выбрать удалённую точку наводки. Проверкой осталась довольна. Видно, что танк в бою находился недолго, всё в нём в порядке. Пулемёт, спаренный с пушкой, похоже, что и не стрелял ещё. Она пробралась на сидение механика-водителя, завела, опробовала на разных оборотах. Хорошая машина! Не опозориться бы завтра. Командир бригады сказал, что сам будет проверять стрельбу роты, и, конечно, с Нины спрос особый. Вот ведь судьба! Говорят — не женское дело, а спрашивают больше, чем с мужчин.

Здесь, в Задонье, безмятежная тишина. Танковую бригаду рассредоточили побатальонно в оврагах и глубоких балках, густо заросших кустарником, молодым дубняком. Некоторые танки окопаны высокими ровиками, но сделано это больше для формы, чтобы начальство не цеплялось. Фронт так далеко, что никто не верил в возможность его приближения к Дону.

Дни стояли жаркие, безветренные. С голубого неба нещадно палило солнце, и от него не было спасения ни в танке, ни под танком.

Иногда в сторону фронта пролетали самолёты. Как же Нину тянуло в небо, как же она хотела летать, находиться в самолёте и бить врага! Но её место теперь в танке, и она будет уничтожать фашистов на земле...

В первом бою осенью сорок второго Нина хоть и не растерялась, но и толку от неё было мало. Вышли на позиции выжидания под Воронежем. А потом пошли лавиной за огненным валом. И вот, сколько ни присматривалась Нина, не могла найти для своей пушки цель. Только мелькают отдельные пятна вывороченной разрывами снарядов земли. Так и прокатилась на танке, ни разу не выстрелив. Километров десять отмахали. Сделали остановку, спрятавшись за бугорок. Нина открыла люк, выглянула. Широко по степи, на сколько глаз хватает, расположилась танковая бригада. Катятся танки, поднимая за собой шлейфы степной пыли. Все стреляют, кто с ходу, кто делает короткие остановки. Видно, что и по нашим танкам стреляют, а кто и откуда — не видно. И вообще из этого боя Нина ничего не поняла. Подождала, когда три танка их роты поравнялись с её танком, искомандовала Михаилу: “Вперёд!” И снова вырвался её танк из общей линии. В одном месте ей показалось, что впереди стоит пушка.

— Миша, дорожку!

— Есть! — И почти сразу же Михаил крикнул: — Дорожка!

“Дорожка” означало, что водитель привёл танк в состояние, когда его не трясёт, и можно стрелять. Нина выстрелила. Земля взметнулась перед пушкой. А когда ближе подъехали, то оказалась, что это брошенный кем-то железный бак.

Михаил старался держаться колеи, оставленной кем-то раньше. Может, танк прошёл или бронетранспортёр. Хорошая гарантия против мин. Командир роты по радио закричал:

— Третий! Третий! Куда вас чёрт несёт? Стой и не с места! Занять оборону. Впереди противотанковые мины и ров.

А как остановишься, если танк на самом видном месте? Нина высмотрела впереди небольшую высотку и решила укрыться за ней. Михаил, не сворачивая с проторенной дорожки, погнался к горке и там затормозил. Ни пехоты, ни танков вражеских рядом нет. Почему-то нет и связи с командиром роты. Что делать? Вперёд идти — приказа нет, на месте стоять без дела — не по себе становится от мысли: а если немцы рядом?

Но всё обошлось, и Нину даже похвалили. А командир роты, когда комбат сделал разбор боя на коротком перерыве, не то в шутку, не то всерьёз добавил:

— Дуракам всегда везёт. Лезет сломя голову. По ней пушка три раза ударила и не попала. Скажи спасибо экипажу второго танка. Он её уничтожил.

Нина не заметила, когда пушка стреляла по ним. Потом, после разговора с командиром батальона, подробно расспросила командира роты, что он

видел в бою и как сам бой шёл. Оказывается, она многого не видела. Больше всего боялась нарваться на мины. От мины редко танкисты гибнут, а танк всегда выходит из строя. Очень не хотелось терять свою “тридцатьчетверку” с номером три.

Потом было много боёв, больших и малых. Под Старым Осколом громили выходящие из окружения дивизии противника, танком брали пленных и на танке их гнали на сборный пункт. Обмороженных, больных, голодных. Глядеть-то было жалко на этих потерявших человеческий облик немецких солдат.

В одном из боёв погиб командир роты. Нина со своим экипажем подъезжает к его “тридцатьчетверке”, танк догорает. Остановились, подошли посмотреть, есть ли кто живой. Люк механика-водителя открыт, и за рычагами сидит Юрка Орлов. Нина чуть задела за волосы, он ш-ш-ш — и распался. Нине стало плохо.

Вскоре был тяжело ранен комбат — нарвался на фугас, и на его месте образовалась после взрыва глубокая воронка, а башня оказалась отброшенной метров на десять в сторону.

Но танк Нины шёл и шёл на запад. Шёл без единой царапины. “Заговорённый”, — шутили танкисты. Нина помалкивала. Знала, что и её очередь взлететь на фугасе может прийти в самый неожиданный момент. Но верила в Михаила, старалась и сама предусмотреть как можно больше. У инженера бригады расспросила о схемах минирования, применяемых немцами, и это ей помогло однажды проскочить через минное поле, под огнём противника провести танк, словно протанцевать босыми ногами на стеклянных осколках и не пораниться, и ворваться во вражескую траншею невредимыми.

Она научила каждого в экипаже водить танк и стрелять из всех видов оружия, устранять простейшие неисправности, а также быстро и ловко покидать танк в случае его возгорания, что в дальнейшем не один раз спасало жизнь экипажу.

Конечно, трудно ей приходилось в мужском обществе. Про любовь кто только не успел за это время напеть ей. Кто будто в шутку скажет, прицеливаясь, кто без всякой пристрелки предлагал руку и сердце, кто пытался с дальних позиций подкатиться. Она посмеивалась над ухажёрами и оставалась верна своим ребятам. Они её ревниво оберегали. Поллюбили самой крепкой товарищеской любовью и готовы были идти за своим командиром хоть куда. Иногда их ревностная преданность угнетала Нину. Бывали такие минуты, когда хотелось побыть одной, расслабиться, дать волю чувствам...

После гибели комбата, человека исключительной доброты и чуткости, прибыл в батальон капитан Кузнецов. Храбрый, толковый командир, но как-то встретился с Ниной и загорелся идеей “осчастливить” её. А когда Нина высмеяла его, то он обиделся и пригрозил:

— Ты у меня посмеёшься теперь. Я тебе устрою!

Нина коротко ответила:

— Дурак.

А когда осталась одна, чуть не заплакала, и почему-то захотелось прижаться к материнской груди и услышать от неё ласковые слова... Хорошо, что недолго оставался в командирах этот капитан. Перевели его куда-то, и Нина успокоилась. Но всегда оставалась настороже. Самым опасным на фронте для неё противником оказались малознакомые мужчины. Чёрт их знает, кто им внушил, что на фронт одни гулящие девки едут.

Попали они один раз с танком под бомбёжку. Да такую, что танк швыряло из стороны в сторону. Думали — всё, конец! Смолкла бомбёжка, улетели немецкие штурмовики, а танк цел, только с той поры стал шербатым, словно осной переболел — так его осколки наковыряли. Но выжил.

— Ребята, никуда не отходите, я сбегаю к командиру роты.

Танк ротного находился недалеко. Там тоже суетились танкисты, пробовали мотор, гоняли танк вдоль опушки.

Нина на ходу разворачивающегося танка заскочила сзади на моторную часть, пробежала до люка.

— Что делать, товарищ капитан?

— Какого черта тебя тут носит! Попадёшь под машину.

— Что я, слепая? Вот какая луна, как прожектор. Что дальше-то?

— А я знаю? Комбата вызвали к комбригу. Сиди и жди. Всё.

— Счастливо, товарищ капитан. Не забудьте про нас.

Это она ему намекнула на недавний случай, когда весь батальон перешёл на новую линию обороны, а про танк Нины вспомнили, когда уже командир батальона стал проверять маскировку.

— Не забуду! Я теперь памятливым стал, — засмеялся командир роты.

И Нина улыбнулась. Тогда командир бригады перед всеми командирами рот и взводов поставил её и командира роты перед строем и сказал:

— Посмотри, капитан, кого ты оставил. Понял? Выговор тебе. А уж лейтенант Бондарь сделает свои выводы. Становись в строй!

Последовала команда: “По машинам!” Предстояло добраться до ближайшего перекрёстка, что находился в нескольких километрах. К восходу солнца танк Нины был уже закопан на перекрёстке нескольких дорог возле моста через небольшую речку. Чуть левее горела маленькая деревушка. Танкисты Нининой роты построили перед командиром батальона.

— Задача одна — стоять, чтоб немец не прошёл. За нами дорога на Обоянь. Противник пятого июня перешёл в наступление с целью ударом с юга окружить войска в районе Курска. Дело, ребята, очень серьёзное. Но не унывайте — нам же с места стрелять. Только не торопитесь. Подпускайте — и наверняка. Без приказа — ни шагу назад!

Нина, как только посветлело, наметила ориентиры для стрельбы, на всякий случай даже пробежала до ближних, чтоб точно знать, какую установку прицела поставить. Чуть только солнце позолотило верхушки деревьев, налетели самолёты и давай молотить многострадальную деревушку, и реку, и маленькую рощу южнее деревни.

Началось. Речка — небольшой приток Пёсла — могла сослужить хорошую службу для обороняющихся. По левому берегу проходят траншеи профиля. Но мало в них солдат. Одними танками не остановить противника.

“Юнкерсы” бомбят, а Нина, не обращая на них внимания, смотрит на противоположный берег. После такой бомбёжки жди немецких танков. А их нет и нет. Бой идёт где-то южнее, на первой линии обороны танковой армии.

Немецкие пикировщики вьются всё больше за речкой.

Вечером танкисты поняли, что завтрашний день будет зависеть от них, от обороняющих вторую линию. Нажимает немец изо всех сил. Бросил в бой и авиацию, и танки. К ночи бой затих, и только артиллерия продолжала громыхать по всему фронту. Командир роты по радио дал команду Нине выдвинуться к реке метров на сто.

— Нельзя, товарищ первый, нельзя этого делать, я сейчас стою так, что фрицы не увидят меня, а я их как миленьких тут всех приголублю. Да и куда сейчас сунешься, кругом воронки. Только машину погубим.

Капитан промолчал, а потом сказал:

— Ладно. Жди их там.

Спали танкисты на своих местах, не выходя из танка, ведь враг мог напасть в любую минуту. Проснулись от шума моторов.

Немцы решили, что за рекой нет войск. Видимо, обманулись тишиной на переднем крае и отсутствием в траншеях солдат, поэтому атаку начали без артиллерийской подготовки и без авиационного прикрытия. Выползло из-за бугра с десятков танков, потом ещё примерно столько же. И давай стрелять из пушек и пулемётов по всему участку. А наши танкисты затаились. Ждали, когда немецкие танки подойдут поближе.

Нина поймала в прицел большой, до сего времени не виданный ею танк. Поняла: это тот самый “тигр”, грозный и неуязвимый, о котором так много ходило разговоров и слухов.

— Ваня, подкалиберным — заряжай!

А “тигр” идёт и идёт. Поблёскивают на солнце гусеницы, иногда сверкнёт фара или стекло в щелях башни. Первая линия танков достигла речки и, не задерживаясь, переползла её. Стала подниматься на берег.

Пора? Или подпустить ещё? Решила ударить по гусеницам. В лоб такую громадину не возьмёшь. Осталось не больше восьмисот метров.

— Огонь! — скомандовала себе.

Трассирующая линия под днищем “тигра”, видимо, не задела его.

Навела чуть левее, торопливо нажала на спуск.

— Выстрел! — кричит Нина.

На этот раз трассирующая линия оборвалась под гусеницей и, похоже, что-то наделала там. Танк дёрнулся туда-сюда. Попятился и стал разворачиваться.

— Огонь! — Нина физически почувствовала силу удара снаряда в немецкую броню, словно она сама держала подкалиберный снаряд в руках и ударила со всей злостью в эту громадину.

— Вот тебе! Огонь!

Третий снаряд ударил по башне, но срикошетил.

— Ваня, скорее! — крикнула заряжающему, увидев, что наводчик “тигра” ищет цель. Длинный ствол пушки, как голова гигантской змеи, шарит во все стороны. Только четвёртым снарядом Нина пробила броню “тигра”. Он задымился так же, как и все другие танки.

— Ура! Ребята! Есть! Горит!

Немецкие танки пошли напролом, но споткнулись. Наши сапёры успели заминировать берег. Немцы быстро сообразили, что не пробиться им тут. Два вражеских танка уже подорвались на минах. Остальные начали пятиться назад. Дымом заволокло кругом. Становилось невыносимо жарко и душно от гари разорвавшихся снарядов, от выстрелов пушки. Вентилятор не успевал проветривать внутренность танка. Бой переместился правее. Теперь Нина уже стреляла в борта вражеских танков. Но они были далеко, и попасть в них было непросто. Пойти на сближение — свой бок подставить.

На берегу речки появились немецкие противотанковые пушки. Одну Нина подбила с первого выстрела.

— Миша, дымовые! — скомандовала, решив уйти из-под огня немецкой артиллерии.

Через минуту от танка в сторону атакующих поплыло белое густое облако дыма. Дым стелился по земле, прикрывая танк Нины.

— Миша, поверни машину вправо, покажу, куда ехать. Там наши отбиваются.

Михаил развернул танк и сразу же увидел, как в километре от них идёт неравное сражение: на два наших полукругом шли с десятков немецких танков, стреляя на ходу из пушек и пулемётов.

Танк с места рванул на большой скорости. Дымовая завеса дала возможность метров сто пройти незамеченным. А когда скорость набрана, то трудно в него попасть. Поле сплошь перекопано траншеями, окопами, чуть ли не на каждом метре воронки. Огонь со стороны противника с каждой минуты нарастал.

— Миша, дорожку! — крикнула Нина, поймав в прицел немецкий танк, идущий под прямым углом к их “тройке”. Танк вёл огонь в противоположную от Нины сторону.

— Дерьмо тут, а не дорожка, — ответил сердито Михаил. Танк бросало из стороны в сторону, прицел трудно было удерживать на выбранной цели.

— Есть дорожка, лейтенант, лупи их, гадов!

Но дорожка оказалась совсем коротенькой. Нина успела один раз выстрелить, а куда улетел снаряд, уже не увидела — машина нырнула в глубокую воронку, и только мастерство Петра помогло вывести танк из неё. Нина больно ударилась головой о пушку, до крови.

— Дорожку, Миша! Да смотри под ноги!

— Есть дорожка!

Вторым снарядом ударили в борт немецкого танка и, видимо, в нём сдетонировали боеприпасы. Раздался такой мощный взрыв, что “тридцатьчетвёрку” чуть приостановило взрывной волной.

— Молодец, лейтенант. Так их! Ребята, держитесь, сейчас я одного гада сковырну.

Машина Нины неожиданно для неё, да и для немцев, оказалась в самой гуще вражеских танков. Немецкие танкисты этого ещё не поняли. Михаил вспомнил, как бывалые танкисты рассказывали, что высокие немецкие танки можно свалить ударом на хорошей скорости. А скорость у “тридцатьчетвёрки” приличная — километров сорок. Прицелившись серединой острого, как нож, переднего броневоего клина в ведущий каток проходящего мимо танка, Михаил прибавил скорость. Удар оказался очень сильным. Хорошо, что экипаж приготовился к тарану. Все в танке живы и невредимы, но с машиной что-то случилось. Мотор не мог набрать оборотов. Будто кто держал танк. Немецкий же танк лежал на боку, и одна его гусеница беспомощно бегала вокруг катков.

— Не горим? — озабоченно спросил Михаил. — Вроде, гусеницу заело. Ни туда, ни сюда.

Нина провернула башню вокруг. Нет, дыма не видно. Позади, почти в линию, идут несколько немецких танков. Они, конечно, видели, как таранили их танк. Нина, не предупреждая механика, выпустила несколько снарядов по переднему танку. Он закрутился на месте. Добить бы. Дважды промазала, торопиться начала.

Михаил крикнул:

— Лейтенант, прикрой меня. Взгляну, что там.

— Куда?! Отставить!

— Да ладно! Не погибать же...

Михаил открыл свой люк и вывалился из танка.

Наседают немецкие танки со всех сторон. В башне не продохнёшь от гари и дыма. Иван запарился, подавая снаряд за снарядом в казённый. Можно ли выгадать пару минут?

— Ваня, к автомату! Бей по немцам из люка. Не подпускай пехоту. Серёжа, как ты?

— Отлично, как на сковородке, только масла нет. Ну, я им покажу!

Курсовой пулемёт залился долгой очередью. Нина посмотрела через прорезь в башне. Пехота, бегущая за танками противника, залегла и открыла огонь по танку. Но что с танком? Лишь бы не подстрелили Михаила.

Иван, открыв люк, ведёт короткими очередями огонь. Высунется на секунду, даст очередь и спрячется.

— Посмотри Михаила, — попросила Нина.

Иван попытался подняться повыше в люке и сразу, словно мешок, упал на дно. Ребристый шлем на голове Вани весь в клочьях.

Сердце сжалось у Нины. Неужели всё? Танк теперь как неподвижная мишень для немецких танкистов. Немцам стрелять неудобно, можно по своим попасть. Кругом немецкая пехота: кто на танках, кто крадётся за танками.

Сергей закричал в переговорное устройство:

— Есть, Нина! Михаил тут. Говорит, всё в порядке — камень попал под катки. Ну, мы им сейчас дадим!

— Серёжа! Заряжающим становись!

Мотор мощно заревел на полных оборотах. Танк снова в строю.

— Куда командир? Командуй, ничего не вижу! — тревожным голосом прокричал Михаил.

— Серёжа — за наводчика.

Нина нырнула к сиденью механика-водителя.

— Давай вперёд! — и осеклась, увидев, что всё лицо у Михаила в крови.

— Быстро освободи место.

Михаил торопливо перелез на место радиста, а Нина перебралась на его место. Уверенно включила скорость, и танк понёсся с единственной целью — не попасть под выстрел. Михаил тем временем подключил свои наушники к радиостанции:

— Лейтенант, командир роты приказывает отойти на вторую линию обороны немедленно.

— Поняла. Что у тебя?

— Да ничего страшного. Лоб разбил, затекли кровью глаза, жить можно.

— Серёжа, смотри в оба. Бей! — закричала она, увидев впереди своего танка немецкое самоходное орудие, раскрашенное жёлто-зелёными пятнами. Самоходка не успела выстрелить. Кто-то другой, не Сергей, попал в моторное отделение самоходки, и оттуда сразу повалил густой дым. Нина, стараясь не попасть гусеницами в траншею или свалить танк в воронку, на полной скорости гнала машину ко второй линии обороны. Нужна во что бы то ни стало передышка и им, и машине. Не осталось ни патронов, ни снарядов.

Вторая линия за речкой Солотинкой.

Нина не знала, сколько прошло времени, не чувствовала ни страха, ни боли от ушибов, но интуитивно понимала, что ещё несколько минут такого напряжения — и она потеряет сознание. В голове шум, в глазах рябило от постоянного мелькания предметов в прицеле или смотровой щели. Мutilo от приторного запаха крови, бензина, гари, порохового дыма.

Когда танк, минуя все опасности, вышел на вторую линию обороны, бой на первой линии стих. Противник во много раз превосходящими силами потеснил наши части, но сломить сопротивление не смог. Нина оставила танк в овраге, открыла люк, а выбраться не хватило сил. Она закрыла глаза и сидела, не шелохнувшись, глубоко вдыхая свежий, пахнущий цветами лесной воздух. Не верилось, что её танк вырвался из смертельного кольца.

Первым выскочил из танка Сергей. Он подбежал к открытому люку механика-водителя и хотел позвать Нину, но вдруг замер. Ему показалось, что она спит.

— Ребята, а ведь мы живы? — неожиданно сказала Нина.

— Ну, лейтенант, хватили мы лиха, думал, не выберемся. Жалко парнишку... Что делать-то теперь? — спросил Михаил.

— Сейчас разберёмся. Где-то тут штаб должен быть, — вылезая из танка, ответила Нина.

В штабе она нашла адъютанта Кириллова. Он объяснил сложившуюся обстановку. В батальоне осталось пять исправных танков. Три сгорело на берегу речки, два подорвались на минах. Большие потери были в других батальонах бригады. Ни один танк не отошёл без приказа. Но и настроение было не из радостных. Как ни дрались, как ни сопротивлялись, а пришлось отходить. Пусть ненамного, но всё-таки это отступление. Столько танков в одном бою не приходилось видеть никому.

Командира роты Нина не нашла. Его замещал командир танка “Т-70” лейтенант Кузовлёв.

— Контузило командира. Видела, как фугас рванул? Ну вот. А он с танком оказался недалеко от того места... Дело — дрянь. Ещё один такой бой — и от бригады останется одно название. Как у тебя?

— Убит заряжающий, ранен механик-водитель. Но уходить в госпиталь не хочет.

— Легко ранен?

— Даже не ранен, а ушиб руку и лоб рассёк. Как бы заражения не было. Мы фрица таранили. А я “тигра” подбила. Где хоронить Ивана?

— Комиссар сейчас придёт, скажет. Ты о горючем и о боеприпасах позаботься. Мы теперь с тобой два начальника на всю роту.

— Ребят жалко. Такие ребята остались там...

— Ты больно-то не настраивайся на похоронный лад. Всё ещё впереди. Видишь, как немец прёт! Соколова наградили орденом Красной Звезды: два танка подбил. И тебя тоже наградят. Вот увидишь. Друг мой Колька Шандыбин погиб. Геройский парень. Как брат был... “Адольф Гитлер” — вот какая дивизия нас атакует! Да ещё “Великая Германия”...

Ваню похоронили на краю высокого оврага. Поставили над могилой деревянный столбик с дощечкой, на ней написали: “Похоронен Иван Тимофеевич Камышев — танкист из-под Пскова”.

И сразу же начали подготовку к следующему дню. Надо было получить боеприпасы, заправиться горючим. Михаил торопился подремонтировать танк. Таран не прошёл бесследно для машины, что-то в трансмиссии дребезжит. Пришлось менять траки, помятые во время тарана.

Заряжающим у Нины стал новичок, запасной механик-водитель Кеша Образцов.

Спать почти не пришлось. Нина чуть-чуть задремала перед рассветом. А Михаил с ребятами всю ночь провозились с танком.

Утро наступило росное, свежее. Выглянуло солнце, и беззаботные лесные птицы подняли шум и гам, как будто не было войны.

— Вот разорались! Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела, — заметил Михаил, прислушиваясь к лесному гаму. Они с Сергеем и Кешей только что закончили работу и лежали возле танка на траве грязные, с воспалёнными глазами. Хотелось каждому хоть ненадолго заснуть, но возбуждённая нервная система не хотела успокаиваться.

— Нина устала, спит как убитая, — сказал полушёпотом Сергей. — Молодец она у нас.

— Что уж говорить. Не каждый из нашего брата выкрутился бы из такой кутерьмы. Со всех сторон лезут танки, а она хоть бы что! “Миша, поверни чуть-чуть”, — передразнил Нину Михаил. — А сама лупит и лупит. Ванюшки нет... Ты, Кеша, потренируйся на снарядах. Она знаешь, как стреляет? Не задумывается: раз — и готово, а ты должен успеть снаряд загнать в ствол... Может, ты, Серёга, станешь к пушке?

— А радио?

— Да, и тут надо. Без связи капут. Если бы вчера не услышал команду отступить — мы там бы и остались. Разве бы она стала самовольничать...

— Эх, в баню бы сейчас, да с веником, а потом сто грамм и на перинку, — добавил Сергей, — жрать охота. Вчера старшина привёз ужин, а я даже ложку держать не мог, а тут Ваня...

Опять замолчали. Каждый невольно задал себе вопрос: “Кто следующий?”

Утренняя тишина нарушилась грохотом, свистом снарядов. Началось наступление, но не наших, а немецких войск. Яростное, отчаянное, словно командование противника решило испробовать все свои силы, чтобы сломить сопротивление этих фанатиков — русских. Налетели “юнкеры”. Мощно, многогласно загудели впереди, перед речкой, немецкие танки. Бой с первых же минут вскипел яростными танковыми атаками. Шли танк на танк.

На сей раз Нина долго вела огонь с места. И скомандовала Михаилу сменить позицию только тогда, когда получила приказ о том, чтобы отойти километра на два назад, на окраину небольшой деревушки. Михаил, пренебрегая опасностью, открыл свой люк. Надо было осмотреться: недолго и на мины наскочить.

Редкая цепь наших пехотинцев передвигалась впереди по краю оврага. Сапёров не видно. Бой, вроде бы стихавший, вдруг разгорелся с новой силой. Всё вокруг загремело, засвистело. Немцы пошли в новую атаку.

— Сволочи, осмотреться не дадут, — ругнулся Михаил. — Лейтенант, куда теперь? Командуй!

— Миша, назад! — закричала Нина. — Фугас под носом!

Танк споткнулся и медленно, словно нащупывая дорогу, попятился.

— Куда, куда тебя несёт? Стой! Да не тебе, Миша! — сказала Нина механику. — Мальчишка на дороге.

Теперь и Михаилу хорошо было видно, как, не пригибаясь и не прячась, от покосившейся ограды старенького дома бежит мальчишка лет двенадцати. Он размахивает руками и что-то громко кричит. Его высокий голосок прорывается за броню сквозь разрывы мин и снарядов. Мальчишка бежит, легко перепрыгивая через неглубокие и частые воронки. На секунду он скрылся в придорожном кювете, на четвереньках выбрался из него и снова бежит к танку. Тяжёлый снаряд рванул где-то позади дома. Мальчишка упал в метрах десяти от танка. Михаилу видно, как он, широко открыв рот, часто-часто дышит и испуганно смотрит на танк. На нём старая рваная рубашонка и короткие штанишки. Длинные, давно не стриженные рыжие волосы торчат во все стороны.

— Давай сюда! — крикнул Михаил мальчишке. — Тебе что, жить надоело? Ты чего здесь носишься? — кое-как просунул его в танк.

— Дяденька, дяденька! Нельзя сюда, — едва переводя дух, с перерывами, торопясь сказал мальчишка. — Мины... Я знаю, где проехать. А там, за домом, два танка, немецкие. По деревне стреляют. Меня мамка послала...
Нина склонилась над мальчишкой.

— Без тебя, вояка, точно не справимся. А ну, показывай, где танки, куда ехать.

Мальчишка уже с любопытством выглядывает из-за спины Михаила. Для него он главный командир. Даже не обратил внимания на Нину.

— Дяденька, прямо, где я бежал. Там тропка. А мамка в погребе. Скорее, дяденька.

— Миша, как видимость? — спросила Нина. — Парнишка дело говорит. Слышишь, бьют? Танки.

— Ударим, командир. Тропку вижу.

Танк рванулся с места, легко перемахнул дорогу, как соломинку подмял изгородь и обогнул дом.

— Малый ход, Миша. Вижу танки. Молодец, хлопец. Чуть тронь вперёд, Миша, берёзка мешает. Стой!

Недалеко от дома, под косогором, два немецких танка стреляли из пушек и пулемётов. Видимо, попали в трясину и не могли сдвинуться ни назад, ни вперёд.

— Огонь! — сама себе скомандовала Нина. — Есть, ребята! — тотчас крикнула, увидев после выстрела дымок над моторной частью немецкого танка. — Огонь! — ещё раз скомандовала и почувствовала, как вздрогнул её танк от тяжёлого удара. Это немецкий танкист из второго танка послал ответный снаряд.

— Миша! Назад! — скомандовала, но было уже поздно. Танк натужно взревел, однако с места не тронулся, а только развернулся влево.

— Командир, ходовая перебита! Стреляй скорее! — закричал Михаил.

Нина старалась не торопиться, прицелилась под основание башни немецкого танка и нажала кнопку спуска, увидев в прицел, может быть, на сотую долю секунды раньше, чем раздался выстрел, вспышку из немецкого танка. Выстрелила почти в одно время с немецким танкистом...

Очнулась она от настойчивого стука чем-то металлическим в крышку верхнего люка. Темно. С трудом поднялась с пола, нащупала кнопку аварийного освещения, не понимая, что с ней и с экипажем.

— Миша, ребята, что с вами?

В ответ ни слова. Только слышно, как стонет не то Кеша, свалившись под пушкой, не то Сергей. Михаил сидит неподвижно на своём месте, зажав голову руками.

— Ребята! — закричала Нина в испуге.

Она с трудом добралась до стопора крышки люка.

— Откройте! — услышала женский крик.

Превозмогая боль во всём теле, Нина потянула стопор на себя. Пружина резко отбросила крышку.

— Лёнька тут мой? Где Лёнька? — закричала женщина, заглядывая в люк.

От свежего воздуха у Нины потемнело в глазах, и она, не опуская поручней, повисла на руках.

Женщина закричала, как ревут по покойнику.

— Ну-ка, посторонись! — раздался спокойный, чуть хрипловатый голос.

Пожилый пехотинец осторожно отстранил женщину от люка, ухватился сильными руками за руки Нины и, напрягаясь изо всех сил, медленно вытянул из танка обмякшее тело и положил тут же. Женщина осторожно подсунула руку под голову Нины. Она одной рукой начала расстегивать пуговицы на комбинезоне и вдруг отдернула руку, словно обожглась.

— Да никак девчонка?! — вскрикнула женщина. — Это что же творится-то!

Нина приоткрыла глаза и снова закрыла их.

— Принимай ещё одного! — раздался приглушённый голос из люка. —

Жив твой Лёнька, только сомлел чуток. Духотища тут. Бери под руки, да не суетись ты, не реви.

Мать легко вытянула сына из люка. Его рыжая голова безжизненно свалилась на плечо матери. Женщина долго стояла с ним, прислонившись к башне танка, прислушиваясь к тихому биению маленького мужественного сердца.

— И этот живой! — услышала она из глубины танка. — В рубашке родились, болванка прошла борт насквозь, а ничего, отделались! Э, да тут ещё двое...

К танку подъехала легковая машина. Из неё вышел невысокого роста пожилой грузный человек.

— К орденам всех! — крикнул он следовавшему за ним адъютанту. — Это же герои. Спасители наши. Ну-ка, кто тут отличился?

Из командирского люка высунулась голова пехотинца.

— Вылезай, герой!

— Да я, товарищ генерал, не герой. Я — после драки. Герои лежат вон на травке, контузило их, бедных...

Весь экипаж танка и Лёньку отправили в госпиталь. Командир стрелковой дивизии доложил командующему армией о подвиге танкистов. Командующий наградил всех орденами Отечественной войны первой степени...

Нина очнулась от воспоминаний. Это Клава будила её.

— Нина, посмотри вниз. Какая красота под нами.

Самолёт летел над горами. Выходившее солнце освещало их, и они казались ещё более величественными и безумно красивыми.

Нина вспомнила, как она воевала в Карпатских горах, как первая на своём танке ворвалась на Дуклинский перевал...

В начале августа 1944 года третий раз за время фронтовой службы едет Нина Бондарь из госпиталя в свою танковую бригаду. Хорошо, что на небольшой железнодорожной станции ей попался на глаза знакомый танкист из её бригады. Он рассказал, как найти штаб танкового корпуса, а там и до её бригады рукой подать.

Ехала на попутной машине и во все глаза смотрела на незнакомую страну. Поляки встречают по-разному: одни по-хорошему — смеются и разговаривают, эти рады приходу русских солдат. Другие — молчат, и в их молчании скрыта ненависть. Не сразу Нина поняла, откуда эта ненависть. Все — паны, но паны-то разные. У одного хата как дворец, а у другого только-только голову можно в дверь просунуть. Пол земляной, печурка малосенькая. Дом кажется ненастоящим, временным, вроде солдатского блиндажа. Одним словом — беднота.

Зато сады какие! Яблоками, грушами хоть объедайся. Радовало Нину и тёплое лето, и то, что нашла свой танковый корпус, возможно, найдёт и своих ребят.

Но чем ближе фронтовая линия, тем беспокойнее становится на душе у Нины. Как её встретят? Снова ли надо доказывать свои права? Или, может, кто-нибудь остался из старых командиров и помнит её?

О многом передумала Нина, пока добиралась до штаба корпуса, а затем до штаба бригады. Везде встречали хорошо, приветливо. Не забыли её. И это больше всего радовало. Как домой возвращалась. Но ни командира батальона, ни знакомых командиров рот она не встретила. Кто погиб, кто отлёживался в госпиталях.

Назначенный командир батальона майор Терёхин уже слышал о девушке-танкисте и не очень удивился, когда она ему представилась. Он даже обрадовался, что она снова попала в свою часть. Сам знал, как это трудно.

— “ИС” хотите? Хорошая машина. Только что получили, — предложил комбат.

“ИС” — тяжёлый танк “Иосиф Сталин”.

— Товарищ майор, я не знаю этой машины и её качеств, — честно призналась Нина. — Вдруг не получится. Такая громадина.

— У вас получится. Экипаж сами подберёте. Кажется, ваш механик-водитель тоже ищет работу. Спросите у старшего адъютанта.

— Миша Толмачёв вернулся! — обрадовалась Нина. — Это же здорово, товарищ майор! Знаете, что это за человек?! Мне больше никого не надо. С таким человеком, конечно, возьму “ИС”.

— Ну, и договорились. На подготовку совсем мало времени остаётся. Поторопитесь.

— Есть, товарищ майор!

Нина козырнула и, выйдя из хаты, которую занимал командир батальона, побежала искать Михаила. А он тоже от кого-то узнал о возвращении Нины. Встретились, как родные. Нина, не стесняясь никого, кинулась к нему, расцеловала.

— Ой, какой ты худощавый! Не кормили, что ли?

— Кормили, но плохо. Ничего, тут ребята подправят.

— Ну, ладно, я тебя обрадую. Нам дают новенький “ИС”. Только получили. Не знаешь, где наши ребята?

— Кешу направили в учебную часть. Пополнение готовить. А Серёга... Нет больше Серёги. Умер в госпитале.

Она расплакалась. Как в детстве — навзрыд.

— Ну что ты, лейтенант, зачем так? — Ему хотелось сказать Нине какие-то особые слова, такие, чтобы в них можно было выразить ей уважительную любовь, особую, взрослую, вроде отцовской. А слов не находил. Он привлёк к своей широкой груди беззащитную голову и погладил как, бывало, в детстве Нину гладила мать.

— Экипаж есть. Не надо плакать, Нина. Ни Серёгу, ни Ивана теперь не вернёшь. Это война. Вон сколько на нас смотрит народу.

Нина как-то забыла от волнения о том, что они не одни с Михаилом. Посмотреть на необычного лейтенанта сбежалось много танкистов. О Нине уже легенды начали слагать. И про то, как её танк с боями прошёл без ремонта и без единой пробоины от Воронежа до Белгорода, и о том, какой был у неё дружный и боевой экипаж, и как мальчонка их на немецкие танки вывел. И что награждена она двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени и орденом Красной Звезды, который сторел в её танке, а у Нины полностью выгорели волосы, и поэтому она целый год ходила в шлемофоне, не снимая его, пока они не отросли. И ещё знали, что по числу подбитых танков ей бы уже надо всю грудь увешать орденами, но так получилось, что писать наградные листы после боя было некому: редко когда оставались в строю командиры.

— Ладно, не буду, — смущённо сказала Нина. — Ну что, принимаем “ИС”?

— Понимаешь ли, Нина, трудно с ним. Ребята уже хватили с ним лиха. Неповоротлив.

— Зато броня и пушка какие!

— Зачем нам гадать? Не на базаре. Какой дадут, тот и бери. Справимся.

Экипаж подобрался хороший. Стрелок-радист — Николай Ерёмченко — спокойный высокий парень. Он из колхозников. Поэтому с Михаилом сразу нашли общий язык. Заряжающим стал Сеня Попов, недавно вернувшийся из госпиталя. Горел в танке, но удачно избежал ожогов и сам снова попросился в танк. Значит, настоящий танкист. К тому же он мог водить танк, стрелять из пушки и пулемёта.

И началась снова фронтовая жизнь.

Танковый корпус находился в резерве Ставки Главного командования, и его бросали с одного участка на другой. В середине августа, поддерживая наступление войск 1-го Украинского фронта, он перешёл в стремительное наступление. Нина проснуться толком не успела, как рано утром её громадный, трудно управляемый с непривычки “ИС” был погружён на понтонный паром, чтобы переправиться через довольно широкую и глубокую реку Вислу на западный берег, куда уже вышли стрелковые подразделения. Такой стремительности Нина ещё не видела.

Паром плыл на буксире за двумя моторными трескучими лодками. Нина сидела на краю башенного люка. Михаил ходил вокруг танка, присматривая, чтобы он при качке не скатился в какую-нибудь сторону. Очень уж

шаткая это штука — паром. Стрелок-радист Коля устроился на месте механика-водителя и рассматривал приборы, примериваясь, как бы он в случае нужды повёл танк. А Сеня просто дремал, прислонившись к башне танка. Из-за треска буксирных моторов поздно услышали команду “Воздух!” Прямо на них пикировали немецкие бомбардировщики. Нина даже видела, как от первого самолёта отделилось несколько бомб. Через несколько секунд они засвистели пронзительно и противно.

— Перелёт, — определила Нина и быстро развернула пулемёт стволом в небо. На “ИС” он находится на башне танка и приспособлен для стрельбы по воздушным целям. Она выпустила очередь и испытала знакомые чувства, как в первом своём воздушном бою.

Следующая серия бомб разорвалась вблизи них, волной круто накренило понтон, и танк свалился в речку. Нина едва успела выскочить из люка и, упав в воду, торопливо отплыла в сторону.

— Нина! Нина! — услышала она сквозь шум самолётов и залпы зениток.

В метрах пяти от неё барахтался в воде Михаил. Но где остальные ребята из экипажа? Ага, вот ещё один. Это стрелок-радист Коля. Он испуганно хватает воздух ртом, беспорядочно плёпает руками по воде, хотя видно, что плавать умеет. Только в себя не может прийти, наверное, пока выбирался из танка, нахлебался воды. Нина подплыла к нему сзади и схватила за воротник комбинезона. Приподняла его голову над водой. Радист несколько раз струей выпустил изо рта воду, откашлялся и, высвободившись из рук Нины, погрёб к берегу.

Михаил тем временем выловил в воде Сеню. С ним было хуже. Он был сильно ранен в плечо. А тут “юнкерсы” сделали очередной заход на бомбёжку. Грохот разрывов, столбы воды, свист осколков, стрельба зенитной артиллерии с берега — всё слилось в один гул. На счастье танкистов, из облаков вынырнули несколько наших истребителей, отогнали немецкие самолёты, и сразу наступила относительная тишина на переправе.

Нина старалась помочь Михаилу доплыть с раненым до берега. Пехотинцы увидели, как тяжело приходится танкистам. И хотя они сами плыли на резиновой надувной лодчонке, которая едва держалась под тяжестью трёх солдат с пулемётом, но танкистам помогли.

— Эй, ребята, цепляйтесь на буксир! Мы видели, как вы тут с танком загремели.

Нина ухватилась за лопатку-весло. Михаил одной рукой держал голову Сени над водой, другой тоже ухватился за лодчонку. Так вшестером и добрались до берега.

Среди плывущих солдат на лодке был сержант. Он помог выбраться Нине на берег. И был очень удивлён, узнав, что спас танкиста-девчонку.

— И как тебя угораздило? Что, дома делать нечего?! Или жених на фронте?

Нина ещё в себя не пришла от вынужденного купания, сердито ответила:

— Не ваше дело.

— Да нет, я так, извините, товарищ лейтенант. Сразу-то не разглядел, кого спасал. Я не хотел обидеть. Только чудно как-то. В тылу такие ухари сидят, а вы вон куда, да ещё с танком. В жизнь бы не поверил, если бы сам не увидел.

Разговаривая, он помог Нине снять мокрый комбинезон, сапоги, отгородил возле прибрежных кустов плащ-палаткой уголок, чтобы Нина могла снять и наскоро выжать обмундирование. А Михаил стоял возле переправы, где выходили на берег танки с понтонов. Командир роты увидел Михаила, закричал:

— Где Бондарь? Жива?

— Жива, товарищ капитан! Наш танк утонул.

— Знаю. Видел. Вон там идёт один танк, экипажа нет — бедняги сидели сверху, всех убило. Как причалит, заводи и на берег. Задачу Бондарь знает. Садитесь и догоняйте роту.

— Так у нас теперь нет башенного, ранило его.

— Ничего. Где-нибудь найдёте. Сейчас только вперёд! Командир бригады уже там. — Он махнул в сторону предполагаемой передовой, где разгорался бой.

Тут как раз и Нина подошла, и с ней сержант-пехотинец. Радист Коля ещё лежал недалеко от переправы, его рвало водой. Он умоляюще смотрел на Михаила, боялся, как бы про него не забыли и не оставили на берегу.

— Товарищ лейтенант, вон наш танк подходит, — обрадованно крикнул Михаил, когда Нина подошла ближе, — “тридцатьчетвёрка”.

Командир роты уже поднялся на свой танк и что-то кричит в сторону Нины, но его слов понять невозможно. Тогда он пальцем показал на Михаила, а потом себе на губы. Нина поняла, что Михаил расскажет.

Паром уже уткнулся в берег. Михаил перепрыгнул на него. Четверо танкистов, кто на башне, кто на моторной части, были истерзаны осколками так, что смотреть невозможно. Кровь залила весь танк, и Михаил не знал, что делать с такой машиной.

Михаил забрался внутрь танка, завёл мотор и, как только сапёры канатами закрепили паром, осторожно вывел танк на берег. Подбежали санитары с носилками и занялись своим делом. Пришёл бледный заряжающий Сеня Попов, перевязаны рука и шея.

— Я отказался ехать в госпиталь, товарищ лейтенант, — обратился он к Нине.

— А что можешь делать? Ну-ка, рукой пошевели.

Сеня пошевелил, помахал.

— Рука — ерунда. Тут вот в шее что-то хрустит, но до вечера выдержу.

— Ну, смотри, не хныкай. Не к тётке едем на блины.

Нина обошла танк кругом. “Тридцатьчетвёрка”, видимо, из капитального ремонта.

— Сержант, садись, заряжающий у нас ранен, — обратилась Нина к пехотинцу.

— Не могу, товарищ лейтенант. Впереди моё отделение. Вы лучше скажите, где вас после войны искать.

— Это зачем же?

— А там видно будет.

— Город Бийск. Алтай. Бондарь Нина. Я там одна такая.

— А я Пётр Ширав. Сватов ждите.

— Иди, иди, жених нашёлся. Фашист как сейчас женит... — сердито сказал подошедший стрелок-радист Николай. Он уже откашлялся, хотя был бледным и едва держался на ногах.

— Ох, ох, испугался! Бегу! Не до тебя, утопленничек. До свидания, товарищ лейтенант, в Бийске. Мы же в одной реке теперь крещённые. Теперь нас водой не разлить, — сказал сержант и убежал. А Нина, задумавшись, долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся за невысоким холмом. Вздыхнула. Чем-то понравился ей этот сержант, как никто ещё не нравился.

— По местам! — скомандовала она.

Танкисты заняли места. “Тридцатьчетвёрка” — родной танк, всё тут знакомо, как в хорошо обжитой квартире. Только одна беда — все личные вещи, какие у них были, утонули.

Танк сначала осторожно прокатился, чуть рокоча мотором, а потом Михаил включил на полную скорость. Танк рванулся вперёд. Михаил закричал Нине в переговорное устройство:

— Недаром тот был нам не по душе. Вот его и прибрала река. Жалко, но этот лучше. Вон он какой!

Михаил крутанул на полной скорости танк влево, потом вправо и, словно на разгорячённом коне, выскочил на высоту.

Нина быстро сориентировалась в обстановке. Несколько наших танков утюжили траншеи противника. По ним вели огонь противотанковые пушки с окраины села. Туда Нина и направила танк.

— Заряжай! Миша, дорожку!

— Есть дорожку! Дорожка!

— Выстрел!

Нина с первого выстрела уничтожила вражеский орудийный расчёт. Михаил вывел танк во фланг немецких артиллеристов. Те не успели развернуть пушки, и танк Нины прошёл по станинам орудий гусеницами. Батарея перестала существовать...

К середине дня танк Нины, целый и невредимый, присоединился к своей роте. Наши танки вклинились километров на двадцать в оборону противника. Заканчивались боеприпасы, горючее в танках и машинах. Нужна была хоть короткая передышка.

Командир батальона собрал командиров возле небольшого дома:

— Командование нам объявило благодарность за активные действия. Немец скоро пойдёт. Занимайте оборону, но так, чтобы в наступление можно было сразу перейти. Горючее и боеприпасы будут скоро. На переправе застряли. Там бомбят, не переставая. А, лейтенант Бондарь, — обрадованно сказал комбат. — Я сразу-то не заметил вас. Молодец, товарищ лейтенант. Я видел, как на батарею налетели. Только в другой раз будьте осторожны. А если бы минировано?

— А я же с фланга. Когда им успеть?

— Ну, всё равно. Рискованно. А вообще, замполит готовит наградные листы и на вас тоже. Как машина?

— В порядке. Горючее на исходе, и не ели мы с вечера.

— Всё будет. По машинам, товарищи! Пока не начался обстрел.

Командиры танков быстро разбежались по своим машинам. Большинство замаскировали танки возле избышек. Тут не видно больших сёл, а всё больше хуторки по два-пять дворов. Нина не стала прятать танк на хуторе. Сюда, определила она, в первую очередь полетят снаряды, и будут бомбить вражеские самолёты.

Они с Михаилом нашли чуть заметную высотку и перегнали танк на неё. Низкорослый кустарник надёжно укрыл танк от немцев, и в то же время Нине хорошо видна местность перед высоткой.

Танки вырвались вперёд пехоты, и только сейчас стали пробегать мимо танка Нины небольшие группы пехотинцев. Нина присматривалась к каждому из них. Ей хотелось ещё раз увидеть того голубоглазого сержанта. Но он не появлялся. А через несколько минут началась атака противника.

Как и рассчитывала Нина, первый удар немецкой артиллерии пришёлся на хутор. Туда налетела и вражеская авиация. А танк Нины оказался вроде бы как в засаде. И когда пришла пора отбиваться от нападающих танков и автоматчиков, её танк сыграл решающую роль. Дважды Нина останавливала немецких автоматчиков, отсекая их огнём пулемёта от танков. А с танками ничего поделаться не могла — не было бронебойных снарядов. Два подкалиберных оставила как НЗ, на крайний случай. Он, этот случай, наступил раньше, чем она думала. Разгадали немцы, где стоит её танк, и с трёх сторон пошли на неё.

Нина передала командиру роты по рации:

— Меня атакуют танки, поддержите огнём. С двумя справлюсь. Нет снарядов.

— Нина, держись, — ответил он, и Нина услышала его команду: — Пятёрка! Жми к Нине. Видишь её?

— Не вижу, но знаю, где она. Нина, держись!

— Держусь, ребята. Ага, вот...

Нина не договорила. В прицеле оказался медленно выбирающий дорогу немецкий танк.

— Подкалиберным — заряжай! — крикнула Сене.

— Готово!

Нина выстрелила прямо в лоб немецкому танку. Танк остановился и замер. Так до конца боя он не подал признаков жизни. У второго танка подбила гусеницу. Кто-то из пехотинцев подкинул ему под вторую гусеницу гранату, и на этом месте вскоре поднялся столб чёрного дыма. Третий танк боя не принял. Попятился и спрятался за рощей.

И так весь день до вечера бой то начинался, то неожиданно затихал, чтобы через час-полтора снова начаться... И опять Нина даже в самые спокойные минуты, удивляясь сама себе, вспоминала голубоглазого сержанта-

пехотинца. “Вот дался он мне”, — сердилась она на себя и тут же пыталась припомнить, какие у него брови и почему он чуть-чуть прихрамывает.

Вечером, когда немного стемнело, командир роты приказал отвести танк в тыл на заправку горючим и боеприпасами. Надо было передохнуть и танкистам. Они одурели от угара, копоти. Хорошо, что в своём танке Нина нашла канистру с водой, а то бы от жажды совсем развезло.

Не успели отужинать, как прибежал посыльный от командира батальона и приказал немедленно вывести танк к переправе.

— Ну, началось! — ворчал Михаил. — Только горючее жжём.

— Горючее что — пустяк, — сказал радист Коля, — опять через реку...

— А тебе теперь бояться нечего. Проверен, — засмеялся Сеня, — такое добро, как ты, не тонет.

— А ты так прямо золото! Тоже пузыри пускал, да не потоп. Мне танк наш жалко. В нём махорки две пачки утонуло...

— После войны достанешь.

— После войны я курить брошу. У меня внутри нагар — керосином не отмоешь. Но не к добру нас перегоняют. Такая у нас позиция была. Тот, первый-то подбитый танк, посмотреть бы... Скис сразу. Здорово вы его, товарищ лейтенант! — И, повернув голову в сторону Нины, осёкся. Она как сидела на траве, опершись спиной на гусеницу танка, так и заснула. Рядом спал и Михаил.

— Глянь, Николай, спят.

— Пусть. Десять минут дадим им поспать, — сказал почти шёпотом Николай. Они замолкли минут на десять. Потом Николай осторожно притронулся к плечу Нины:

— Товарищ командир, — он ещё не привык называть её по имени, — а, товарищ командир, пора!

Нина сразу же проснулась. Присмотрелась к чуть светящемуся в темноте циферблату часов.

— Да, пора, — сказала она, как будто и не дремала, а только на минутку прикрыла глаза.

Михаила же разбудили, только облив его водой. Сказались и купание в реке, и бессонные ночи, и трудный суматошный день. Возле переправы их уже ждал командир батальона. Он посветил фонариком карту и указал Нине, куда направить танк. Она некоторое время не могла сообразить, куда ехать. Потом удивлённо сказала:

— Так это же на той стороне, за Вислой.

— Ну, наконец, поняла, — засмеялся он. — На той. Выходим из боя. Тут и без нас справятся.

На переправе уже не паром, а понтонный мост. По нему шли и шли войска. В одну сторону шли машины, гружённые снарядами, ящиками с патронами. Обратное они везли в основном раненых.

Танкисты недоумевали, почему они уходят в самый разгар боёв, но приказ есть приказ. Только позднее они узнали, что были участниками боёв на знаменитом Сандомирском плацдарме, на котором polegло немало советских бойцов. Но как немецкое командование ни пыталось сломить упорство наступавших частей Советской армии бомбардировками и контратаками — ничего поделать не смогло. С этого направления потом началось наступление на Берлин!

А танковый корпус резерва Ставки Главного командования перебросили на такой участок фронта, где, казалось, и пехоте-то не пройти. В Карпаты. Трудными тут были не бои, а переходы. Так казалось Нине. По карте вроде бы совсем немного насчитывалось километров, но, присмотревшись внимательнее, Нина окликнула Михаила:

— Ты смотри-ка, куда нам идти. Это же сплошные горы. Тут всего одна дорога.

— Значит, так надо.

— Понятно, что надо. А пройдем? Я это к тому, что надо танк готовить. Бери ребят, запасайся брёвнами, канатами.

— Понял. Сделаем.

Нина предполагала, что командование бригады соберёт командиров и объяснит обстановку. Судя по картам, какие получили в штабе батальона, предстоит марш по горным дорогам, вернее, по одной дороге. Но никаких объяснений не последовало. В лесу, где сосредоточилась танковая бригада и другие части — сапёрные, стрелковые, артиллерийские, — Нина услышала незнакомую речь. Это не поляки и не украинцы говорят. Догадалась — чехи или словаки. А там, за горными перевалами находится их родина — Чехословакия. Но почему туда выбран такой путь, не поняла и гадать не стала. Радист Коля кое-что пояснил:

— Сам слышал по радио: словаки подняли восстание против немцев и просят, чтобы мы скорее пришли на помощь.

— Интересно, — сказала Нина. — К ним по воздуху только и можно добраться. Угробим машину на таких участках. Как думаешь, Михаил?

— А что тут думать? Скажут — и поедем.

Командование ничего не сказала, но танки обеспечили длинными прочными тросами. Инспектирующие несколько раз проверили на наличие в танках лопат, топоров, пил. Приказано было на каждый танк дополнительно установить несколько бочек с горючим и маслом. Механикам-водителям показали приёмы преодоления горных перевалов, лесных завалов, крутых спусков и подъёмов.

Нине приказано было вести танк по дороге Беско-Трнавка — Дукля, быть готовой в любую минуту к отражению вражеских атак. Началось наступление 38-й армии с целью оказания помощи восставшему народу Словакии. Вместе с советскими войсками наступал и 1-й чехословацкий армейский корпус.

За годы войны Нина всякого насмотрелась и ничему не удивлялась. Но тут на долю танкистов выпали небывалые испытания. Единственная дорога вьётся серпантинном по склонам гор, спускается в ущелья, поднимается на сопки. Ни свернуть, ни обогнать впереди идущего. Машины или танки, остановившиеся из-за поломок, без разговора сталкивались с дороги в пропасть. На десятки километров вытянулась лента из пехотинцев, танков, автомашин с пушками и боеприпасами. Как стервятники, над колонной кружат с утра до вечера немецкие бомбардировщики, но не так-то просто попасть с высоты в узенькую ленточку горной дороги. Бомбёжки делали много шума, но потори от них были небольшие. Хуже бомбёжки — обороняющиеся подразделения противника. Смять бы их, раздавить танками. Но как? Поместиться на дороге может только один танк, и его могут подбить в любую минуту.

Подбитый танк сменяется очередным, чтобы через несколько километров пути вспыхнуть чёрным дымом. В начале пути танк Нины шёл где-то в середине колонны, но чем ближе подходила голова колонны к перевалу, тем всё больше и больше выдвигался её танк вперёд. Михаилу особенно доставалось на этой горной дороге. Постоянно надо быть начеку. То слева провал, то справа, того и гляди, как бы не свалиться в пропасть или не врезаться во впереди идущий танк.

Уже перед самым Дуклинским перевалом разгорелся продолжительный и кровопролитный бой. Немцы здесь заранее оборудовали оборонительный рубеж, пристреляли наиболее заметные на местности точки и чувствовали себя очень уверенно, считая, что их оборону невозможно пройти. А тут ещё начались дожди, и дорога стала почти не проходимой для танков и автомашин. Перед подъёмом на перевал танковой роте дали небольшую передышку. Командир роты нашёл в лесу небольшую, хорошо укрытую вековыми дубами и орешником от немецких самолётов площадку. На неё и собрались танкисты. Они понимали, что такая передышка — минутное дело. Механики-водители, едва остановились, занялись проверкой технического состояния танков. Тяжёлым испытанием оказалась эта дорога. Но «тридцатьчетвёрки» выдержали. Из-за неисправностей никто в батальоне не отстал.

В лесу сыро, неуютно. Мелкий дождик моросит и моросит. В такой непролазной жиже не то что на перевал подниматься, а танки с места не смогут сдвинуться. Вечером, когда танкисты наскоро поужинали, командир роты созвал командиров взводов и экипажей. Устроились под густоветвистым дубом.

Лампочку, горевшую от аккумулятора, не маскировали — никто в такую темень и за дождём её не увидит. Командир роты ознакомил с задачей, поставленной комбатом:

— Дело такое, ребята. Достаньте карты. Смотрите! Вот перед нами высотка. Мы — ниже. На высотке — укрепленный оборонительный узел. Его надо взять во что бы то ни стало, взять с тыла. Наша рота ударом с высоты... смотрите южнее — с... вот с этой... должна разгромить этот узел. Ясно?

Все с удивлением уставились на командира роты.

— Ну, чего смотрите? Спрашивайте...

— А без загадок нельзя? — спросила Нина. — У нас крыльев нет.

— В том и задача, чтобы без крыльев попасть на ту высотку. И чтоб завтра к середине дня. И ударить так, чтобы мокрое место от фрицев осталось. Подниматься будем вот здесь. Смотрите на карте... Отсюда танкам надо подняться на вершину, а там уже сами скатимся. Помогать нам будет рота сапёров. Но и самим тоже надо думать.

Кто-то уже успел посчитать, что надо сделать подъём почти на километр по высоте и десять с лишним километров пути подъёма по бездорожью. За подня не успеть. Только бы дождь прекратился...

— Успеть обязаны. Нас стрелковые роты там ждать будут. Без нас всем будет плохо, — ответил командир роты спокойно.

Верил ли он в возможность пройти? Или он старался поверить в это, чтоб и остальные поверили?

Ночь стояла прохладная, ветреная. Нина почти не заснула, проворочавшись на жёстком брезенте, прикрывавшем траву и ветки, собранные в лесу. Ребята в танке, кто где смог, уснули. Михаил так измотался за день, что уснул, едва прикоснувшись щекой к свёрнутой телогрейке.

Нина проснулась рано и долго лежала, размышляла. Что принесёт этот день? Подняться на горные кручи с танком? Командование говорит: нужно. Значит, можно. Значит, уже с кем-то посоветовались, провели разведку, выбрали маршрут. Только бы танк не подвёл. Но дорога...

Когда Нина заняла своё место в танке, лес уже наполнился грохотом ревущих моторов. Машина командира роты начала прокладывать дорогу в лесу. Позднее Нина узнала, что впереди машины командира роты шёл проводник из сапёрной роты и показывал дорогу. По этой колее двинулись и другие танки. Машина Нины шла, как обычно, третьей.

Михаилу приходилось всё время объезжать могучие стволы дубов. Он понимал, каково приходится впереди идущему танку. Сначала дорога шла под уклон, но вот начался небольшой подъём, и танк забуксовал, зарывшись гусеницами по самые оси катков. Танкисты знали, что делать. Они закрепили бревна на гусеницы — лишь бы под грязью оказался крепкий грунт. Танк сам себя и вытащил. И так по считанным метрам пришлось преодолевать заболоченный участок. А потом, когда подошли к перевалу, с которого надо атаковать противника, стало ещё хуже. Крутой подъём. Земля в лесу превратилась в сплошную жижу от проливного дождя.

— Пойду, посмотрю, — сказал Михаил.

Там он увидел сапёров, которые распутывали толстые тросы. Поднявшись выше, откуда спускались тросы, Михаил понял, что задумало командование. Тут уже всё было подготовлено для подъёма танков. Мощные лебёдки закреплены за толстые, чуть ли не в два обхвата дубы. И так, в несколько этапов, будут поднимать танк до самого перевала.

Михаил прибежал повеселевший.

— Порядок, товарищ лейтенант. Там такая техника, вознесут нас — и глазом не успеем моргнуть. А я думал, своим ходом. Сожгли бы мотор...

И вот танк командира роты, натужно ревя, медленно пополз в гору и скоро скрылся за деревьями. Нина скомандовала Михаилу, чтобы он подошёл танк к месту подъёма. Подошедший командир сапёров приказал всем, кроме механика-водителя, покинуть танк.

— Если сорвётся, то наломает дров. Так что лучше, чтоб все были в стороне.

— А нельзя, чтоб без дров? — с улыбкой на лице, спросил радист Коля.

— Стараемся, — серьёзно ответил командир сапёров. — Там наверху пехота вас заждалась. Они со вчерашнего вечера сидят под дождём, мокрые и голодные. Без танков соваться бесполезно. Ждут, чтобы внезапно атаковать, — объяснил сапёр Нине, когда она с экипажем покинула танк.

Командир сапёров, молоденький капитан, весь промок до нитки, и не известно, от чего — то ли от дождя, то ли от пота, — от капитана шёл пар. Оборудовать такую горную переправу ему ещё не приходилось, и поту он тут пролил немало. Капитан так измучен был, что даже не обратил внимания на девушку-танкиста.

Сапёры быстро закрепили тросы на крюках танка, объяснили Михаилу, как держать скорость и какой, в случае чего, ждать беды. Михаил заверил их, чтоб не сомневались. Сделает всё, как надо. Капитан дал команду, и танк полез в гору, на которую смотреть — сердце замирает. Цепляясь за траву, за кустарник, карабкались в стороне за танком танкисты. Метров через пятьдесят танк остановился в выемке, выкопанной сапёрами. Тут его прицепили за другие тросы, и снова начался подъём. Так с пятью остановками танк поднялся на гребень высоты. Дальше тропа была каменистая, и танки пошли в гору своим ходом. В район сосредоточения вышло только три танка из пяти. Один застрял в болоте, у другого отказал мотор.

— Трое нас, — доложил командир роты, когда прибыл к командиру стрелкового батальона, с которым надо будет штурмовать укрепленный узел противника.

— Три — это здорово! И как вы тут оказались? Ни за что бы не поверил, если бы тут ты не стоял, — удивился командир батальона, пожилой майор. — Мне ещё вчера сказали — будут тебя поддерживать танки. Думал, так, для успокоения говорят. Приказали без танков не наступать, немцы с этой стороны даже охранения не поставили. В шестнадцать часов начало атаки. Готов?!

— Почти. Покажи, куда нам стрелять. Тут же сплошной лес. По своим бы не попасть.

— Смотри! — комбат развернул карту. — Видишь, высота? Это — мы с тобой. Слева наступают чехи — боевые ребята. А вот лес кончается, там позиции противника. Там то ли два дота, то ли танки закопанные, не разберёшь по звуку. Вот их тебе надо выковырнуть...

Нина осмотрела танк, проверила пушку, пулемёт. Приказала Семёну протереть снаряды, вместе протёрли ствол пушки.

Ровно в шестнадцать ноль-ноль начался бой. Немцев ошеломило появление танков и пехоты в своём тылу, и они сдались почти без сопротивления. Только один, хорошо замаскированный и закопанный танк, долго вёл огонь, пока танкисты не разглядели, где он запрягался. Несколько прямых попаданий заставили его замолчать.

Дорога на Дуклинский перевал была открыта. За этот бой Нина, в числе немногих советских солдат и командиров, была награждена чехословацким правительством медалью “За Дуклю”.

Бои велись за перевалы, господствующие высоты, за главные дороги. Немецкое командование подтянуло резервы, да и восстание словаков начало угасать из-за кровавого террора, какой развязали по всему краю немецкие войска. Только в конце года танковую бригаду отвели в резерв Ставки Верховного командования. Через месяц её, укомплектованную новыми танками и личным составом, перебросили на участок наступающих войск западнее Сандомира.

В наступательных боях танк Нины Бондарь прошёл, прокладывая огнём и гусеницами танка дорогу пехоте, от Сандомира до Ченстохова, по Домбровскому угольному району на Фрейштадт — Гольдберг — Ауэр и уже с другой стороны, с севера, принял участие в освобождении городов Тропау, Моравы-Островска. Тут вместе с товарищами отсалютовала Нина в честь Победы из танковой пушки, выпустив снаряд в сторону Берлина.

В конце войны Нину наградили ещё одним орденом. Ходили слухи, что якобы командир бригады писал представление к высокому званию Героя

Советского Союза. Но командование посчитало, что будет достаточно Красного Знамени...

Нина очнулась от воспоминаний, услышав громкий голос Клавы:

— Через пять минут будем садиться!

В окно показался до боли знакомый аэродром. Клава легко посадила самолёт.

— Вот ты и дома. Я прилечу через три дня. Не опаздывай.

— Хорошо, — ответила Нина, и они крепко обнялись.

Нина вышла из самолёта и направилась к машине, куда загрузили почту, прилетевшую вместе с Ниной.

Вот и родной дом. Чувство радости охватывает Нину, сердце учащённо бьётся в груди. Рывком открывает калитку. Во дворе мама с бабушкой копаются в огороде.

— Мама, бабуля! Я вернулась!

Нина бросается в объятия. Слезы радости не дают никому произнести ни слова.

Пройдёт ещё несколько лет, и она услышит волшебные слова:

— Нина! Бондарь! Я, как и обещал, нашёл тебя.

И она увидит его, того самого паренька-сержанта, что встретился ей на переправе через Вислу, — Петра Ширяева. И вскоре не станет Нины Бондарь, потому что появится Нина Ширяева.

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



НА СКРЕЩЕНЬЕ ЛЮБВИ И ПЕЧАЛИ...

* * *

Он бредёт по бездорожью,
Звать его Иван-дурак.
На челе — отметка Божья,
А на теле — Божий знак.

Зимний ветер студит груди,
Рвёт позёмка волоса.
А навстречу злые люди —
Злостью полные глаза.

— Что напялил эти тряпки,
Даже водкой не согрет?
Надо б дать ему по шапке...
У него и шапки нет...

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился и живёт в Минске. Окончил БГУ. Автор 22 поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, лауреат Национальной литературной премии Беларуси, Большой литературной премии России и многих международных литературных премий. Академик Международной Славянской Академии литературы и искусства (Болгария). Указом Президента Беларуси награждён орденом Франциска Скорины. Главный редактор журнала "Новая Немига литературная". Почётный член Союза писателей Беларуси и Союза русскоязычных писателей Болгарии.

Что ответишь?.. Злые взгляды,
Злая щерится зима.
Только жалости не надо,
Жалость — это, как чума.

Снег метёт... Собака лает.
И с небес неясный гул.
Но дурак чего-то знает,
Что-то Бог ему шепнул.

И бредёт по буеракам,
Вот уже который век,
Этот самый... С Божьим зна́ком...
С Божьим зна́ком человек...

* * *

Не умею сказать по-французски
Ни “природа”, ни “блузка”, ни “лес”...
У французенок яркие блузки,
Видел всяких — и в блузках, и без...

Всё блуждается в том, полудетском
Воспрятье... Что Бог триедин,
Не умею сказать на немецком,
Хоть мы некогда брали Берлин.

Не умеешь... Не знаешь... Не видишь...
О, словесности водораздел!
Ни иврит мне неведом, ни идиш,
И английского не одолел.

Всё на русском... Конечно же, плохо
Помнить лишь “камарад” и “капут”!
Но, когда озверела эпоха,
Только крикни: “Ура!” — и поймут...

* * *

Позовите меня—
Я приду... И скажу... И заплачу...
Потому что дождит...
Потому что позвали меня.
Выпивохам раздам
Эту скользкую, мокрую сдачу,
Пусть содвинут стаканы,
Портвейном желудки черня.
И пойдёт разговор...
Про погоду... Про деньги и женщин,
Неустроенность быта
И вечный мирской неуют...
Будет вечер пустой
Мировой пустотою увенчан,
Мрачно выпьют и снова
Торопко и мрачно нальют...
И, отспорив своё,
Не поверят ответному слову.

И почувствуешь:
Злоба у парня вскипает в груди.
Опрокинет стакан:
“Уходи подобру-поздорову...”
Опрокинет бутылъ:
“Уходи поскорей, уходи...”
Покачнётся и вновь
Глухо скажет, что выпили лишку.
А всё этот... Заезжий...
Ату его, ёшкина вошь...
Скрипнет хлипкая дверь,
На крыльце приобнимешь парнишку...
И нетвердой походкой
Пойдёшь вдоль оврага,
Пойдёшь...
А вокруг — никого...
Лишь голодный и брошенный Шарик
Подбежит на минутку,
Глазами проводит: “Иди...”
Догорает звезда...
Вдалеке остывает фонарик...
И такая тревога... Такая тревога в груди...

* * *

Гулко и нервно гудят камыши,
В небе — на сером! — сквозная прореха.
Не разрешать тебе... не разреши
Чёрной тоски и ненужного смеха.

Птицы... От птиц в проводах не искрит,
Нерв оголённый — как в камере пыток...
Сколько же было в судьбе Маргарит!..
Сколько осталось в душе маргариток?..

Все они сплыли, душа и дразня,
Вызвав любовью своей иллюзорной
Чёрную ночь среди белого дня,
Белый просвет среди роздыми чёрной...

Как всё закончилось!.. Как обожгло!..
Как о прошедшем завывали собаки!..
Чёрная птица встаёт на крыло,
А провода всё искрят в полумраке.

* * *

Что-то скрипнет сверху...
Промелькнёт суетливая галка,
и гусиное пёрышко
над головой проплывёт.
Быстро август проходит...
Мне августа нынче не жалко —
пусть скорее минуют
и август, и лето, и год...

Может, просто устал?..
И тоска забродила по венам...
Может, чуть не хватило
касания ласковых рук?..
Только вдруг обожгло...
О мучительном и сокровенном
вдруг захочешь кричать —
неожиданно... Истово... Вдруг...

И слова не нужны —
разве бренность опишешь словами?
Да и кто их услышит —
напрасные эти слова,
если август — на склоне,
тяжёлое солнце — над нами,
и о чём-то унылом
прощально скрипят деревья?

Всё труднее ступать —
и здоровье, и лето на склоне.
И всё чудится — прежде
был август слегка голубей...
Что останется?.. Горечь...
Да женские эти ладони...
Да пугливая птаха
на узкой ладони твоей....

* * *

Позабыть обо всём,
что в беспамятстве явью казалось,
позабыть обо всем, что царапало душу порой.
Я усталость гоню...
Только снова приходит усталость...
И устало мерцает
сквозь облако луч золотой.
Коченеет ладонь...
О себе говорить не пристало...
Всё слежу, как на свечке
колеблется узкий огонь.
То почти оживёт...
То внезапно поникнет устало.
А ладонь поднесёшь —
всё равно коченеет ладонь.
Как болит синева!..
И любимая — нет, не со мною...
Эти полунамёки,
где только печаль — наяву.
Синеву женских глаз неспроста
нарекли синевою —
синевою упиться...
И снова нырнуть в синеву...
Только там, в синеве,
заскоружными чувствами тая,
понимаешь, как вольно пичуге в дали заревой...
По взъерошенной сини
слезинка сползёт золотая,
чтобы в синь обратиться...

и стать золотой синевой...
А когда закричит —
на скрещенье любви и печали, —
сероглазая птаха, безвольно смежая крыла,
ты пройдёшь стороной...
И меня ты признаешь едва ли...
Но в душе отзовется,
что боль стороною прошла...

ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО



НАД ТЬМОЙ И СМЕРТЬЮ —
СВЕТ ПОБЕДЫ...

ЖИЗНЬ

Мы друг о друга стираем весь век свои души,
Как жернова, превращая зерно в муку,
Жизнь перемелет нас так, что и смерти скучно
Станет нас мучать... Она заберёт тоску,

Боль и отчаянье наше — одним мгновеньем.
Что с нами нянькаться... Жизнь укротила пруть.
Господи, Боже, мне стыдно просить прощенья:
Я не умею смирить своей жажды жить.

Щедро мы сыплем свой бисер на тропы стада,
Странно надеясь увидеть во взглядах — свет.
Господи, Боже! Ну, что ещё больше надо
Сделать нам, смертным, чтоб мы оценили смерть?

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО (Гусаченко) Тамара Ивановна родилась в деревне Щепатино Брянской области Брасовского района. Поэт, прозаик, публицист, детский писатель. Автор множества книг и многочисленных публикаций в литературных журналах и СМИ Беларуси, России, Украины, Латвии, Северной Осетии и др. Лауреат международных литературных премий: Симеона Полоцкого, "Прохоровское поле", всероссийской литературной премии "Русский путь" им. Ф. И. Тютчева и пр. Автор гимна города Витебска. Член правления Союза писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, член Союза писателей России. С 2005 года — председатель Витебского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси". Живёт и работает в Витебске.

Только... в глаза заглянула мне нынче утром
Кроха — младенец, родившийся в мир живой...
Я содрогнулась: какая во взгляде мудрость!
Мне и вовек не достичь глубины такой.

СТЕНА

Господь нас простит, милосердье не знает границ.
Но сами себя... Мы не все себя сами прощаем.
Легко тем, кто вовсе не знает падения ниц,
Мятежного духа страданья без меры, без края...

Нас всех разделяет стена, как незримая нить:
Одним — лепетать и порхать, веселиться, смеяться.
Другим — будто призванным лёгкость их дней оплатить,
Тащить тяжкий воз, всё осмыслив, бороться, метаться...

И те, и другие уйдут... И под шелест листвы
И птиц беззаботное пение в вечном покое
И там успокоятся те, кто себя не простил,
И те, кто и вовсе не ведал, что это такое...

АВЕЛЬ И КАИН

— Я Каин,
я Каин,
откликнись же, Авель,
пришло моё время,
мой час — моя смерть.
Ищу тебя, Авель,
ведь ты ж меня слышишь?
Не мог, не простив меня,
ты умереть.
Ты брат мой... брат Авель,
ты Богом любимый.
Ты добр и наивен,
ты можешь прощать...
Ищу тебя, Авель,
я Каин, я Каин,
откликнись в тумане,
нет сил уж кричать!
И нет мне прощенья,
но ты же Безвинный.
А кто же ещё меня
может простить?
— Я Авель...
я Авель,
давно уже слышу
твой плач и рыданья,
все крики тоски.
Как тщетно искал ты
в степи покаянья!
Там, где ты убил меня,
тяжки пески...
И ноги, и грудь мне
сдавила пустыня...
Простил бы тебя я
в неравной борьбе,

да встать не могу я...
Но плачу, внимая,
и слышу, и знаю,
как горько тебе!
Как холодно, брат мой,
как невыносимо,
ходить без прощенья
у кровных могил...
Родной мой, любимый,
где кровь — там отмщенье,
нет доли страшнее,
нет муки сильнее,
но ты же убил...
Безбожник не знает,
какое страданье —
жить без покаянья,
а я бы простил...
Но нет меня, Каин.
Я Авель...
— Я Каин...
Навек неразлучны
в столетиях — рядом
звучат имена:
два кровных,
два брата...
Один — убиенный,
другой — непрощённый...
И пропасть меж ними
уже не видна.
— Я — Каин...
— Я — Авель...

ДЕВЯСИЛ

Мелькнула красным сарафаном,
Безмолвьем звонким изошла
И недвусмысленным обманом
Листом по речке уплыла.
Я у-плы-ва-ла... Отражала
Вода небес высокий звон,
А душу нежно так держала
Зов-песня, взявшая в полон.

А я плыла по той холодной,
По той извечно-ледяной,
По неизбежной, по свободной
Воде свинцовой, но — живой.
Я капля вечная в потоке,
Необратима, как река.
— Откуда? — спросишь. — От истока...
— Куда? — Ты знаешь... Высока,
Ах, высока моя тоска.

И наливалась в чаше осень,
И уплывала по воде,
И рисовалась неба просинь
По тёмной облачной гряде.
И таял свет — святой, небесной,
Нездешней, дивной красоты,

И уставал пастух небесный
Гнать звёздный клин из высоты...

И пада... падали туманы,
И волочились по полям,
И сизо-белые бурьяны,
Фатой окутаны, стояли
В плену обочин, рвов и ям...
И звук висел, как меч искристый,
Над чистой скатертью полей,
Принарядившихся к Пречистой...

А кто-то звал из тьмы далёкой,
И кто-то звать не уставал,
И голос странный и высокой,
Мне был, как путь — за перевал.
За перевал, где не изведан,
Высок и яростен — живёт
Над тьмой и смертью — свет Победы,
Огнём любви меня зовёт!

Я нарисую, нарисую
Свой сон поутру, как проснусь,
Стену лесов, как дождь, густую,
Как пью я, пью и не напьюсь...
О чистоте всегда молила,
И там — сокрытый образ плыл:
Бог, Бог величия и силы —
Он всё, что вижу, сотворил.

И тот подсолнух в огороде,
Который детство осветил,
Как солнце... А ещё в народе
Есть вера в корень девясил,
В котором девять сил... А боле
Не надо, хватит девяти...
Всей человеческою долей
До девяти бы дорасти...

Встаёт огромная стена,
Но я её перелетаю.
Путь преграждают плиты сна,
Гнать звёздный клин из высоты...
Я их легко преодолеваю.
Перелетаю, мне легко.
Не тянет грех сопротивленья,
Лечу свободно, высоко,
Ни страха нет и ни сомненья.

А вот и небо, и весна,
И снег — смешались под ногами,
Свобода сна и воля сна,
Она — прекрасная пред нами.
Здесь можно всё, и волен дух,
Воображением рисую
Не страх, не плач седых старух,
Нет! Жизнь рисую молодую,
Такую юную — смотри,
Такую и живу. Внутри.

ВЕРА КОБЗАРЬ



ДУША ИНУЮ СИЛУ ОБРЕЛА

* * *

Мне сегодня легко на сердце,
И природа ко мне добра:
Дождь весенний насыпал в сѣнцы —
Не скупясь ничуть — серебра.

Грозовые тучи раздвинув
И невздам всем вопреки,
В небе радуга, выгнув спину,
Пьёт прохладную синь реки.

* * *

Да пусть тебя не трогает тревога
О днях моих, прошедших без тебя,
Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного,
И дней весенних трубы протрубят

КОБЗАРЬ (КОСТЕНКО) Вера Петровна родилась в селе Красноталовка Еланского района Волгоградской области. Окончила Всесоюзный финансово-экономический институт в Белгороде. Автор сборников стихотворений "Вчера был снег", "Весенний дождь", "Светлый август", "Ожидание", "Таинственный свет". Лауреат премии "Прохоровское поле" и лауреат 4-го Международного поэтического конкурса "Звезда полей-2013". Член Союза писателей России.

О том, что в мире есть цветы и травы,
И нам простятся многие грехи,
И будем мы с тобою оба правы,
Когда родятся лучшие стихи.

* * *

Бреду по знакомой аллее,
По жёлтой опавшей листве,
Здесь гроздь рябин пламенеют,
Как угли в забытом костре.

Пустынно. Темно. Неприютно.
Иду по аллее одна.
И только единственный спутник
Меня провожает — луна.

СУМЕРКИ

В синих сумерках луг утопает,
Тяжелее роса на траве.
Ветерок пробежал по листве
И уснул... Темнота обступает...
И ни звука.
Кругом тишина.
Звёзды сонно на небе мерцают.
Лишь стрекочет сверчок у плетня,
Да собака спросонья залает.

* * *

К заутрене звонят колокола,
И улетает звон под небо вешнее.
Душа иную силу обрела —
В молитвах и раскаяниях, грешная.

...А колокол без усталости звонит,
Приветствуя простивших и прощённых.
И солнце катит медленно в зенит,
Целуя купол неба золочёный.

СЕРГЕЙ МИЛЬШИН



ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

РАССКАЗ

Благодарю Аню Шабанову, ученицу школы № 11 из Губкина, за сохранённые воспоминания своих родных.

Федот Сурков очнулся от того, что кто-то стягивал с ноги ботинок. Человек, разувавший его, что-то бормотал. Напрягшись, Федот разобрал несколько слов:

— Извини, браток, тебе всё равно уже. Завтра помрёшь. А мне твоя обутка ещё пригодится.

Сил пошевелиться не хватило, лишь чуть-чуть разжал веки. В сумерках под арочным потолком церковного подвала качалась незнакомое обросшее лицо. Встретившись взглядом, человек поспешно отвернулся. Прижав ботинки к груди одной рукой, второй, упираясь в бетонный пол, торопливо пополз. Чей-то надтреснутый голос спросил:

— Помер, что ли?

Ответа Федот не услышал. Потолок закачался, и он снова потерял сознание.

Колонну пленных в село Стрелецкое пригнали неделю назад. Студёный январь 1943 года вымораживал даже слезинки на щеках, а сугробов навалило по пояс. Но тогда Федот ещё мог передвигаться, и в подвал с грехом пополам спустился. Ещё в пути он понял, что заболел. Кружилась голова, горло

Сергей Мильшин родился в городке Учкудук в Узбекистане, а детство провёл под Новосибирском. В девяностых вместе с семьей переехал в Белгород. Член Союза писателей России. Его перу принадлежат книги "Тяжёлый Афган", "Атаман", "Пластуны", "Тишка", "И была война". Мильшин входит в состав Совета региональной организации "Боевое братство". Живёт в Белгороде.

разрывал кашель. Чувствуя, как наваливается слабость, он мечтал упасть на свежее сено, и чтобы никуда идти. Мечта сбылась, хотя и не полностью. Загнав пленных в подвал, немцы, казалось, забыли о русских. Сена здесь не нашлось, ледяной бетонный пол выворачивал холодом суставы и добавлял выстуженных тел в яме на пустыре, работая не хуже немецких пуль.

Больных и раненых и в колонне хватало. Пока шагали по утоптанной сотнями солдатских ног зимней полёвке, на её ледяную поверхность то и дело падали выбившиеся из сил пленные. Кого успевали — поднимали свои, кого не успевали, добивали фрицы. Как-то он обернулся. По обочинам дороги до мутного горизонта бесформенно бугрились тела убитых бойцов Красной армии. Похоронят ли их?

И здесь, в подвале, каждое утро, подкормив пленников жидкой похлёбкой, полицаи вытаскивали наверх несколько тел умерших ночью.

Пару раз в подвал пробирались бабы из местного села, искавшие кого-нибудь из родных. Пока Федот был в сознании, он не слышал, чтобы поиски увенчались успехом.

На третий день он уже не смог подняться за порцией баланды, и сжимающаяся жизненная сила не получила и той самой малой утренней подпитки. Впрочем, последнее время он всегда чувствовал себя голодным. Вода, чуть разбавленная рыбьей тубухой, которую немцы называли похлёбкой, голод утоляла слабо. На четвёртый день Федот первый раз провалился в беспомыслие. В голубом небе плыли далёкие аисты, плечи нагревало летнее солнышко, и не было войны. Очнувшись, он оглядел подвал, в который тесно набились бойцы, и слёзы потекли по вискам.

В следующий раз он пришёл в себя от холода, хотел пошевелить заочневшими ступнями, но они не слушались. Рука поползла по груди, пытаясь застегнуть пуговицу на телогрейке, но ладонь скользнула по распахнутой гимнастёрке. Он понял, что телогрейку с него тоже сняли. Действительно, зачем она умирающему? Он понимал, что замерзает, догадывался, что это плохо, но почему, сообразить не мог. В какой-то момент глаза нащупали тусклое пятно между ним и потолком. Он постарался проморгаться, пытаясь разглядеть его, но видение расплылось ещё больше.

— Горедушный какой!

Голос донёсся словно издалека, и он почувствовал, что на грудь опустилась приятная обволакивающая тяжесть. И с ней пришло тепло. Ему подняли ноги, и тоже закутали.

— Счас я тебя покормлю.

Покормят — это хорошо. А кто? А чем? А, вообще, почему? Вопросы всплывали в голове, будто разноцветные шарики калейдоскопа. Ответов не было, он их и не ждал. Мягкая женская рука приподняла голову, и Федот почувствовал, как тёплая жидкость полилась по подбородку.

— Ну-ну, давай, солдатик, открывай ротик.

Федот послушно разжал запечённые губы. Как же вкусно! Это был бульон, не понятно на чём. Но какая разница! Каждый глоток, казалось, возвращал бойца к жизни. С последней ложкой немного прояснилось зрение, и Федот увидел свою спасительницу. Пожилая женщина, закутанная в шерстяной платок. Лица он не разглядел, темновато в подвале.

— Вот молодец, — голову аккуратно опустили на мягкое.

Словно отвечая на вопрос, женщина тихо проговорила:

— Я тебе рукавички под голову положила, — и, склонившись ещё ниже, добавила еле слышно: — Под боком продукты оставлю, пару яичек там, хлеба кусок, луковица. А счас поспи, милоч.

Федот чуть улыбнулся опухшими губами. Её лицо качнулось, и над бойцом снова навис куполообразный потолок подвала. Уже засыпая, он услышал знакомый надтреснутый голос:

— А ну, не тронь его.

И оправдывающееся неразборчивое бормотанье в ответ.

Разбудило Федота негромкое постукивание половника о стенки кастрюли. Веки поднялись не сразу. Ему показалось, они примёрзли. А может, и правда, примёрзли. Пришлось растирать глаза ладонью.

Неподалеку полицаи разливал похлёбку. Он опускал поварёшку в подставленные тарелки, будто выполнял давно осточертевшую работу. В распахнутую дверь проникал приглушённый дневной свет, тянуло холодом. В очереди за едой оставалось два бойца. Есть хотелось до нетерпения. Федот попробовал подняться. Слабая рука с трудом удержала его сидящего. Голова закружилась, и он опустил глаза. Звуки долетали до него, словно через прижатую к уху телогрейку. Люди что-то говорили, постукивал половник. Постепенно головокружение затихало.

— Эй, земля, ты как, тарелку удержишь? — На него смотрел худой боец в широкой шинели, прожжённой в нескольких местах. Федот ещё подумал, какие у него глаза большие. Но потом понял, что это впечатление обманчивое, просто он очень тощий.

— Говорю, удержишь? Я на тебя взял.

Незнакомец протягивал Федоту миску с похлёбкой. Его миску. Федот узнал её по характерным заусенцам по краю.

— Попробую.

Он чуть наклонился вперёд, освобождая руку за спиной, и пальцы вцепились в посудину. Она была тяжёлой, но Федот ни за что бы не выронил еду. В ней была его жизнь, Федот знал это точно.

Боец отполз к стене. Наблюдая за Федотом, допил из своей тарелки. Ложками здесь не пользовались, и Сурков тоже выглотал жидкую, больше похожую на воду похлёбку через край. Вытерев саднящие губы, он вспомнил, что не поблагодарил знакомого. И тут же встретился с ним взглядами. В глазах бойца читалось сочувствие и усталость.

— Спасибо, земляк.

— Не за что. — Тот слабо улыбнулся. — Я гляжу, ты на поправку пошёл.

Федот в три приёма прилёт, с удивлением осознавая, что одет в полушубок, а ноги завернуты в портянки. Он шевельнул пальцам ног, и они послушались. В подвале сидел и лежал народ, но на него никто не смотрел, кроме нового знакомого. Лёжа, развернулся к стене:

— Слышь, земляк. А кто это меня так одел?

Тот тщательно вылизывал свою тарелку.

— Ты не помнишь, что ли? Баба тут была, мужа свою искала. Не нашла, так ты ей чем-то приглянулся. Вот и помогла.

— А звать-то её как?

— А кто ж её знает? Не представилась. Искала Ивана какого-то. Фамилию говорила, не запомнил. А ты, это, переползай ко мне. Тут у стенки поменьше дует.

Федот приподнялся на локте:

— Счас, попробую. А тебя как звать-то?

— Александр. Танкист я.

— А я Федот, пехота. С Волги, село Малобыково. Не слыхал?

— Не-а. Я сибирский.

Наверное, минуту он глядел на богатство, обнаружившееся под боком: два яйца, кусок хлеба и луковица. И вспомнил. “Ай да баба! Ай да человек”! Подперев друг друга плечами, они с наслаждением уминали подарки от спасительницы, а Федот только так и называл в мыслях эту неизвестную женщину. Тщательно пережёвывали каждый кусочек, медленно хрустели луковицей. Потом, глотая слёзы, подобрали почти неосязаемые крошки. И вместе отвалились к стенке. Впервые за много дней Федот почувствовал себя сытым. Он отдыхал, навалившись на ледяную стену. На голову сыпалась завывающая на стенке снежная изморось. Но сейчас и она не мешала бойцу наслаждаться состоянием сытости. Он блаженно щурился, чувствуя, как одолевает дремота. Александр, заметив, что товарищ засыпает, подвинулся, освобождая место.

Федот проспал до вечера. А открыв глаза, понял, что чувствует себя здоровым. Покряхтев, с трудом уселся. От слабости закружилась голова. Но в этот раз головокружение прошло быстро. Только пальцы дрожали.

Сосед, заметив, что Федот разглядывает дрожащую руку, ободрил:

— Ничо. Это пройдёт. Главную немочь ты преодолел.

Высоко, под самым потолком, подвал освещало крохотное окошко с разбитым стеклом. Бойцы заткнули его какой-то тряпкой, но по краю свет немного проникал. Когда начало темнеть, Федот, придерживаясь за стену, поднялся на ноги. Танкист хотел его придержать, но боец отстранил руку.

— Сам.

Сделав свои дела в углу, где красноармейцы устроили туалет, он вернулся уже более уверенно. В сумерках Федот заговорил о побеге. Танкист склонился над его ухом, и отрывистый шёпот обдал горячим дыханием:

— Я уже сам не раз думал. Но пока не решился. Тут один офицер с оторванными лычками пытался народ уговорить, да не вышло у него. А утром его увели. И больше не вернулся.

— Неужто донёс кто?

Александр вздохнул:

— Всё может быть. Народ-то разный. Из полсотни нормальных обязательно какой говнотик найдётся.

— Бабы же к нам как-то заходят.

— Бабы немцу продуктов каких сунут, и их пропускают. Я так понял, если бы они кого своих нашли, отпустили бы.

— Даже так?!

— Жаль, я не местный.

— Да и я такой же. Так что насчёт побега? Что думаешь?

— А что думать? Бежать надо. Ночью нас не охраняют. Засов с той стороны задвинут, и всё.

— А как его открыть-то?

Александр отстранился, что-то вытаскивая из кармана.

— Во что у меня есть. — В темноте забелела крышка от консервной банки. Александр спрятал крышку обратно. — Ещё в дороге подобрал. Да всё никак не пригодились. Один я бы не рискнул. А вот вдвоём можно.

Федот настороженно оглянулся, но на них вроде не оглядывались. Разве что боец, одетый в две телогрейки, одна на одну, неприязненно разок покосился на Федота. Но тот не придал этому значения:

— Тогда нонче идём?

Александр подтянул под ноги полу.

— Идём, только твои ботинки надо вернуть.

— Ты знаешь, кто снял?

— Вон он сидит. В двух ватниках. Один из них твой. Как и обувка.

— Вот гад!

— Айда. Заберём.

— Айда.

Вдвоём присели на корточки перед бойцом. Тот поднял виноватые глаза. Без слов потянулся снимать ботинки.

— Я же думал, ты помираешь.

— И что? Добить надо было?

— Я ничо. Извиняй уж. Ватник тоже снимать?

— Оставь себе, гнида.

Боец потушился, протягивая ботинки. Кто-то спросил:

— Что тут у вас?

Александр зло прищурился:

— Гниду выдавливаем.

— Своровал что ли?

— Хуже. Мародер. Больного раздел.

Несколько лиц, не обещавших ничего хорошего, обернулись к бойцу. Тот вжал голову в плечи.

— Скажи спасибо, не то место, чтобы дерьмо учить. Мараться неохота. Живи, паскуда! — танкист потянул Федота за рукав. — Пошли. Нечего нам тут делать.

У стены снова присели. Федот натянул ботинки прямо на портянки. Теплее будет. Снова привалившись друг к другу плечами, затихли. Ночь заливала пространство подвала тусклым сиянием луны. Куржак на стенах светился

загадочной голубизной. Народ похрапывал. Кто-то ворочался под окном. От двери доносились слабые стоны. Они решили никого не посвящать в план побега. Получится — ради Бога, дверь оставят открытой, беги, кто хочет. Дело добровольное. Но сами будут молчать до последнего. Вдруг тот предатель ещё здесь. Переглянувшись, кивнули. И разом поднялись. С пятой или шестой попытки Александр отодвинул засов. Дверь легко поддавалась.

— Парни, вы чего?

— Они дверь открыли.

— Бегим, братцы!

Оставляя за спиной неуверенные возгласы, шмыгнули на улицу. За углом маячил часовой. Но если повернуть в другую сторону, не заметит. Александр сунулся первым. Федот устремился за ним. Слегка шатало. Но он крепился изо всех сил. Не до слабостей. Воля на кону. А значит, и жизнь.

Они не продумали, что будут делать на улице. До последнего не верилось, что получится. И, пробравшись за угол храма, растерялись. Впереди среди редких деревьев, утопающих в снегу, тянулась раздваивающаяся тропинка. Куда ведёт — неизвестно. Александр обернулся:

— По какой пойдём?

Наугад, словно в омут головой, брякнул:

— По левой.

Пыхтя, как паровозы, побежали по тропке, уводящей вниз, к замершим домикам села. Там ни дымка, ни звука. И за спиной тихо. Значит, пока никто не попался. Пусть и дальше так же.

Шагов через сто перешли на шаг. Вовремя: Федот, задыхаясь, покачнулся. И упал бы, не подвернись под руку ствол дерева. Навалился, дожидаясь, когда расплзётся муть перед глазами. Александр продолжал удаляться. Федот хотел крикнуть, но голос подвёл. Только хрип вырвался из груди. Он повис на дереве, пытаясь отдышаться. Лишь через несколько минут сумел пойти дальше. Шёл теперь один, долго, пока не добрёл до деревни.

Сбоку к глиняной избе притулилась пустая саманная сараюшка. Перед ней явно пустая конура. С другого бока — навес. Наверное, когда-то там хранили сено. Его остатки, занесённые снегом, ещё виднелись. Два маленьких окошка выглядели нежилыми. Но на стекле изнутри намёрз слой льда. Значит, там тепло.

Стук получился глухой, пальцы-то в рукавицах. Он замер, оглядываясь. Вокруг, насколько видно, никого. И ни звука. Ни собачьего брёха, ни человеческих голосов. Как вымерло всё.

В гулкой тишине пронзительно скрипнула открывающаяся дверь.

— Кто там? — настороженный мужской голос.

Федот отвернул воротник, чтобы не заглушал звуки:

— Я это. Сбежал из подвала. Пленный. Помогите, ради Бога.

Дверь не шелохнулась. Человек тоже не двигался. “А как не пустит? Тогда амба. Пропаду”, — страх потной струйкой покатился по боку из подмышки.

— Подь ближе, — человек, наконец, решился.

Несколько шагов, и Федот уже перед дверью. Чтобы не упасть, упёрся о косяк.

— Да ты еле стоишь. Заходи.

В доме шустрая рука подпалила лучину. Мерцающий свет залил высокую печку, кровать у стены, стол, пару лавок. Закутавшаяся в платок женщина ахнула:

— Никак, наш?

Федот тяжело опустился на лавку:

— Наш. От немцев убёг. Переждать бы. А потом уйду.

Высокий, лет под сорок мужик остановился напротив. Тяжело навалился на стол:

— Мать, собери ему пожрать там, что есть.

Женщина без слов кинулась к печи.

Три круто посоленные картошины. Наверняка оторвали от себя. Но если не съесть — не уйти. Доедая последнюю, раскашлялся. Кашель согнул.

Он хоть и пытался прятать лицо в воротник, всё равно выходило громко.

С печки выглянула девичья головка:

— Тятя, кто у нас?

— Спи, — мать решительно задёрнула занавеску на печке. — Дед Пихто.

— Ладно, — решил мужик. — Ложись пока на лавке. Завтрева будем думать.

Федот благодарно закивал, опускаясь на твёрдую поверхность лавки. Уже засыпая, углядел, как заботливые руки подкладывают под голову ватник. В избе нетоплено, раздеваться он и не подумал, мигом уснул.

Проснулся от тепла. Впервые за много дней. И сел, закашлявшись. За окном поднималось стылое солнце. Розоватые лучи били в стекло, и лёд на нём играл, переливался радужными красками.

— Проснулся, вот и хорошо. Счас завтракать будем, — женщина уже хлопотала у печи.

В ней горел слабый огонь, мягкое печное тепло растекалось по дому. Мужик, уже одетый в затёртый тулуп, уселся за стол напротив. И только тут Федот заметил, что у него пустой рукав.

— Будем знакомы, — доброжелательная улыбка мужика утонула в густой короткой бороде. — Степан Васильевич Торохов. А это жена моя, Анастасия.

Женщина, тоже улыбнувшись, обернулась.

— Федот Сурков, боец Красной Армии. Бежал давеча из плена.

— Из церкви? — не то спросил, не то констатировал Степан Васильевич.

— Из неё.

— А как же удалось-то? Немцы же там?

Федот коротко рассказал о побеге. Поделится соображениями о том, что искать будут. И замер, ожидая реакции хозяев.

На печке зашуршало, и из-за занавески высунулась пара детских ног. И следом вторая. Один за другим на лавку выбрались трое детишек. Старшая девочка лет двенадцати, и мальчики примерно пяти и двух лет. Дети, чинясь постороннего человека, молчали. Но любопытные глазёнки то и дело шныряли в его сторону.

Федот улыбнулся. Девочка подняла серьёзные глаза:

— А ты кто?

Пока Федот думал, что ответить, Анастасия, испуганно глянув на бойца, опередила:

— Дядя Федот это, сродственник наш, с Пушкирного.

— А ты немцев бил?

Это старший мальчишка. Строгий не по-детски взгляд, словно испытывает. Ответишь неправильно, и в этих глазах навсегда поселится недоверие.

И снова Анастасия пришла на помощь:

— А ну, бегом до ведра. Умываться и за стол. Завтрак ждёт.

Дети по очереди сползли с лавки.

Снова картошка. И две свёклы. Их отец порезал на дольки, и всем досталось поровну. Ели в полной тишине. Неожиданно за окном прорычал мотоцикл, немецкая речь словно подбросила Федота с лавки. За ним подскочили и Тороховы. У окон на несколько секунд стало тесно. Несколько немцев заворачивали к дому. Двое сразу направились к сарайке, трое окружили навес, в котором сиротливо поднимался метровой высоты стожок. Автоматная очередь заставила отшатнуться от окна всех.

— Что же делать? Расстреляют же! — Аксинья, беспомощно глядя на Федота, подтянула к губам уголок платка.

Степан нахмурился, но суеты ни в одном движении:

— Так, лягай на лавку. Мать, иконы в изголовье. Большой ты, — пояснил он на невысказанный вопрос растерявшегося Федота. — Видок-то у тебя соответствующий. Только, это, мать, галифе ему чем-нибудь прикрой.

Лавка под бойцом качнулась. Аксинья, затолкав детей на печку, метнулась к красному углу за иконами. Только замерли, как дверь, скрипнув, распахнулась. Перед неподвижным человеком рядом спиной к столу устроилась

семья Тороховых. Младшего мальчишку Аксинья держала на руках. Все дружно оглянулись на застывшего у порога немца. Низенького, белоголового, в кудей шинели с поднятым воротником. Федот, ни жив ни мертв, прикрыл глаза. И дышать перестал. Степан медленно перекрестился, снова поворачиваясь к Федоту. За ним и остальные отвернулись от немца. Они не репетировали, получилось само собой. Просто от страха не могли и слова вымолвить. Но фашисту это знать ни к чему. Пусть лучше думает, что семья прощается с умирающим родственником.

— Это кто? — немец выговорил слова с сильным акцентом.

Только бы мальчишки молчали. Старшая-то всё поняла мигом.

— Брат помирает. Тиф, наверное.

Внимательный взгляд немца скользнул по фигуре умирающего, прикрытого тканой дорожкой. Сомнения вроде не возникло. Да так и выглядит человек, которого болезнь съедает: щёки впалые, чёрные, заросшие, нос заострённый. Федот представил, как смотрится со стороны.

Взгляд фашиста прошёлся по каждому ребёнку, задержался на пустом рукаве Степана. Обшарив печку, остановился на мисках. У Анастасии оборвалось что-то внутри. Посуду не убрала. Догадаетесь, что поели только что. А какая еда при больном-то, ещё и тифозном?

Немец потоптался у входа, и дверь снова скрипнула. Федот выдохнул. Сидели ещё минут пять, пока фрицы не убрались к соседнему дому. Первым приподнялся Степан, заглядывая в окошко.

— Ух, кажись, пронесло.

Федот спустил ноги на землю. Тоже заглянул в окошко. Икона, приваленная к его голове, хлопнулась об лавку. Анастасия вздрогнула и перекрестилась:

— Не попустила матушка-заступница.

И тут улыбнулась дочка, легко спрыгивая с лавки.

— А немцы и не поняли, что у нас Федот, да не тот.

И после этих слов словно отпустило всех. Разом задвигались, заговорили, покатались детские смешки, расцвели улыбки взрослых.

Федот поднялся, чувствуя, как мелко дрожат колени. Громко сглотнув, отвесил поясной поклон:

— Вовек не забуду.

— Что ты, родненький. А как по-другому-то? — Анастасия улыбнулась мягко, по-родному, и Федот почувствовал, как защипало в уголках глаз.

Он ушёл на следующий день. Тороховы снабдили бойца старенькими короткими лыжами и сидором с продуктами на пару дней. Объяснили, как пройти к Алексеевке, селу, у которого стояла Красная армия, и уже в сумерках спина бойца растворилась за крайними деревьями заиндевелой рошцы.

Федоту повезло, и он добрался к своим. Пережил двухнедельный карантин у особистов. Шибко его не мучили, разве что на допросы несколько раз вызывали. Ну, вопросы каверзные, это да. Тут понимание надо иметь, всякие из-за линии фронта приходили. Отвечал уверенно, честно. И про плен поведал, и про спасение. И как пробирался через заснеженную Белгородчину. Ничего не скрывал.

А потом Федота Суркова направили на фронт, в родную пехоту. Освобождал Запорожье, Херсон, Одессу. С боями прошёл Румынию и Болгарию. Воевал до победы. И всегда вспоминал семью Тороховых из Стрелецкого.

После войны Тороховым стали приходиться письма из небольшого волжского села Малобыково. Федот писал о себе, что живёт только благодаря им.

А подписывался так: “Федот, да не тот”.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ



ЖИВОЙ ОСТАЁТСЯ ДУША

* * *

Сосед по купе мой — не дремлет,
О деде, о фрице, твердит:
— Я еду на курскую землю,
Где дед мой в могиле лежит...

Смотрю я на немца-соседа,
Блуждая в былом, как в тайге.
Мой дед супротив его деда
Сражался на Курской дуге.

И, праздная снова Победу
В день майский, который не тускл,
С попутчиком грустно я еду
Из Белого Города в Курск...

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович родился 9 февраля 1947 года в станции Ильской на Кубани. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет. Автор десяти книг стихотворений, поэм и переводов, двух юмористических сборников литературных баек, трёх сборников песен и романсов. Лауреат ряда Всероссийских литературных премий, в том числе “Прохоровское поле”, им. А. Фатьянова “Соловьи, соловьи...”, премии Центрального Федерального округа, “Имперская культура” им. Э. Володина. Живёт в Белгороде.

* * *

Когда уходишь в трудный путь —
Не унывай до срока.
Перекреститься не забудь
У отчего порога.

Пускай тебя улыбки, смех
Встречают повсеместно,
А что унынье — смертный грех,
Так это всем известно.

А потому и не греши,
Пой солнечную песню.
В столицах шумных и в глуши —
Нигде душе не тесно.

Не всё всегда идёт в судьбе,
Как говорят, по маслу.
Пускай покажется тебе:
Звезда в пути погасла,

А ты, потёмки истребя,
Зажги огонь внутри себя!..

* * *

Покрывают асфальтом просёлки,
Вместо хат — трёхэтажки вдали.
В города превратились посёлки,
Исчезают деревни с земли.

Я, конечно, не против прогресса,
С ним теперь уже не совладать.
Я боюсь одного: из-за лесу
Нам теперь дерева не видать.

Не считите меня ретроградом.
Как бы ни была жизнь хороша,
Но в России нет лучше награды,
Коль живой остаётся душа...

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ



НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

* * *

Горько, больно поверить, и всё же когда-то случится —
в неизвестную вечность последний уйдёт фронтовик.
Будет солнце лучиться, сильнее и ярче светиться
или дождик печальный внезапно заплачет в тот миг.
Как шинелью накроет, как знаменем тёплая туча:
— Спи спокойно, солдат, под покровом святой тишины
в небесах заповедных, где, может, не хуже, не лучше,
чем на брэнной земле, но зато не бывает войны.

* * *

Отец, которого я не знал,
на сопках Маньчжурии воевал,
наверное, храбро, раз помнит мама
медаль “За отвагу” на его гимнастёрке —

ЧЕРКЕСОВ Валерий Николаевич родился в 1947 году в городе Благовещенске Амурской области. Более сорока пяти лет проработал в газетах Приамурья и Белгородчины, собкор «Литературной газеты» по ЦФО. Автор множества книг поэзии, прозы, публицистики и произведений для детей, изданных в Москве, Белгороде, Благовещенске, Воронеже, Хабаровске. Стихи и проза печатались в центральных и региональных антологиях, альманахах, сборниках, журналах, среди которых “Наши современники”, “Москва”, “Знамя”, “Дружба народов”, “Нева”, “Подъём”, “Дальний Восток”, “День и ночь”, “Север” и др. Член Союза писателей СССР (России) с 1991 года. Лауреат Всероссийской литературно-театральной премии “Хрустальная роза Виктора Розова” и Международной литературной премии “Прохоровское поле”. Живёт в Белгороде.

несколько грамм литого металла,
да ещё черёмухи запах горький,
когда, одиноким подругам на зависть,
он у Амура её обнимал, —
это всё, что на память осталось
мне от отца, хоть его я не знал.

НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

Вокруг поля.
А на пригорке дуб,
Как пригоршни, листья подставляет
Под светлый дождик, что по-майски скуп —
Не столько льётся, сколько громыкает.

Дуб повидал такое — рассказать
Об этом могут корни вековые.
И молния, как времени печать,
Бугристый ствол у комля раздвоила.

И спрятавшись от холодящих струй
Под кроною, шумящей над поляной,
Я слышу посвист половецких стрел
И лязг железных орд Гудериана.

У ОБЕЛИСКА

Гвардии сержант Петров...
Гвардии сержант Петренко...
Стоит старушка на коленках,
Бурьян дерёт внаклон, без слов.
Присядет, притомясь маленько,
На терпко пахнувший покров...
Покойно спит сержант Петров
И рядышком — сержант Петренко.

ЮРИЙ ХОБА



ЗЕЛЁНЫЕ СЕРДЕЧКИ

РАССКАЗ

Гору Пеструшку, втиснутую крутым боком в лесное озерцо, лесник Зинаида считает полным собранием сочинений природы Дикого поля. Особенно ярко иллюстрированы весенние страницы. Костерки адониса догорают по соседству с крошечными омутами полевых фиалок, рябенькие ирисы цветут в обнимку с тюльпанами Шренка, а зелёные сердечки пастушьей сумки обещают исцеление зверю и человеку.

Всё это буйство внешней палитры заключено в овальную раму ковьяла Лессинга, растения, которое рождается и умирает седым.

Внизу, под торчащими из крутого бока Пеструшки гранитными клычками, ветерок-бродяга теревит лохмы прибрежных ив и лепестки разложенного рыбаками костерка.

Венчает гору дощатая хибарка с окошком чуть поболее носового платка. В нём отражаются омуты фиалок, загровки толком не вылинявших холмов, крыши лесного кордона и лёгкое, как подвенечная фата, облачко.

Желтобрюхому полозу на общей фотографии не нашлось местечка. А всё потому, что двухметровый громила большую часть времени проводит под хибаркой.

Несмотря на скромные размеры, венчающее Пеструшку дощатое сооружение имеет громкий титул — противопожарный пост, а состоящая при нём Зинаида исполняет роль смотрителя за Ясeneвым, Дальним и ещё десятком более мелких лесных урочищ.

— Выше тебя только Бог, — однажды заявил тракторист Вовик Шалапута. — Но зато у него нет мобильника и такого роскошного бинокля.

Бинокль у смотрящей действительно шикарный. Невесть каким путём попавший на сушу с мостика круизного лайнера.

Высоко сидит Зинаида, далеко глядит. Не скрывается ни браконьеру, ни моторизированной парочке, которая для любовных утех выбрала запретную

зону. Один звонок инженеру по защите леса, и патрульный вездеход козликом поскакал по указанному адресу.

Годится морская оптика и в качестве предмета устрашения. Позавчера пришёлся на пожарный пост Вовик. В одной руке — торба с трёхлитровой банкой вина, в другой — затисканный до полусмерти букет тюльпанов Шренка.

— Принимай, Фиалка, гостя!

— А биноклем между глаз не желаешь? — пригрозила без злобы. Нутром понимала, что восхождение совершено не только ради неё, разведёнки с глазами цвета фиалковых омутов. Мужик во хмелю — вроде дитяти малого, которое от избытка чувств готово вскарабкаться куда угодно. Лишь бы к облакам поближе.

Вовик, конечно, не тот гость, ради которого безоглядно боевой пост бросают. То подерётся, то по пьяни трактор на лесосеке потеряет. Звонит потом Зинаида:

— Фиалка, глянь-посмотри, где конь мой железный пасётся...

Но камня за пазухой не носит. Можно не проверять. Ватник, а также рубаха под ним всегда нараспашку. И не обидчив. Вот и сейчас Вовик сделал вид, будто кому другому пригрозили тяжеленным биноклем. Оседлал торчащий из крутого склона каменный клык, банку с вином баюкает. Того и гляди, уронит рыбакам на головы.

А те, заприметив сокровище, манят Вовика в гости:

— Спускайся, уха на подходе.

— Не, лучше вы сюда ползите. Отсюда полмира видать.

Зинаида надоело слушать хмельные препирательства. Проверила все четыре стороны света: нет ли где дымков? Заодно предупредила рыбаков, чтобы с огнём держали себя поаккуратнее, и ушла в хибарку, которую называла не иначе, как “музыкальной шкатулкой”.

Рассохшиеся половицы — вроде клавишей рояля, сквозняки на трубе буржуйки сольные концерты дают, топчан — похлеще камертона: на каждое телодвижение откликается.

Но едва туфелька ответственной смотрящей коснулась крайней клавиши, как за стенами послышался шум и удаляющаяся мать-перемать. Зинаида одним махом выскочила из “музыкальной шкатулки” и опешила. Каменный клык был пуст. Слово никто и не баюкал на нём трёхлитровую банку. Зато снизу неслась всё та же мать-перемать, да кто-то невидимый отсюда требовал вызвать “скорую”.

Пачкая ладони о зелёное вино толком не оперившегося чабреца, Зинаида осторожно добралась до каменного клыка и взглянула на суетящихся внизу мужиков:

— Этот шалапут хоть жив-то?

— А что мне делается, — ответил Вовик. — Морду чуток покарябал, колено снёс. — Зато вот, — потряс над головой трёхлитровчиком. — Семьдесят семь кувырков сделал, а добро сберёг.

— Медаль себе прицепи, — рассердилась Зинаида. — Сам чуть не угробился, народ взбулгачил... Иди, проспись... Тебе же на послезавтра наряд — противопожарные полосы в излучине освежить плугом.

Но Вовик сделал вид, что сказанное никакого касательства к нему не имеет. Да и занят был. Наливал вино в подставляемые рыбаками кружки так же, как и жил. Щедро, с перехлёстом.

Утром третьего дня Зинаида вновь заступила на пост. Вообще-то ей полагалось два полноценных отгула, однако сменщице — мастеру леса Любаше — приспичило рожать, а у егеря Парфёновича нашлись безотлагательные дела в урочище Дальнем.

Перед восхождением Зинаида наполнила термос из родника у подножья Пеструшки, попила с горсти студёной, как морозная ночь, воды и, покорно вздохнув, ступила на ведущую к “музыкальной шкатулке” тропу, которая всем своим видом свидетельствовала, что любая кривая короче прямой.

А ещё брошенная в созвездия рябеньких присов и пастушьей сумки тропа предостерегала от спешки. Раза два или три, опаздывая на пост, Зинаида пыталась совершить восхождение в ускоренном темпе. Однако ещё на полпути убеждалась, что дорогу под облака способен осилить лишь тот, кто свои желания соизмеряет с возможностями.

И потом, от быстрой ходьбы обитающий среди цветущих фиалок ветерок почему-то начинает горчить. Будто и не медовый настой трав попадает в лёгкие, а отгоревший пепел.

Ещё раз, теперь уже с ноткой раздражения, Зинаида вздохнула на маковке Пеструшки. Дежуривший вчера хромоногий Парфёнович, или, как его на свой лад именовала мастер леса Любаша, Паслёныч, в вахтенном журнале расписаться забыл. И, конечно же, дверь оставил незапертой. Видно, понадеялся на желтобрюхого полоза, который при появлении Зинаиды вальяжно уполз под хибарку.

Брезгливо морщась, вытряхнула из консервной банки в полиэтиленовый пакет жёваные окурки, пучком расторопши смахнула пепел с половиц и лишь после этого приступила к исполнению служебных обязанностей. В линзах морского бинокля проплыли загривки холмов, островок байрачного леса, где обиженной сучонкой скулила бензопила, доверившийся речной излучине молодой сосняк и ползающий вдоль опушки трактор. Урочище Дальнее рассматривала внимательнее обычного, пытаясь выяснить, что именно сигнало с лёжки дикую свинку со сворой поросят, напоминающих колорадских жуков.

Егерь, учитывая хромоту, едва ли успел спозаранку осилить восемь километров. И потом, засыпавший сигаретным пеплом клавиши “музыкальной шкатулки” Паслёныч был крайне деликатен со зверем и малой птахой. Идёт, словно и не человек — хромоногая тень от облачка ползёт лесной визиркой.

И таки разглядела вторгшихся чужаков. Крытые брезентом грузовики, похожие на большие коробки из-под обуви, машины неизвестного Зинаиде предназначения и перебежавшие в зарослях бересклета человеческие фигурки.

Набрала номер мобильника инженера по защите леса, которого подчинённые за глаза именовали “Вельмишелевым супчиком”, а когда тот после третьего гудка отозвался, доложила:

— В Дальнем гости. Похоже, военные... Говорите, вечером через лесхоз их целая колонна прошла?.. Нет, впервые слышу... Хорошо, свяжусь с егерем. Он ещё позавчера туда собирался, попрошу разобраться...

Позвонить егерю не успела. Из кустов бересклета выметнулись огненные стрелы и, затмевая своим ревом скулящую бензопилу, ушли за оком. Как показалось Зинаиде, застигнутые врасплох загривки холмов ещё больше ошетились колочей порослью.

А Дальнее продолжало клокотать погибельным варевом. словно там, рядом с покинутой лёжкой диких поросят, наружу вырвались фонтаны раскалённой магмы. И пыльное облако встало вровень с Пеструшкой.

А ещё Зинаида увидела, как одна стрела отделилась от общей стаи. Подстреленной утицей она шлёпнулась посреди молодого бора, вокруг которого железный конь Вовика Шалапуты исправно нарезал круги.

Набрав, теперь уже с пятой попытки, телефон Вельмишелевого супчика, Зинаида прокричала в трубку:

— Горит за холмами и сосняк в излучине!

— И что тепель? Война, похоже, началась. А я — инженер, не Господь Бог...

— Но пожарку-то прислать можете?

— Какой идиот в пекло ползет? Нет ни одной души на мехдволе... Тут ведь тоже стлеляют. Не только у вас. Послушай, Зинаида, у тебя же Шалапута под лукой. Пликажи...

— Он и без наших приказов на амбразуру кидается. Вижу, пытается отрезать очаг от остальных насаждений. Но его же подстраховать надобно!

— Кем? Налод, повтоляю, в щели забился. Ты тоже мотай оттудова. Чего доблого, за коллективовщика плимут...

— Знаешь, что, заботливый наш? Иди туда, откуда на свет вылез. И больше не появляйся. Ты не только не Бог, а и не мужик даже!

Наверное, добавила бы ещё парочку слов покрепче, однако урочище Дальнее вновь заклокотало. На этот раз от встречных залпов. Что-то детонировало, скорее всего, грузовик с боеприпасами, другие попытались уползти прочь, но их тоже поглотила разбуженная взрывчаткой пыль.

Зато рядами стоявшие в речной излучине дымы сделались ниже ростом. Видно, Шалапута не жалел железного коня. В бинокль Зинаида видела, как вокруг упавшей посреди бора ракеты ширилась полоска свежевспаханной земли. Зинаида набрала номер мобильного телефона Вовика ещё четверть часа назад, однако кнопку вызова не трогала. Последнее дело звонить человеку, который в одиночку бьётся со Змеем Горынычем. Если и услышит сигнал вызова, всё равно не отзовётся.

Нажала кнопку лишь, когда испачканный копотью трактор поволок пыльный шлейф по направлению к лесному кордону.

— Фиалка, — заорало в трубке, — взрывной волной ещё не смахнуло с Пеструшки? Ну, так тебе и надо!.. Вижу, что Дальнее полыхает... Только солярка на исходе... Заправлюсь, отцеплю от плуга эту бандуру... видишь, как пыль вздымает... и бегом туда!

— Какую бандуру?

— Ракету тросом зацепил... Теперь волоку на базу.

— На кой ляд она тебе?

— Глухая ты, Фиалка. В ней же почти сотня кил цветмета! Неделю гулять можно...

— На Дальнее Паслёныч с утра похромал. Как бы не случилось с ним чего...

— Замётано. А где пожарка, где Вельмишелевый супчик, чёрт его подери?

— По норкам попрятались.

— Тебе тоже не повредило бы. Ладно, доеду до места, сообщу обстановку. А ты посматривай. Чтобы знала, где искать головешку по фамилии Шалапута.

— Типун тебе на язык. Но... будь осторожен. Рискуй, да оглядывайся.

О себе почему-то не думалось. Стояла на маковке Пеструшки, которую со всех четырёх сторон света обступили смерчи дымов. Они так едко пахли погibelью, что заворочался дремавший под хибаркой желтобрюхий полоз, а в уголках глаз Зинаиды вскипели фиолетовые слёзы.

Они окропили висевший на груди морской бинокль, догорающий под ногами костерок адониса и пастушью сумку, чьи зелёные сердечки сулят исцеление, но не спасают от внезапно нагрянувшей беды.

СТАНИСЛАВ МИНАКОВ



ПОСЛЕ ХЛАДА И СНЕГА

БЕЛГОРОДСКИЙ ТРИПТИХ

1. Тапочки Серафима

Песенка

Протоиерею Николаю Германскому

Серафим по фамилии Тяпочкин
был обычный на вид серафим,
Хоть носил он обычные тапочки,
свет нездешний струился над ним.

Проживал он в посёлке Ракитное,
возле яблоньки, в малом дому,
и невидное небо блакитное
было видно ему одному.

Приближались дали бездонные
от доселе неведанных слов,
и слетались мы, птахи бездомные,
на прокорм — к Серафиму под кров.

Минаков Станислав родился в 1959 году в Харькове. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист. Автор книг стихов и прозы, энциклопедий и альбомов. В 1983 окончил радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. Член Союза писателей России. Автор журнала "Наши современники". Живёт в Белгороде.

Кто старался у домика этого,
тот такую калитку открыл! —
в обителище света всепетого,
в помаванье немислимых крыл.

Не ослабились узы нисколечко
на просторе пустом и потом,
когда лёг возле храма Никольского
Серафим под дубовым крестом.

В огородиках тяпают тяпочки,
я за тяпочку тоже берусь...
И хранит Серафимовы тапочки
слободская засечная Русь.

2. Памятник владыке Макарию в Белгороде

*На 200-летие Макария (Булгакова),
митрополита Московского и
Коломенского*

Серый, синий, зелёный иль карий
невнимательно, быстро скользнёт,
но несёт послушанье Макарий,
на проспекте, года напролёт.

Как ковригу иль даже веригу,
что тяжка, поелику легка,
держит шуйцей Великую Книгу
и читает её сквозь века.

Он читает, да кто его слышит!
Ты ли слышишь? Иль, может быть, ты?
Ветер книжных листов не колышет —
неподъёмны у правды листы.

Но предчертаны альфа, омега —
и проспавшим, и тем, кто без сна,
и для всех — после хлада и снега —
Красной Пасхой приходит весна,

Чтоб очнулась душа-Эвридика
в той ночи, где поют соловьи,
просвещающей дланью, владыка,
сырых страждущих благослови!

3

Наталье Дроздовой

Богородцева синька женская
небеса проясняет снова
и сияет Преображенская
бирюзой на углу Попова.

Коли дадено нам задание
во спасение, не для штрафа, —
назначаю тебе свидание
у гробницы Иоасафа;

что влечёт в гравитационную,
но ведущую ввысь воронку —
под команду дистанционную
испечённому жаворонку.

Благодать проберёт «до рёбрышков»,
в маловерии онемевших —
словно мальчик Христос воробышков
оживляет окаменевших.

Возрождаются в нас тождественность
упования, жертвы, слова,
торжество торжеств и торжественность
Православия золотого.

НА СМЕРТЬ МИХАИЛА АНИЩЕНКО

Три бутылки рижского бальзама —
и упал на пристани поэт.
У него от русского Сезама
открывашек и отмычек нет.

Всякий волен жить среди кошмара,
а ему, подумайте, на кой?
Беспокойный городок Самара,
стихотворца Мишу упокой!

Если ты запойный алкоголик,
а не просто пьющий человек, —
эту жизнь, испетую до колик,
различишь из-под закрытых век.

Можно быть, конечно, и без рая,
если слово русское постиг,
но, к полку последних добирая,
ходит Михаил Архистратиг.

Станешь ты не совести изменник,
а рванёшься ввысь, многоочит,
если твой Небесный соименник
меч тебе, тщедушному, вручит.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

На что ты, мама, уповала,
толкая колыбель рукой,
когда пила крестоповала
завыла ночью за рекой?

С какого бала эта Клава
влетела на метле в окно?
На ней — срамная балаклава,
а вместо сердца — толокно.

Кто вырастил её такую?
У алтаря скакала: глядь! —
ещё вчера — дитя родное,
а нынче — купленная б...ь.

Сказали: на тюремной шконке
она сидит, но при луне
с бензопилой, как чёрт в печёнке,
встаёт в решётчатом окне.

И, проклиная все святыни,
в плену кромешной маеты,
она летит по русской стыни
и косит русские кресты.

Ты молвишь, что она другая,
всплакнёшь, ромашку теребя?
Ах, мама, мама дорогая!
Мне страшно, мама, за тебя.

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ. “ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ”

Кто толкует про крах человечества,
кто куёт себе “счастья ключи”...
Только вновь на гнездовья Отечества
по весне прилетают грачи.

Всё возможно для русского —
Пáлехи,
и Федоскино, и Хохлома,
и мо́лоховы всполохи памяти,
где кровавой слюны бахрома.

Можно дыбить судьбину хитровую,
стыдный сор выносить из избы...
Только всё ж колокольню шатровую —
среди берёз, в облаках — не избыть.

Вспомни церковку ту, Воскресенскую,
меж грачиных пронзительных гнёзд,
синеву Богородцеву женскую,
что сочится на землю из звёзд.

Вспомни тёмные маковки медные,
тени веток на талом снегу.
И крестьянские хижины бедные
не затри в замутнённом мозгу.

Отдыхай, прозревай или ратничай —
поднимай над горбушкой ржаной
за помин Алексея Кондратьича
русской водки стакан крыжаной!

Помрачившийся классово, расово,
мой народ, заплутавший, как тать,
не забудь живописца Саврасова,
что учил Левитана писать.

НИКОЛАЙ ГРЕБНЕВ

БУКЕТ МАСТЕРУ

За радугой

Белая – слобода, почти без границы с Малосолдатским – селом, действительно небольшим, зато рядом с железнодорожным переездом. Если на север, то можно добраться аж до Комаричей и купить на тамошнем базаре поросёнка на откорм. Если в обратную сторону, то, тоже никого не расспрашивая, – до Харькова, где продают хорошие велосипеды.

Санная же моя дорога наезжена так, что Бересту хорошо знакома, и, кажется, не нужны в упряжи даже вожжи, а уж тем более кнут. Ещё километра два-три, и – деревянный мостик через неведомую ни названием, ни началом речку Илёк. За ним – Вишнёво. Оно на полпути из райцентра до Озёрок. Крайняя улица села приютилась под горою. Потом, минуя колхозную ферму, надо ехать по открытому полю без особых примет до самого шляха. Там дорога уже столбовая – в метель не заблудишься. Налево – на Кондратовку, а прямо меж холмов, будто в ладонях, взору и всем ветрам враз открываются родные Озерки.

... Берест шёл торопко, несмотря на свежую заметь по колеям. Мне и самому надо было разогреться, но теперь уж чуть погодя, на полевой, озерковской дороге. Пробежаться и тут, по Вишнёво, держась за околыши на спинке саней, не в тягость, но всё ещё не хотелось сбрасывать отцовский дорожный тулуп. Овчина, хоть и потёртая до плешин, но всё ещё пригожая, на этот раз оберегала от непогоды не только меня, но и драгоценный груз – свежие, с пылу с жару булочки с райцентровской пекарни для школьного буфета и книги из раймага “Культтовары”, как было предписано, “для распространения”.

Что касается полагавшейся мне булочки, то половинку съел сразу, ещё до подорожной упаковки. Другая половинка – Бересту. Ему-то уж точно это моё угощение – что маковое зёрнышко, особенно после соломы, даже самой лучшей – овсяной. Ещё утром по дороге из дому надёргал я её железным крюком из скирда, что по-над краем поля. Оберемок, после отобедавшего соломой Береста, я раскудлатил так, что уселся в “kozyрях”, как в кресле. Можно, наконец, заглянуть в новые книжки, те, что вёз. В одной из упаковок – “Радуга”, с обложкой более чем привлекательной: на лесной опушке две берёзки словно провожали путников на телеге с резвым, судя по лошадке, выездом на столбовую дорогу, а в довершение над всей этой живописной картиной воссияла радуга! Вдруг, сам не знаю отчего, показалось, что большая берёза в скромном ситцевом наряде – это мама, а рядышком в косичках тоненькое деревце, но с того же корня – моя сестричка, первоклашка Тамара.

Именно они меня, правда, не к радуге, а с оглядкой на крепкий мороз про-вожали сегодня из дому с напутствием:

— Кутайся в тулуп, если что, пробежись — разогрейся! Кашне отцовское где? Не взял? Ну-ка, дочка, мигом принеси, с вешалки...

Не собирался я читать в санках, но так уж выходило, лучшего не придумать: ноги — под тулупом, и руки в тепле — рукав к рукаву. Едва расположил перед собой книжку, как тут же, к моему утешению, нашёлся ещё один читатель: страницы листал ветерок!

Книжка называлась по первому из рассказов. Писатель Е. Носов по случаю оказался, как он пишет, “в поэтических верховьях речки Тускарь, где некогда вдохновенно творил Фет, а сейчас живёт мой приятель Евсейка. <...> Ходит он в школу, которая размещается в бывшей барской усадьбе”.

Евсейка с писателем невзначай познакомился на железнодорожной станции и взял его в попутчики. Парнишка был возницей, как и я, но с тою разницей, что управлял лошадью на телеге и кормил свою Пегашку не соломой, а клевером.

Я с интересом вчитывался в написанное ещё и потому, что стал завидовать Евсейке, его везению: встретил живого писателя и, понятно, стал расхваливаться, какая в здешних местах благодать: и лес, и речка. А ягод сколько в покос...

Надо было и тому случиться: несмотря на середину октября, перед ними вдруг “нарисовалась” необыкновенная радуга... Она всё вокруг разукрасила, от чего путники пришли в восторг! Евсейка вместо того, чтоб остановиться да не спеша этой красоте порадоваться, ни с того ни с сего затеялся гнаться за радугой. Писатель тоже было увлёкся погоней, но вовремя попридержал Евсейку, что дело, мол, бесполезное. Тот всё равно не поверил...

“А тут, — сокрушался я, — может, кто и надумает путешествовать, но даже за целую тысячу лет дело не дойдёт до поездки настоящего писателя. Хотя места наши поинтереснее тех же Евсейкиных!”

В пору, начиная с бабьего лета и до середины осени, если остановиться на макушке хотя бы Красного поля, то ничем не хуже даже без радуги: край земли уходил к дальним холмам, к горизонту. А в долине — хоть картину пиши: россыпь сёла с церквями, изумрудные луга и багряные дубравы, там, где ещё не паханы золотые поля и под стать им берёзовые рощи... Железнодорожная станция клубится паром, то и дело вспыхивающим на привокзалье, и можно, наконец, увидеть, как паровоз вместе с вагонами, окутанный белым шлейфом, прибавляя скорость, устремляется в дали, для нас не ведомые. Хорошо угадывается раkitовыми берегами красавец Псёл. С затонами и плёсами реке раздольно, особенно после неприступного правобережья, где, по преданиям, мужественно сражался с неисчислимой ордой наш древнеславянский город Римов.

...Мороз крепчал, и я захлопнул книжку. Тут же лёгкий ветерок превратился в сердитый ветер и стал колотиться в щёки крупной-сечкой. По этой-то причине и не почувствовал, не предостерёгся от беды, что со мной в тот час приключилась...

— Н-но, пошёл!..

Конь отозвался резвостью. Снежные комья из-под копыт постукивали в высокий передок, так что их можно было не остерегаться. Захотелось поудобнее прилечь и малость вздремнуть. Тем и хороши были эти сани-козыри, обкованные железом, крашенные в зелёный цвет, с инвентарными цифрами на спинке. Однако, в отличие от обычных колхозных саней-розвальней, они были мало пригоди для других забот моих — школьного конюха, по совместительству ещё и курьера, и завхоза. Доверяя мне всякие “взрослые” заботы, даже на огороде пахать ровные борозды под картошку, отец говорил при этом: “Что бы без тебя делал!” Тем я немало гордился!

Совсем недавно моей обязанностью было, с ведома лесника, привезти из Лубенца новогоднюю ёлку, подходящую для самого просторного нашего класса. Я знал, что нарядные, будто сельские молодайки на выданье, в роскошных хвойных сарафанах, росли они на виду — по краю, где сходятся лес и поле. Пришлось усаживать лесную барышню в “козыри” рядом с собой. Меня при этом почти не было видно, так что картинка для всякого встречного была на забаву...

– Тпр-р-у-у! Стой! – вдруг прервал мои размышления недовольный голос. – В сугроб загнал, не видишь, что ль?! Чи задремал?..

Берест подчинился команде. У обочины напротив увидел я женщину. В рукавичках-самовязках, слегка опиралась на посошок. Одета в фуфайку с домотканым цветистым поясочком. Широколицая, быть может, так казалось из-за того, что укутана была до самых бровей шалью. Видимо, с оглядкой к тому, что я малость растерялся, вдруг смягчилась:

– Хоть я никакая не барыня и не барышня, но раз уж так-то вышло, подвези, что ли... .

“Вот и попутчица нашлась!” Но я тут же догадался:

– Вам до фермы?

– А то ж куда, сынок, из села на ночь глядячи? Хлопот хочь отбавляй – отёлы пошли... Телятки – ох, нешто дети малые... .

Я переложил поклажу, она уселась по освободившемуся краю.

– А ты – не хохол и не москаль, не пойму поговору... Из Кондратовки аль с Озёрок?.. Ну-ну, озерковский значит. А чией породы, по двору ты чей? Школьный? Какой школьный? – При этом попутчица оглянулась на меня, я не успел даже ответить. – Погодь-ка, парень, ты... что такой?! Щеки у тебя белые – нешто обморозился?

Она было притронулась к моему лицу, но я и сам уже чувствовал, как кожа на щеках задеревенела, будто не своя.

– Вот-те раз, ну-кось, сворачивай до фермы, да поживее! Давай-ка вожжи, а сам пока растирайся снегом!..

Берест почувствовал крепкую руку и перешёл на галоп.

Не успел я оглянуться, как оказался в красном уголке, сплошь завешанном плакатами и вымпелами, но главное, с топкой – в котле грели воду.

– Девчата! Гостюшка привела, встречайте! “Школьный” ещё, но ведь поглядеть – уже мужик! Ай, чем вам не жених! Только вот румяна навести надо!

Попутчица моя, как оказалось, тётъ Таня – так её звали молодые телятницы – распорядилась вмиг, будто каждый день этим только и занималась:

– Ты, Манечка, растирай-ка щеки. Фрось, не стой – разуй малого, снями валенки – ноги проверь. Алёна, смотайся к скотникам, пусть Гришка как хочет, но сей день говеет, а самогончик нехай отдаст и на растирочку, и нутро разогреть – с полстаканчика надо... .

Чуть погода я стал уже сопротивляться:

– Я сам! Спасибо, уже отогрелся... Нет, самогон не пью!

– Ишь, и вправду ожил! Гляди-ка, румяный какой! И куда ж ты теперь заторопился? Может, заночуешь, тут тепло... Дома ждут? Ну, гляди, как лучше... Девчата! – снова позвала тётъ Таня. – Может, у кого лишний платочек есть, обвязать парня – нельзя ему теперича нараспашку.

– Нет, платочек не нужен, в санях кашне есть.

– Кашне?... Хм! Так это ещё лучше! Гляди-ка – длинное, вязаное! И что ж сразу-то не укрылся?!

Провожала меня уже вся ферма. Обмотанный так, что видны были только глаза, – выглядел я, конечно же, смешно, но на лицах читалось иное, да и в приговорках – тоже: “Всё, слава Богу! Теперь уж мороз не возьмёт. Знамо дело, озерчане – ребята крепкие!”

Смущённый всеобщим вниманием, бормотал я слова благодарности, и тут меня осенило: взял из санок распакованную пачку с “Радугой” и раздал её. Книжка досталась каждому!

Также хотел было распорядиться и с булочками, но вишнёвцы меня остановили:

– Нет уж, парень, вези, как вёз. А вот за книжки спасибо! “Радуга” на радость будет в каждой нашей хате... Гриша, – снова распорядилась тётъ Таня, – проводи гостя до дороги... .

Григорий взял вожжи, прихлопнул ими коня по бокам и, как всякий, кто имел дело с лошадьми, привычно причмокнул – издал звук-команду, которую не обозначить ни словом в разговоре, ни буквой на письме, но понятную любой лошади.

– Пока тебя наши девки отогревали – коня подкормил – ухоженный, гляжу... Ты, что ли, конюх-то?

— Это у нас в роду. Ещё до войны мой дед Тимоня извозчиком был, всякие грузы возил в Коммунар со станции на завод, с Соснового бора. И сам я коммунаровский — там родился, — расхваливался я. — Так вот — однажды на деда напала волчья стая...

— Ну, знаешь... нынче волков не слышно, зато кабаны развелись, да лисы по скирдам шастают. Тут, парень, другого бояться надо: любой зверь коня спугнёт — не догонишь. И что! В поле в такую вот метель да мороз спастись где? Только в скирде! Крюк в наличии есть? Вот и хорошо! Солома-то понятно, а спички есть?... На ещё коробок, может нужда случиться. Вот “чвёрочка” на всякий пожарный... Не брезгуй, что не магазинное, другого нету! — Григорий, несмотря на мои протесты, сунул дорожный гостинец в соломенный ворошок и договорил сердито: — Голова садовая — это для другоряду — первачок, горит — керосину не надо!

На повороте он передал мне в руки вожжи:

— Не выпускай до самого дому. И ещё один приказ тебе: из саней не вылезать!.. Ну, бывай! Не знаю, крещён ли ты, но на всякий случай: святого Николу тебе в дорогу... Стой, погодь-ка, зануздаю коня!

Берест хрумкнул удилами, а Григорий дал команду на звук — “трогай!”

Темнело быстро, к тому же метель наезженных следов не оставила, и чтоб не сбивать коня с пути, не выпуская из рук, ослабил я вожжи.

Дома меня заждались, и потому сперва были рады все! Едва я успел рассказать кое-какие подробности, как обнаружилось, что книг не хватает, причём целой пачки. И откуда-то сюрприз в соломе — четвертушка! И самой соломы — жменя! “Что наш сын, Евдокия Тимоновна, теперь — алкоголик и книжки на самогон меняет! Ишь, нашёлся... распространитель! А деньги теперь... со своего кармана?!”

...И это отец ещё не видел мои щеки — проступившая после усердных растирок кровь запеклась, и мама, перевязывая меня платочком, успокаивала: “Пойми, отец испереживался, ты хоть и сын, но он как директор школы не имел права отправлять тебя в такую дорогу, понадеялся, мол — парень проверенный и крепкий... Места себе не находил и всё говорил: “Ничего с ним не может случиться!” Видишь, как в тебя верил! Ну, а что книжки раздал бесплатно — что теперь... не в деньгах счастье!”

Она то и дело поправляла повязку. Я не противился прикосновению маминых ловких рук и ласковых слов: “Вот и дождались, вырос — старшой, первый наш — помощничек!”

— Не переживай, — всё успокаивала она меня, — никаких шрамов, следов не будет. До свадьбы заживёт!

— Понял?! Не переживай, заживёт! — вторила следом сестричка Тамара. — Мам, — вдруг спросила она, — а когда свадьба?

Я нахмурился, а мама ухмыльнулась и весело сообщила:

— Как только заживёт, так сразу!

Отогревая меня чаем с мёдом, она как бы невзначай спросила:

— Всё, гроза кончилась — тучи, как видишь, прошли, — теперь-то уж не упрямясь, расскажи: самогон... откуда и зачем?!

— Вишнёвцы дали, на всякий случай... для разжожки: горит — керосину не надо!

— Ну что ж, теперь понятно. А как это ты обморозился? Ты ж не барышня, а мужик! Вы ж детвора, когда на лыжах с горок катаетесь — любая стужа нипочём?! Мало того, ещё и снегом закаляешься...

— Да... понимаешь, мам, на ветру засиделся, книжку читал...

Мама сперва ничегошеньки не поняла — переспрашивать не стала. “Ты не бредишь ли? — она потрогала мой лоб: — Не горячий!” Однако вспомнила вдруг почти забытую историю, как, увлёкшись книжкой со сказками, не устерёг я, свинопас, проказницу хрюшку — Машку. И обошёлся “Аленький цветочек” невосполнимыми потерями на огороде у соседки чуть наискосок — бабы Насти... Утрату возмещали что своим урожаем, но в большей части деньгами, к её негданной радости: “Дома безвылазно, а будто на базаре побыва”.

Отец, однако, тогда не ругался вовсе и сказал слова не совсем понятные, но памятные: “Известное дело — перо сохи не легче! По всему видать, это не

про нашего пастушка!..” Потом мама мне растолковала: поговорка старинная, той поры, когда писали гусиными перьями.

Сестричка всё ходила за мной следом, шыгала носом, тёрла кулачком глаза, после успокоилась и, улучив момент, сунула мне в руки половинку булочки и участливо спросила: “Ты, наверно, есть хочешь? Это тебе, я уже наелась!”

Отказываться я не стал. Утром я накладывал корм Бересту и угостил его бесценным лакомством: “Это тебе от зайчика, а может, от лисички, от которой мы вчера так убежали — даже без соломы приехали...” Берест, будто не соглашаясь с тем, что я говорил, слегка всхрипнул, затрепыхался чёлкой. Я успокоил его — расправил гриву, похлопал по шее, приговаривая: “Какой ты у меня молодец, и что бы я без тебя делал?!”

Отец, как и прежде, доверял мне в свободное время всякие курьерские и экспедиторские заботы. Однажды произошло невероятное — в очередной раз, получая книжки “для распространения”, на одной из них увидел знакомое имя “Е. Носов”, а сама книжка называлась “На рыбацкой тропе”. На обложке — берег пруда либо речки и рыболов, явно городской — в шляпе. Удочки на картинке — фабричные из бамбука, а мы удилица вырезали из орешника. Однако на рыбацких тропах, известно, мы все — ровня в самом отрадном своём увлечении. Знать, дока этот Носов в наших рыбацких делах, коль написал целую книжку!

...И сказались эти совпадения на всём том, что потом сбылось — не миновалось.

Даже за год жизнь круто изменилась. Берест был определён для местных поездов. По дальним — его обязанности были на “Запорожце”. И маршрут стал другим — по шляху. Полевая дорога через Вишнёво хоть и покороче, но “стратегическое” значение утратила.

Потому так и не довелось заехать к тётке Тане с маминими гостинцами, которые она любила дарить — шторочками, расписанными разноцветными нитками. Надо же, как мне с нею тогда повезло. Не случись она — Берест, конечно, привёз бы меня домой, но?..

Григорий — бывалый человек! Чего стоит хотя бы одна его подсказка не вылезать из саней без нужды. Прежде Берест — и то было всякий раз днём — сам сворачивал до скирда, а на этот раз, похрапывая, пошёл мимо рысью, аж до самого шляха. Я уже было приготовил спички и пучок соломы, то, чего не оказалось у деда Тимони тогда, при встрече с лютым зверьём, но вспомнил “приказ” и вместо этой затеи взял покрепче в руки вожжи...

Не знал тогда, куда деться от озорных весёлых девчат-телятниц. Кто именно, не уловил, но, кажется, та из них, у которой глаза зелёные и нос в конопушках, когда укутывала меня в кашне, на ушко шепнула: “Ещё приедешь?..” Два слова! Щёки мои словно обожгло — так много этим было сказано! Тут же отозвалось моё сердце, защемило первой, неведомой прежде радостью. К моей неизбывной юношеской мечте стать если не моряком, то писателем всё крепче потом прибавлялось желание приехать сюда однажды, но уже со своей книжкой...

И по сей день не угасли эти неизъяснимые устремления к удивительному семицветию жизни в попытках “догнать радугу”! Что и говорить, заманчиво всё вокруг познать и постичь пониманием и ясностью, обрести крепость и силу неодолимую, возжелать славного подвига, свершений задуманного, при этом уметь предостеречься от нежданной случайности, не сбиться с пути в непогоду, в ненастья житейские!

Судьба-сводница сблизила меня с Евгением Ивановичем Носовым, непревзойдённым певцом величия малой родины. Случались, и нередко, большие литературные сборы и творческие беседы в комфортной тиши кабинетов, приветственные речи с фужером красного и тропы рыбацки либо дороги, где я — уже за рулём бывалый водитель, но с обязанностями теми же — “Евсейки”...

Были ещё и особенные минуты, когда он писал мне рекомендацию в Союз писателей! И всякий раз при этом вспоминались неизменно самые первые его книжки, которые, как талисман судьбы своей, берегу по сей день!

Последний автограф

Крайний подъезд, пятый этаж, дверь прямо перед лифтом...

Впустил меня Ромка, рослый, крепкий, как и дед, и, как все у Носовых, приветлив:

— У себя, ждёт. Проходите.

Евгений Иванович жестом показал, где надлежит сесть, а сам с усердием орудовал в это время бритвой-жужжалкой. Делал он это торопливо, в не свойственной ему манере, а потому неожиданной для меня. Невольно вспомнился эпизод из завсегдашнего новогоднего фильма “С лёгким паром”, где Мягков старательно “драил” щёки электробритвой-подарком. Я усмехнулся, на что Евгений Иванович среагировал тут же: выдернул шнур из розетки и отложил бритву в сторону.

— Ну что ж, буду сидеть в профиль, бритой стороной к тебе... Коли так быстро явился, значит, торопишься. Либо звонил по мобильнику уже из подъезда?

Евгений Иванович шагнул, пожал руку. Его ладонь — на редкость удобная, крепкая, широкая. Много без слов может сказать этот обмен приветствиями. Я почувствовал добросердечие, и сам пожатием его руки интуитивно, конечно же, передал своё искреннее уважение, глубокую привязанность...

— Глаза весёлые. Чем порадуешь?

— Был в Москве, на Комсомольском, у Пегаса, в нашем Союзе. Невзначай попал “на чай”. Михалков рассказывал, как по заказу Сталина писал гимн. Все, кто был в этом кругу, узнав, что я из Курска, живо интересовались: как вы? Ганичев обещал заехать по пути в Белгород.

— Что ж, приму. Гостиам всегда рад... Видишь ли, какое дело, — после этой привычной фразы из носовского лексикона, выдержанной паузами, надлежало слушать. Я знал, что затем последует нечто, требующее внимания собеседника.

И я внимаю, будто прилежный ученик строгому и мудрому учителю.

— Тебе, понимаю, смешно на меня недобритого смотреть, хотя недельная щетина нынче в моде. Отчего я неухожен, зарос? Ты думаешь, дел невпроворот или обленился? Гостей давно нет! То, что я в гости не хожу, — полбеды. Беда, если гости не идут!

И тут Евгений Иванович сказал, судя по всему, то, что накипело:

— Что вы там все, сговорились, что ли?

Меня эта фраза насторожила.

Действительно, среди нас, курских писателей, в последнее время на общение с Носовым существовало табу. Мало кому было позволено “домогаться” встреч с Евгением Ивановичем без особых оснований. Осторожничали даже “самые ближние” — М. Еськов, Ю. Першин, А. Шитиков... Наш литературный “начштаба” В. Детков предупреждал: “...И никаких чарок. Просьба не злоупотреблять гостеприимством Евгения Ивановича!”

Наши с ним отношения складывались особняком. Но в носовских “капустниках” я участвовал. Заканчивались они проводами гостей. Вместе с Носовым провожал их и я на правах того, что жили мы в одном доме, только в разных подъездах. Евгений Иванович всякий раз удерживал меня от попыток уйти со всеми, и мы возвращались “в трапезную”.

— Евгений Иванович, — жалобно спрашивался я, — завтра планёрка в десять, потом совещание...

— Это всё шелуха, Коля, — говорил он в ответ. — Вот пройдёт время. Про свои заседания забудешь напрочь, а наши беседы “при ясной луне” в памяти останутся. Или сомневаешься?

Раздвоенные чувства угасали в пользу сделанного выбора с первых минут наших сокровенных бесед. Перед тем Евгений Иванович снимал стопку книг с одной из полок и добывал из тайничка неприкосновенный запас домашнего вина.

Не дай бог было мне признаться нашему литературному начальству об этих “всенощных посиделках”...

Евгений Иванович доверял мне, как бывалому виночерпию, церемониал разлива пахучего домашнего вина. При этом, памятуя “детковский” запрет, я “налегал” на свою чарку и ждал носовскую присказку:

— Раз уж сошлись мы, нашли с чем, то и найдём, о чём поговорить!

...И теперь вот открытым текстом — упрёк: “Сговорились, что ли?”

Носову нужны были собеседники, необходимо было высказаться, обозначить мысль, идею. Он нуждался в общении, и особенно в закатную свою пору, которую осознал, чувствовал как неизбежность, но не хотел принимать её, как всякий земной человек.

Евгений Иванович непросто соглашался на “внешние” встречи. И потому моё предложение выйти на люди, показаться в публичном месте не было воспринято.

— Ты говоришь — вручить журналистам премии Кости Воробьёва? Конечно, само по себе это благородно. Но я для таких дел мало пригож.

— Евгений Иванович, — настаивал я, — люди хотят поглядеть на вас, сфотографироваться на память.

— Понимаешь, это признаки нехорошие. Я ж не мумия! Что значит на меня поглядеть? Они что, в этом могут вскоре быть ограничены и надо бы поторопиться сфотографироваться? Да и люди сейчас мало читают. Ненароком про Незнайку начнут спрашивать. Нет уж, уволь, не собираюсь пока что я ни туда, ни сюда, — Евгений Иванович при этом жестикулировал вверх и вниз большим и указательным пальцами. — Как только начинают фотографировать — всё, готовься! Дела не сделаешь. Помнишь, как ты сразу за двумя зайцами гонялся? Вспомни, как мы с тобой к Ване Зиборову под Курчатова рыбачить ездили? Ни “кина”, ни рыбы...

На ту последнюю нашу рыбалку надоумил Детков.

— Сделай доброе дело, — просил он, — свози Евгения Ивановича порыбачить. Зиборов на рыбхозовский пруд приглашает. Только проследи, чтобы ни грамма... Сам знаешь!

И вот мы в пути. Я за рулём “Волги”. Евгений Иванович, в хорошем расположении духа и слегка возбуждённый, рассказывал, как готовился к этой рыбалке. У меня был свой интерес. Рыбалка — сама по себе уже радость. Но я вёз ещё и видеокамеру. В моём видеофонде ничего не было о рыбалке с Носовым. А так хотелось заснять киношный вариант. И вот об этом я сказал своему спутнику.

— Вот какое дело, Коля! Давай так решим: либо рыбалка, либо съёмки. Если совмещать — ни то, ни другое не получится.

Я молча крутил баранку, боялся усугубить ситуацию неосторожным словом. А мой спутник ворчливо добавил:

— Съёмки ни к чему — их у нас предостаточно! Ты мне предложил что — рыбалку?!

— Хорошо, — поторопился я с ответом, — конечно же, едем рыбачить!

Сознаться, я не верил в рыбацкие приметы. А уж в этот раз полагал я, мы никак не рискуем. Порыбачить всласть, вдоволь не где-нибудь, а на рыбхозовском пруду?! Рыбаки бывалые, снасть проверенная. Тем более что обустроивал процесс ужения в пруду, где рыбы было больше, чем воды, сам Зиборов — стародавний приятель Евгения Ивановича. Иван Федотович — рыболов знатный, а не только поэт и прозаик. Иван столь же талантлив в литературном письме, сколь прост, искренен и честен в общении с кем бы то ни было.

Евгений Иванович признавал Зиבורова особняком, дружил с ним давно. Всякая встреча, особенно на природе, доставляла им очевидное удовольствие.

Иван Федотович на радостях взял “на грудь”, кроме своей доли, и мои “рулевые”, и “запретные” Евгения Ивановича.

По этой причине рыбачить ему расхотелось, и сразу после завтрака Федотыч разместился на отдых под сенью берёз на ласковой шёлковой травке.

Евгений Иванович разворачивал снасть, забрасывал удочки. Я, сославшись на неодолимую страсть к видеосъёмкам, якобы отправился вдоль по берегу, а сам спрятавшись неподалёку в раkitнике. Солнце уже подогрело и растворило молочный туман над озером. Нашему взору открылась живописная панорама: в голубую озёрную гладь заглядывали, словно любясь собой, прибрежные берёзы.

Единственное, что нарушало утреннюю тишину, это беспрестанные всплески: разнокалиберные карпы выпрыгивали из воды и булыжниками плюхались о поверхность, да так часто, что из лёгких волн, смыкавшихся меж собой, выстилалось по озеру водяное кружево.

Надо ли говорить, как эта картина дразнила моё воображение. Я сидел в укрытии наизготове, настроив камеру на дальномер, всё ждал, но напрасно... Рыбхозовский карп, как боров, был хлебно сыт, и никакая приманка аппетита у него не вызывала.

— Ваня, — просит Носов, — сходи-ка посмотри, где Коля, небось в кустах с камерой сидит. Слугни его, а то клёва совсем нет.

Иван Федотович с видимым усилием одолел путь от привады к укромному месту, где я затаился, и уставился на неожиданно высунувшийся навстречу из веток мой кулак.

— Федотыч, молчи, — шипел я, — иди назад. Меня ты не видел. Ну сам пойми, когда ещё повезёт.

— Ваня! — звал Носов. — Ну? Что ты там застрял?

— Так это я... по необходимости. А Николая что-то не видеть.

— Да, ясное дело, не за этим мы сюда ехали, — ворчал Евгений Иванович, сворачивая снасть.

Я был тише воды, ниже травы. Единственным утешением в тот день была наваристая, духмяная уха: рыбхозовцы закинули сеть. Да ещё дали увесистых “поросят”, чтоб было чем похвалиться по возвращении.

Не однажды доводилось рыбачить с Носовым, но такой конфуз!.. Дал я с той поры зарок себе: веришь ли в приметы — твоя забота, но в артельном деле заповеди и правила для всех одинаковы.

Осталась в памяти та рыбалка и у Евгения Ивановича...

— Так что не обессудь, Коля. Вот ты пришёл — и в этом моё утешение.

— Спасибо, Евгений Иванович, на добром слове. — Я встал, боясь злоупотребить гостеприимством. Мы сошлись в рукопожатии. В привычно нужный момент я было ослабил руку, но Евгений Иванович не отпустил меня. И в этой задержке вернее многих слов передалась мне его душевное состояние, настроение и немало из того, чего словами не сказать.

— Что-то мы перестали общаться. С тех пор, как ты переехал жить на выселки.

— На Хуторскую, — уточнил я.

— Знаю, что на Хуторскую. Ты ведь предписал как бы, что туда переселишься. Читал, помнится, “Псы и голуби”... Что, сейчас пишешь?

— Пишу...

— Принесёшь почитать, — сказал Евгений Иванович повелительным тоном. — Буду ждать.

Носов “облапил” мою руку своими и усадил на прежнее место на табурет. Я стал рассказывать о живописной панораме поймы Тускари, открывающейся из окон моей девятиэтажки.

— Вся восточная сторона, что от Курска, — как на ладони. Видна церковь в Тазово. Справа — Клюква и Лебяжье... Горизонт от Коренной пустыни аж до Стрелецкой степи. И леса, и поля, и луга заливные по-над Тускарью... Кстати, из окон моих виден огород за хутором Саблиным. И на этом огороде, на межевой бровке, разрослась луговая овсяница, — хвалился я, но собеседник мой будто не слушал мою расхвалу, и я затих.

Пока мы говорили, закатное солнце оглаживало своими лучами стены с картинами кисти самого хозяина, полки с его книгами, крепкий старомодный рабочий стол, кушетку возле двери у книжных стеллажей, на полках ручные поделки. Из обилия вещей самого разного назначения — ничего лишнего или ненужного.

Задумчиво, с отсутствующим взглядом Евгений Иванович вернул меня к разговору:

— Из своих окон я тоже всё это наблюдал, только вот город заслонил теперь родинку мою, отцовский погост уже не видно...

— Как заслонил? — переспросил я, не понимая, о чём идёт речь.

— Дома на Лысой горе выстроили — загородили Толмачёво. Вроде взору помеха, и только, но будто лишился я дорогого в жизни.

Вольно и невольно я вознамерился отвлечь Евгения Ивановича от невесёлых мыслей, не хотелось расставаться на грустной ноте. Имея поручение от наших писателей приветствовать в связи с 80-летием музыкальное училище имени Свиридова, уже спешил на торжественный вечер. Сказав об этом, испросил разрешения на поздравление от его имени.

– Отчего же, люди уважаемые. Передай от меня привет, наверное, кстати будет и письменный, а?

Евгений Иванович потянулся к полке над кушеткой, достал “Книгу о Мастере”. Я приготовил ему авторучку, и он написал короткое поздравление юбиляру.

И тут у меня возникла мысль использовать этот случай и восполнить недавнюю утрату. Будто провинившийся школьник, я стал было путано и сбивчиво рассказывать, что “Книгу...” с его автографом, которую он подарил мне в свой день рождения, кто-то прибрал к рукам, и вот я теперь остался без именного подарка.

– Это, конечно, утрата, – Евгений Иванович, недослушав, потянулся за второй книгой, – но она вполне поправимая и не такая уж горькая, как ты представил.

Носов вписал имя “страдальца” и затем: “... с верой и надеждой в творческие успехи. Сердечно. Е. Носов”.

– Дарю!

Я взял открытую на титульной странице книгу с автографом и свою ручку, которой он писал, и мы сошлись в третий раз в этот вечер в рукопожатии. Как умел, насколько владел языком жестов, вкладывал я в это приветствие свою сердечную и безграничную признательность настоящему мастеру русского слова.

Всего через несколько дней – 12 июня 2002 года – Евгения Ивановича Носова не стало.

Букет мастеру

Кончина Носова застала врасплох курских, да и столичных писателей, не говоря уж о тех мастерах художественного слова, кто славил свои поместья-провинции, как это делал в высшей степени совершенства Евгений Иванович. Богатейшая в изобразительной манере проза его звучит волнующей, волшебной и загадочной мелодией проникновенного глубинного восприятия природы, жизни, человека. В ней – исконно русское миропонимание, доступное всякому, кто открывал его книги.

Если и вправду знаменитое “Слово о полку Игореве...” писал курянин, то ждать нам в соловьином краю третьего пришествия ещё тысячу лет...

Все, кто знал Евгения Ивановича, столкнулись с печальным событием, как с неожиданным стихийным бедствием, естественным, но преждевременным, несправедливым. Потеря обострялась невосполнимостью: неповторим был свет, излучаемый звездой российской величины. Но в России ухода Е. И. Носова из жизни почти не заметили. Мало какие из столичных СМИ обмолвились об этой печальной новости.

...Похороны определены были на пятнадцатое июня. Власти заботливо взяли на себя все хлопоты. И все мы, литераторы, как неприкаянные, слонялись из угла в угол, вслух произнося многое из того, чего накануне было нельзя: остерегались навлечь беду. Говорили о памятниках, именных улицах, конкурсах, собраниях сочинений, книгах воспоминаний...

Обострилась необходимость обозначить носовские памятные места, возникла потребность немедленного действия. И мы поехали по ближайшему адресу. Мы – это Борис Агеев, Михаил Еськов и я. Три минуты езды, и вот она, улица Ломоносова, дом номер тридцать пять. Еськов хорошо знал этот адрес, где долгие годы жили Носовы.

Буйно, неухоженно произрастал во дворе и за домом сад. Дом, как все, но по-своему приметный. Давно не белён и не крашен, хотя ещё крепкий. Есть пока надежда: послужит он много лет. Дай-то Бог!

Но ремонт нужен безотлагательно.

– Вот она, та самая форточка... – пояснял Михаил Николаевич. – Помните носовские “Тридцать зёрен”?

Мы заговорили о том, что можно было бы всё это сберечь, сохранить, не поздно ещё. Дойдёт ведь черёд до дома-музея!..

А я подивился: случайно или нет, переезжая, выбирали Носовы эту улицу. Может, сыграло роль коренное совпадение фамилий великого русского учёного и нашего славного земляка, и высказался вслух на этот счёт.

Что стоит сократить первые четыре буквы? Славы Михайлы Ломоносова не убавилось бы, зато совпадение на редкость удачное.

Мою мысль нашли сколь оригинальной, столь же неприемлемой. Так нынче не принято. Да и власти не согласятся. Была бы тут какая-нибудь Луговая или Выгонная — другое дело...

Поездкой на Ломоносовскую моя душа не успокоилась. Мы так устроены большей частью, что после печального исхода сильнее прижизненного произрастает в наших душах, а значит и мыслях, словах и поступках признание достоинств, почитание, уважение к человеку, оставившему этот мир. Я чувствовал в себе эту запоздалую совесть. Хотелось поступка, который бы душевно одобрил Евгений Иванович, хоть малого дела, которое бы легко восприняла его душа.

Вознамерился было я поехать на родину Носова, в Толмачёво, взять горсть земли для могильного холмика, но не знал туда дороги. А ведь до этого сколько раз бывал в окрестных местах...

И уже в день похорон, наконец, нашёл я заботу в утешение души своей и той, его, что, по преданиям, созерцала всё происходящее.

В то печальное июньское утро с дачной ночёвки возвращался я со стороны Щетинки на машине в город с пёстрым букетом садовых цветов. Остановился у края дороги, на лугу, что возле широкой и глубокой излучины Тускари. Эти места лучше всего видны с крутого городского убережья...

Небо было подёрнуто дымкой, словно зеркальной занавесью. Неяркое солнце, будто в светлой печали, не спешило к полудню, к часу прощания. Восточный ветер клонил сенокосные травы в сторону города.

Я извлёк охапку с декоративным разноцветьем из машины и возложил у края луга. Несуразным, ничёмным казалось мне буйство красок в прощальной церемонии с Носовым.

“Этот — реке и лугу, — решил я, — а Евгению Ивановичу нарву-ка букет полевых цветов и трав”.

Наверное, в удивление была эта картина проезжим людям: “Волга” — на распашку на обочине, яркие цветы — на краю луга и одиноко шастающий по траве неясно зачем странник...

Возвышенные чувства на какое-то время овладели мной и были в гармонии с мыслями и словами, звучавшими во мне Его голосом: “Спасибо тебе, Коля, что надумал принести в последний денёчек на земле самую знатную травку мою — луговую овсяницу...”

Я уже набрал внушительный букет цветов и трав: ромашки, колокольчики, донник... Но искал и всё никак не находил радетельницы разнотравья — луговой овсяницы.

“Как же так? — недоумевал я. — Хоть бы малый букетик, хоть былинку. Будто ушла эта неизбывная травушка с луга”.

Станным показалось мне это обстоятельство, но не безвыходным. Совсем рядом, в километре отсюда, за хутором Саблиным, луговая овсяница произрастала на межевой бровке — между картофельными огородами. Эта зелёная граница почти метровой ширины не распахивалась и оберегалась даже от нечаянного плуга шеренгой вишенки.

Сбывалась давняя мечта моя: своими руками восстановить кусочек степи. Мне было интересно, могут ли ужиться меж собой травы, может ли человек произвольно возродить гармонию в удивительном мире разнотравья. Я привозил сюда с разных мест растения, поливал, ухаживал. Однажды случился конфуз: диковинная, как мне казалось, травка в пору цветения произрастала в неисчислимом количестве по всему огороду.

...Как-то привёз экзотический волчегодник Юлии, цветок, который нынче растёт в единственном месте на меловых заповедных холмах в Баркаловке, под Горшечным. Взял грех на душу. Копнул в придорожной окраинке. Даже полведёрка родного грунта прихватил для пересадки. Но, увы, не прижился.

Зато луговая овсяница произрастала вольно и в роскоши, и не было силы ей противостоять...

Сосед поначалу с недоумением, а потом с явным неудовольствием наблюдал за моими экспериментами. Особенно невзлюбил он луговую овсяницу.

— Не дам ладу, — жаловался он, — лютый сорняк, лезет по всему огороду. Спорил я с ним тогда до хрипоты.

— Во-первых, если хочешь знать, это литературный образ нашего раздолья, русской вольницы, растение, освящённое талантом редкостного знатока природы, мастера слова. За эту травку человеку Государственную премию дали, ясно тебе?! Во-вторых, её разводить надо — лучшая молочница. Да и бороться бесполезно: коровы её копытом до земли выбьют, а она ещё лучше растёт. — Я горячился и приводил всё новые аргументы. — Пойми ты, пахарь-ворошила, что ни твоя картошка, ни какой помидор или сельдерей не достоин этой травки. Ты их любишь, а земля — нет!.. От того у нас чернозём такой, что земля отдаётся сорнякам, как ты их называешь, в первую очередь. А твои инфантильные гибриды истощают её безвозвратно, лишают сил!

— Тебя послушать, — хмуро отвечал сосед, — с голоду копыта откинешь. Чего только не выдумает человек в оправдание, лишь бы огород не полоть. Вот дал Бог соседа — сорняки разводит. Сказал бы, мол, помоги, некогда или неохота. Чудак человек, да и только, — досадовал он и уходил прочь.

Что до меня, то я действительно гордился своим чудачеством и надеялся разубедить соседа в его небрежении к матушке-природе. С этими вот раздумьями о наших словесных баталиях и ехал я за букетом луговой овсяницы.

Не знаю, с чем сравнить, какими словами передать состояние, которое пришлось мне вскоре прочувствовать.

Ещё издали подивился, что за рыжая полоса на огороде. Уже подъезжая, догадался: вся межевая бровка уничтожена сухим холодным огнём гербицида. Мёртвая трава безжизненно шелестела метёлочками соцветий.

Я был удивлён, поражён! И не столько злодеянием — нет. В конце концов, соседа можно понять, по-своему он, конечно, прав. Я был поражён стечением обстоятельств последних дней, этим трагическим совпадением.

... Медленно шёл в многолюдной чередке к центру вестибюля в гарнизонном Доме офицеров с букетом луговых трав и цветов, тем самым обращая на себя внимание, и слышал одобрительные отзывы:

— Молодец! Хорошо, что догадался!

Я возложил букет к изголовью Евгения Ивановича. В богатом разноцветье особенность, неброскость моего букета была очевидной, и его скоро убрали. Однако на проводах в траурной процессии посреди устланной цветами дороги я увидел и свой букет. Распластанный веером, он безжизненно приник к дорожной тверди...

Луговой овсяницы в нём не было...

г. Курск

ВАДИМ КОРНЕЕВ



“ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ...”

* * *

Сегодня, кланяясь живым, скорбим о павших!
Неизмерима подвига цена...
В День всех Святых, в России просиявших,
Грозой кровавой грянула война.

И мужества, и сил прибавив вдвое
Отцам и дедам горькою порой,
Спасительное Воинство Святое
В любом полку незримо стало в строй.

С бойцами вместе Праведная Сила,
Хоть наглый враг был дьявольски силён,
Фашистов под родной Москвой косила,
Под Сталинградом ставила заслон.

И самое для всех нас дорогое,
Сломавшее тогда хребет врагу,
Назвали люди Огненной дугой,
Восславив вечно Курскую дугу!

Восславим то, как памятной порою
Под гул орудий и под свист свинца
С живыми вместе Воинство Святое
Разило супостата до конца.

КОРНЕЕВ Вадим Николаевич родился в 1948 году. Автор восьми поэтических сборников, изданных в Курске, Воронеже и в Москве. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии “Прохоровское поле”. Живёт в Курске.

К Победе путь спасительный и долгий.
Добра над злом вершилось торжество...
Пронзил змею копьём Святой Георгий
С Победой рядом в мая День его!

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

Поклон земной средь жизни дикой
За годы мирной тишины
Отцам, вернувшимся с Великой
Незабываемой войны.

Послевоенные ребята,
Сжав деревянный автомат,
Завидовали мы солдатам,
Хоть в каждом доме был солдат.

Не сознавали мы — не скрою,
Хоть и смотрели снизу вверх:
Отцы — они и есть герои,
Что сокрушили Третий рейх.

Рассказывал, как отступали
Мне ветеран, суров и сед:
“Бывало, нам вослед плевали,
Случалось — и крестили вслед.

Хотелось нам просить прощенья,
Молчали... Что сказать в ответ?..”
И созревал в них дух отмщенья,
Которому преграды нет.

Против него любые средства
Бессильны... Он достался нам
Как неделимое наследство —
Солдат израненным сынам!

СТАЛИНГРАД

Вы это выдюжить смогли.
Недаром на весь мир сказали:
“За Волгой нет для нас земли!”
И делом это доказали.

Здесь вражеский остужен раж.
Герои — подвиг их измерьте! —
За каждый дом, подъезд, этаж
Дрались с презрением полным к смерти.

Шли “в лоб”, стреляя на бегу,
Дрались, покуда билось сердце...
И было всё ясней врагу,
Что никуда ему не деться.

Вот героизма торжество:
Сдаётся Паулюс-фельдмаршал
Остатки армии его
Идут, но не победным маршем.

Пребудет Сталинград в веках,
Поправший смерть во имя жизни.
Отсюда начинался крах
Неевропейского фашизма!

НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ

Как была морозна ночь...
Лёд и кровь примёрзли к каскам.
Враг ещё не прогнан прочь,
Здесь он — под Волоколамском.

Из морозной грозной тьмы
Выступят погибших лица:
— Жизни не жалели мы,
За спиной у нас столица.

Сосны строгие стоят.
Звёзд холодный свет неласков.
Засыпает снег солдат
На шоссе Волоколамском.

Жмёт мороз. Метель метёт.
Кутерьма на белом свете...
Сорок первый год идёт...
Наш народ идёт к Победе.

СОЛДАТСКАЯ НАУКА

Я шёл по берегу однажды,
Где зной сжигал траву дотла.
Я долго мучился от жажды,
А речка рядышком была.

Потом просёлком шёл голодный,
И хлеб был рядом, словно месть.
Я налущить пшеницы мог бы,
Но зёрна непривычен есть.

Немолодой уже годами,
Представил я себя — юнца,
Подумал: что же случилось с нами?
И вспомнились слова отца:

“Когда нещадно нас бомбили,
И рай земной горел, как ад,
Из луж мы, из воронок пили —
Ничем не брезговал солдат.

Мы отступали по дорогам —
Пехота... Часто без дорог...
И счастье, что под Таганрогом
Зерна набрать в карман я смог

Солдатской новенькой шинели.
Пусть смерть чертила нам черту,
Но как в кармане зёрна грели,
Как долго таяли во рту!”

Отец, отец... Я сердцем, кожей
Представил боя грозный пыл...
Под Таганрогом миной скошен
Гвардейский пулемётчик был.

Я понял — что ж, пусть и не сразу,
Что отступление больней
Тебе, чем и потеря глаза,
И пять твоих госпиталей.

Теперь и сам изведал муку
Потерь, отхода... Жмёт беда.
Твою солдатскую науку
Я не забуду никогда.

ПОД ПОНЫРЯМИ

Июль... Светило солнце ярко,
От взрывов плавился металл.
Под Поньями бились жарко —
Советский воин здесь стоял.

Сегодня люди чтут его!
Здесь Ольховатка, Становёе
Доныне помнят грохот боя...
Да разве только одного?

Сражался здесь, врага ломая,
Против пехоты и машин
Стрелковая 307-я
И генерал её Еншин.

Три сотни броневых “зверей”...
Артиллеристы не спасуют,
Их “Тигры” бил из батарей
Комбриг полковник Рукосуев.

Здесь был заслон фашистской мрази.
Здесь много поняли враги —
На Северном геройской фазе
Разящей Огненной дуги!

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Он умер утром в электричке,
Сидевший тихо в уголке,
По старой, видимо, привычке
Пристроившись на ветерке.
Врезался в мокрый сумрак светел —
Вагон, газетами шурша,
Но так никто и не заметил,
Как отошла его душа.
Прости детей своих, родная,
О всех скорбящая земля!
Ни документов, ни рубля,
Колодка только фронтовая
На старомодном пиджаке.
Солдат — он умирал не дома...
Пустая гильза валидола
Зажата насмерть в кулаке.

ВИКТОР БОЧЕНКОВ

МУЖЕСТВО БЫТЬ ОДИНОКИМ

*Константин Воробьёв и его правда о человеке.
К 100-летию со дня рождения писателя*

У поколения, к которому принадлежал Константин Воробьёв, было то, без чего вообще нельзя творить и чего нет у многих современных литераторов, даже известных и печатающихся, что отсутствует во всех литературоведческих словарях. Без чего вообще нет Писателя.

Была судьба.

Это слово неспроста входит в заголовки послевоенных произведений: “Судьба человека” Шолохова – один из первых рассказов о плене, “Судьба” Петра Проскурина... “Книги, вместившие судьбу” – название статьи Сергея Журавлёва, которая открывает сборник повестей Воробьёва, изданный в 1985 году “Советской Россией”. Со слова “судьба” начинается статья Виктора Астафьева о Воробьёве, опубликованная 10 декабря 1986 года в “Литературной газете”...

Было непростое детство. Эта история известна: у будущей матери писателя муж попал в Первую мировую в немецкий плен, о нём не было ни слуху ни духу, и, когда по курской земле прокатилась гражданская война, она дала в своём доме кров неизвестному человеку. Воробьёва считали сыном белого офицера. Потом с чужбины вернулся отчим. Всё это будет описано, вспомнить хотя бы “Сказание о моём ровеснике”...

Была молодость, которая пришлась на жестокую войну, у самого Воробьёва – тоже плен. Он не единственный писатель, прошедший по его кругам. Можно вспомнить Юрия Пиляра и Степана Злобина. Первый чуть моложе Воробьёва, второй старше на шестнадцать лет и в плен попал, уже успев издать до войны два романа, несколько книг. Можно вспомнить Виталия Сёмина, угнанного в Германию подростком...

Был рубеж, который отныне делит жизнь надвое. У Воробьёва побег, у кого-то другого, например, у Михаила Луконина, случайно зацепившая пуля... Иначе говоря, событие, после которого начинается иной отсчёт времени, иное понимание мира и себя в нём, и можно признаться, повторив луко-нинские строки:

*...С той минуты
в сорок первом
живу, живу, случайностью храним.
Веду перерасчёт всем старым мерам,
и верам,
и невериям своим.*

Творчество Воробьёва — тот самый “перерасчёт”, и потому в его повестях и рассказах сильные этическая тема, исповедальность, автобиографический элемент. Взглянувший смерти в глаза и чудом уцелевший иначе взвешивает оставшиеся за спиной месяцы и годы.

Воробьёв бежал из плена в день своего рождения, обрёл приют на одном из литовских хуторов, организовал партизанский отряд из таких, как он, чудом спасшихся людей. Как-то раз писатель занёс в дневник короткую мысль: “Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим русским”. Здесь немного слов, но смысл их неисчерпаем, и в них сущностная основа его творчества, одна из его непостижимых тайн: такие произведения, как, например, “Крик”, “Убиты под Москвой”, в принципе невозможно написать за деньги, за награду, ради славы.

Остаться наедине с небом

У талантливого, но безвременного, к сожалению, ушедшего писателя Вячеслава Дёгтева есть рассказ “Четыре жизни”, он был напечатан в журнале “Москва” (№ 11 за 1997 год). Вряд ли его можно отнести к лучшим произведениям воронежского автора. Сюжет посвящен совсем недавним событиям: американской агрессии в Югославии. Герой, в прошлом послушник Валаамского монастыря, уже смертельно раненный, отстреливается от сербов-мусульман. Даёт короткие очереди из автомата и молится. Выстрел, молитва, выстрел, молитва. Рядом лежит его убитый друг Венька... Искусственная ситуация и совершенно искусственный характер. Искал себя человек в жизни и не обрёл, ушёл послушником в монастырь, да тут застало его Венькино письмо: поехали, мол, на защиту братьев-славян, вот оно — настоящее дело. Герой под влиянием минутного порыва бросает всё и едет, не закончив роспись иконостаса. Настоятель почти не сопротивляется. А ведь тот и другой должны бы вроде знать: “Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия”. Но нет и попытки спора, нет и попытки душевной борьбы, нет никакого конфликта. Рассказ завершается героической гибелью несостоявшегося художника и послушника. Но если разобраться, бегство здесь — прихоть (одного письма хватило, чтобы сорваться, бросив всё, к чему довольно долго шёл), война — мальчишество, игумен — никакой не “отец духовный”, а человек, который попустительствует капризам.

А вот герои Воробьева “молятся” по-другому.

“Вперед!.. в бога мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит... ползает она!..” (“Убиты под Москвой”). Оттуда же: “Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полупшепотом ругался в бога...”

Из повести “Крик”: “Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в бога”, “Он снова ругнулся в прахриста и замолчал”. И где-то на самых последних страницах: “Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!”

Вот фразы безымянных пленных на самой первой и последней страницах “Это мы, Господи!”: “В кровь исуса мать!” (исус пишется со строчной буквы), “На то ён и немец... в прахриста мать!..”

Ещё пример напоследок. Действие происходит уже после войны. “Платят они, что ли, тебе за брехню? — спросил дядя и выругался в закон и веру” (“Почем в Ракитном радости”).

Воробьёвские эвфемизмы — тема для отдельной филологической статьи. Матерщина его героев особенная. Это подлинная молитва войны... Война и плен у Воробьёва искажают то божественное, что вложено в человека, и он передаёт это без всякой лакировки. Если у Ницше выстроена целая философская система о сверхчеловеке, то военная проза Воробьёва — лучшее доказательство того, что “сверхчеловека” не существует. Война у него определяется близко к толстовскому: “совершенно противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие”, потому что на убийство отныне, как продолжал автор “Войны и мира”, не смотрят как на преступление. Но, разумеется, толстовской философии у Воробьёва не отыщешь. Она у него другая.

Его герои потому и богохульствуют, что стремятся остаться людьми, когда их вынуждают отказаться от всего человеческого. За этой лексикой не стоит

никакого личного пренебрежения к церковности. С какой пронзительной грустью описано закрытие сельского храма в “Момиче”! Детская память писателя хранила тёплое и живое воспоминание о церковных службах, хотя сам он не был, как это сейчас называется, воцерковлённым человеком. Вот одно его признание из письма редактору Нине Дмитриевне Костржевской: “Сегодня Троица. Когда-то, в детстве, это был самый радостный праздник. Хаты потому что украшали ветками, а пол усыпали так называемой богородицыной травой*. Вы этого не знаете? Три дня живёшь, как в лесу”¹.

О том, как чувствуется в его повестях запах трав, Воробьёву будут писать читатели. Некоторые названия цветов стали заголовками рассказов. Подснежник — прозвище мальчика, который родился и вырос в партизанском отряде, Костяника — девочки и взрослой женщины, синель — народное наименование василька. Здесь и хрупкость жизни, мимолётность и красота, необходимость её беречь, и первое впечатление детства, того клочка земли, где ты родился, и — незримо и даже наверняка против писательской воли — мудрые философские стихи сто второго псалма: “Человек — как трава дни его, как цвет полевых, так отцветёт, ибо дыхание прекратилось в нём — и не будет его...”

Упоминание растений дело самое обычное. Но это у Воробьёва не только ботаника. Деревья, окружённые колючей проволокой в лагере для военнопленных, — такие же узники, как и люди. Они делят их страдания, они живут своей особой жизнью и, как ракита с лоснящимися по весне красноватыми почками на самых последних страницах повести “Это мы, Господи!”, что-то пытаются сказать человеку. Здесь дерево словно зовёт бежать, настойчиво, трижды. А “седой тополь” из одноимённого рассказа, чью кору объели пленные — от земли и насколько может в высоту дотянуться человеческая рука — поражает способностью жить: у него раскидистая крона и “листья на нём не свёртываются в трубочку, не жухнут”. После удачного побега луна и звёзды вдруг кажутся Климову тополиной листвой... Этот тополь — основа мироздания. Он стоит в лагере, как мифическое древо познания добра и зла. В раю была яблоня. А в аду, в лагере, который именуется “Долиной смерти”, символом жизни стал тополь.

Вспоминается дуб из “Войны и мира”, который для князя Андрея становится символом обновления. Том второй, часть третья: “Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна — все это вдруг вспомнилось ему”, “. . . Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь”. В советские годы мы это учили в школе наизусть.

Философия Воробьёва предметна, лишена отвлечённых абстракций, всегда замкнута на человеке, неотрывна от его земного бытия.

“Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает — и исчезает ли? — из мира то, что потянуло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, тёплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки” (“Почём в Ракитном радости”).

Тут своё понимания бытия и, если переводить в термины, онтология и феноменология. Творчество Воробьёва — писателя, которого, кажется, никогда и не рассматривали как философа — берёт на прицел, всегда обострённо, жёстко, тревожно, глубинную человеческую сущность, стремясь отыскать границу между человеком и зверем. То, что способно послужить опорой для людского братства и единства, ибо именно от этого зависят и будущее, и вообще жизнь.

Чтобы жить и держаться, нужно, чтобы у тебя было что-то недосыгаемое.

В одной из самых философских повестей Воробьёва, “И всему роду твоему”, точнее, в набросках к ней, поскольку она осталась незавершённой, главный герой Сыромуклов думает о том, что если даже на земле прекратится жизнь, то где-то “за пределами здешнего неба она всё равно будет продолжаться, потому что это немыслимо дико, чтобы её не было, такой же голубой, зелёной, багряной, белой, как наша, посланной человеку великой милостью Великой тайны...”

* Богородицына трава — народное название тимьяна (он же чабрец).

Когда человек поставлен в самые невозможные условия, у Воробьёва главной доминантой его бытия становится вера. Во что угодно. Разрушить человека и его веру может совершенное им предательство. Испуется оно страданием. Так, вернувшийся в Ракитное писатель Останков мысленно обращается к мальчишке по прозвищу Кубарь, которого посадил к себе в машину, и вспоминает дядю, на которого когда-то донёс, плен, неволю после войны: “Мы верили в правду, в Ленина, в добро, в день. И чтобы вынести побои, оскорбления и унижения, обязательно нужна была такая вера. Иначе нельзя было выжить и одного дня, я хорошо знаю это по немецкому лагерю. Ты понимаешь, о чем я, Кубарь? О том, что на Севере я не имел права на такую веру. <...> Тут, на Севере, я приблизился к тому водовороту несправедливости, надругательства и лжи, в который был ввергнут дядя Мирон, и сознание своей невинной вины заменило мне то, что когда-то украл у меня Косьянкин...” Страданием испуется предательство и в рассказе “Уха без соли”, но там — совсем особая история.

*

В библиотеке, которая расположена недалеко от моего дома, отведено возле входа несколько полок, где можно оставить ненужные книги: вдруг кому пригодятся. Иногда я пересматриваю их, иногда что-то беру. Однажды мне попался здесь потрёпанный роман Евгении Леваковской “Первая зима”, изданный “Советским писателем” в 1952 году. Единственный рисунок был на фронтисписе. Водовзводная башня московского Кремля, изображённая художником без острой шатровой вершины. Небо в рваных облаках, сквозь них смотрит вниз — на заградительный аэропорт противовоздушной обороны, который тянут вдоль кирпичной стены и облетевших деревьев несколько человек, на мужчину в бурой военной телогрейке — тревожная, мглистая зимняя синь. Автор была в своё время известной писательницей, вела отдел прозы в журнале “Москва”. Листая книгу, обратил я внимание, как в девятнадцатой главе описывается парад на Красной площади. В списке фамилий тогдашних деятелей — Молотов, Маленков, Микоян, Каганович, Будённый — старательно была замазана простым серым карандашом какая-то одна, судя по всему, очень короткая. Разобрать буквы было совершенно невозможно, прежний владелец книги “потрудился” на славу. Только посередине, чуть ниже строки, торчала из-под жирного пятна маленькая палочка, и я догадался, что это “р”. Кто-то решил таким образом расправиться с Берией. Это, может быть, характерная в своём роде деталь читательского мышления, но привлекло меня другое. На 177-й странице один из героев романа говорит, что прошёл финскую войну и ещё в Польше видел немецкие танки. Вы, тыловики, сетует он в разговоре, не понимаете, что это такое. Война — вовсе не то, чем представляется она молодым. Она страшна. А собеседник резко ему возражает: “Почему вы смеете забывать, что ещё под Минском против танков вышли люди с бутылками, крикнули: “Коммунист сильнее танка!” — и начали жечь эти проклятые машины?” И дальше в том же шапкозакидательском тоне...

Воробьёв открывает в человеке неведомые порой для самого же героя глубины, свойства, ощущения. Достаточно посмотреть, как анатомически анализируется в повести “И всему роду твоему” чувство страха, а в “Ракитном...” — вера, необходимость осознанной цели... Роман, который я держал в руках, был из тех книг, которые, как выражается один герой Воробьёва, похож не на кардиограмму сердца, а на прямой воронёный штык. Коммунисты сильнее, и точка, и почему “вы смеете” заявлять иное!

В “Убитых...” один герой, косясь на нишу окопа, где заготовлены бутылки с бензином, произносит: “Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, пока она репицу свою подставит тебе... Мотор там у неё спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты...” Вот она, правда-то. Она является через иронию (“поллитра”), через технические детали, просторечия, предоставляет широкий простор психоаналитикам. Танк женского рода, как и слово “смерть”... Это почти живое существо, персоналифицированный образ: у него есть лоб, есть репица — так называют конечную часть позвоночника у животных у самого хвоста. У Леваковской коммунисты идут на танк прямо в лоб... У Воробьёва человек,

Алексей Ястребов из “Убитых”, поджигает бронированную машину, потому что у него не осталось сил бояться, он сам превратился в механизм, в животное, умеющее материться (в старину говорили — “лаять”): “Ага, матери твоей чёрт!..”, “стерва худая”. На последних страницах, у вырытой кинжалами могилы для капитана Рюмина, происходит апокалиптическая схватка: механический зверь против человека, который сам стал зверем. “Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, больно отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл всё, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать...” и т. д. Потом возвращается память, образы детства. Они сопровождали Ястребова, когда он шёл на танк, и он не чувствовал одиночества... Ястребов щупает кубари — знаки отличия, квадраты в петлицах. Подсознательное движение, означающее: я живу, я помню, я человек. И дальше — лавина чувств: “оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость тому, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчётная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжёт танк”. И никакой мысли о коммунизме (как у симоновского Синцова в “Живых и мёртвых”, но об этом чуть ниже). Всё, что совершает герой, его действия и его воля, у Воробьёва не зависят от идеологии, всё развивается по иной логике. Здесь это “логика” живого механизма. Обратим внимание, как описывается дыхание. Это работа машины: втягивание воздуха, выталкивание, удар сердца, и так раз за разом, пока не вернётся память, чувство, осмысление произошедшего.

Литературу тех лет, имею в виду литературу “столбовую” и каноническую, Воробьёв коротко охарактеризовал в не предназначенной для издания рецензии на сборник Георгия Метельского. Речь о его книге “Чистые Дубравы”. В 1965 году она вышла в издательстве “Молодая гвардия”. Рассказик “Тевине”, о котором идёт речь, о литовцах, возвращающихся на родину из Аргентины, в сборнике остался. Воробьёв писал, что он несёт в себе “все пороки литературных поделок того времени: надуманность, психологическую неубедительность, эмоциональную слепоту и глухоту, густой сироп лакировки, художническую беспомощность”². В целом же эта внутренняя рецензия была положительной. Хочу привести следующую строку Воробьёва, где названа причина неудачи рассказа. Она кроется в том, что “сердце не участвовало в творчестве”³. У произведения должно быть сердце. То, что снова не укладывается в прокрустово ложе литературоведческих понятий.

Немного отступлю, чтобы высказать одно предположение. Повесть “Куда летят альбатросы”, которую написал у Воробьёва Кержун (“И вот пришёл великан”), возможно, дружеская пародия: у Метельского в 1964 году вышла книга под названием “Гуси летят на Север”. Это просто к слову.

Ещё пара наблюдений.

В самом начале эпопеи Константина Симонова “Живые и мёртвые” один из главных героев смотрит на сельское кладбище. Первые дни войны. Разбитые советские войска в беспорядке отступают назад. “Острое и болезненное чувство родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, переворачивала сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда, — и, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права быть чужой”. Тут звучит изначальный голос самого первого и, быть может, самого истинного религиозного чувства — культа предков. Его нельзя подделывать. Симонов попал в самую десятку. Но читаем дальше. Синцов никогда не испытывал такого изнурительного страха: “Если всё так началось, то что же произойдёт со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты...”⁴

Герой Воробьёва испытывает те же чувства и ощущает ту же боль, но за ними в одном ряду с мыслями о предках и той земле, куда они легли, о детстве — никогда не возникнет и не прозвучит этот страх за коммунизм.

Он неравноценен исконному чувству родной земли, пробудившемуся зову минувших поколений. У него иной источник, и совершенно не тот, что у представлений о земле и предках, — идеология. Впрочем, она тоже во многом определяет поведение. Но Воробьёв “раскапывает” человека до самых иррациональных и сущностных его глубин. Порой до того самого пласта, где зверь и человек неотделимы.

Характерна концовка раннего рассказа “Дорога в отчий дом”: “Важно то, что мы не только живыми оказались, но и в человеческий строй вступили...” Это говорит партизан, в прошлом военнопленный. Автобиографичный для Воробьёва герой. Дальше он продолжает: “...что мы опять превратились в бойцов, а русскими людьми мы оставались и в лагерях”. Ещё одна ключевая точка: “самостоянье” человека неотделимо от его представлений о национальном и общечеловеческом, “родном и вселенском”. Воробьёв выносит на первый план ту корневую основу, когда личность характеризуется в том числе маркером национальной идентичности. Степан Злобин мог бы написать подобный абзац слово в слово, но с единственной разницей: после “русскими” через запятую уточнил бы: “советскими людьми”. В “Пропавших без вести” он постоянно мечется между этими понятиями-эпитетами. Или, если б идеологическая устремлённость восторжествовала, только её и подчеркнул: “оставались советскими людьми”. Во второй части “Пропавших без вести” герой по фамилии Зубов поддерживает другого пленного словами: “И без нас хватит русских людей!” То есть тех, кто, взяв оружие, сменит попавших в плен. А дальше следует фраза: “Советских людей! — поправился он”⁵. Как характерно это “поправился” — не “уточнил”, не “добавил”, не “продолжил”. Исправил собственную оговорку!

Ещё одна из особенностей Воробьёва: в плену, в неволе у него нет восстаний, нет организованного сопротивления, идёт экзистенциальная борьба за человеческое в себе. У него нет торжественных апофеозов, как, например, у Юрия Пиляра в повести “Всё это было...”, когда освобожденные узники концлагеря клянутся перед урной с пеплом, вынесенной из крематория, уничтожить фашизм. Этот писатель по-своему с документальной точностью поведал о жизни за немецкой колючей проволокой. Повесть была опубликована в “Новом мире” в 1955-м, и тогда же рассматривалась в “Знамени”. Член редколлегии журнала критик Александр Макаров подчёркивал в своём отзыве как достоинство, что “дух интернационализма пронизывает борьбу заключённых, которую возглавляют русские пленные и немецкие антифашисты”⁶. Этого самого “духа”, созвучного с официальной советской идеологией, у Воробьёва не будет...

*

Сущность человека, в конечном счёте, определяется у Воробьёва его способностью отдавать, преобразовывая вокруг себя мир. В его записной книжке осталась брошенная туда мысль: “Поскольку человек — существо общественное, его личное счастье тоже зависит от этой деятельности. Чем больше человек даёт людям, тем богаче он сам как личность”⁷.

Можно говорить о том, как изображена Воробьёвым коллективизация, война, как сочетаются в его творчестве “деревенская” и “городская” проза... Но главной его темой при всём этом останется одна — расчеловечивание людей и поиск, как этому противостоять, как обрести себя.

Из дневников писателя перешёл в повесть “Почём в Ракитном радости” один эпизод. Пленные срывают бугор земли, чтобы проложить железнодорожную насыпь. “Один из немцев-конвоиров вырвал из огорода морковь и дал мне”. Вокруг собирается толпа, требует “кусочек соковница”. Морковка делится на круглые дольки. Отовсюду тянутся руки. В конечном счёте, у её обладателя остаётся только верхушка с зелёным пяточком и ботвой. Кому не досталось, отошли, но один пленный упрекнул: “Всем дал, а мне?” И Воробьёв понимает, что на жертву надо идти до конца. Он резко и молча сунул последний пяточок обзолённому бедолаге. Тот подержал и протянул его обратно. “На, не надо мне, — почему-то тихо проговорил он”. “В первый раз в плену я заплакал... и разделил с этим пленным грязный кусочек морковки”.

Отчего эти слёзы?

Люди остались людьми и вдруг осознали это. Оба смогли что-то отдать. В письме от 23 марта 1962 года ленинградскому прозаику Сергею Воронину, возглавлявшему тогда журнал “Нева”, Воробьёв упомянул “Балладу о гвоздях” Николая Тихонова:

“Твой земляк Н. Тихонов в своё время написал: “Гвозди бы делать из этих людей. Не было б в свете крепче гвоздей”. Как фраза это, возможно, и звучит. А в сущности своей это чушь. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни добра, ни успеха...”⁸

Наверное, тогда же в записной книжке Воробьёва появились вот эти его раздумья: “Лишения, страдания и унижения у нас возведены в некую доблесть. Об этом всевозможные жулики от так называемой советской литературы написали множество баллад, романов, ещё чёрт-те чего.

<...> Тихонов написал:

*Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей!*

Всё это в угоду одному: лжи, всесветному обману. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни счастья, ни успеха. Горе человека не красит, и Тихонов это знает, что “несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга”. Это Чехов сказал⁹.

В “Ракитном...” слова писателя “подарены” безымянному пленному Светлоголовому. Герой вспоминает, как они вбивали вдвоём костыли, коими крепятся железнодорожные рельсы. От усталости двоится в глазах. Из-за неверных ударов эти толстые гвозди для сцепления рельс и шпал гнутся.

“Я сказал Светлоголовому, что из пленников получились бы костыли крепче этих. Он с тоской посмотрел на меня и ответил:

— Тюрьмы и страдания не укрепляют человека. Гвозди из него не получатся... Это выдумал какой-то подлый раб в угоду кающимся тюремщикам! И вообще знайте: несчастные люди эгоистичны, злы и несправедливы. Они менее, чем глупцы, способны понимать друг друга... Поняли?

Я не стал возражать, рассуждал ведь замученный человек. В его положении заговоришь и не такое.

— Это сказал Чехов, — пояснил Светлоголовый. — Ну, давайте работать. Конвоир смотрит...”

Это действительно Чехов, рассказ “Враги”. Там так: “Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продельвается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной”. Правоту этого наблюдения полностью подтвердит плен. Разобщённость связанных одной бедой людей показана и у Воробьёва, и у Степана Злобина, который в плен попал в 1941-м и пробыл там почти до самого конца войны.

Стихи Николая Тихонова подчеркивали героику происходящего. А вот, например, как использует их Вера Кетлинская в романе “Мужество”. Здесь, правда, упоминается не “Баллада о гвоздях”, а “Перекоп”. Комсомольцы строят город на берегу Амура, живут в шалашах, недоедают, мёрзнут, и всё-таки, несмотря на происки вредителей, в безлюдных когда-то местах встают заводские корпуса. Один персонаж, Сергей Голицын, не выдержал и сбежал. Но дома у него всё рушится, его считают героем, а он дезертир. И он принимает решение вернуться. Искупить вину. Он возвращается в город в составе воинского батальона. Часть пути нужно преодолеть в сорокаградусный мороз и пургу. Сил герою придают стихи, которые читал один из товарищей, ещё до бегства со стройки: “И мёртвые, прежде чем упасть, делали шаг вперёд...” Оказавшись в Комсомольске, Голицын работает в две смены до лихорадочной дрожи, в обледеневшей одежде, не считая нужным идти в медпункт. К тому принудил его только приказ комиссара, которому пожаловались: “Не в себе парень”.

Вот в каком контексте звучат у Тихонова эти строки:

*За море, за горы, за звёзды спор,
Каждый шаг — наш и не наш,*

*Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми мостами мостят Сиваш!*

*Но мёртвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперёд —
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступить черёд.*

То была эпоха, когда личность обретала ценность лишь в коллективной спайке. Мыслилась деталью, частью целого — опорой или полотном моста, например. Человеку не принадлежит даже собственный шаг. В едином порыве, даже мёртвый, он должен сократить расстояние до цели. Но крепёжная деталь получится из человека плохая. У Тихонова человек сильнее гранаты и пули и полностью принесён в жертву идее, которая превыше всего. Её может олицетворять что угодно: Сиваш, синий пакет, которому посвящена особая баллада, приказ капитана, как в той морской “Балладе о гвоздях”... Он обезличен романтической гиперболой. У Воробьёва никакой романтики. Человек конкретен, часто поставлен перед моральным выбором, не в силах избавиться от страха, разве только какой-то животной силой... Из описания ночного боя в “Убиты под Москвой”: “Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказываетя, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не “ура” и не “за Сталина”, а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села”.

Надо заметить, раз уж я упомянул Кетлинскую, что она сумела внести в свой роман живые чувства, и это её удача. Здесь героика и строительная тема соседствуют бок о бок с мелодрамой... Впрочем, это уже для другого разговора. Я вспомнил о “Мужестве” только чтобы сравнить, как по-разному два писателя обращаются к Тихонову, к его идеологемам.

Самое высшее в человеке у Воробьёва, повторим, способность отдавать, и, мне кажется, именно поэтому настрадавшийся на войне Вилли Брауде из рассказа “Немец в валенках” несёт пленным хлеб. Он хочет остаться нормальным человеком. Люди не знают языка, объясняются отрывочными словами и жестами. Как сказал бы учёный на высушенном научном языке, с помощью “невербальных средств коммуникации”. В действительности, по свидетельству супруги писателя Веры Воробьёвой, был лишь эпизод, когда какой-то немецкий солдат поделился с пленным сигаретами.

*

Стремление отыскать способ взаимопонимания — вот что ещё человека делает человеком.

Вилли Брауде в рассказе “Немец в валенках” остаётся, кем и был, ефрейтором фашистской армии, и в разговорах с пленными всегда держит дистанцию. А интерес, собственно, у него возник, когда он заметил обмороженные пальцы на ногах у главного героя, в рассказе его зовут Сашей, Александром. Он спрашивает, заговаривая первым: “Шмерц ништ?” — “Не болит?” Но слов мало. Воробьёв описывает его глаза, голубые, “опушенные белыми ресницами”, в них было неверие, удивление и растерянность. Как не болит, должно болеть! Пленный хоть и понял смысл вопроса, но не признался. Зажмурив глаза, он ждёт удара. “Лжэш”, — отвечает ефрейтор. Но он не бьёт, он достаёт из кармана брюк сигарету и, тщётно щёлкая зажигалкой, пытается прикурить, чтобы затем отдать пленному. Продолжается обмен короткими фразами. Это тягостный разговор, не сулящий пока ничего хорошего. На второй вопрос, болят ли ноги, герой отвечает: да, и со злостью переспрашивает: “Тебе от этого легче”? Ответ не должен быть понят, только интонация. Уже и до этого эпизода Воробьёв обозначил несколько непониманий, когда слова зависают в пустоте и остаются без ответа. Ну как немец поймёт слова другого пленного “хрен тебе в сумку” и как Саша должен перевести? Это нежелание

общения и знак отчуждения. Словесный хаос, равный хаосу земному, творящемуся вокруг. Узнав, что пленным не дают воды (заданный по-немецки вопрос был понят), ефрейтор лишь ругается, но за этим его “шайзе” стоит всё-таки сочувствие. Речь Брауде передаётся в рассказе русской транскрипцией. Ответы звучат по-русски. Но понимание достигается. Спросив, все ли в бараке пытались бежать, немец “посеменял по доскам нар короткими пальцами”. Этот коммуникативный жест рукой усиливается деталью, вроде бы ненужной — “пальцами, поросшими медным ворсом”, однако от этого становится только более зримым и явственным, конкретным. Вряд ли Брауде мог понять ответ. “Все, только не в одно время и из разных лагерей”. Это не так просто изобразить руками и мимикой.

И тут оба собеседника чувствуют пронизывающую боль в пальцах, стоило им обоим чуть приподнять ноги. Воробьёв описывает глаза: у ефрейтора герой видит в них “какой-то опасный интерес” к себе, “как бы надежду на что-то тайное”. Что с тобой? Ты чувствуешь ту же боль, что и я? Но пленный злится, говоря: “Теперь тебе легче, да?”. Ему кажется, что ефрейтору должно быть приятно от созерцания чужой боли. А Вилли-то ищет другое. То, что делает немец дальше, свидетельствует, что он не понял вопроса.

“Он посунулся ко мне на руках, не отпуская ног, и сказал торопясь:
— Их бин бауэр, форштеест? Ба-у-эр. Унд ду?”

Фраза повторяется в рассказе дважды. И ключевое слово — крестьянин, которое пленный знает по военному словарю, тоже... Во втором случае оно разбивается на слоги — приём экспрессионистской поэтики. И снова описывается интонация, мимика лица: немец говорит об этом, “как о светлом, о котором он внезапно вспомнил”.

Надо что-то ответить, всё равно что.

“Может, потому, что у меня всё время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника”. Слова не помогают, только жест: “Я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым молотком”.

Вилли догадался и переспросил по-немецки: “Шумахер?” Ответ — кивок головой, жест.

Так мало-помалу люди находят общее: профессия или, по-канцелярски, социальный статус, обмороженные ноги, дальше, если угодно, вши — еще одна мука. Постепенно через преодоление непонимания открывается единство мирного труда и единство страдания. Не то чтобы Вилли проникается сочувствием, угощая пленного хлебом. Это ещё и жест, означающий: “Мы оба — люди. Нам надо жить”. Проанализировать шаг за шагом ту коммуникативную логику, которую показал Воробьёв, значит написать отдельную статью, превышающую размерами сам рассказ. Герои в своём диалоге добьются, как кого зовут по именам. Это новое сближение. Дальше снова повторится хаотическое “хрен в сумку”, появится военный инженер Тюрин, обвиняющий героя, что тот, дескать, подлизывается к немцам, принимая хлеб. Надо было бы отвергнуть угощение. Сам герой будет делиться хлебом с товарищем, который считается доходягой... Между ним и Тюриным последует тяжелое объяснение. Или, если просторечием, “разборка”. Но когда в комендатуре станет известно, какое милосердие оказывает Вилли Брауде пленным и в барак заявятся унтер-офицер с фельдфебелем, чтобы выяснить, кому немец давал хлеб, когда они начнут бить Тюрина, да так, что он свалится с нар, тогда Саша пойдёт на поступок, близкий к самопожертвованию. Он заявит, что хлеб ел только он один, причём смешивая два языка. “Брот брал я!.. Это я один! Их” (т. е. *ich*, “я”. — **В. Б.**). Вилли получит удар по губам, герой — по затылку. Этим объединяющим людей унижением рассказ завершается. Они оба остаются отныне связанными чем-то высшим и чем-то жертвенным, что не так легко определить словами. И героя не покидает мысль о немце даже после войны: что с ним стало?

Похожий персонаж есть и у Злобина в “Пропавших без вести”.

Немецкий конвоир на кухне ударил пленного прикладом винтовки. Но другой, подскочив к нему, сумел выхватить её из рук и разрядить. Роли поменялись. Пленный (дальше выяснится его фамилия — Муравьёв) требует, чтобы немец вместе с ним шёл к коменданту лагеря, а для конвоира его оплошность означает отправку на фронт. Он обещает никогда никого больше не бить. Прямо умоляет. Немецкие фразы в отличие от Воробьёва Злобин передаёт латиницей. Даже саксонский диалект подчёркивает, когда говорит незадачливый Отто Назель (*isch* вместо *ich* в местоимении “я”). Немецкий язык

Муравьёва передаётся кириллицей. Графика подчёркивает радикальное различие между людьми. Воробьёв к такому приёму не прибегает. Пленный возвращает винтовку. Разговор продолжается. И он идёт по той же схеме, что и у Воробьёва: выясняется, что немец — “арбайтер” (рабочий), а пленный — “тишлер” (столяр), и когда становится ясным, скажем по-протоальному, социальное положение, конвоир в знак примирения угощает Муравьёва сигаретой. Отто Назель не получил в романе дальнейшего развития; он просто человек, такой же трудяга, как Вилли Брауде, который не желает воевать и совершенно к этому не призван и не пригоден. Он не носит пленным хлеб, но своё обещание держит, и делится другим — нужными новостями, даже, видимо, не подозревая, насколько нужными. Цена их равна хлебу. Сталинград не взяли, а что об этом трубят вокруг, играя по лагерному радио победные марши — брехня...

Отто Назель будет убит пленными, задумавшими побег, но другой группой, не теми, с кем у него произошла стычка в столовой.

Диалог на двух языках в самом начале “Это мы, Господи!” открывает тему человеческой разобщённости и вражды. Но здесь в разговоре выясняется только то, что немец и пленный — лейтенанты, благо слова звучат одинаково. Общение ни к чему не приводит. Сергей, главный герой, обрывает его, не желая говорить.

“Рукопись возвращаем...” Глазами издателей и редакторов

Повесть “Это мы, Господи!” была написана за месяц в конце 1943 года в доме № 8 по улице Глуосно в Шяуляе, где после побега вынужден был скрываться Воробьёв. Требовалось затаиться. Приближалась Красная армия, в городе была усилена охрана, часть партизан из группы Воробьёва погибла, другие были арестованы. Все тридцать дней он не отрывался от стола. Рукопись называлась тогда “Дорога в отчий дом”. Её вместе с будущей женой Верой писатель закопал в землю в железной банке. Бумага не пострадала, в 1946 году Воробьёв послал повесть в “Новый мир”. Предполагалось, что это станет первой частью большого романа, и вопрос о публикации был отложен. Но замысел воплощён не был, и в итоге она впервые увидела свет уже после смерти писателя, когда её обнаружили в РГАЛИ, в десятом номере журнала “Наш современник” за 1986 год.

В 1948 году Воробьёв написал другую “Дорогу в отчий дом” — небольшой рассказ от имени партизана, бежавшего из плена, и тогда же “Седой тополь”. В 1952-м — “Гуси-лебеди” (первый вариант названия — “Бессмертие”), “Подснежник”, “Хи Вон”. Два последних рассказа знаменуют детскую тему в его творчестве. В 1953-м появился “Ничей сын”. В 1954-м — “Белая ветка”. Первоначально рассказ назывался “Матвей Горинов”, так звали главного героя. В 1955-м появился “Ермак”, его напечатал журнал “Нева”. Это была первая общесоюзная публикация Воробьёва. Тогда же был написан и рассказ “Синель”. В 1956 году у писателя выйдет в Вильнюсе первый сборник, шесть рассказов: “Ничей сын”, “Подснежник”, “Бессмертие”, “Рассказ о моём ровеснике”, “Тени прошлого”, “Хи Вон”, “Лёнька”. Воробьёв называл его самой слабой, но самой любимой своей книгой.

Одновременно он завершает работу над повестью “Одним дыханием” о становлении советской власти в послевоенной литовской деревне, борьбе с “лесными братьями”. Её тоже опубликовала “Нева”. В 1961 году повесть выйдет отдельной книгой в издательстве “Советская Россия”.

Сохранилось несколько внутренних издательских рецензий на произведения Воробьёва тех лет. Интересно посмотреть, какими виделись рассказы в редакционных кабинетах столичного “Советского писателя” и некоторых журналов.

В апреле 1957 года Воробьёв предложил журналу “Знамя” “Седой тополь”. В сопроводительном письме он сообщал:

Я убеждён, что рассказ этот нужен жизни, потому что он — быть, потому что случается такое на земле редко, и всем нужно, чтобы это никогда не повторилось.

Я — член ССП (Союза советских писателей. — В. Б.); в лагере, о котором идёт речь в рассказе, пробыл три месяца, затем командовал Отдельной партизанской группой в Литве.

*Но это, пожалуй, Вам не интересно.
Пожалуйста, сообщите мне о своём решении*¹⁰.

Я стал искать, что ему ответили. Рассказ был отклонен, в “Знамени” он не печатался. Была бы интересной аргументация, почему? Но, это бывает, перепутал год, стал смотреть в архивах журнала всё за 1955-й. Ответа, разумеется, не обнаружил. Но, и так тоже случается, вместо того, что ищешь, отыскиваешь нечто не менее любопытное.

Привлекла моё внимание копия одного письма неизвестному автору. Имени не было, только его фамилия – Корытов. Судя по всему, он прислал в журнал роман о солдате, попавшем в плен, написанный от первого лица. Рецензент М. Кваснецкая разъясняла причины, по которым его отклонили. Её ответ датируется 1 июля 1955 года.

“Вместо того чтобы показать, как в тяжёлых испытаниях закалялся характер героя, рассказать о том, как он учился мужеству и стойкости у своих старших товарищей-коммунистов, вы на первый план выносите описание зверств гитлеровцев, со смакованием рассказываете о нечеловеческих мучениях, которые выпадают на долю солдата. У читателя создаётся впечатление, что основная задача произведения – показать издевательства молодчиков Третьей империи. Описание зверств, страданий, убийств становится самоцелью повествования. Это нагромождение ужасов заслоняет в произведении главное – характеры героев. Вы не сумели показать, что никакие зверства не могут сломить мужество советских патриотов.

*Герой повествования, молодой солдат из Ивановской области, с доскональной подробностью рассказывает о своей жизни в фашистском плену. Но несмотря на тщательность пересказа, на обилие мелких подробностей, перед нами не встаёт волевой, с высокими моральными качествами образ советского воина. Герой произведения – пассивный, безвольный человек, живущий только своими узкими, индивидуальными интересами, думающий лишь о своём спасении. Вам не удалось показать стойкость, мужество наших людей, которых не могут сломить никакие зверства и провокации. Персонажи же вашего произведения часто теряют человеческое достоинство, ведут буквально животное существование. Среди военнопленных нет сплочённости, нет товарищества – качеств, которые всегда отличают советских людей. Удивляет предельная наивность действующих персонажей. Так, военнопленные склонны доверять людям, которые открыто прислуживают фашистам”*¹¹.

Рецензент не поинтересовалась, откуда такое знание “мелких подробностей”. Ответ заканчивался выводом, что автору не нужно заниматься литературой, и начинающий прозаик бездарен, как пробка... Жаль, что названия романа в рецензии нет. Я бы сейчас с интересом его прочёл, если б можно было отыскать рукопись, а её, наверное, вернули. Пусть он действительно не отличался художественными достоинствами, но стал бы документом эпохи и мог обрести место в каком-нибудь сборнике. Человек, прошедший плен и написавший, как на душу ляжет, действительно не обладая литературным даром, мог после такого отзыва уничтожить отпечатанный на машинке текст... Судя по всему, в большую литературу Корытов не “прорвался”. Но он с полным правом мог возразить Кваснецкой теми же чеховскими словами, что повторяет Светлоголовый.

Всё, что написано в этой рецензии, или, по крайней мере, бóльшую часть, можно при желании применить и к Воробьёву. У него тоже никто не учится в плену “мужеству и стойкости”, у него тоже персонажи теряют человеческое достоинство, у него тоже нет среди пленных никакой особой сплочённости... Он получал не менее жёсткие отзывы. Но ему был дан талант такой силы, что броневой критикой его не сломить. Интересно и само совпадение, как не знавшие друг друга писатели подходят к теме плена, испытав его на себе. И то, что рецензент задаёт здесь чёткий шаблон, как писать и о чём писать.

Если кто-то попробует порыться в электронных каталогах центральных российских библиотек, встретит книги Маргариты Георгиевны Кваснецкой об актёрах и режиссёрах – Алексее Баталове, Кларе Лучко, Всеволоде Санаеве, Тенгизе Абуладзе... Да, это один и тот же человек. В середине 1950-х она была

внештатным рецензентом “Знамени” и училась в заочной аспирантуре Института тетра, музыки и кинематографии в Ленинграде. Тогда ей было тридцать. Ту войну, какую извели Корытов и Воробьёв, она знала понаслышке...

Но что всё-таки произошло с “Седым тополем”?

В конце мая 1957 года рассказ попал в руки двадцатипятилетнему студенту Литературного института, другому внештатному рецензенту “Знамени” Феликсу Льву. Он прочитал, отпечатал на машинке отзыв на четыре страницы, ни единого негативного замечания. После короткого вступления, пересказав в общих чертах содержание, отметил:

“Пожалуй, самое страшное и вместе с тем самое поучительное в этом рассказе, что всё это не плод литературной фантазии, а суровая правда. В письме, приложенном к рукописи, К. Д. Воробьёв сообщает, что рассказ этот – был. Автор “сам пробыл три месяца в лагере, о котором идёт речь в рассказе”.

Итак, в основе своей рассказ, очевидно, документален (об этом же, кстати, говорит и подзаголовок – “быль”). Но, разумеется, фактически материал прошёл значительную литературную обработку – иначе мы имели бы не рассказ, а записки, воспоминания или что-либо в этом роде. Всё же, думается, рассказ К. Воробьёва очень близок к этому жанру, так как главное в нём не вымысел и не литературная обработка, а самые факты, их документальность. Этим я вовсе не хочу принизить художественные достоинства рецензируемого рассказа, которые бесспорны. Живой характерный язык героев, меткие психологические штрихи и детали в описаниях природы, обстановки, портрета, точные, яркие сравнения – всё это делает повествование очень убедительным, “весомым, зримым”¹².

Подтвердив аллюзию к Маяковскому конкретными примерами, Феликс Лев указывал, что в майском номере “Знамени” уже опубликованы записки А. А. Никифоровой “Это не должно повториться” (военврач III ранга Краснознамённого Балтийского флота, она провела три года в плену в концлагере Равенсбрюк). Тематика двух произведений близка. Вряд ли “Седой тополь” следует помещать в ближайшем номере. Это с точки зрения внутриредакционной логики верно. “Но, во всяком случае, – продолжает рецензент, – что рассказ К. Воробьёва заслуживает самого внимательного отношения... Думается, не исключена возможность опубликовать его в одном из последующих номеров журнала”¹³.

“Тополь” прошёл первый тур отбора, когда внештатными рецензентами отсеиваются графоманы, и лёг на стол тогдашнему редактору отдела прозы В. Уварову. Через несколько дней он отпечатал на машинке без всякой комплиментарности:

Уважаемый тов. Воробьёв!

Недавно редакция журнала “Знамя” опубликовала записки А. Никифоровой “Это не должно повториться...” и воспоминания Анвайер о гитлеровских концлагерях (имеются в виду “записки о плене” Софьи Анваер, опубликованные в № 9 за 1956 г. под заголовком “Незабываемое”. – В. Б.). Кроме того, в портфеле редакции находится ещё одна рукопись, уже одобренная и по существу принятая к печати, о сопротивлении советских людей в фашистском плену, которую редакция сможет опубликовать лишь в конце 1957 года, а возможно даже и позже.

Всё это и вынуждает нас вернуть Вам рукопись Вашего рассказа “Седой тополь”, тематически и по материалу повторяющий вещи вышеназванные.

Всего Вам доброго¹⁴.

“Одна рукопись” – это романа Степана Злобина “Пропавшие без вести”. Журнал проанонсировал его ещё в 1956-м, но не опубликовал.

Так получилось, что, работая над статьёй, я случайно посмотрел советский фильм “Вторая попытка Виктора Крохина” Игоря Шешукова. Там показана коммуналка, где растёт мальчишка, главный герой, будущий чемпион Европы по боксу. И есть в этой квартире один жилец, участковый врач Сергей Андреевич, роман пишет. Закончил, отнёс в издательство, и книгу ему вернули. Сидит он на кухне и плачет. “Сказали, что всё это не типично. Что так

не бывает. Я воевал, а они говорят: так не бывает!” И, пришибленный, жжёт в печке листы один за другим. . .

Отчего-то подумалось: так мог бы поступить кто угодно. Может, тот же Корытов. Ему ответили примерно то же, только пространней. Но не Воробьёв. Он ничего не уничтожал и в редких случаях что-то правил. Это мы потом увидим. У него было мужество оставаться одиноким.

Об этом мужестве обмолвился Гёте в разговорах с Эккерманом. Малые таланты кажутся большими оттого, что “служат рупором отдельной партии”. Им всё заменяет ненависть. “Так и в жизни нам встречается целая масса людей, которым недостаёт характера, чтобы оставаться в одиночестве; эти тоже стремятся примкнуть к какой-нибудь клике, ибо так чувствуют себя сильнее и могут что-то собою представлять”. Чтобы казаться сильнее и значительнее, писатели сбиваются в стаи. Гёте приводил дальше в пример Беранже. Это, по его словам, талант, которому “достаточно самого себя”. “Он вполне удовлетворяется своей внутренней жизнью, внешний мир ничего не может дать ему, так же как не может ничего у него отнять”.

Это было сказано 2 мая 1831 года.

Ничего не изменилось.

В устах Гёте это вовсе не значит, что художник должен жить сам по себе. Нет, он в полной мере реализуется, только связав свою судьбу с судьбой народа, только если слово его отзовется в национальной судьбе, а судьба эта — в его слове. “Бёрнс велик потому, что старые песни предков были живы в устах его народа. . .” О Воробьёве можно повторить то же.

Писателю и теперь и, наверно, всегда потребуется характер, позволяющий быть одиноким. Его нужно воспитывать, если недостаёт. Писательская состоятельность определяется не количеством, а “прочностью” написанного, то есть востребованностью авторского труда в поколениях.

*

В 1955 году Воробьёв отослал в издательство “Советский писатель” повесть “Одним дыханием”. Она пришла сюда в начале года, в марте её рецензировал литературовед Марк Борисович Чарный. Он отметил, что повесть для советской литературы довольно нова. События происходят в пределах одной волости, “но автору удалось довольно выразительно показать это своеобразие; и то, как воспрянуло с приходом советской власти веками угнетаемое, забитое, полуголодное бедное и среднее крестьянство, и ожесточение кулачья, теряющего под собой почву, и подлую роль ксёндза, вдохновителя националистско-фашистской банды”¹⁵.

Старый добрый социологический подход.

Затем во внутренней рецензии следует пересказ сюжета и основных характеров. Если они, персонажи, и не отличаются особой оригинальностью и глубиной трактовки, “то, во всяком случае, автор обладает той культурой литературного письма, умением интересно рассказывать, которые делают его произведение вполне достойным печати. Оно с пользой будет прочитано многими нашими читателями”¹⁶.

Чарный приводит дальше примеры “хорошо подмеченного жеста, квалифицированной живописи словом”. Пропущу ссылки на страницы машинописного текста повести, указания на отдельные понравившиеся места. Рецензенту хочется, чтобы “в повести было хоть несколько страниц общеисторического характера, которые говорили б о пути, пройденном Литвой от полукOLONиальной окраины царской России через буржуазно-фашистскую “независимость” — игрушку англо-американских империалистов — до социалистической республики. Это было бы полезно не только потому, что средней советский читатель может и не знать, что такое “сметоновский режим”, “сметоновское время”¹⁷, о которых неоднократно упоминается в повести. Такое включение событий повести в историческую перспективу придало бы ей большую глубину и большую познавательную ценность”¹⁸.

Чарный клеймит “склонность к вычурам”, находит параллели с символами и авторами первых советских лет. Ну, например, вместо “ожидание” Воробьёв пишет “ожидь”, “призыв” превращается в слово женского рода — “призывь”, и появляется “томная призывь горлинок” (гм, а мне, наоборот,

нравится!). О полях говорится, что они “отметелились горячей и пахучей отцветью ржи и пшеницы”. Но это же хорошо, очень образно: пыльцу смелó, подобно метели, бурно и порывисто. О Чапайтисе, о его душе, сказано, по мнению рецензента, неуклюже: в ней “в крутой непромышленной замеси отставался большой разговор с Андреем”.

Это игра словом, считает рецензент, и она приводит к надуманным красотам, к искусственной образности. Следуют новые примеры. Чарный отмечает канцеляризм и небрежности, в общем-то легко поправимые, опасаясь, не пропадает ли за образной курской речью, какой говорит конюх Тихон Матвеевич, характерное именно для литовских крестьян? “Задача русского писателя состоит здесь в том, чтобы, сохраняя крестьянскую образность, суметь выявить колорит именно литовско-крестьянской речи. Задача эта нелёгкая и одним упоминанием “Езус-Мария” её не решить”¹⁹.

Вторым рецензентом был уже известный писатель Алексей Иванович Мусатов. В 1950-м за повесть “Стожары” он удостоился Сталинской премии третьей степени.

Изложив основную сюжетную линию, он отметил, что наиболее выразительно описаны враги – кулаки Бетенас и Спурга, ксёндз Каролис Марма и главарь “лесных братьев” Юстас. “В образах кулаков хорошо передано их звериное нутро, хитрость, стяжательство, желание всяческими средствами сохранить старый уклад жизни”²⁰. “Отравление ксендзом бандитов, пришедших сдать советской власти, а затем и убийство родного брата бандита Юстаса хорошо раскрывает коварство и звериный облик служителя католической церкви”. “В образе главаря лесных братьев Юстаса Мармы автору удалось убедительно показать обречённость бандитской организации, её беспочвенность, враждебность интересам трудового литовского крестьянства”²¹.

Всё тот же типичный социологический подход.

Отмечает рецензент и положительные образы. Андрей Выходов ему видится как “живой инициативный партийный работник, любящий и понимающий литовский народ”. Этот герой учит работать и прислушиваться к голосу масс председателя волостного исполкома, умеет общаться с крестьянами и заслужить их уважение. К сожалению, Андрей, по мнению Мусатова, мало показан в действиях и поступках. Вызывает недоумение его неспособность “своевременно разгадать и разоблачить вражескую сущность Каролиса Мармы”, ксёндза. Слишком скупо рассказано о личной жизни Андрея, о его погибшей жене партизанке. Рецензенту показалось, что не разработан, хотя интересно намечен, председатель волисполкома Чапайтис, а также важные для повести образы середняков и бедняков. “В целом автор пишет достаточно литературно и грамотно, но порой он начинает злоупотреблять напыщенными, высокопарными фразами, ложно-красивыми оборотами и ненужными заумными словообразованиями”²². Следует на всю страницу список. Вывод: рукопись следует чистить, а издательство должно помочь автору её доработать, повесть в целом достойна внимания.

Заведующий редакцией русской советской литературы В. Сытин направил Воробьёву письмо с советом довести рукопись до ума и вернул её вместе с копиями отзывов рецензентов.

25 августа 1957-го Воробьёв выслал в “Советский писатель” сборник рассказов “Седой тополь”. На его сопроводительном письме стоит резолюция заведующего редакцией русской советской прозы И. Козлова: “Послать на рецензии т. Нагибину или Матову”. Вместо Нагибина рецензентом стал писатель Арсений Рутько, успевший побывать за решёткой в 1937-м, автор книг о революции и гражданской войне, повестей, вышедших в серии “Пламенные революционеры” в 1980-х, о Луизе Мишель и Эжене Варлене. В сборнике было 16 рассказов, объем его составил 370 машинописных страниц.

4 сентября 1957 года Рутько закончил рецензию, выделив из военных рассказов “Седой тополь”. Он пересказывал его содержание на трёх страницах и сделал вывод, речь о главных героях Климове и Воронове: “Автор ничего не пытается объяснять читателю, но читатель понимает, что теперь эти люди, эти два человека могут стать друзьями на всю жизнь, как бы она коротка или длинна у них ни была. У обоих этих бессильных, уже не ходящих, а ползающих по земле людей в груди всё ещё живёт мужественное и честное сердце, не способное на подлость и предательство. Автор не пытается приукрасить своих героев, он не пугается их страшного нечеловеческого облика, – тем ярче, тем

ослепительнее сияет за этими рубищами то подлинно человеческое, что делает иногда человека бессмертным”²³.

Высокую оценку получили рассказы “Гуси-лебеди”, “Подснежник”, “Сильнее смерти”. Из “невоенных” рассказов — “Ничей сын”, “Первое письмо”, “Лёнька”. Самые слабые рассказы — “Урок”, “Хи Вон”, “Чарли Барклей” (Воробьёв впоследствии сделал заголовком подзаголовок — “Рассказ о моём с тобой друге”).

Вывод: “Сборник может представлять для редакции издательства интерес при изъятии из него рассказов “Урок”, “Матвей Горинов” (уж очень банальна рассказанная автором история), “Хи Вон” и “Рассказ о твоём и моём друге” (так в тексте. — **В. Б.**). Если эти вещи изъять, в сборнике ещё останется около десяти печатных листов, но тогда произведения, входящие в сборник, будут как бы дополнять одно другое, не будут эмоционально противоречить друг другу. Получится очень хорошая, сильная книжка о советском человеке, о его мужестве и патриотизме, о его высокой и чистой морали”²⁴.

Что ж, это очень положительная рецензия.

В “Ракитном” есть эпизод, когда герой, приехавший на родину писатель, вспоминает, как завершил повесть о войне, в которой не величался ни разу Сталин. “В рукописи было пять ученических тетрадей. Марите сшила их суровыми нитками — одна к одной. Стояла уже глубокая осень, и для того, чтобы все было ладно, чтобы все сошлось у нас на одном хорошем, мы послали повесть в московский журнал с мягким осенним названием. Ответ пришёл зимой. На девяти страницах рецензент с надзирательской фамилией Матов злобно глумился над тем, о чем я писал. Пленных он называл предателями, а меня Кузьмой: видно, корень моей фамилии пугал его и ярил...”

Второй рецензент сборника забытый ныне Владимир Николаевич Матов действительно написал внутреннюю рецензию на девять страниц. Он благополучно печатался, выпускал книги, но в литературе, может быть, останется благодаря тому, что в “Ракитном” его упомянул Воробьёв. Рассказы самого Матова напоминают обложки тогдашнего “Огонька”, в них человек всегда счастлив, весел, радостен, торжественен, способен на преодоление. Всё это прекрасно вписывается в концепцию “исторического оптимизма”, которую озвучил в 1964-м критик Григорий Бровман, “лягнувший” Воробьёва, Носова, Солженицына в первом номере журнала “Москва”. Об этом мы ещё поговорим. Матову можно поставить в заслугу продолжение старинной русской литературной темы — охоты. Но то, что он прочёл у никому тогда не известного Воробьёва, было ему глубоко чуждо и непонятно. Ради справедливости нужно сказать, в его рецензии не говорится о пленных как о предателях.

Она начинается с пересказа “Матвея Горинова” (он же “Белая ветка”). Две с половиной страницы — это изложение сюжета, пересыпанное цитатами, иронией: какой, мол, бездарный автор. “Даже из краткой передачи содержания видно, что это плохой рассказ. Плоха, потому что надумана, если можно так её назвать, идея рассказа, что, дескать, необязательно ехать на целину, можно и в другом месте найти работу по душе. Неужели этот внутренний конфликт типичен, общественно значителен? По-моему, вовсе нет в жизни такого конфликта. Автор искусственно создал его, чтобы было о чём написать рассказ, в котором хоть как-нибудь упоминалась бы целина. Искусственны, надуманы, подчас даже смехотворны эпизоды рассказа, характеристики персонажей, неправдоподобна и ходульна их психология и взаимоотношения, точно автор задался целью чем бы то ни было, только бы удивить, поразить читателя. А читатель хочет много — жизненной правды. Как раз её-то в рассказе нет. Под стать остальному и вычурный язык с причудами, придуманными словами. Когда читаешь про “белый дым отцвети”, про “галочий грай” и подобное, больно становится за наш прекрасный язык, в котором и нет таких слов, как “отцветь” или “грай”, и вспоминаются написанные более ста лет назад великим основоположником русского реализма строки: “... этот человек пишет: благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать: лошадь...”²⁵.

Матов выбрал не самый сильный рассказ, разнёс в пух и прах и подключил “тяжёлую артиллерию” — Пушкина. В “Ермаке”, по его мнению, описывалась по меньшей мере “оригинальнейшая судьба крестьянина”. В “Синели” много чувственности и “недостаёт простой житейской правды” (опять!). Вера

Воробьёва уже после смерти писателя в своём послесловии “От составителя” в книге “Заметы памяти” сопоставила этот отзыв Матова с совершенно противоположным мнением литературного консультанта журнала “Юность” Исидора Винокурова²⁶. Воробьёв посылал сюда “Синель”. И получил ответ, который в “Заметах” приводится не полностью. Его копию удалось мне отыскать в архиве журнала. Воробьёва тогда отнесли здесь к “начинающим писателям” и подшили в соответствующую папку.

“Не без огорчения возвращаем мы вам рассказ “Синель”, — писал И. Винокуров в конце августа 1956 года. — Дело в том, что рассказ понравился в редакции. Но журнал наш “малолитражный”, а материала, ожидающего своей очереди, накопилось столько, что дай бог опубликовать его в течение будущего года. Держать Ваш рассказ в портфеле в надежде, что положение изменится — нет смысла. <...> Думается, что “Синель” может выйти в свет гораздо раньше. Рассказ Ваш обладает всеми литературными достоинствами, чтобы найти своё место в каком-либо другом журнале. Возвращаем Вам рукопись, желаем от души всяческого успеха”²⁷.

Ну что тут скажешь?

Вернёмся к Матову. “Тени прошлого”, считал он, были бы интересны, если б их реалистичней подать. Напомним, что первоначальное название повести — “Одним дыханием”.

“Тому же, что написано, не веришь, поскольку автор употребил или резко чёрные, или белые краски, не говоря уже о том, что от рассказа остаётся впечатление перепева. Характеристики написанных без полутонов персонажей грубо плакатны, а тяготение автора к внешнему эффекту, стремление поразить читателя при явном недостатке живописи, показа, приводят даже к тому, что персонажи с несколько непривычными именами просто путаются в представлении читателя. Сюжет как будто очень острый, а не увлекает несколько — наперёд знаешь, как обернётся дело. А того, что могло бы создать художественное впечатление — живых людей, подлинных деталей — нет. Их заменяют трафареты”²⁸.

“Ничей сын”, как и “Синель” — не увлекательная, а просто слабая сентиментальная проза. Ощущения достоверности она тоже у Матова не вызывает, как и “Рассказ о моём с тобой друге”. Здесь “имеется, наконец, концовка под Хемингуэя, но, конечно, нет Америки. И по поводу этого длинного рассказа хочется напомнить, как ещё Чехов советовал молодым писателям не описывать путешествие на подводной лодке на Северный полюс и подобное, но то, что окружает писателя, что ему хорошо знакомо и душевно близко. То есть то, что может и должно быть предметом наблюдений писателя; то, от чего художник может получить впечатления, которые, возможно, окажутся достаточно яркими, чтобы художнику захотелось запечатлеть их в образах”²⁹.

Просто высказаться Матову кажется мало. Нужно выделить мысль, и он прибегает к эмфатическим средствам: подчёркивает слова и фразы. Учит, как надо писать. И снова в дело вступает “тяжёлая артиллерия” — Чехов.

По той же причине Матов считает неудачным рассказ “Хи Вон”. Воробьёв не знает Кореи. Надо, мол, располагать живыми деталями, которые создавали бы иллюзию подлинности, а рецензент их не увидел³⁰. “Гуси-лебеди” если не “перепев” “Звезды” Эммануила Казакевича, то навеянный ею рассказ. В нём есть “малоубедительная и излишне сентиментальная сверхлюбовь и затуманенный, но всё-таки очень благополучный конец”. “Подснежник” — “сладковатая история”. В “Седом тополе”, в рассказе, которому Рутко отвёл три восторженных страницы, Матов не понял основную идею, о чём и заявил одной строкой. Общий вывод: правдивые и яркие характеры в рассказах Воробьёва отсутствуют, его персонажи лишены индивидуальности и даже плохо запоминаются, автору слишком присуще тяготение к “сюжетности”, недостаёт скупой и суровой простоты, жизненной правды. “Я не считая возможным дать сборнику рассказов К. Воробьёва “Седой тополь” положительной оценки”, завершается рецензия³¹.

Воробьёву переслали копию. В архивном деле сохранился заверенный подлинник — машинопись, первый экземпляр, цвет букв чёрный, яркий. Видно, в пишущую машинку Матова заправлена была совсем свеженькая лента...

Итак, два взаимоисключающих отзыва.

Что делать редактору? Третьим, кто прочёл сборник Воробьёва, стал Борис Евгеньев, автор вполне правоверных советских повестей, детских

произведений и книги о Радищеве, вышедшей в 1949 году в популярной серии “Жизнь замечательных людей”.

Он тоже растерялся от того, что прочитал. Готовил свой отзыв старатель-но, отпечатанный на машинке текст правил зелёными чернилами. Поскольку он сам работал в издательстве, мог себе позволить не перепечатывать начи-сто всё заново. По собственному признанию, рассказы произвели двойст-венное, даже странное впечатление.

“Автору порой нельзя отказать в известном профессиональном умении занимательно построить сюжет, в умении несколькими штрихами нарисовать портрет героя, отобрать работающие, а потому запоминающиеся детали, в смелости, с которой автор берётся за разработку сложных и ответственных тем, наконец, просто в живости и бойкости пера, в занимательности рассказ-чика, проявленной, правда, в одних случаях более, в других случаях менее успешно. Но наряду со всеми этими, безусловно, привлекательными качест-вами рассказов К. Воробьёва, в них, во всех без исключения, то и дело стал-киваешься с такими срывами, с такими провалами в безвкусицу, в пошлова-тые красоты, в литературщину самого дурного тона, в штамп, схему, что порой просто руками разведёшь! К тому же нередко режут слух языковые ог-рехи, обильно рассыпанные по страницам рукописи”³².

Всё это, мол, ведёт к сомнениям в писательском профессионализме.

К чему-то Воробьёв прислушался и поправил, но большую часть замеча-ний проигнорировал. Их в рецензии целый список.

“Стихи... ей нравились едва уловимой грустью о непотерянном”, – отме-тил Борис Евгеньев стиливую оплошность в рассказе “Гуси-лебеди”. Воробь-ёв исправил, стало: “о непережитой юности”. Оттуда же описание домика, подмеченное Евгеньевым: “Смежив ставни, он был как задремавший большой ребёнок, и окутавший его лунный сумрак пахнул увядшими цветами, как ле-карствами...” Это Воробьёв оставил. “Пряжа будничных дней однотонна, но из них ткались годы коврами с неповторимыми рисунками событий”. Евге-ньеву это не понравилось. Воробьёв править не стал. В рассказе предложе-ние начинается с “Казалось, что...”, и далее по тексту. Эти “ковры”, они в воображении Сергея Марьянова, это “спрессованное”, сжатое в рисунок, в иероглиф, время. Герой имеет право увидеть его так. В списке “нелепос-тей” у Евгеньева окажется и фраза из “Синели”: “Мокрая трава по-живому пи-щала у нас под ногами”. “В насыщенной звёздами ночи жила чуткая тишина”. Евгеньеву не нравится, видимо, глагол, относящийся к неодушевлённому су-ществительному. Как тишина может жить? Между тем у Воробьёва предложе-ние на “тишине” не заканчивается, и полностью звучит так: “В насыщенной звёздами ночи жила чуткая тишина, и тёплой пряностью недавно прошедше-го лета ещё дышали облегчённые поля”. У него в рассказе всё живёт. Всё опо-этизировано. И на этом фоне ещё большей нелепостью выглядит убийство ле-бедей. Потому что рассказ о любви, и только ею движется и создается жизнь. Это притча-метафора о неуничтожимости жизни, которая создается Любовью. Нужно помнить, сам Марьянов пишет стихи и на многое вокруг смо-трит глазами поэта.

Воробьёв оставил совершенно нелепую (вроде бы) фразу из “Дороги в отчий дом”: “По причине охамления тыловых немцев”. Но это рассказ парти-зана, о чём сообщает и подзаголовок. И здесь делается особый акцент на речь героя и её особенности. Он объясняет, почему партизанам везло: от личной злобы, потому что чудом удалось бежать из плена, “по причине охамления” немцев, поскольку те находились далеко от фронта и мало чего боялись, не были осторожны... Разумеется, ничего не стоит исправить этот короткий отрывок текста. Тем не менее, Воробьёв оставил этот канцелярский штрих, годящийся для протокола. Что же, быть может, герою приходилось рассказывать о партизанской деятельности и для протокола, и тогда его судь-ба видится в особом контексте. А вот этот отрывок из “Седого тополя” – “В своей орлатой рубахе Климов являл скуке сторожевых вышек до злой не-лестности унижительное зрелище” – писатель переделал. Стало: “В своей орла-той рубахе Климов развлекал скучавших сторожей унижительным зрелищем своей нелепой наружности”. Тут надо пояснить, что это за рубаха. Климов о-стался без гимнастёрки, и вместо рубахи надел мешок с фашистским орлом, проделав в нём дыры для шеи и рук. Поэтому был так трагикомичен. Такой же мешок Воробьёв вспомнит спустя годы в “Ракитном...” и в другой повести –

“И всему роду твоему”. Интересно, что очень много, на чём “споткнулись” рецензенты, проходило и проходит незамеченным у обычных читателей.

Евгеньев уверяет, что для Воробьёва характерна “вымученная красивость”, и будь то просто обмолвки, описки, “недостатки стиля”, не так сложно было бы это исправить. Но ему видится более существенное – “неосознанное автором отталкивание не от жизни, а от литературных образцов, что и влечёт за собой надуманность, неестественность ситуаций, мелодраматичность и сентиментальность положений, то есть то, что мы называем “литературщиной”³³.

Оставляю без комментариев.

Евгеньев считает, что тематическое разнообразие сборника свидетельствует о недостаточно строгом и продуманном отборе. Более чем странное суждение. “Гуси-лебеди” для него – романтическая, не блещущая новизной и оригинальностью история любви двух молодых людей, и здесь, может быть, “с наибольшей силой проявлены многие недостатки, вообще свойственные К. Воробьёву”. А именно: “жизненно правдивый и в основе своей простой эпизод оброс таким количеством украшающих его деталей, лирических отступлений, мелодраматических ситуаций, не работающих на основной сюжет, что стал производить впечатление чего-то надуманного. Я не советую автору оставлять этот рассказ в его настоящем виде в сборнике”³⁴.

Теми же недостатками “испорчен” “простой и действительно трогательный” рассказ “Подснежник”. Его можно “подчистить” и оставить. “Седой тополь” выкинуть. “Потому что это произведение, на мой взгляд, убедительно свидетельствует о некоторой потере автором художественного такта. В рассказе говорится о пленных советских офицерах, доведённых в результате зверского с ними обращения и голода до последней степени не только физического истощения, но и морального, нравственного оскудения. И когда в этих несчастных людях проявляются в конце рассказа человеческие черты, то они, эти черты, вызывают у читателя не столько уважение, сколько болезненную жалость. Это едва ли тот эффект, к которому стремился автор. В рассказе есть сильные страницы и написан он так, что заставляет верить в описываемое (может быть, К. Воробьёв сам пережил все ужасы плена?). Я не призываю писать рассказы розовой водичкой и бояться жестокой правды жизни, но во всём нужно чувство меры, чувство художественного такта, а в этом рассказе и мера и такт нарушены”³⁵. Полная противоположность Рутько! “Дорогу в отчий дом” следует очистить от “словечек и выражений, имитирующих народную речь, и в основе своей далёких от простой народной речи”. При этом, по настоящему рецензента, нужно сохранить речевой колорит. “После значительной работы над стилем и языком рассказа он мог бы быть включён в сборник”. Больше всего из военных рассказов Евгеньеву понравился “Сильнее смерти”. “Он, по-моему, прост и героичен, но и он нуждается в большой доработке. Прежде всего, его следует значительно сократить и освободить от всех тех недостатков, о которых говорилось выше. Особенно рекомендую обратить внимание на заключительную сцену, где Борис пишет стихотворение – сцена получилась недостоверной, мелодраматичной. После доработки рассказ может быть оставлен в сборнике”³⁶.

Евгеньев, как и Матов, выделил рассказ “Ермак” и назвал неудачным, фальшивым “Матвея Горинова”. “Идейный замысел его не ясен”. Таким же надуманным представился ему и “Синель”, особенно концовка. “В нём есть несколько приятных страниц, рассказывающих о детских годах героев, но конец рассказа, где герой снова встречается с героиней в то самое время, когда она, врач, удаляет ему, уже полковнику, гланды, кажется условным и даже несколько пародийным. При чём тут гланды?! Рассказ слабый, включать его в сборник не следует”³⁷. Но самое лучшее – это “Тени прошлого”. “Читаешь этот рассказ и, сравнивая его с другими, вошедшими в сборник, невольно думаешь: “Вот ведь может же человек!”³⁸

Сам Воробьёв, между тем, считал эту повесть слабой...

Ничего интересного рецензент не увидел в рассказах о детях: “Ничей сын”, “Первое письмо”, “Лёнъка”, “Хи Вон”...

Вывод: книга нуждается в основательной доработке и пересмотре. “У меня сложилось представление, что К. Воробьёв включил в сборник всё, что было у него под рукой, без достаточно критического отбора, а это, разумеется, едва ли можно считать правильным... Но вот вопрос: получится ли полноценный

сборник из пяти-шести довольно случайных по содержанию рассказов, которые могут остаться после пересмотра содержания сборника? Не лучше ли К. Воробьёву повременить, подождать, когда у него наберётся ещё несколько новых хороших рассказов, — лучше тех, что он с недостаточным критическим подходом к себе включил в данный состав сборника”³⁹.

Куда податься бедному заведующему редакцией русской советской прозы, когда у него на столе одна положительная рецензия, другая резко отрицательная, а третья — ни туда ни сюда, допускает издание книги при переработке? И. Козлов пишет в Вильнюс письмо:

Уважаемый товарищ Воробьёв!

*Ваши рассказы прочитали В. Н. Матов и Б. С. Евгеньев. Оба они дали обстоятельный анализ рукописи и пришли к выводу, что издавать её отдельной книгой ещё рано. Сборник надо пересмотреть, пересоставить, над некоторыми рассказами серьёзно поработать*⁴⁰.

Машинопись была отправлена назад вместе с критическими отзывами. Об Арсении Рутько в письме ни слова, но его рецензия подшивается к архивному делу. Неясно только, получил ли Воробьёв её копию. Мне кажется, раз Козлов о ней умолчал, значит, не выслал. Отрицательные отзывы писателя получал и раньше, и один “подарил” своему герою: в рассказе “Гуси-лебеди” редакция журнала поучает Марьянова: “...Если он стремится со временем стать поэтом, то должен раз и навсегда понять, что початки камышей не похожи на факелы, что сизая дымка горизонта — просто туман и пыль великих будней, а романтика вообще — это засаленный салоп, вконец изношенный писателями ещё в прихожей редакции журнала “Нива”. Марьянов садится за повесть о войне и пишет её “сердцем”, “силой любви и памяти он воскрешал прошлое почти до физической яви...”. Дальше возникает один из ключевых мотивов Воробьёва — возвращение героя на родину. Туда, где прошло детство. Сопоставление и столкновение времён с беспощадной нравственной оценкой прожитого.

Сборник “Седой тополь” вышел в 1958 году в Вильнюсе. В него была включена половина из того, что Воробьёв посылал в Москву.

Писатель обращался в издательство и после, но также безуспешно. “В моём столе лежит, например, совершенно шизофреническая “внутренняя рецензия” Зубавина на мои рассказы, которые я пробовал издавать в Совписе несколько лет назад”, — сообщал он литературоведу и критику Юрию Томашевскому в сентябре 1970 года⁴¹. Имеется в виду прозаик Борис Михайлович Зубавин. Интересно бы было найти этот отклик. В архиве Воробьёва нет рецензий, но супруга писателя Вера Викторовна ссылается на них в своих статьях. Стало быть, сам писатель их не уничтожил. Очевидно, близкие Воробьёва решили после его смерти не передавать их в РГАЛИ.

“Вы относитесь к подлинным мастерам стиля и слова...” Глазами читателей

Мне бы хотелось посмотреть на творчество Воробьёва глазами его читателей-современников. Архив писателя открыт и хранится ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства. В советские годы издательства оставляли на самых последних страницах книг короткое приглашение: направлять свои отзывы можно по такому-то адресу. И люди писали. Кто-то выражал своё отношение к прочитанному и, встретив что-то близкое себе, делился сокровенным. Воробьёв казался этим не знакомым с ним людям именно тем человеком, который поймёт, с которым можно поговорить о чем-то субъективно личном. Кто-то спрашивал, что стало с героями, как сложилась их дальнейшая судьба, потому что воробьёвская проза воспринималась как самая подлинная действительность... Кто-то скупое хвалил, кто-то скупое, а порой совсем не “скупое”, ругал, “выковыривая” стилевые неточности и фактические ошибки, упрекал за то, что, например, в киноповести “Я слышу тебя” (действительно у Воробьёва не самой сильной) бывший партизан ностальгически рассматривает “сувениры” — фашистские кресты и медали, а в “Тётке Егорихе”, мол, содержится... пропаганда порнографии. Мне кажется, читательские отзывы — недооценённый вид литературной критики и, помимо этого, особый

документ эпохи. Их анализ уже становился предметом научных исследований⁴². Но я бы ещё хотел понять, что именно вызвало исповедальный отклик, что было в рассказе или повести такого, что заставило читателя взяться за перо или шариковую ручку и написать письмо в той надежде, что оно попадёт в руки автору... Эти люди, мне кажется, в большинстве своём следовали тем наставительным словам, которые в романе Константина Федины "Необыкновенное лето" произносит одна его героиня, Вера Никандровна: "Просматривать, перелистывать книгу – это не чтение. Читать надо так, как слушаешь исповедь человека. Углубляясь в книгу. Тогда она раскроет себя, и ты постигнешь её прелесть. Как лес нельзя узнать, не углубляясь в него, а только поглядев на него издали или пройдясь по опушке, так и книга не принесет тебе радости познания, если ты не научишься углубляться в чтение".

Мне интересен портрет читателя тех лет: кто он был, что искал, почему откликался, как вспыхивало то интимное чувство, когда не правда документальной действительности, а правда художественная (читатель иногда ставил между ними знак равенства, отождествляя Воробьёва и его героев – Сергея Воронова, Алексея Ястребова – с ним самим), именно правда художественная становится куда сильнее и точнее документа. Воробьёвская проза не "фотографична" при всей своей яркой образности.

Тут была одна и та же боль, которая занозой мучила и автора, и читателя, а с нею вместе великое человеческое чувство сопереживания. Оно стало мостиком, той нитью, что связывает незнакомых людей таинственным родством...

Вера Воробьёва вспоминала, что в 1958 году у писателя возник замысел большого романа, который он предполагал назвать "Серебряная дорога". Он написан не был, точнее, "рассыпался" на отдельные самостоятельные повести и рассказы, где действуют одни и те же герои. Его начало стало повестью о детстве. Отрывки печатались в декабре 1959 года в "Страже Балтики", ежедневной газете Краснознаменного Балтийского флота, под заголовком "Серебряная дорога". Затем, в 1963-м, повесть вышла на страницах одиннадцатого номера журнала "Молодая гвардия". Её подзаголовок впоследствии стал заголовком – "Сказание о моём ровеснике", а тогда редакция попросила писателя назвать повесть иначе. Так появился "Алексей, сын Алексея"⁴³.

Читатель В. Смирнов из латвийского города Вентспилса, оставивший в письме только инициал, внимательно следил за "Стражем...":

Тов. Воробьёв!

С удовольствием прочёл главы Вашей повести "Серебряная дорога", опубликованные в газете.

Откликнуться хотелось "зараз", как только прочёл первый кусок. Удержало благоразумие: просто выболтаться перед незнакомым человеком было бы бестактно и глупо. Выждал и прочёл все семь номеров...

Я взволнован и воодушевлен, будто в гостях у хорошего приятеля побывал – умного, вдумчивого, несомненного художника! Тем более заметны главы, что наша газета редко балует читателей хорошим отрывком, рассказом, очерком. Да и не только наша...

Естественность сюжета, а не лубочная яркость речи; скульптурная чёткость образов; удачно найденная деталь и целостность общего (как в песне, где слова не выкинешь) – вот что привлекло меня в "Серебряной дороге" даже в том неполном виде, как она опубликована в газете.

Кстати, будет ли повесть издана?

Если будет (простите мою назойливость), хочется прочесть её всю. Возможно ли это?

Шесть вырезок со своими пометками я отсылаю Вам. У меня осталась одна, последняя, на память. В пометках вы найдёте, что конкретно понравилось мне и что нет. Мнение, конечно, чисто субъективное, потому Вас ни к чему не обязывающее⁴⁴.

К письму прилагались вырезки из "Стража Балтики". Даты в нём нет. Отметим вслед за ним эту "песенность" воробьёвской прозы. Сравнение с песней, воспоминания о песнях не раз ещё встретятся в письмах. "Сказание..." вошло в сборник "У кого поселяются айсты", выпущенный в 1964 году "Советской Россией". С некоторым опозданием книга попала в руки студенту

Воронежского государственного университета В. М. Агулову. Мастерство Воробьёва заключается в том, что он сумел сделать своих героев собеседниками читателя.

Дорогая редакция!

Я прочитал повести и рассказы Константина Воробьёва “У кого поселяются аисты”. Меня потрясла повесть, открывающая книгу, “Сказание о моём ровеснике”. Прочитав её, я не мог остановиться и читал книгу дальше с мыслью найти продолжение этой повести. А потом понял: продолжение этой повести – жизнь, а последующие повести и рассказы – эпизоды из этой жизни, раскрывающие взаимоотношения между людьми.

Книга потрясла меня своей простотой, реальностью происходящего в ней. Взволновала и заставила задуматься. Второй день я мысленно переживаю происходящее в книге, сопоставляя своё восприятие жизни с восприятием её героями книги.

Дорогая редакция! Я очень прошу Вас, передайте, пожалуйста, автору книги т. Константину Воробьёву огромное спасибо за его книгу “У кого поселятся аисты”. Я очень благодарен ему и признателен. Я даже не могу сказать, какое чувство возникло у меня к нему, когда я прочитал его книгу. Ещё раз огромное спасибо и глубокий поклон, Константин Дмитриевич⁴⁵.

На повесть “Алексей, сын Алексея” отозвалась 15 февраля 1964 года читательница Нина Лосева из Куйбышева. Письмо написано синими чернилами на трёх листах тетрадной бумаги в клетку.

Уважаемый Константин Дмитриевич!

Где-то я вычитала фразу: “Писатель принадлежит народу”. Вот почему я посылаю Вам это письмо. Пишу я по поводу Вашей повести “Алексей, сын Алексея”. Давно уж не испытывала я такого удовольствия при чтении художественной литературы. Отчаявшись найти что-нибудь яркое на прилавках, читая книги, чем-то похожие друг на друга, мало-помалу перешла я несколько лет назад на дневники очевидцев, книги натуралистов и путешественников, журналистов и географов. Там каждый пишет о чём-то своём, но в художественном смысле книги те не могут служить отрадой нам, запойным “пьяницам”, не мыслящим ни одной минуты существования без печатного слова.

И вдруг такая радость! Словно букет свежих душистых полевых цветов. Так и запахло горячим летом, травами-медоносами. В зимние дни, холодные и угрюмые, я словно побывала в отпуске в Вами чудесно описанной, бесконечно симпатичной деревеньке. Всё так понравилось! Но больше всего язык повести. Не знаю, скоро ли выйдет “Алексей...” отдельной книгой, хочется поскорее поставить его на полку среди самых любимых, которые останутся моим вникам.

Дорогой Константин Дмитриевич!

Всё очень хорошо в Вашей повести, но есть один недостаток – она мала. Может быть, в этом её основная прелесть, не знаю, как Вы решали, но по этой теме, по героям, по Вашим силам и по моему мнению – здесь нужна большая вещь, может быть, даже не одна. Я бы с большим наслаждением купила в магазине трилогию: 1) “Алексей, сын Алексея”, 2) и 3) – Вы сумели бы ярко и скромно озаглавить. Книгу Вашу читала я, и читала не одна. Дочери 16 лет понравилась. Мальчишкам-озорникам 9 и 12 лет понравилась тоже. Один вопрос у всех: и это всё? А продолжение? А как он будет жить дальше? Кем будет, что будет делать? По возрасту этот человек – наш современник, реальный человек, который где-то рядом с нами жил, работал, боролся со всякой гнилью, воевал в Отечественную войну, сейчас, наверно, страстно борется за мир, за правду, за настоящих людей. Очень понравились нам всем в книге отношения мальчика и деда, рассказ о той неподкупной любви и духовной близости ребёнка и старика, о которых почти ничего не пишут молодые современные авторы. А может быть, ничего не знают об этих красивых и грустных вещах дети, выросшие в яслях, детсадах, интернатах, а деды работают и живут особой, оторванной жизнью⁴⁶.

Читательница просила дальше рассказать, будет ли продолжение. “Книг у нас море, а хороших очень мало, вот зацепишься за какую-нибудь редкую

удачу вроде Вашего “Алексея”, и хочется вжиться в неё надолго”. Она права. Повесть мыслилась как первая часть большого романа. Это я сказал. С Алексеем Ястребовым мы встретимся потом в “Убитых...”. Читательница пишет по горячим следам. Наверное, “Молодую гвардию” они выписывали всей семьёй, если повесть прочла и дочь, и внуки.

Вот ещё один отклик, немного запоздалый. Письмо написано на сдвоенном тетрадном листе в клетку. Старшеклассница Любовь Карцева жила в Москве. О себе она немного сказала в письме. Оно датировано 15 марта 1965 года.

Дорогой Константин Воробьёв!

Простите, я не знаю Вашего отчества. До вчерашнего дня я совсем Вас не знала, а вчера попался мне на глаза старый журнал “Молодая гвардия”, № 11 за 1963 год, и я прочитала Вашу повесть “Алексей, сын Алексея”. Читала, и как будто народную русскую песню слушала. Вот так я хотела сама написать, но не умею, а очень хочется почему-то рассказывать о том, что чувствуешь. Вашу повесть читала, как будто сама писала, и могу, как стихи, перечитывать её строчки. Может быть, это покажется Вам странным, ведь Вы писали о своём ровеснике, а мне ещё только семнадцать лет. Для меня Ваша повесть – это не “Сказание” о Вашем “ровеснике”, а сказание о моей Родине.

Не знаю, зачем я написала это письмо. Сказать “спасибо”? Это не то. Просто мне очень захотелось Вам написать, но немножко страшно, что Вы будете читать это письмо. Вы – умный писатель, а я глупая девчонка, которой ко всему прочему грозит двойка по математике.

Я буду очень счастлива, если Вы мне напишете. Ведь Вам наверняка есть что сказать мне. А если Вам будет смешно, когда будете читать это письмо, то это тоже хорошо⁴⁷.

Ну вот опять, и уже от другого человека, слышим слова о песне. Наивные строки, но как они искренни! Человек другого поколения, из мегаполиса (наверное, Москву 1960-х всё равно можно назвать так) находит здесь что-то для себя очень близкое. Думаю, с литературой у “глупой девчонки” было вовсе не так уж плохо, как с математикой. Ведь именно этот предмет и призван, помимо семьи, воспитывать то самое чувство Родины, о котором говорится и в этом нескладном письме и в последних строках самой повести... Задача литературы и состоит в жизнестроительстве, иначе – в формировании жизненных целей и ориентиров, всего того, на чём основано духовное “самостоянье человека”. Оно невозможно без осознанного отношения к тому, что зовётся Родиной.

Что ещё мы тут видим? Старшеклассники без всякого учительского совета читают “толстые” журналы. Умеют без посторонней помощи определить основную идею произведения. Стремятся к общению с писателем. Черта времени, когда печатное слово ценилось.

В 1962 году журнал “Нева” опубликовал повесть “Крик”. О том, что действительно легло в основу кульминационного эпизода, рассказала Вера Воробьёва в воспоминаниях “Розовый конь”: “Ещё в 1943 году Константин Дмитриевич рассказывал мне о том, что их рота стояла в какой-то деревне под Москвой. Они получили приказ спешно покинуть её. В это время начался миномётный обстрел. И вот, когда они уходили, вдруг услышали душу раздирающий крик. По селу бежала девушка с распущенными волосами, обезумевшая от страха. И в это время мина разорвалась рядом с нею. Девушка упала. О её судьбе они так и не узнали... Он говорил, что, несмотря на ужасы войны и плена, которые ему удалось увидеть и пережить, самое угнетающее впечатление оставили два события: этот крик и страшная картина на шоссе на дороге, когда они отступали. Два чёрно-красных пятна, одно большое, другое маленькое. Это было всё, что осталось от раздавленной женщины и ребёнка, по которым прошли танки и пехота”⁴⁸.

В том же 1962 году на “Крик” отозвался Юрий Бондарев, опубликовав в десятом номере “Нового мира” рецензию “Повесть о любви”. Отмечая то, что можно расценить, на его взгляд, как некоторую слабость: лёгкие сюжетные ходы (“беллетристичность”), иногда – отсутствие мотивировок, он подчеркнул под конец: с Воробьёвым надо говорить, как с серьёзным писателем, без обидной снисходительности к недостаткам. В феврале 1963 года волевым

решением Твардовского в том же журнале была опубликована повесть “Убиты под Москвой”.

В 1964 году издательство “Советская Россия” выпустило сборник Константина Воробьёва, название которому дал один из самых пронзительных его рассказов, помещённый там последним, “У кого поселяются аисты”. Кроме него сюда вошли “Сказание о моём ровеснике”, “Убиты под Москвой”, “Крик”, “Почём в Ракитном радости”, девять рассказов: “Гуси-лебеди”, “Подснежник”, “Синель”, “Настя”, “Белая ветка” и другие. То, что сурово было отвергнуто “Советским писателем”.

Снова пошли письма.

Радужный и доброжелательный житель Ленинграда Николай Логвинович Васильчиков. Почерк у него очень ясный, светлый, ровный и не ухабистый, при этом простой, как сама дорога. Автор оставил под письмом, кроме адреса, свои телефоны, служебный и домашний. Он написал Воробьёву 25 октября 1964 года с двух сторон двойного тетрадного листа в клетку. И тоже отмечает его “песенность”...

Здравствуйте, уважаемый Константин Дмитриевич!

Простите, что я беспокою Вас, но я просто не мог не написать Вам.

Кто-то из писателей, по-моему, М. Горький, сказал: “Хорошая книга – это большой праздник”. Так вот, у меня сегодня тоже большой праздник – я прочёл Вашу книгу “У кого поселяются аисты”. Повести “Убиты под Москвой” и “Крик” я читал раньше, а вот повести “Сказание о моём ровеснике”, “Почём в Ракитном радости” и все помещённые в книге рассказы я прочёл впервые.

Особенно большое впечатление на меня произвела повесть “Почём в Ракитном радости”. Может быть, это потому, что я сам родился и долгое время жил в селе, или потому, что уж больно современна тема повести, но только каждое Ваше слово находит отзвук в моём сердце.

Я родился в средней полосе России, и так же, как и Вы, могу сказать, что унёс оттуда солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущих акациях, запахи мяты и, конечно, песни...

Песни!.. Они в моей памяти, так же как и у Вас, улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.

Я не литературный критик, а только инженер-дорожник, и совсем не ставлю цели сделать в этом письме подробный анализ Вашей повести. Я только хочу сказать большое Вам спасибо, Константин Дмитриевич! Своей книгой Вы очень порадовали меня, да и не только меня, а тысячи своих читателей. Вы действительно хороший писатель!!! Сейчас у нас в стране выходит очень много книг, но такая, как Ваша, это редкость, это действительно настоящий праздник.

К сожалению, в книге нет Вашей автобиографии, но я почему-то уверен, что Вы родились где-то в центре России, скорее всего, в Курской области.

Я не знаю, что у Вас написано кроме этой книги, но я очень прошу Вас, помогите мне и подскажите, где можно приобрести Ваши книги, в том числе и “У кого поселяются аисты”.

Я сейчас подбираю личную библиотеку, но, к сожалению, этой книги не могу достать, так как её уже нет в продаже. Очень хотелось бы получить от Вас хотя бы маленький ответ на это письмо.

О себе писать много не буду. Мне всего только 30 лет. Родился и жил до 18 лет на Брянщине. Окончил строительный институт, работаю и живу в Ленинграде.

Если Вам придётся быть в Ленинграде, то очень прошу побывать у нас. В нашей семье Вы будете желанным гостем⁴⁹.

Минули годы, несколько десятков лет, и Ленинград переименовали, а у автора, который, кстати, точно угадал, где родился Воробьёв, вышла в Питере в 2006 году своя собственная книга – “Дорога длиною в полвека”. Жалко, что Николай Васильчиков не увидел её. Он умер 27 декабря 2005 года, а книгу – кропотливую летопись о дорогах и дорожниках Ленинградской области с документами и воспоминаниями, с обилием фотографий и биографических справок – выпустили в свет коллеги и соратники Николая Логвиновича. На снимках я вижу его внуков. Хочу думать, что они тоже знают книги Воробьёва...

Читательские отклики совершенно расходятся с отзывами “профессиональных” литераторов из “Советского писателя”. То, что им казалось надуманным и сентиментальным, рядовой читатель принимает безоговорочно. Он безусловно верит написанному, будто всё так и было на самом деле. В письмах идут вопросы: какой сложилась дальнейшая жизнь у Миши-Подснежника – сына партизанского отряда, и где он в данное время, встретились ли Марьянов с Таней из рассказа “Гуси-лебеди”? “Хочется ото всей души пожелать этим людям всего наилучшего в ихней жизни”, – писал Воробьёву в декабре 1964 года простой шофёр Николай Масленников из села Северное Новосибирской области, будто речь шла о реальных людях⁵⁰. Выходит, рецензенты из “Советского писателя” совершенно не понимали советского читателя. Они жили в особом мире, который не соприкасается с читательским...

Держу в руках письмо, написанное аккуратным, почти каллиграфическим, почерком, чёрными чернилами на двух листах тетрадной бумаги в клетку. Так только на чертежах писать. Вверху стоит вместо заголовка: “О книге К. Воробьёва “У кого поселяются аисты””. Автор – конструктор турбомеханического завода Нина Константиновна Демаш из Полтавы. Это из её отзыва на “Аистов...”:

Не умею красиво выражать свою мысль, напишу как могу. Я очень люблю произведения А. П. Чехова. Много раз и всё его читала, люблю его за большую жизненную правду, именно правду, пусть она печальная, смешная, горькая – но правда, всё что и бывает в жизни, ему доверяешь, а читаешь с увлечением и захватывающим интересом. Настолько я его уважаю, что если называю своего младшего сына Анатолия с особым уважением – то зову его Антоном, хоть знаю, что это не одно и то же. <...>

В книге “У кого поселяются аисты” я читала такую чистую, жизненную, интересную правду, что в каждом рассказе чудилось, что это биография автора, а не художественное произведение, что это очень хорошее письмо мне от дорогого человека, а кое-где прямо обо мне, о моём братишке или даже о моих детях, если б они жили полвека назад, – пишут. Как подробно, тонко и замечательно пишет Константин Дмитриевич о характере босоногих мальчишек, о чувствах детей, как он их любит, как знает природу, быт, язык простого человека, деревни, преподносит нам, читателям, в доступном замечательном изложении. Большое искреннее спасибо за эту книгу и автору К. Д. Воробьёву и издательству⁵¹.

А вот письмо на сдвоенном листе белой почтовой бумаги, в левом верхнем углу рисунок с изображением ворот и арок Стрыйского парка во Львове. Оно также пришло на адрес “Советской России”. Автор указывает, что она живёт во Львове, по профессии химик, окончила университет, сейчас на пенсии. Текст написан неровным почерком, неуверенной рукой, косо – каждое слово, наверное, давалось читательнице Галине Мануйловой с трудом, блеклыми синими чернилами.

Читая эту книгу, получила большое эстетическое наслаждение. К. Воробьёв – крупный и умный художник слова. Хорошо знающий жизнь, пишет красивым русским языком и действительно так, что “словам тесно, а мыслям просторно”. Книга читается легко и интересно, а образы, созданные писателем, встают перед глазами, как живые.

Особенно тепло и ярко, с большой любовью автор создаёт детские образы в рассказах “Подснежник”, “Синель”, “Настя” и других.

Я ничего не слышала раньше об этом авторе, по моей “заявке” в библиотеке ничего не нашлось. Случайно выбрала эту книгу (понравилось заглавие) – и как алмаз нашла⁵².

Из рассказов здесь упомянуты те, что решительно отвергли Матов и Енгеньев. Примечательно и короткое замечание о языке. Воробьёву писали и школьники, и пенсионеры, работники-шофера и техническая интеллигенция, жители Сибири и Западной Украины, Молдавии. Его проза объединяла всех, независимо от возраста и профессии.

В 1966 году журнал “Новый мир” отклонил повесть Воробьёва “Друг мой Момич”, посвящённую коллективизации. В издательстве “Московский рабочий” вышел сборник рассказов “Дорога в отчий дом”, в подавляющем большинстве

отвергнутых в своё время “Советским писателем”. “Момич” в сокращённом варианте увидел свет в 1967-м в вильнюсском издательстве “Вага” под названием “Тётка Егориха”. Читатель Юрий Николаевич Кузовкин из Москвы откуда-то знал об этой истории. Его послание написано на новогодней открытке: Дед Мороз с большим мешком едет в санях, запряженных лошадкой.

Сердечно поздравляя Вас с Новым годом, желаю Вам самого доброго, хотя хороший (настоящий) писатель имеет мало шансов на доброе отношение к себе. Но пусть вопреки историческим тенденциям Ваша жизнь будет усыпана плодами Вашего труда.

Прочитал “Тётку Егориху” – бывшего “Момича”. Книга отлично написана. Отлично! Конечно, хирургическое вмешательство подспудных сил видно, особенно в конце, но талант, сколько его ни урезай, всё равно своё берёт.

Я честно, искренне говорю, что учусь худ[ожественному] языку по Вашим книгам. Особенно – “Убиты под Москвой”. Чудо! Целая школа художественной словописи. Это один из гвоздей, которыми распята современная традиционно-пресная литература⁵³.

В одном из писем Юрий Кузовкин рассказал о себе: родился в 1925-м, в 1942 году ушел добровольцем на фронт и воевал до конца войны, ни ранен, ни контужен. Профессия – учитель. На одном из его писем есть шуточная приписка: “Вас. Белов, конечно, хорошо, но К. Воробьёв лучше”⁵⁴. Судя по этому письму от 10 сентября 1968 года, Воробьёв ему отвечал.

В 1971 году в журнале “Наш современник” с сокращениями была напечатана повесть “Вот пришел великан”. Тогда же её издали в Вильнюсе – отдельной книгой небольшого формата, но с твёрдой обложкой и даже с цветным “супером”. В основе сюжета классический любовный треугольник: писатель по фамилии Кержун приходит работать в издательство, где знакомится с замужней женщиной, её зовут Ирена. Мужа она не любит. Их отношения становятся известными. В конечном счёте герои решают расстаться. Ирена считает необходимым сохранить семью ради подрастающей дочери. “Мне... хотелось провести там мысль, – писал Воробьёв о “Великане” в письме Юрию Томашевскому, – что не стало личности, индивидуальности, что велик и подл страх личной смерти у сов[етского] гражданина, что он не способен на подвиг и жертву, что велика его готовность на пресмыкательство” и т. д. и сетовал, что всё это выпало⁵⁵.

Воробьёв получил немало откликов. С выходом этой повести началось его знакомство и переписка с критиком Еленой Джичоевой, автором работ о Виталии Сёмине, Юрии Гончарове, Евгении Носове, Андрее Платонове⁵⁶. Давайте ознакомимся с теми письмами, где, помимо эмоций, историй о том, как удалось отыскать книгу или журнал, подсчёта опечаток, содержится и критический разбор. 14 ноября 1971 года Воробьёву написал Эдуард Абрамович Паккер. Конечно, мне стало интересно, кто он, и я попробовал “погуглить”. Встретился Роберт Абрамович Паккер – конструктор артиллерийских снарядов, лауреат Сталинской премии 1951 года. Похоже, что брат... По читательскому письму в любом случае видно, что к Воробьёву обращается человек уже немолодой. Буквы будто завязаны на узел, тесно жмутся друг к другу, интервал между строчками узкий. Исправляя, автор не зачёркивает, а тщательно замарывает написанное. Получается совершенно чёрный квадрат или прямоугольник на строке. Письмо Эдуард Паккер написал в Вильнюс на адрес местной организации Союза писателей. Оно длинное, но его не хочется сокращать.

Уважаемый Константин Дмитриевич!

Беспокою Вас своим читательским откликом на повесть “Вот пришёл великан”.

Обращаюсь к Вам по праву читателя, для которого эта повесть оказалась внутренне необходимой, задушевной, как говаривали в старину...

Пишу Вам сразу же после прочтения повести, доверяясь первым свежим впечатлениям от неё (уместен ли здесь предлог “от?”), которые обычно не обманывают меня, но, возможно, нуждаются в каких-то поправках...

Вашу повесть я отношу к числу немногих подлинных произведений нашей прозы последнего времени. Я думаю, нет необходимости называть “обойму” авторов и заглавий. Это сделают гораздо лучше меня квалифицированные

специалисты. Кстати, первое упоминание о повести уже имеется в обзоре критика Вс. Сурганова (“Литературная газета” от 13/X 71 г.). Будем считать это многообещающим началом. Не хочу делать литературных прогнозов, но предвижу и появление критических разборов повести и, может быть, даже литературной полемики вокруг неё, чего она вполне заслуживает.

Чтобы не быть анонимом, пусть не на месте, но всё же вынужден представиться. Отношусь к поколению “отцов” (возраст – 65 лет), в недавнем прошлом – преподаватель литературы. . .

Теперь, наконец, перехожу к существу дела.

Бывает простота хуже воровства, есть простота синонимичная правде. В Вашей повести с её бесхитростным, незатейливым сюжетом, с её будничностью и обыденностью, с её пристальным вниманием к мелочам повседневной жизни и характеры, и обстоятельства достоверны и убедительны. Вероятно, Вам пришлось выслушать упрёки в бытовизме, описательстве и т. п. Но если это действительно имело место, стоит вспомнить слова тургеневского Базарова, что, мол, человек проник в тайны вселенной и познал, как каждый атом трепещет, а вот понять, как другой человек сморкается, он не в состоянии. На мой взгляд, Ваша повесть уже самой атмосферой жизни провинциального города (конечно, современного и, конечно, советского) помогает понять все особенности психологии и поступков персонажей. . . Пусть в решении основного конфликта чувствуется какая-то психологическая недосказанность – я отношу это за счет вынужденных для Вас сокращений текста – но понимаешь, по-человечески понимаешь, что в данной конкретной обстановке Ирена, например, опутанная тысячами порой неуволимых связей – случайных, служебных, семейных, бытовых – не могла сделать решительного шага: порвать с Волобуем, начать “новую жизнь” с Кержуном. . . И разве только Алёнка, т. е. чувство долга перед дочерью подрезало ей крылья? Ирена, конечно, человек незаурядный, но всё же рядовой. В реальной действительности далеко не каждый способен стать хозяином своей судьбы. . . Мало ли какие страхи, опасения, недостаточная уверенность в себе и, может быть, в своём возлюбленном толкнули её на унизительное сохранение “статус-кво”. . . И боязнь материальных лишений (боязнь не только за себя, сколько за дочь) тоже, видимо, сыграла свою роль. Что же в итоге получается? Человек, а ещё советский человек – раб обстоятельств? Я не сторонник теории “такова жизнь” (т. наз. “селявивщиков”), но, по-моему, у нас как-то недооценивают обстоятельства, определяющие людские поступки и отношения.

Единство “микромира” и “макрмира”, которое я нахожу в Вашей повести, во многом определяет и манеру повествования, и способы изображения действительности. Я не могу представить себе Кержуна без его “Росинанта”, Волобуя без его “Волги”. Художественно необходимы все эти загородные поездки, метания по городу, телефонные звонки. . . Но, чтобы поверить в чувства и переживания героев, надо вместе с ними и порой их же глазами видеть, наблюдать, ощущать (преимущественно через призму восприятия центрального героя повествования) весь окружающий их мир, от зелёной зоны до душных закутков издательства, от телефонной будки до особняка на Перовской (если не ошибаюсь). Может быть, и есть некоторое излишество в детализации вещного мира, но в большинстве случаев она (детализация) оправдана или сюжетной, или психологической ситуацией (практически они тоже ведь в произведении нераздельны). Поэтому вполне примиряешься с описанием яств и питий, даже с точным ценником на них. Правда, порой почему-то вспоминаются то Ремарк, то Хемингуэй. . .

Несколько слов о Кержуне. Почему несколько? Я и так злоупотребляю Вашим вниманием, да ведь и его образ, несомненно, главная авторская удача. В художественном отношении в нём всё бесспорно. Он композиционно, что ли, фокусирует в себе все узлы сюжета, стягивает все нити повествования, а главное – объединяет лирическое и сатирическое начала (во мн[ожественном] числе), и это относится в равной степени как к его внутреннему миру, так и ко всему окружению (окружающему). Достаточно сказать, что вся атмосфера местного издательства с его деловым бездельем, трафаретностью, рутиной и косностью, с его Дибровыми, Владыкиными, “Вераваннами”, Певневыми и прочими ревностными службистами сатирически, но без нажима, воспроизведена им, т. е. дана через его восприятие. А лирическое начало вступает в свои права, когда речь идёт об его отношениях с Иреной или

когда он раздумывает о себе... Я, конечно, повторяюсь, но всё же укажу, что и городской, и природный пейзаж приобретают во всех случаях особую кержунговскую, что ли, окрашенность (окраску?)... Вот тебе и несколько слов! Приходится продолжать.

Вы, естественно, далеки от приукрашивания своего героя и от любования им. В нём хорошие задатки, талантливость его несомненна, так сказать, порядочность тоже не возбуждает сомнения, но в нём я заметил и самоуверенность молодости, и напускной цинизм, который порой необходим в борьбе с мещанской стихией, но который подчас переходит в браваду и представляется несколько излишним в стычках с несчастной и, в сущности, жалкой “Вераванной” (я не говорю, что она безвредная). Мы, т. е. читатели, спокойны за его будущее. Бывший детдомовец, он мастер на все руки, он нигде не пропадёт и т. п. и пр. И самокритичен он в достаточной мере. И всё же чего-то ему не хватает. Может, наименее убедительно он дан в сфере своих чувств, верней, в сфере их проявления? Я, например, почувствовал некоторую искусственность в эпизоде, когда он сам роняет скупые мужские слёзы и утирает слёзы своей возлюбленной...

В его отношениях с Иреной, да и не только в них, видна какая-то двойственность. Её природа для меня не вполне ясна. Почему всё-таки в решающий момент он “пощадил” её и Алёнку, верней, во имя Алёнки не проявил должной настойчивости, заранее зная, на какую мучительную жизнь обрекла себя его возлюбленная. Возможно, не поняв этого, я не понял в повести самого главного? Если можете и хотите, ответьте на мой вопрос в ответном письме, на получение которого я всё же рассчитываю.

И вот ещё что меня интересует. Нет ли у Антона Кержуна сходства с некоторыми хемингуэевскими героями? Не в силу сходства каких-то там литературных влияний, а по причинам объективным, т. е. коренящимся в условиях самой жизни, человеческих отношений.

Вашей наибольшей заслугой применительно к Кержуну я считаю умение сохранить необходимую дистанцию между автором и героем. Сделать это в повести с центральным лирическим героем-рассказчиком неимоверно трудно. Но это чувствуется. Может быть, эта “разность” (по словам Пушкина) наиболее ощутима там, где вступает в силу самокритика героя как своего рода особый вид авторского комментария? Вероятно, ожидаемый ответ требует скрупулёзного вдумчивого анализа повести, на что я, конечно, не претендую... И последнее, которое для Вас лично может стоять и на первом плане (а мне лично оно вовсе не кажется второстепенным, последнее – по порядку номеров). Если у нас теперь много говорят о языке художественных произведений, то Вы, вероятно, относитесь к подлинным мастерам стиля и слова.

Во всяком случае, требовательность к слову у Ваших героев – Кержуна и в какой-то мере Ирены – повышенная. Я просто не подобрал примеров, но, не говоря уже о точности словоупотребления, по-моему, в повести, в монологах, диалогах, пейзажных зарисовках слово действительно выступает как первоэлемент литературы по своей выразительности и пластичности. Больше того. Требовательность к слову становится в повести важнейшим мериллом нравственной сущности человека, “косноязычие” приравнивается к духовному убожеству, по крайней мере, выступает как показатель мещанской тупости и ограниченности, рутинности и косности. Вот почему творческое бессилие и скудоумие Вераванны проявляются в её приверженности к штампам, в незнании богатств народной речи, даже боязни незнакомых слов (“рундук”, пресловутая “труперда”). И герои вправе позволить себе такую “роскошь”, как игра словом, хотя бы через его переосмысление. На мой взгляд, подлинная или вымышленная (к стыду своему, не знаю) фамилия Коперника – Покорник – в её прямом, нарицательном, звучании используется как средство характеристики Кержуна, как почти синоним его тактики отступления и примирения с жизненными трудностями...

На этом я и кончу своё непомерно затянувшееся письмо. Приношу извинения за сбивчивость изложения, косноязычие (в смысле беспомощности подобрать необходимые синонимы), злоупотребление кавычками, обилие помарок и недостаточно разборчивый почерк.

Шлю Вам самые наилучшие пожелания. Выражаю надежду, что в книжном варианте Ваша повесть приобретёт свой настоящий вид и будет опубликована полностью без купюр⁵⁷.

Воробьёв ответил читателю. Сохранилось ещё одно письмо Паккера, от 30 декабря 1971 года, написанное уже другими, чёрными, чернилами. Он оценивает присланную книгу: она издана добротно, сказались давние издательские традиции Вильно. “Всё более утверждаюсь во мнении, — признаётся читатель, — что Ваша художественная стихия — сложный сплав юмора в самых разных его проявлениях и... лирики (лиризма). Впрочем, сказанное мною звучит общо и применимо по крайней мере к десятку современных наших писателей”⁵⁸.

А вот письмо издалека, из села Мошана, Молдавия. Автор, Нина Лупэческу, тоже учительница. Написано на сдвоенных листах тетрадной бумаги в клетку⁵⁹. Дата: 23 марта 1972 года. Конверта нет, поэтому неясно, на какой адрес его отправили.

Уважаемый Константин Дмитриевич Воробьёв!

Я учительница математики и завуч маленькой восьмилетней школы одной деревушки Молдавии. С Вами “познакомилась” посредством журнала “Наш современник”. Его девятый номер за 1971 год попал у нас (так в тексте, правильнее: к нам. — В. Б.) совершенно случайно. Ещё тогда в октябре я заявила в учительской, что я открыла нашего советского Хемингуэя, и что он неправдоподобен. Почему Хемингуэя? Во-первых, Ваша повесть живо заинтересовала всех, кто только её прочитал. По-моему, это бывает только с произведениями общепризнанных писателей. Вы напомнили мне Хемингуэя краткими, очень удачными диалогами, лаконичностью изложения, Вашей симпатией к рыбакам и охотникам, пишете от первого лица и мысли у Вас текут так же свободно и естественно, как будто пишутся сами. Мало кто осмелился взять себе в герои писателей.

Мне, конечно, в литературные критики не записываться, и трудно мне будет выразить то, что хотелось бы сказать. Один наш молдавский поэт (Эминеску) писал, что “легко сочинять стихи, когда сказать тебе нечего” (перевод мой). А мне почему-то очень много хотелось сказать Вам. Например, я хотела бы поделиться с Вами мыслями о том же Хемингуэе. Сердцем я понимаю, что он велик, очень талантлив, очень смел, оригинален, необыкновенно отважен и глубоко человечен, но умом я не до конца его постигла. Я учительница, и считаю, что составила себе определённые взгляды о хорошем и плохом, но Хемингуэй меня встревожил и озадачил. Я не могу понять, как могут его герои так много пить, оставаясь неалкоголиками, почему им совершенно чуждо чувство верности (я имею в виду в любви), многое я ещё не “переварила” в голове. Может, мне не следовало это сказать. Я ещё не знаю, как Вы примете это моё письмо. <...>

Нужно прерваться. Думаю, Воробьёв получил письмо, когда работал над повестью “...И всему роду твоему”. Потому что в набросках к ней остались слова, заимствованные именно отсюда. Мнение молдавской учительницы писатель “подарил” своей героине. Сравним, глава “К беседе с Ларой”: “Она говорила о Хемингуэе, что не может понять, как могут его герои так много пить, оставаясь неалкоголиками, почему им совершенно чуждо чувство верности в любви”⁶⁰. Дальше следует обмен короткими репликами об американском писателе и отзыв о героях фильма “Вертикаль” (тема, которой уже нет в письме): “Совершенно бездарное, а главное — ненужное, смешное, отвратительное пыженье. Обездоленные во времени! Ни войны, ни трудностей, ни борьбы, и вот выдумали — лезть на гору, где уже побывали до них пятьсот тысяч таких гавриков”⁶¹. Звучавшие здесь песни Высоцкого писателя совершенно не пленяли. Однако вернёмся к письму.

Меня раздражает, когда читаемое звучит банально, фальшиво, когда никак не поверишь тому, что там написано. К сожалению, это встречается чаще в современных произведениях, наверно, просто потому, что плохие книги не выжили и не могут до нас дойти. Их читатели только те их современники.

В этом смысле Ваша повесть была для меня большим сюрпризом, огромной радостью, обновлением и очищением моей души, как то чувствуешь перед настоящим произведением искусства. Я восхищаюсь ею, как каким-нибудь очень красивым уголком природы или журчанием воды, или очень хорошей му-

зыкой. Всё это я почувствовала, когда прочла первую часть вашего “Великана” и, чтобы подольше сохранить это необычайное настроение, я решила ничего не читать, пока не выйдет её вторая часть.

Дальше Нина Лупэческу пишет, какое неприятие вызвали у неё рассказы Шукшина из девятого номера “Нашего современника”, объединенные общим заголовком “Характеры”. Они шли следом за “Великаном”. Её покорила фраза из “Ораторского приёма”, где героиня, буфетчица Галя, была охарактеризована как “аппетитная женщина”.

Мне очень нравится Ваша Ирена. Она умна и чутка. Мне нравится, что Вы не поддерживаете, будто бы она очень красива. Это наводит на приятную мне мысль, что можно “очень” любить и не очень красивых женщин. Она не идеальна, но она не может не вызвать симпатии. Её страх перед всеми за свою большую тайну, незаконную любовь естественен и трогателен. Она не может, как, впрочем, не может никто другой (кроме Хемингуэя) игнорировать условности. Либо живя среди людей надо обязательно считаться с их взглядами на мораль, и это так называемое общественное мнение гласит, что жене надобно быть верной мужу. То, что она никогда не познала любви и что она, эта жена, имеет право (моральное право) узнать её, люди не понимают или не хотят понять. Такое никогда не прощается, особенно женщинам.

Она, Ваша Ирена, мать, и она остаётся ею! И ей столько же лет, сколько и мне, как тут её не полюбишь. И она “детприёмовская”, и очень нужна ей настоящая любовь и ласка.

Уже я не могу сказать как, конечно, мне мил Ваш Кержун. И его человечностью, смелостью, эрудицией, и равнодушием к красивой одежде. А главное, он реален, верится, хочется верить, что такие люди есть, и их много. Вообще, по-моему, все герои у Вас совершенны. Ново, что Волобуй вызывает не ненависть, не презрение, а сострадание. Он любит Ирену и готов её прощать. Но это не госпожа Бовари. Он по-своему борется за Ирену. Удачен конец Вашей повести (а Воробьёву хотелось, чтобы Кержун в конце застрелился. — В. Б.). Конечно, счастье. Оно всегда недолговечно. Ирена не могла пожертвовать дочерью ради своей любви. Но всё, что было, было не напрасно. По-моему, человек добрее, лучше, когда ему есть что вспомнить хорошее. И тогда ему легче жить на свете и легче преодолеть трудности.

Я уже сказала кое-что о форме. А Ваш лиризм, что ли, Ваши “улыбки через слёзы”, Ваше меткое слово, полуирония понятны, близки мне, неоченимы. Создаётся впечатление, что слова не написаны, а текут и текут из неведомого золотого ручейка.

И когда мне трудно, и когда хорошо, я снова и снова возвращаюсь к Вашей повести и перечитываю её, иногда некоторые части, иногда всю, и это помогает мне, как лекарство. Мы (учителя нашей школы) долго искали Ваши произведения, но никто ничего не нашёл. Я не верю, что они не издавались книгами. По правде говоря, меня удивила Ваша скромная “литературная” биография. По-моему, она могла бы быть богаче, намного богаче.

Я ещё раз прошу Вас простить мне мою “степную отсталость”. Я ведь всего-навсего молдаванка, родившаяся и жившая в деревне. У меня, наверно, много ошибок. Я могла бы обратиться за помощью к учительнице русского языка. Но что-то меня остановило. Я долго раздумывала, писать или не писать.

Я преклоняюсь перед величием Л. Толстого, Чехова, Есенина, конечно же Хемингуэя. Но они были для меня далёкими звёздами. Мне даже в голову не приходило, что кто-то к ним осмелился дотрагиваться. А тут появился Константин Воробьёв, чем-то необыкновенно мне близок, и живёт где-то, и ходит по той же земле. Как удержишься, не поблагодаришь его за то, что он есть, что он твой современник и твой соотечественник, и умный человек и талантливый писатель.

Я желаю Вам здоровья и славы, большой, большой славы, той, которой Вы очень достойны.

Воробьёв ответил на это письмо. Видимо, он что-то написал о своём отношении к Хемингуэю. Сохранилось и второе письмо Нины Лупэческу. Она взяла два сдвоенных листа тетрадной бумаги в клетку, положила их вертикально, написала ответ. Как ни странно, именно это, второе, письмо вошло

в качестве приложения в пятитомное собрание сочинений Воробьёва, а первого, где сказано самое важное о повести, нет. Нина Лупэческу пишет, как преобразилась её страна, о женщине в досоветской Молдавии, о том, что ей хотелось бы увидеть глазами Воробьёва учителей. “Меня заинтересовала одна Ваша мысль насчёт серого цвета, и я подумала, что многие дети становятся на плохой путь, именно избегая серого цвета, они предпочитают ему любой, даже чёрный. Им претят наши полузаслуженные тройки, учёба им становится неинтересна, и они ищут удовлетворений на стороне. Что они находят, уже известно. Говорят, ученик – это факел, который надо зажечь. Но как зажечь этот “серый факел”, как убедить их, что тройку тоже можно уважать и надо стараться получить её заслуженно – это я не знаю”⁶².

Автор следующего письма – читатель Л. Завельский из Инты. Дата: январь 1977 года. Воробьёва уже нет в живых. Письмо написано на сдвоенных листах тетрадной бумаги в клетку, расположенных вертикально, синими чернилами. Почерк округлый, прямой, с петельками, неторопливый. Буквы выведены жирно. Вверху по центру автор проставил номера страниц. Письмо адресовано Галине Павловне Высоцкой. В прошлом москвичка, выпускница МГУ, она работала в той же Инте редактором на радио. В пятый том курского собрания сочинений Воробьёва вошло её письмо писателю. Получив этот отклик, она, очевидно, и переслала его Вере Викторовне Воробьёвой, с которой поддерживала связи.

Очень сильное впечатление произвела на меня повесть “Тётка Егориха”.

Как Вы сами понимаете, я не профессиональный критик. Просто мне хочется поделиться с Вами некоторыми мыслями как читателю с читателем.

Я давно уже заметил, впрочем, это закономерно, что пишущий о детях – всегда добр. Какая-то вещь, написанная с любой степенью таланта, но написанная о детях с любовью, всегда изобличает человека доброго, человека благородного. А если к тому же написанное о детях искрится подлинным талантом – это Писатель.

Кажется, Лев Кассиль выразил мысль о том, что если книга, написанная для детей, читается с интересом и взрослым читателем, значит, это хорошая детская книга. Повесть Воробьёва “Тётка Егориха”, конечно, не совсем, а и скорее всего не детская книжка, но школьник её будет читать с неослабевающим интересом. Однако, как мне кажется, чтобы прочувствовать глубину и драматичность этой вещи, конечно, нужна житейская мудрость взрослого человека.

Отождествлять героя произведения, литературный образ с автором – дело сомнительное, даже если книга написана от первого лица, хотя у героя что-то будет, конечно, от самого автора. Ведь это художественное произведение, а не биографические записки. Но несомненно одно, “Тётку Егориху” мог написать лишь человек, сам прошедший нелёгкий жизненный путь, вкусивший горький хлеб обездоленного детства, человек, прочувствовавший всю глубину, весь драматизм этого тяжёлого и прекрасного времени.

Меня поразило, с каким мастерством, буквально несколькими штрихами, в двух-трёх словах Воробьёв набрасывает не просто портрет героя, а нечто большее, почти его характеристику. Ну вот он, Момич: “Жеребец чёрный, как сажа, и сам мужик тоже чёрный – борода, непокрытая голова, глаза. Белые у него только рубаха да зубы”. Здесь всего две строчки, но я вижу этого Момича с широкой спиной, могучими, как наковальни, лопатками. А какая тонкая и мудрая мысль, я бы сказал, стержневая: “... мне тогда было десять, а Момичу пятьдесят. Тогда мы как бы одновременно, но на разных телегах въехали с ним на широкий древний шлях, обсаженный живыми вехами наших встеч и столкновений...”

У каждого человека своё восприятие, темперамент, своя мера чувств. Наверно, нужно быть большим художником, чтобы заставить самых разных людей волноваться, переживать, страдать, быть может, вместе с героями книги. Такая власть дана не каждому. Глубоко убеждён, что “Тётка Егориха” никого не может оставить равнодушным. Судьба Саньки, его детство ассоциируется у меня с моим, глубоко личным, переболевшим. Я многое вспомнил, и пусть наше детство прошло в разное время, я глубоко благодарен за это автору.

Воробьёв, на мой взгляд, обладает великолепным чувством времени. Вот Санька, а вот “маленький генерал” – суворовец из “Картины души”. Два

мальчика. Они очень разные, и время разное, и ситуация. И всё же они родные. Это очень важно, по-моему.

Воробьёв очень страдает, когда детям плохо. Вспомните: “Словить пескарей было трудно, потому что всё уплывало – и ракитник, и речка, и берег, и я сам...” И в рассказе “Штырь” Верхованцев, исступленно: “...Гибнут дети! Вы понимаете, дети!...” Какая трагедия – голодают дети. И Воробьёв, как, может быть, никто другой чувствует это и страдает и заставляет страдать читателя.

К. Воробьёв всегда знает то, о чём пишет. Стоит вспомнить лишь, как он описывает коммуны в соседней деревне, жизнь коммунаров, жизнь Саньки. Когда вчитываешься в эти строчки, невольно думаешь, какие нужны были титанические усилия сотен тысяч таких вот Лесняков (фамилия председателя коммуны в повести. – В. Б.) в фуражках с облупившимися козырьками, чтобы сгодны по огромным колхозным полям прошли миллионы громадных комбайнов.

Это впечатляет тем более, что написано мастерски, со знанием дела.

А как бережно показывает Воробьёв любовь Егорихи и Момича. Здесь и сдержанность и какое-то искреннее целомудрие. И всё это через взгляд ребёнка, через Санькин взгляд.

Воробьёв прекрасно знает деревню тех далёких времён, её обычаи. Помните сцену избияния двух конокрадов? Дикость, зверство! Некий читатель может увидеть здесь натурализм. Но ведь писали о таком и Горький, и Шолохов, и многие другие. Так было, слова из песни не выкинешь.

Воробьёв сострадает и “Царю” (прозвище одного из героев, брата умершей матери мальчика Саньки. – В. Б.). Не вышла, не получилась жизнь у человека, сломало, согнуло его время. Он, этот “Царь”, конечно, не вызывает у читателя симпатии. Он хоть и дурак, но и хитёр, и жаден. Но виноват ли он в этом?! А тётка Егориха. Какая это женщина! Милая, умная русская крестьянка. От всего её облика веет обаянием и какой-то необыкновенной, пронзительной добротой. Никогда она не унывает, и в самые тяжёлые минуты, и в редкие минуты радости она всегда равна, спокойна и уверена. Такие Егорихи много лет спустя были матерями партизан. Они спокойно стояли босые и полураздетые на снегу под дулами автоматов в руках разъярённых карателей. Стояли и молчали. Их убивали, а они молчали, никого не выдав.

Повесть “Тётка Егориха”, это повесть о детстве, о людях, о великих годах. Это книга о трудном и прекрасном времени.

“Солнце било мне в спину. Оно сияло с той стороны, где осталась Камышинка – чёрное горе моё, святая радость моя!...”⁶³

Я думаю: что если бы сейчас, перечитав Воробьёва, написать ему письмо? Слово он всё ещё с нами, у себя дома, в Литве – письмо о нашем времени. Повесть о чём-то сокровенном, о прочитанном, попытаться выразить, как вошло его слово в душу, что изменило, о живом трепете этого слова (так выразился он сам в одной из записных книжек о вышедшем в свет сборнике Андрея Платонова). Что бы он сказал? Что бы ответил он?..

“Любовь к жизни и к людям составляет Вашу главную силу...”

Пушкинскую фразу “Гости съезжались на дачу” считают гениальной по простоте. Если так, рядом с ней по праву можно поставить первую строку “Убитых под Москвой” Воробьёва: “Рота кремлёвских курсантов шла на фронт”. Мы уже знаем, что будет с ними дальше. Ведь мы прочитали заголовок и эпиграф из “Я убит подо Ржевом...” Твардовского.

Изучать и критиковать “Убитых...” необходимо, памятуя известный пушкинский принцип, заявленный в письме А. А. Бестужеву в январе 1825 года. Тогда речь шла о грибоедовском “Горе от ума”: “Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным”. Воробьёва, что бы он ни написал, нужно судить по тем творческим законам, которые он сам себе установил. Их нужно открыть, освоить, понять, но не навязывать ему извне...

В январе не столь далёкого 1964 года критик Григорий Бровман попытался со страниц первого номера журнала “Москва” применить ко многим только что изданным произведениям, в том числе о войне, мерилу совершенно “внешнее”, идеологическое – “исторический оптимизм”. Им он определял

“дух и направление” (слова В. Г. Белинского) текущей советской литературы. Понятно, что Воробьёв не вписывался в эту концепцию. . .

Однако надо пояснить, что же она такое.

Правда советского общества, строящего коммунистический мир, это одновременно и правда искусства слова. Лучшим произведениям, созданным после 1917 года, всегда свойственен жизнеутверждающий пафос. Это есть торжество самой коммунистической идеи, воплощение духа и правда преображающей мощи революционной жизни. Однако в последнее время, когда был разоблачён и осуждён культ личности Сталина, “некоторые наши литераторы отказались от активных жизнестроительных позиций и отошли в своих произведениях от изображения реального положительного образа современника, творца коммунистического общества”. Это, по Бровману, результат влияния “буржуазной литературы”. Далее следуют тезисы из выступления Хрущёва на встрече с деятелями литературы и искусства на июньском пленуме ЦК КПСС 1963 года. Если коротко, суть их в том, что партия против “одностороннего осуждения действительности”, против тех, кто хает и очерняет “советские порядки”, но также против “сусальных и подслащенных картин”. Какие бы трудности человеку ни выпадали, он обязан, если он коммунист и патриот, с оптимизмом смотреть в будущее, ибо оно прекрасно. В концепцию “исторического оптимизма” не вписывались “Апельсины из Марокко” Василия Аксёнова, “Первый день Нового года” Анатолия Гладилина, “Хочу быть честным” Владимира Войновича, “Моя Джомолунгма” Евгения Носова, “Матрёнин двор” и “Для пользы дела” Александра Солженицына. По поводу последнего рассказа, увидевшего свет в июльском “Новом мире” 1963 года, Бровман писал, что в нём смысл изображаемых событий перенесён из общественно-политического “в отвлечённо-моральный план”, автор становится на защиту невинно пострадавших учителей и воспитанников техникума, надеявшихся на переезд в новое здание, отданное в результате другому хозяину, научному институту. Это несправедливо. А в чём видит справедливость сам Бровман? “. . . Высшая и истинная справедливость – в общественном, народном и, если хотите, государственном значении того или иного события или поступка. Если отвлечься от этого единственно верного критерия оценки явлений и считать решающим толкование, основанное на абстрактном понимании правды и кривды, то вряд ли мы придём к точным выводам и построим жизненную идейно-художественную концепцию”⁶⁴. Помимо литературных произведений “досталось на орехи” и военной киноповести Василия Ордынского “У твоего порога” (1962 год).

Это знакомая “идеология” тихоновских “Гвоздей”. “Ценность” человеку задаёт “высшая” цель, которой он служит и подчинён.

Жизнеутверждение может проявлять себя и в горе, и в страдании, и в смерти. Дело в том, как и во имя чего всё это преодолевается. Остальное – “буржуазно-либеральная филантропия”. “Художники социалистического реализма в отличие от своих предшественников всегда должны творить в свете идеала (здесь и далее разрядка Бровмана – **В. Б.**) и служить правде не только обличением зла и уродства, но прежде всего утверждением нового, что рождено Октябрьской революцией и коммунистическим строительством”⁶⁵. На следующей странице: “Без жизнеутверждающего настроения нельзя написать истинно художественную, патриотическую книгу о войне. Нужны чувство меры, психологический такт, понимание подлинных масштабов исторической битвы за коммунизм, уверенность в его победе. Тогда никого не смутят, не испугают ни горести, ни страдания, ни смерти, изображённые писателем, и он смело может создать настоящую трагедию, приобретая внутреннее право назвать её, как Всеволод Вишневский, оптимистической. . .”⁶⁶

В концепцию исторического оптимизма вписываются “Солдатами не рождаются” Константина Симонова, “Пропавшие без вести” Степана Злобина, “Люди остаются людьми” Юрия Пиляра, “Дикий мёд” Леонида Первомайского, “Фронтальная страница” Василя Быкова. . . Но только не Воробьёв. “Убиты под Москвой” – это у Бровмана “мрачный реестр страданий, ужасов и смертей. . . Изуродованные тела, оторванные руки, искалеченные жизни. Грубость и жестокость в отношениях между солдатами. Страх перед возможностью погибнуть, лишающий воина человеческого облика. Вы здесь не найдёте ни товарищества по крови, ни фронтového братства, ни памяти о близких, оставшихся в тылу, ни мыслей о земле, которая тебя вынырнула”⁶⁷. Напоминает рецензию Кваснецкой, не так ли?

Странно или, напротив, вовсе не странно, но учат умирать за высшую идею и устанавливая литературный канон люди, ничем на фронте не отличившиеся, если вообще бывшие там. Бровман, впрочем, кое-что повидал. В марте 1942 года он был награждён медалью “За отвагу”, в приказе войскам Четвёртой армии он значится интендантом второго ранга и сотрудником редакции фронтовой газеты “В бой за Родину”. В августе 1944-го ему, уже корреспонденту армейской газеты “Бей врага” 14-й воздушной армии, был присвоен орден Красной Звезды... В воспоминаниях о Твардовском Воробьёв упомянул, что до “Нового мира” посылал “Убитых...” в другой журнал. Редактор энергично вернул рукопись и эмоционально “разъяснил”, что война была вовсе не такой, как описана в повести. Под конец назвал автора “пустым холодильником”. “В то время я был ещё сравнительно молод, и такое кухонное сравнение привело меня в состояние столбнячной оцепенелости. Позже я узнал, что этот редактор на войне не был”⁶⁸. Воробьёв не привёл ни названия журнала, ни имени сотрудника, надо полагать, обычного, не главного, редактора. Увы, это затрудняет поиск...

Если допустить сравнение писателя и живописца, я бы рядом с Воробьёвым поставил Василия Верещагина. У него нет торжественных парадов и гарцующих на коне полководцев, у него есть пирамида человеческих черепов с кружащими над ними воронами – апофеоз войны; у него есть солдат с полуоторванным погоном на плече, бегущий с поля сражения, бросив винтовку, зажимающий обеими ладонями рану чуть ниже сердца; у него есть куча отрубленных голов – военные трофеи, над коими склонил взор вельможа в чалме; у него то там, то тут страдающие и убитые люди – “реестр смертей”, усеянное трупами поле, над которым воздел кадило священник, и никакого “оптимизма” по поводу низвергнутой Османской Порты или взятой Хивы. И художник имеет право видеть войну именно так.

На следующий год после выхода в “Новом мире” “Убитых...” Воробьёв взялся за работу над новой повестью “Друг мой Момич” – о коллективизации, увиденной глазами подростка. В 1965-м она была закончена. Писатель снова послал её Твардовскому. Был заключён договор, выплачен аванс. А весной от главного редактора пришёл вызов на редколлегию в Москву. Что там происходило, Воробьёв описал в воспоминаниях о Твардовском, затем Вера Воробьёва в “Розовом коне”. Редколлегия журнала отклонила повесть, а главный редактор не смог ничего сделать.

Писатель отдал “Момича” в “Советскую Россию”. Предполагалось, что повесть включат в его новый сборник. Он был свёрстан, но печать приостановили. Книга не вышла.

В письме от 28 июля 1966 года Воробьёв просит редактора Ингу Фомину подробно ему написать, что произошло. “Я, к сожалению, не могу приехать, я совершенно потерял, и 1 августа надо выходить на работу в редакцию газеты, иначе места не будет. Я три дня пытался написать Вам это письмо, но оно не получалось. Я хотел бы знать, кто именно запретил книгу. <...> Дело в том, что я не могу представить в дальнейшем свою судьбу как писателя. Я похож на человека, бегущего под уклон с ножом в спине”⁶⁹. Это же письмо приводит и Вера Воробьёва в “Розовом коне”. Но эпизод с “Момичом” описан у неё поспешно, и совсем неясно, каким был ответ, что всё-таки произошло.

Надо помнить, что к изданию готовился именно сборник, и кроме “Момича”, отвергнутого “Новым миром”, туда вошли некоторые рассказы, “Почем в Ракитном радости”, “Убиты под Москвой”. Инга Фомина не исключала, что возникнет необходимость заменить эту повесть на “Крик”. Она ответила Воробьёву несколькими письмами. Одно из них, от 19 августа, приведу полностью, так как пересказ не заменит интонаций, иронии, не даст ощутить того напряжения, с каким развивались события. Инга Фомина сделала решительно всё, чтобы книга была выпущена. Но на пути редактора и писателя встала преграда непреодолимая – трусость начальства. Упомянутый в письме поэт, переводчик с китайского, тогдашний главный редактор художественной литературы издательства “Советская Россия” Владимир Павлович Туркин испугался издавать такой “неоптимистичный” сборник в год пятидесятилетия Октября. А директор, вышедший из отпуска, его поддержал. В письме упоминается поэт и прозаик Михаил Данилович Карунный, друг Воробьёва, он тогда работал в “Советской России” заведующим отдела прозы:

Константин Дмитриевич, дело обстоит так. Вождь (В. П. Туркин. — В. Б.) прочитал, крыл меня на летучке за общую направленность книги, удивлялся и прочее. Но при всём том не устаёт повторять, что это талантливо, по-настоящему написано и т. д.

Мы с Михаилом Даниловичем хотели Вас вызвать сейчас, т. к. после публичного его заявления, что книга снята из плана 1967 года, наступило время официально известить Вас обо всём. Это невиданно, чтобы книга снималась с плана в сверке, а с автором не было никаких разговоров. Но вождь попросил сейчас Вас не вызывать, он хочет дожидаться прихода из отпуска директора (1 сентября тот пожалует) и “посоветоваться” с ним по “волнующим вопросам”. Сейчас, мол, он не знает, что решить, какой найти выход, и потому не готов к разговору с Вами.

В общем, у меня создалось совершенно определённое представление, что разговора с Вами он боится; гораздо легче браковать талантливые книги заглазно. Но начальство есть начальство, и, наверно, придётся Вам приехать тогда, когда оно наберётся смелости что-то решить. А пока у меня к Вам просьба: найдите, если у Вас есть дома, рецензии на “Убиты...”, “Ракитное” и “Сказание...”, и пришлите (или привезите мне, когда поедете). Мне нужен не список рецензий, а сами тексты их. И письма читателей, которые мы Вам посылали (после выхода в свет в 1964 году сборника “У кого поселяются аисты”). — В. Б.). Это нужно мне.

Я буду категорически настаивать на том, чтобы по повестям, уже опубликованным, не было никакой дурацкой правки. Это невиданно и смешно.

Что слышно в “Н[овом] м[ире]”? Ничего? Может быть, у них есть рецензии положительные? Очень бы они мнегодились.

Вы просили держать Вас в курсе этой милой эпопеи — вот Вам отчёт на сегодняшний день. Будьте!⁷⁰

В статьях о Воробьёве упоминается, что Инга Фомина получила выговор за этот невышедший сборник. Сама она об этом в письмах не сообщает. Очевидно, тут неточность, и имеется в виду тот самый разнос на летучке “за общую направленность”. Выговор объявляется письменно, и если он был, в архиве издательства среди распоряжений по штатному составу должен сохраниться приказ. Рецензии у Воробьёва имелись: в “Литературной газете” за 13 августа 1960 года вышла статья “Новый писатель” Юрия Бондарева (отклик на сборник “Гуси-лебеди”), он же приветствовал в “Новом мире” “Крик”, уже после Бровмана в 1965 году появилась статья Виктора Астафьева об “Убитых...” “Яростно и ярко”, и ему же принадлежит отзыв “Аисты поселяются у хороших людей” о выпущенном “Советской Россией” сборнике... Впрочем, редактор, наверно, имела в виду не только их, но и копии внутренних издательских рецензий разных лет.

Под заголовком “Тётка Егориха” и с сокращениями Воробьёв издал повесть в Вильнюсе. Полностью “Момич” увидел свет лишь после его смерти.

Инга Фомина руководствовалась среди прочего редким и неписанным редакторским принципом, которому не учат в вузах: если ты кого-то напечатал, этот человек отныне становится твоим другом. Воробьёв хотел решительно порвать с издательством. Она убедила его подготовить сборник с другим содержанием. Ведь договор-то остался. И сделала всё возможное, чтобы снова включить книгу в план. В 1967 году она вышла в “Советской России” под неприязнительным заголовком “Повести. Рассказы”. Сюда вошли “Большой лебедь”, “Костяника”, Живая душа”, “Волчьи зубы”, “Дорога в отчий дом”, “Ничей сын”, “Хи Вон”, “У кого поселяются аисты”, “Одним дыханием”, “Я слышу тебя” и ряд других произведений. Совершенное иное содержание, нежели в предполагавшейся ранее книге.

Судя по штампелю на конверте, Инга Фомина написала это письмо в марте 1967 года:

Если учесть, что этот сборник — для Вас — важен только как экономическое подспорье, не надо затевать бучу из-за их психоза с повестями. Это ничего не даст, кроме обострения отношений с издательством. А к чему их обострять? Ведь ещё есть договор, и ещё будем Вас издавать. Может, времена изменятся, и когда-нибудь издадим — тихо и спокойно — повести и “Момича”...

Делаем всё возможное и невозможное, чтобы сборник этот был издан в течение трех месяцев, к июлю. В этом заинтересован наш отдел тиражирования, т. к. тираж, собранный на эту книгу, действительно в течение года, а ведь книга объявлялась в книготорговой сети ещё в 1966 году. Если удастся – в июле получите гонорар.

Пожалуйста, не сердитесь; если бы Вы знали, как трудно и тяжело было отстоять даже этот состав сборника и вообще добиться включения книги – снова! – в план этого года, Вы бы, наверно, лишний раз порадовались, что не служите редактором в нашей конторе...⁷¹

После этого сборника Воробьёв стал готовить другой. В 1971-м он закончил новую повесть, одну из ключевых, “Вот пришёл великан”. В очередную книгу для “Советской России” предполагалось включить рассказы “Генка – брат мой”, “Уха без соли”, “Чёртов палец”, “Два Гордея” и “Тётку Егориху”. Содержание совершенно новое. В декабре 1971-го Инга Фомина со свойственной ей иронией сообщила Воробьёву: “Завред прочитал “Егориху”, заикается от восторга и боится, что Ваш большой друг В. П. Туркин её не пропустит. Надеяться, что этот деятель (В. П.) останется на постоянное жительство в Кисловодске, куда он отбыл 25/XI, увы, нельзя. И на благотворное идейное влияние гор – тоже. Если не удастся, что поставим вместо?”⁷²

Ещё не вернулся “с югов” Туркин (“товарищ Т.”, как назвал его в письме Юрию Томашевскому Воробьёв), стало ясно, что повесть не пройдет. По крайней мере, писатель признавался в письме к другу: “Дела в “Сов. России” для меня жёлтые. Боятся “Егорихи” (коммуна, видите ли, хреново нарисована, совсем нет гаруса и позумента). Но этой конторе я должен полторы тыщи, так что они вынуждены составить мой сборник”⁷³. Повесть в сборник не включили, хотя о ней с теплом отозвался привлечённый к работе критик Всеволод Сурганов. Воробьёв предложил заменить её “Сказанием о моём ровеснике”⁷⁴.

Не особенно похвалил Сурганова в одном из писем Юрий Томашевский: печатается в “Правде” и “Коммунисте”, “пишет о том, как хорошо живут у нас на селе и как преступно не замечают этой хорошей жизни там писатели-деревенщики. Пишет он и о военных писателях типа бессмертного В. Кожевникова. Но главной его специальностью является Л. Соболев, он его придворный биограф. И вот, несмотря на всё это, С. человек добрый”⁷⁵.

Сурганов действительно написал о Соболеве несколько книг. В 1984-м защитил докторскую диссертацию по деревенской теме в прозе 1950–1970-х годов. Добавлю ещё, по странной иронии судьбы совпало так, что в одном и том же номере “Москвы” за 1964 год следом за “Правдой оптимизма” Бровмана редакция поместила статью Сурганова “А надо помнить” – о Шолохове, Солженицыне и человеческих судьбах в литературе. Это ни о чём не говорит, это просто случай. Сурганов понял и поддержал книгу Воробьёва. “Малый с изюминкой”, шутивно отозвался о нём Воробьёв в одном из писем⁷⁶. Летом 1971 года, в июне, критик написал добрую внутреннюю рецензию на его сборник:

“Не думаю, чтобы требовалось особенно доказывать, что в лице Константина Воробьёва мы имеем дело с писателем настоящим, с талантом, как говорится, “от бога”, встреча с которым неизменно доставляет подлинное наслаждение. Мне по характеру моей работы приходится читать много разных рукописей и гораздо чаще слабых. Встреча с такими книгами, какую предлагает нынче Воробьёв, – самый неподдельный праздник: превосходный, образный, окрашенный подкупающей добротой и умной иронией язык – иронией, которой писатель маскирует большую человеческую любовь к миру, к людям, их судьбам и заботам, их душевному богатству и целомудрию. Это целомудрие, сила человечности, верности в любви, дружбе, красоте природы – самые постоянные объекты писательского раздумья, бережного любования – таковы Момич и тётка Егориха со своей великой любовью друг к другу, трогательной и самоотверженной, несчастной и трагической – просто потрясает тот контраст могучей, почти медвежьей силищи, воплощением которой является Момич, и нежности, почти по-девичьему застенчивой и беззащитной, которую он таит в своей прекрасной душе...”⁷⁷.

Схожее чувство свойственно героине “Чёртова пальца”, двум Гордеям, деду и внуку, из одноимённого рассказа.

Подкупает ещё один постоянный фактор, отмечал в той же внутренней рецензии Сурганов, вернее, два: лирический настрой и автобиографический характер. Повсюду чувствуется сам рассказчик, в сущности – двойник автора и по сходным обстоятельствам судьбы, и по отношению к жизни, по привычкам, интересу к шофёрскому делу, рыбалке, по любви к природе, не оскорблённый человеком.

Сурганов отмечает ещё “воинственность” произведений Воробьёва. Он имеет в виду “неизменную и гневную неприязнь к тому, что мешает людям жить и быть счастливыми, что обрекает любовь человеческую на гибель, что оскорбляет достоинство человека, его труд и разум, вторгается в тихое царство природы с хищным гиканьем, уничтожая рыб, животных, деревья, топя сапожищами через душу человеческую. Писатель ненавидит это зло, ополчается на него повсюду и, конечно же, прав в своём стремлении разоблачить, уничтожить злую и мелочную эту силу, указать на неё людям, вооружить их против неё по сильнее, нежели его герой, который способен пустить в ход только ту же иронию, вызов, демонстративное пренебрежение умного и независимого человека всевозможными предрассудками, глупостью, жадностью, мещанским взглядом на жизнь, наконец. Казёнщиной – едва ли не самым страшным и лютым врагом К. Воробьёва”⁷⁸.

В этом Сурганов видит главный пафос новой книги. В большинстве произведений, отмечает он, присутствует мотив схватки со злом и возмездия (вспомнить “Уху без соли”):

“Воробьёв совершенно правильно атакует людей, которые теряют душу, оказавшись на “казённой” должности, на должности, которая даёт власть над судьбами людскими... И нет ничего страшнее, если на ней окажется дурак, обыватель, трус, фанатик, деспот, неудачник в личной жизни. Для него и люди теряют лицо, начинают подводиться под параграфы статей и пункты характеристик... Словом, Воробьёв, вслед за многими нашими писателями, начиная с Горького и Маяковского, выходит в атаку на давнего, но не желающего сдаваться врага – “отъявленного и давнего”, как выражался Маяковский, – на обывателя, мещанина, отличающегося страшной силой приспособляемости к условиям времени и его переменам и жадно рвущегося к власти над людьми, ради утверждения, ради навязывания им своих обывательски казённых взглядов, своей мертвящей психологии...”⁷⁹

Сурганов подчёркивает, что это нужная и своевременная атака, и писатель ведёт её уверенно и неотступно. Она получается очень хорошо, и поэтому книгу надо обязательно довести до широкого читателя. “Воробьёв – писатель того же ряда для меня, что и Астафьев, Носов, Абрамов, – того же таланта и силы, того же воинствующего гуманистического пафоса и глубокого чувства к родной земле, к человеку на ней”⁸⁰.

Рецензент советовал убрать из сборника повесть “Генка – брат мой”, так как она слишком переключается с “Великаном” и выглядит этюдом к нему. Здесь больше, чем где-либо, сказалось свойственное Воробьёву стремление подчеркнуть независимость своих героев, “их выстраданное на эту независимость право, а также сложность житейской ситуации, которая не вмещается ни в какие параграфы и правила”⁸¹. Слишком демонстративно братья-таксисты нарушают “казённые требования”. В сборнике слишком часто обыгрывается и становится подчас назойливым мотив сиротства. При этом Сурганов решительно за то, чтобы книгу принять к изданию. “Соображения, высказанные выше, писателю и его редакторам нетрудно принять к сведению, книга же в целом обещает получиться отличной, хорошим подарком читателю России”⁸².

Эту рецензию Воробьёву переслала Инга Фомина. Что тут скажешь, такие вещи приятно читать. Сурганов начал работать над вступительной статьёй. Через полтора года, в декабре 1972-го, он написал Воробьёву письмо и вместе с ним выслал для ознакомления рукопись предисловия:

Не могу сказать, что я доволен им – странно и трудно писалось всё это. Странно потому, что самое искреннее сочувствие Вашим героям, переживаниям, мыслям, мгновенный отклик читательский то и дело сталкивались с необходимостью корректировать иные мои выводы и догадки относительно условий публикации Ваших работ в “Советской России”.

Вашему брату писателю или поэту легче в этом смысле: ваша идея воплощается в образ, в сюжет, в характер. Нам же, критикам, приходится её “дешифровать”, переводить на язык логики. Обнаруживая то, что подчас может привести в тревогу какого-нибудь Владыкина (героя повести “Вот пришёл великан”, руководителя издательства. — В. Б.).

Надо было сказать всё, что хотелось сказать, но так, чтобы не подвести Вас, надо было, оставляя за собой право критики, постараться загодя прикрыть Ваших “сирот” от атак несправедливых. Всё это очень сковывало и, конечно, не могло не отразиться на статье. Да и развёртываться она не хотела по той же причине — Инга ведь не связывала меня объёмом, мог бы и до листа, до полутора дотянуть, а вот не “тянулось”...

Видимо, тут есть и субъективная причина: та самая “ясноглазость”, которую Вы во мне таки угадали, не всегда уживается с темой духовного одиночества, вернее, с преобладанием этой темы. А оно, это преобладание, порой становится чувствительным у Вас, особенно ежели читаешь всё подряд. Критиковать это бесполезно — здесь нечто коренное, связанное с мировосприятием, с характером, с индивидуальностью личности и таланта. Критиковать бесполезно — можно лишь указать на то, что мотив “сиротства” становится у Вас навязчивым, постепенно вызывает ощущение какой-то внутренней монотонности, однообразия психологической и эмоциональной посылки. И, наверно, стоит Вам об этом подумать, как-то избавиться, остеречься от этого, чтобы не повторить самого себя...

Видите — начал объяснять слабость собственной работы, а незаметно свалил на Вас причины этой слабости и наговорил Вам гадостей под Новый год!..

А ведь надо бы сказать, прежде всего, что трудности — трудностями и странности — странностями, но вообще, по большому счёту, я благодарен Вам за эту работу, за радость, которую доставили мне Ваши книги. Я пишу об этом в статье — ради аллаха, поверьте! — совершенно искренне пишу!.. В том-то и заключается своеобразие Ваше, что та самая порой мешающая мне тема духовного одиночества находится у Вас в любопытнейшем и даже несколько неожиданном сочетании с любовью к жизни и к людям, которая и составляет, на мой взгляд, Вашу главную силу⁸³.

Сурганов точно определил важный методологический подход к творчеству Воробьёва: не выписывать столбиком стилевые “огрехи” и повторы одного и того же мотива, а найти, обозначить и осмыслить, чем всё это в каждом конкретном случае компенсируется. Ради чего сказано. Сила таланта Воробьёва именно в том, что не сказано у него прямо в лоб и оправдывает его “недостатки”.

Эта книга в “Советской России” стала при жизни Воробьёва последним его сборником. Вышла она в 1973-м под заголовком “Сказание о моём ровеснике”. Война нагнала писателя через несколько десятилетий. Многих его героев бьют по голове, будь это о плене (“Это мы, Господи!”, “Немец в валенках”) или о мирной жизни. Кержун в “Великане” получает удар свинцовым яйцом, направленным в дамский чулок, а потом жалуется на боль в затылке... Из художественной реальности всё это стало реальностью подлинной: Воробьёв умер в марте 1975 года от рака мозга. Он лежал в больнице. В минуту его смерти дома с сильным треском, будто сломалась пружина, внезапно остановились часы, стоявшие на письменном столе.

Он пришёл в литературу со своей правдой о человеке. Не вступал в прямую полемику, не подстраивался под идеологический “оптимизм”, но всё, что создал, или почти всё, было спором с концепцией иного, нового, человека, который будто бы формируется в советскую, предшествующую коммунизму, эпоху, на глазах у всех. Воробьёв заостряет внимание на мотивах человеческих поступков, пишет ли он о войне или о мире, о детях или о взрослых... Отсюда столь напряжённая нравственная проблематика, тема ответственности писателя, тема выбора, очищения и переоценки, детской чистоты и детского взгляда на события. Критерием подлинной художественности становится точность изображения и правда внутреннего восприятия с неизменным “компонентом” — системой ценностей, определяющих человека. Поэтому особенно значима у Воробьёва тема ответственности самого писателя за слово, оно же поступок. “Книги, большие волнующие полотно — пишутся только кровью сердца, а от созданного тобой разве не чувствуешь, как несёт ядовитым духом заразы?” Обличитель-двойник из ранней зарисовки “Бессмертие” есть

не у каждого писателя. И поэтому Останков, приехавший в своё Ракитное, дважды оправдывается перед дядей Мироном: “Я хороший писатель”. Это словно бы даёт ему право вернуться на родину. И как доказательство, он читает вслух наизусть рассказ о плене. А дядя ведёт себя подобно тем наивным читателям, желающим знать продолжение... Он верит всему, но не соглашается с “литературным приёмом”, когда о живом человеке говорится, что он, дескать, умер за месяц до освобождения из плена... Он начинает искать свою единственную правду — ту, что движет людьми.

Литература призвана будить этот поиск.

Незадолго до смерти Воробьёв задумал новое произведение — “Розовый конь”. Он вывел вверху листа заголовок и ниже поставил эпиграф из Есенина: “Жизнь моя, иль ты приснилась мне?” Заголовок + эпиграф — та же схема начала “Убитых...”, но первая, самая простая, строка — подлежащее, сказуемое, дополнение в винительном падеже — не пришла, не легла, не родилась... Она была не нужна. Воробьёв осуществил то, что удаётся единицам: сделал художественным произведением собственную жизнь. Чистый лист говорил больше, чем слово.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Воробьёв К. Д. Письмо Н. Д. Костржевской от 21 июня 1964 г. // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 2. С. 313.
- ² Воробьёв К. Д. Внутренние рецензии. Рецензия на рукопись Г. В. Метельского “Золотая карета” // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 62. Л. 40.
- ³ Там же.
- ⁴ Симонов К. М. Живые и мертвые. М., 1991. Кн. 1. С. 33.
- ⁵ Злобин С. П. Пропавшие без вести. М., 1962. Кн. 1. С. 454.
- ⁶ Макаров А. Н. Отзыв на повесть Ю. Пиляра “Брукгаузен” (“Всё это было...”) // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 16. Д. 204. Л. 29.
- ⁷ Воробьёв К. Д. Записные книжки // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 5. С. 382.
- ⁸ Воробьёв К. Д. Письмо С. А. Воронину от 23 марта 1962 г. // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 4. С. 454.
- ⁹ Воробьёв К. Д. Записные книжки // Там же. Т. 5. С. 334.
- ¹⁰ Воробьёв К. Д. Письмо в редакцию журнала “Знамя”, апрель 1957 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 197. Л. 6.
- ¹¹ Кваснецкая М. Внутренняя рецензия. Письмо неустановленному лицу (Корытов) // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 16. Д. 246. Лл. 8-9.
- ¹² Лев Ф. Г. Внутренняя рецензия на рассказ К. Д. Воробьёва “Седой тополь”, 28 мая 1957 г. // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 17. Д. 56. Лл. 21-22.
- ¹³ Там же. Л. 24.
- ¹⁴ Уваров В. Письмо К. Д. Воробьёву от 1 июня 1957 г. // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 17. Д. 10. Л. 96. В этом же деле (л. 95) хранится оригинал сопроводительного письма К. Д. Воробьёва, заверенный его личной подписью.
- ¹⁵ Чарный М. Б. Внутренняя рецензия на повесть К. Д. Воробьёва “Одним дыханием” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 17. Д. 262. Л. 2.
- ¹⁶ Там же. Л. 3.
- ¹⁷ Диктаторский режим Антанаса Сметоны в Литве с 1926 по 1940 год.
- ¹⁸ Чарный М. Б. Внутренняя рецензия... // Там же. Лл. 3-4.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Мусатов А. И. Внутренняя рецензия на повесть К. Д. Воробьёва “Одним дыханием” // Там же. Л. 7.
- ²¹ Там же. Л. 8.
- ²² Там же. Л. 11.
- ²³ Рутько А. И. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьёва “Седой тополь” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Д. 305. Л. 8.
- ²⁴ Там же. Л. 13.
- ²⁵ Матов В. Н. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьёва “Седой тополь” // Там же. Л. 15-16.
- ²⁶ Воробьёва В. В. От составителя // Воробьёв К. Д. Заметки сердца. М., 1989. С. 236.

- ²⁷ Винокуров И. Г. Письмо К. Д. Воробьеву // РГАЛИ. Ф. 2924. Оп. 1. Д. 39. Л. 53. Л. 54 – автограф сопроводительного письма К. Воробьева.
- ²⁸ Матов В. Н. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “Седой тополь” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Д. 305. Л. 18.
- ²⁹ Там же. Л. 20. Выделено В. Н. Матовым.
- ³⁰ В. Н. Матов был не единственным, кто предъявлял к рассказу такие претензии. В архивном фонде К. Д. Воробьева сохранилось его письмо рецензенту Корнеевой (в нём только фамилия) от 20 июня 1953 года: “Отсутствие в “Хи Воне” указаний на то, что в Корее мужчины и женины носят одежду без застёжек и карманов, не может явиться основным пороком этого рассказа, тем более что фактические и этнографические данные о Корее в рассказе имеются. “Хи Вон” – рассказ о ребёнке, который шёл по ночам на север, и в нём, в рассказе, достаточно, на мой взгляд, полно показано, как он шёл и почему шёл” (см.: РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 197. Л. 1–3).
- ³¹ Матов В. Н. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “Седой тополь” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Д. 305. Л. 22.
- ³² Евгеньев Б. С. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “Седой тополь” // Там же. Л. 23.
- ³³ Там же. Л. 25.
- ³⁴ Там же. Л. 26.
- ³⁵ Там же. Л. 26.
- ³⁶ Там же. Л. 27.
- ³⁷ Там же. Л. 28.
- ³⁸ Там же.
- ³⁹ Там же. Л. 30.
- ⁴⁰ Козлов И. Письмо К. Д. Воробьеву // Там же. Л. 1.
- ⁴¹ Воробьев К. Д. Письмо Ю. В. Томашевскому от 4 сентября 1970 г. // Воробьев К. Д. Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 249.
- ⁴² Например: Козлов Д. Отзывы советских читателей 1960-х гг. на повесть А. И. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”: свидетельства из архива “Нового мира” // Новейшая история России. 2011. № 1. С. 178–200, № 2. С. 192–200.
- ⁴³ У К. Д. Воробьева был ещё один вариант заголовка повести: “Алёшка, парень русский”. Он оговорился о нём в письме С. А. Воронину от 16 апреля 1961 г. (Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 4. С. 452).
- ⁴⁴ Смирнов В. Письмо К. Д. Воробьеву, не датировано (декабрь 1959 – янв. 1960 г.) // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 190. Л. 8
- ⁴⁵ Агулов В. М. Письмо К. Д. Воробьеву, не датировано // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Л. 1.
- ⁴⁶ Лосева Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 15 февраля 1964 // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 190. Л. 17–19 об.
- ⁴⁷ Карцева Л. Письмо К. Д. Воробьеву от 15 марта 1965 г // Там же. Л. 38–39.
- ⁴⁸ Воробьева В. В. Розовый конь // Воробьев К. Д. Собрание сочинений: В 3 тт. М., 1993. Т. 3. С. 427–428. В пятитомном собрании сочинений этот текст дан в несколько иной редакции (Курск, 2008. Т. 1. С. 377).
- ⁴⁹ Васильчиков Н. Л. Письмо К. Д. Воробьеву от 25 октября 1964 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 190. Л. 25–25 об.
- ⁵⁰ Маслеников Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 6 декабря 1964 г. // Там же. Лл. 26–26 об.
- ⁵¹ Демаш Н. К. Письмо К. Д. Воробьеву от 26 января 1965 г. // Там же. Л. 36–37
- ⁵² Мануйлова Г. А. Письмо К. Д. Воробьеву (в издательство “Советская Россия”), 1965 г. // Там же. Л. 42–42 об.
- ⁵³ Кузовкин Ю. Письмо К. Д. Воробьеву (декабрь 1967 г.) // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Л. 54.
- ⁵⁴ Кузовкин Ю. Письмо К. Д. Воробьеву от 10 сентября 1968 г. // Там же. Л. 62 об.
- ⁵⁵ Воробьев К. Д. Письмо Ю. В. Томашевскому // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 263.
- ⁵⁶ В 2009 г. она выпустила в свет книгу “Серебряная дорога”, где опубликовала письма К. Д. Воробьева.

- ⁵⁷ Паккер Э. А. Письмо К. Д. Воробьеву от 14 ноября 1971 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Лл. 6–10 об.
- ⁵⁸ Паккер Э. А. Письмо К. Д. Воробьеву от 30 декабря 1971 г. // Там же. Лл. 21–21 об.
- ⁵⁹ См.: Лупэческу Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 23 марта 1972 г. // Там же. Лл. 32–36.
- ⁶⁰ Воробьев К. Д. “И всему роду твоему” // Собрание сочинений: В 5 т. Курск, 2008. Т. 5. С. 323.
- ⁶¹ Там же.
- ⁶² Лупэческу Н. Письмо К. Д. Воробьеву // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Л. 60.
- ⁶³ Завельский Л. Письмо Г. П. Высоцкой, январь 1977 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Лл. 76–80.
- ⁶⁴ Бровман Г. А. Правда исторического оптимизма // Москва. 1964. № 1. С. 188.
- ⁶⁵ Там же. С. 190.
- ⁶⁶ Там же. С. 191.
- ⁶⁷ Там же. С. 192.
- ⁶⁸ Воробьев К. Д. Вызывает Твардовский // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 4. С. 437.
- ⁶⁹ Воробьев К. Д. Письмо И. Н. Фоминой от 28 июля 1966 г. // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 222.
- ⁷⁰ Фомина И. Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 19 августа 1966 // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 180. Лл. 5–5 об.
- ⁷¹ Фомина И. Н. Письмо К. Д. Воробьеву, март 1967 г. // Там же. Лл. 9 об. – 10.
- ⁷² Фомина И. Н. Письмо К. Д. Воробьеву, декабрь 1971 г. // Там же. Лл. 35–36.
- ⁷³ Воробьев К. Д. Письмо Ю. В. Томашевскому (7 января 1972 г.) // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 263.
- ⁷⁴ Воробьев К. Д. Письмо И. Н. Фоминой от 20 декабря 1971 г. // Там же. Т. 1. С. 228.
- ⁷⁵ Томашевский Ю. В. Письмо К. Д. Воробьеву от 21 августа 1970 г. // Там же. С. 248.
- ⁷⁶ Воробьев К. Д. Письмо Т. Томашевской от 10 июля 1972 г. // Там же. С. 264.
- ⁷⁷ Сурганов В. А. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “И вот пришел великан” // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 173. Л. 6.
- ⁷⁸ Там же. Л. 7.
- ⁷⁹ Там же. Л. 8.
- ⁸⁰ Там же. Л. 9.
- ⁸¹ Там же.
- ⁸² Там же. Л. 10.
- ⁸³ Сурганов В. А. Письмо К. Д. Воробьеву от 12 декабря 1972 г. // Там же. Л. 4–5.

СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДОБРОВОЛЬЦА

Так уж случилось, что пришлось непосредственно участвовать в событиях на юго-востоке Украины и общаться не только с жителями Донбасса, взявшими в руки оружие, но и с военнослужащими украинской армии, представителями силовых структур, добровольческих батальонов. Особый интерес вызвали добровольцы из других стран, их психология, мотивация принятия решения, особенно добровольцев из России.

Сегодня вопрос непосредственного участия российских добровольцев в вооружённом противостоянии Донбасса и центральной украинской власти уже не столь актуален. Большинство из них давно вернулись на родину, а те, что остались, находятся, как правило, вне сферы военного применения.

По прошествии времени и снижения общественного интереса к проблеме войны на юго-востоке Украины появилась возможность относительно беспристрастно, хотя и достаточно конспективно, дать анализ психологического портрета граждан России, выступивших комбатантами (добровольцами).

Это наблюдения профессионального юриста и писателя без претензии на научность. Я не буду касаться криминологической характеристики по сути девиантного поведения как граждан Украины, поднявших вооружённое восстание, так и граждан других государств, инициативно принявших в нём участие. Речь пойдёт лишь об обобщённой психологической характеристике российского добровольца. Стоит заметить, что с течением времени мотивационная доминанта претерпела незначительные изменения.

Историю развития цивилизаций можно изучать через призму развития государства и его институтов, права и политической системы, степени зрелости общества, общественных и производственных отношений, религии, культуры, традиций, языка и т. д., но обычно познание идёт через историю войн в их хронологии. Диалектика политики и войны свидетельствуют не только о внутренней взаимосвязи, но и о том, что последняя является неизменным спутником человечества в его историческом развитии.

До 95% всех известных нам обществ прибегали к войне как средству разрешения внешних или внутренних конфликтов. Только за последние пятьдесят шесть веков произошло около четырнадцати с половиной тысяч больших и малых войн, захватнических и освободительных, гражданских, религиозных, этнических и т. д.

Так уж сложилась историческая судьба России, что на долю всех поколений выпадали испытания войной. Не стали исключением ни Советский Союз, ни постсоветская Россия.

Во второй половине XX века вооружённые силы СССР в той или иной степени были задействованы почти в двух десятках конфликтов и локальных войн, начиная с гражданской войны в Китае и заканчивая войной в Афганистане, что было обусловлено геостратегической политикой Советского Союза. Но ни в одной из них не участвовали волонтёры.

Вооружённые силы России в постсоветский период с 1991-го по 2019 годы приняли участие в четырёх войнах: в Приднестровье в июне-июле 1992 года, в Южной Осетии в 2008 году с ведением боевых действий на территории Грузии, в Сирии с 2015 года по настоящее время. При этом их участие определялось международно-правовыми договорами или статусом миротворческих сил.

В двух относительно скоротечных войнах принимали участие добровольцы из России – в Приднестровье и (в относительно малом количестве) в Южной Осетии.

Косвенно Россия принимала участие в той или иной степени в локальных вооружённых конфликтах или гражданских войнах в Югославии (миротворческие силы и российские добровольцы) и в гражданской войне в Таджикистане (силы и средства 201-й дивизии и чирчикской бригады спецназа, переданной под юрисдикцию Узбекистана).

Официально Россия не участвовала в войне на территории Абхазии в 1992–1993 году, однако подразделения Минобороны России проводили локальные операции по эвакуации негрузинского населения в начальный период войны и вооружённых сил Госсовета Грузии из Сухума кораблями Черноморского флота в окончательной её фазе, а также по локализации наступления абхазских вооружённых сил в сентябре 1993 года в глубь территории Грузии. Имели место частные случаи ответных действий на обстрелы грузинскими формированиями воинских подразделений России. Зато в полной мере принимали участие на стороне вооружённых сил Абхазии российские добровольцы.

Несколько особняком стоит надправовое изъятие Крыма из юрисдикции Украины с использованием российских вооружённых сил, что объясняется геополитической стратегией России в целях обеспечения безопасности государства. При этом довольно значительное участие в крымских событиях принимали добровольцы из России, особенно в блокировании северной границы полуострова.

Природа войн в Приднестровье, Абхазии, Югославии и на Украине вызвала к жизни новое для нас явление – несанкционированное государством участие в них добровольцев (так называемое участие “по умолчанию” без юридического запрета).

Наиболее массовый характер участия добровольцев проявился в гражданской войне на Донбассе, что объяснимо не столько идеей защиты так называемого “Русского мира”, сколько всё ещё сохраняющейся советской психологией граждан России и накопленной протестностью относительно социально-экономических изменений в обществе в постсоветский период. Это нашло достаточное отражение в журналистике, литературе, кинематографе, живописи, музыке, песенном исполнительстве, мемуаристике. В меньшей степени – в научных трудах: военных, исторических, в военно-медицинских и совсем ничтожно мало – в психологии.

Я бы хотел обратиться к морально-нравственной мотивации участия в военном конфликте на территории Абхазии, Приднестровья, Югославии и Украины (Донбасс) людей, не связанных правовыми отношениями с государством, представителями которого они являются, то есть не направленных государством в качестве военнослужащих. Это абсолютно не исследованная тема, за исключением, быть может, закрытых работ узких специалистов военно-прикладных отраслей знания.

Военнослужащие находятся в правоотношениях с государством, то есть пользуются правовой, социальной и психологической защитой с его стороны. Это обусловлено тем, что государство легитимизирует своё участие в этих

войнах и конфликтах с точки зрения международного права или права на защиту своих интересов.

Участие в этих войнах (конфликтах) граждан других государств (России, в частности) в качестве комбатантов — осознанное, нравственно мотивированное, вызванное чувством справедливости, сострадания, противодействия крайней степени проявления национализма и нацизма. В меньшей степени — помощь в отражении внешней агрессии. При этом государство либо отрицает подобное участие комбатантов, либо не препятствует их участию, либо создаёт неофициальные условия для их участия. Поскольку такие лица обладают высокой долей пассионарности, то находятся под негласным надзором соответствующих служб.

Теперь о мотивационной составляющей участия добровольцев в войнах на территории Приднестровья, Абхазии (непризнанные государства), Югославии, Украины.

Приднестровье, 1992. Карательная экспедиция МВД Молдовы, молдавских националистов и подразделений Румынии против ПМР*, провозгласившей независимость и приверженность целостности с Россией. Лозунги националистов “Русских — за Днестр, евреев — в Днестр” и т. д. вызвали приток добровольцев из РФ.

Мотивация — защита русского этноса и ориентированного на Россию населения от фактического геноцида и румынизации. Приднестровье воспринималось их сознанием как часть России.

Абхазия, 1992–1993. По сути, война носила этнический характер (заявление командующего грузинскими войсками Каркаршвили о том, что пусть погибнут сто тысяч грузин, но будут полностью уничтожены абхазы). На стороне провозгласившей независимость Абхазии, тяготеющей к России и готовой войти в её состав на принципах автономии, воевали абхазы, русские, армяне, греки и люди других национальностей, проживавших на её территории. На помощь Абхазии в качестве добровольцев пришли этнически родственные им адыги (черкесы), а также народы, объединённые в Конфедерацию народов Кавказа (КНК), и этнические русские.

Мотивация — защита слабого народа, подвергнутого геноциду. Вторая составляющая — защита России от агрессии со стороны Грузии как олицетворения Запада (Абхазия в сознании добровольцев воспринималась как часть России).

Кроме того, и в первом, и во втором случае участие добровольцев воспринималось также как защита СССР, поскольку прошло около полугода с момента распада страны, который они воспринимали как личную трагедию.

Югославия, серия вооружённых конфликтов 1991–2001 годов. Войны на территории бывшей СФРЮ носили межэтнический и межрелигиозный характер (хорваты, словенцы, боснийцы против сербов; македонцы против албанцев; сербы против албанцев и т. д.). Участие добровольцев из России было ограниченным, что объясняется отсутствием общей границы и довольно сложной логистикой. Мотивация — защита православного сербского населения. В России сохранились те условия и социальная среда, когда значительное количество людей готовы были поехать в другую страну воевать по идеологическим причинам. Более того, война в Югославии, особенно со второй половины 90-х годов, воспринималась добровольцами как война Запада с Россией.

Украина, с 2014 года и по настоящее время. События на Украине в феврале 2014-го, представленные нашей пропагандой как фашистский переворот и геноцид русского населения, следовавшие затем репрессии в отношении участников протестного движения, политические убийства, вооружённое противостояние Донбасса и центральной власти катализировали добровольческое движение.

Ликвидация лидеров Новороссии, репрессии против носителей идей социальной справедливости и национализации, изменения производственных

* Приднестровская Молдавская Республика.

отношений, ликвидация самой идеи Новороссии вызвали переоценку событий 2014 года. Многими добровольцами (и не только) теперь они воспринимались как олигархический передел власти новой компрадорской буржуазией с использованием неонацистской украинской идеологии как средства достижения цели. Более того, в добровольческой среде возобладали радикальное мнение о санкционировании российской властью утилизации пассионарной части своих граждан с целью снижения накала социальной и идеологической протестности внутри РФ.

Теперь несколько слов о психотипах российских добровольцев. Я не беру во внимание добровольцев из стран Евросоюза и вообще Запада, хотя достаточно детально изучал их при непосредственном общении. Не являются предметом исследования и психотипы представителей неформальных вооружённых формирований, созданных украинскими олигархическими группами или конкретными олигархами (нацбаты, добробаты, тербаты и т. п.), хотя сравнительный анализ добровольцев Донбасса и остальной Украины позволяет выявить главное отличие – бескорыстие первых и материальная доминанта в сознании вторых.

Несмотря на некоторые общие черты комбатантов – идейность, социальная ответственность, готовность к самопожертвованию, бескорыстие, нравственные качества и т. д., – всё же имеются и отличия, что позволяет выделить, по крайней мере, четыре основных психотипа (достаточно условных).

1. Защитники (“романтики”, “мушкетёры” и т. д.).

Пожалуй, самая большая и самая неоднородная группа. Образование от среднего до высшего (довольно высок процент гуманитариев). Социально интегрированы в общество, имеют постоянный доход – малый и средний бизнес, служащие, бывшие военные и правоохранители, работники производственной сферы и строительства. Представители социально ориентированных партий, движений, объединений, сообществ, носители идей социальной справедливости. Как правило, православного вероисповедания или последователи славянского язычества (неоязычества).

Из социально-психологических признаков можно выделить максимализм, неприятие нацизма и национализма как определяющей идеологии, быстрое разочарование результатами борьбы, бескомпромиссность, бескорыстие, обострённое чувство справедливости, дефицит внешнего уважения.

В индивидуально-личностной характеристике доминируют состояние постоянного хронического стресса и эмоционального истощения (посттравматический синдром). Склонны к депрессии. Часть из них имеет высокий уровень аутоагрессии и риск суицидального поведения в дальнейшем. В своей среде признают только сильных лидеров, которые доказали способность вести за собой.

2. “Непризнанные герои”

Немногочисленная, но наиболее профессиональная группа людей, идейно и социально близкая к первой группе.

Возрастная категория – большинство в диапазоне от 30 до 55 лет. Образование среднее и высшее (доминирует военное и юридическое).

По роду занятий это бывшие военнослужащие, работники правоохранительных органов, участники боевых действий в “горячих точках” (Афганистан, Северный Кавказ, Приднестровье, Абхазия и т. д.), занятые в сфере охраны, малого и среднего бизнеса, служащие.

Из социально-психологических признаков следует выделить организованность, дисциплинированность, жизненный и профессиональный опыт, способность обучать, контролировать и вести за собой других, понимание и подсознательное уважение к требованиям закона.

Доминирующая мотивация – установление социальной справедливости (в их понимании) от микросоциума до масштабов государства, устоявшиеся мировоззренческие и жизненные ценности. Чувство неприятия власти, которая, по их мнению, “по сути антинародна, не ценит и не слышит людей”, допускает унижение военнослужащих и правоохранителей, которые добросовестно служили своей стране.

Также важную роль для многих из них играет мотив защиты своих родных (микросоциума) или общества (макросоциума) от мнимых или на деле существующих угроз.

По индивидуально-личностным признакам они уравновешены, адекватно реагируют на ситуацию, стрессоустойчивы. Имеют высокий интеллектуальный уровень. Отличаются рассудительностью, высоким самоконтролем, дисциплинированностью и самообладанием, в том числе в критических ситуациях. Придерживаются установленных норм и правил поведения, критически оценивают возможные последствия. Легко подчиняются лицам, которые являются для них признанными авторитетами. Проявляют лидерские способности, могут сплотить и возглавить неформальные группы различной численности. Ориентированы на достижение нужного результата.

Не склонны к немотивированной агрессии, чрезмерной враждебности, неоправданному риску.

В случае прекращения вооружённого конфликта они обладают высокой способностью к успешной социализации в дальнейшем.

3. “Джентльмены удачи” (“дикие гуси”).

Всегда встречаются среди участников вооружённого конфликта. Ничтожно малый сегмент представлен на Донбассе и практически отсутствовали в Приднестровье, Абхазии и Югославии. Как правило, это средний возраст, образование среднее, люмпенизация и маргинальность сознания, его криминализация. Часть из них явилась средой формирования ЧВК.

Мотивация – сокрытие и оправдание своих преступлений (война всё спешет), корысть (мародёрство, отъём имущества и т. д.). Как правило, эта категория старается не участвовать в боевых столкновениях.

Отличаются индивидуально-личностными признаками – адаптацией к действительности, жестокостью, способностью к инициативному насилию, аморальностью, отсутствием сострадания, наличием собственной субкультуры (иерархия, порядки, особые татуировки, блатные песни и стихи, азартные игры). Не признают социальных правил и условностей, безразличны к нуждам общества, самооценка завышена. Мнительные, подозрительные, самостоятельные, бесцеремонные, при необходимости льстивые и покладистые. Ценят и берегут свою жизнь как высшую ценность, хотят личной свободы и комфорта. Мастерски симулируют болезни или ранения. Коварны и изворотливы. Практически не поддаются социализации. Общение с ними требует крайней жёсткости с опорой на силу, а в случае необходимости в конфликтной ситуации – уничтожения.

* * *

Описанные психотипы участников военизированных формирований (добровольцев), конечно, не охватывают все особенности психики людей. Однако знание их позволяют оценивать мотивацию комбатантов и прогнозировать их поведение как в реальной боевой обстановке, так и их социализации после возвращения на родину.

А теперь попытаемся вывести психотип типичного добровольца безотнositельно к стране проживания.

1. Бескорыстие и незаинтересованность в получении выгоды как базовый принцип добровольчества.

2. Терпимость, понимание и уважение к личности другого человека.

3. Стремление к саморазвитию и самореализации как мотивационная составляющая.

4. Гуманность и альтруизм, коммуникабельность, ответственность и самодисциплина.

Среди деловых качеств можно выделить:

1) умение грамотно распределять время, способность переключаться с личных дел, приносящих финансовый доход, на волонтерство;

2) стрессоустойчивость и самообладание;

3) способность оперативно решать проблемы. От того, насколько быстро будет принято решение, зависит дальнейший исход событий.

В завершение хотелось бы акцентировать внимание на морально-нравственной мотивации участия в военном конфликте людей, не связанных правовыми отношениями с государством.

Одно дело, когда государство направляет тебя для участия в войне, беря на себя политическую, правовую и моральную ответственность. При этом если в Советской армии ещё как-то была поставлена политико-воспитательная работа на идеологической базе, то в современных условиях она сведена к минимуму. Особенно для локализации последствий психотравмирующих факторов, а ведь условия постоянной опасности являются сверхсильными психологическими раздражителями и могут вызвать резкие патологические изменения в психике и поведении участников войны. И неслучайно достаточно высок уровень криминогенности среди участников боевых действий (УБД). На войне могут проявиться прямо противоположные качества их участников – трусость и героизм, шкурничество и самопожертвование. Это зависит от индивидуальных особенностей личности, сформировавшихся в предшествующий период, от качества боевой готовности и умения владеть оружием, от успешного или отрицательного поворота событий для одной из воюющих сторон, от продолжительности боевых действий, от состояния дисциплины в подразделении, авторитета командира и многих других факторов. При этом катализатором поведения человека становится именно экстремальная ситуация.

Война – это всегда психотравмирующий фактор. Люди, оказавшиеся в экстремальных условиях войны, более сложно адаптируются к ним именно в силу слабо выраженной мотивации. К тому же у них более ярко выражен посттравматический синдром – привыкание к обыденной жизни. Отсюда резкая реакция на негативное или равнодушное отношение к ним со стороны остальных, особенно представителей власти. Пример тому – поведенческая составляющая бывших военнослужащих, прошедших войну в Афганистане, на Северном Кавказе и другие большие и малые войны в составе вооружённых сил государства.

И совсем другое дело, когда ты сам добровольно в силу убеждений оказываешься на войне, принимая одну из сторон конфликта. На эмоционально-волевую сферу и поведенческие мотивы человека оказывает воздействие целая система специфических факторов.

Психологи называют эту категорию людей “воинами по долгу”. Их удельный вес среди остальных невелик – по разным оценкам около 10% от всего военнообязанного населения в мирное время и до 30% в военное.

Психология людей, добровольно пришедших на войну, иная. Это особый психологический склад – готовность к непониманию со стороны остальных и даже к негативной оценке со стороны государства и его институтов, отсутствие в сознании иждивенчества, готовность к самопожертвованию, подвижность.

Это объясняет “настороженное” отношение государства к комбатантам, их неконтролируемую пассионарность, степень внутренней протестности, возможность использования их готовности к крайней степени противостояния радикальными общественно-политическими движениями. Временное санкционирование государством участие комбатантов в конфликтах на территориях других стран снижает накал внутренней напряжённости в обществе, перенацеливая их на внешних врагов и демонстрируя идейную солидарность власти с ними. Государство посредством эффективной пропаганды подосознательно концентрирует общественное сознание на факторе внешней угрозы (мнимой или реальной), тем самым легализуя противостояние ей силами комбатантов (в том числе). Это позволяет ему определять силу и охват протестности общества и контролировать его легальными и нелегальными средствами.

г. Белгород

ВИТАЛИЙ МАЛЬКОВ

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ — ДОНБАСС

Долгая дорога

Эта дорога в Донбасс, на мою малую родину, для меня оказалась очень долгой. Она растянулась на целых двадцать три года и пролегла через всю Россию. Так уж сложилась жизнь...

Моё детство пришлось на самый разгар эпохи “брежневского застоя” и прошло в донецком городе Артёмовске – небольшом, но вполне уютном. По крайней мере, мне, ребёнку, он таким виделся. В нём все жили дружно, и горожане говорили на русском языке, в который органично вплетался суржик – малороссийский говор. Тогда ещё Украина была одной из пятнадцати “братских республик” великого Советского Союза.

Я хорошо помню Артёмовск того времени. Чистые зелёные улицы, клумбы с цветами, газоны с голубыми елями... Мне даже было стыдно бросить на асфальт обёртку от мороженого, и я нёс её до ближайшей урны, а они стояли повсюду – на остановках, возле скамеек в парках и скверах, у входов в магазины и учреждения. Культ чистоты был повсюду.

К слову, Донецк тоже утопал в зелени и цветах. Недаром его называли “городом миллиона роз” – он походил на огромный розарий...

Отец часто гулял со мной по городским улицам, показывая разные старые здания и рассказывая о том, что в них было раньше. Вообще он хорошо знал историю города, основанного в 1571 году по повелению Ивана Грозного как Бахмутская сторожа и позже ставшего Бахмутом. Ещё он говорил мне о том, что когда-то давно на этом месте было Дикое поле, из которого на Русь нападали орды степняков и которое потом заселили русские люди. А однажды отец рассказал мне о казацком восстании атамана Кондратия Булавина, памятник которому стоял на одной из центральных площадей Артёмовска. Оно осталось в народной памяти как “восстание бахмутских солеваров”...

МАЛЬКОВ Виталий Олегович родился в 1972 году в городе Артёмовск Донецкой области. Окончил Сибирскую государственную геодезическую академию (СГГА). Прослужил 15 лет в Уголовно-исполнительной системе, капитан внутренней службы в отставке. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Роман-журнал XXI век”, “Знание-сила: фантастика”, “Воин России”, “Подъём” (Воронеж), “Звонница” (Белгород). Автор трёх книг прозы: “Продавец книг” (2011), “Срок” (2015), “В пекле огненной дуги” (“Яуза”, 2018). Рассказы В. О. Малькова переведены на арабский язык и опубликованы в Сирии. Член Союза писателей России. Живёт в Белгороде.

Да, за триста лет русский протестный дух не удалось выветрить ни революциями, ни репрессиями, ни безвременьем...

Вышло так, что в шесть лет я вместе с родителями покинул Артёмовск и перебрался жить сначала в Якутию, а затем в Белгород. Правда, практически каждое лето мы бывали на Донбассе, так что связь моя с родным городом всё же продолжалась, но после 1996 года, в силу жизненных обстоятельств, эта связь надолго прервалась. Увы.

Конечно, я надеялся, что когда-нибудь снова увижу родные края, по которым сильно скучал всей душой, увижу донецкую степь, ставки, терриконы, утопающие в зелени садов города и посёлки. И вот моё желание, в конце концов, сбылось. Долгая дорога всё же привела меня на ту землю, с которой связано моё детство. Вот только эта долгожданная встреча оказалась скорее грустной, чем радостной...

Луганская Народная Республика, год 2019

Почти разгар лета... Выехав из Белгорода поздно вечером 20 июня, к семи утра мы были на границе и, проторчав там битых пять часов, въехали в Луганскую Народную Республику...

Разве обо всём увиденном и услышанном расскажешь? Были женщины-библиотекари из Новосветловки со слезами на глазах, натерпевшиеся от украинских карателей в августе четырнадцатого, были молчаливые и суровые ребята из разведбата, сполна хлебнувшие войны, был и комбат "Призрака" Алексей Марков с позывным "Добрый", с вселенской грустью в глазах. Да много чего было...

Были встречи и случайные, но запомнившиеся, рвущие душу, как с бывшей ополченкой с позывным "Багира", оказавшейся теперь никому не нужной и вынужденной просить милостыню у храма. После ранения и госпитализации её списали на гражданку, а у неё ни денег, ни дома — остался на Украине, и муж калека — тоже отвоевал по чести и совести. Вот такая судьба на двоих...

В приграничном кафе со мной разговорился сидевший за соседним столиком мужик. В 2014 году работал он электриком, восстанавливал повреждённые ЛЭП. Однажды, когда влезал на вышку, рядом с ним по металлу начали звякать пули — это постреливал, разгоняя тоску, украинский снайпер. А вот от мины он не уберётся, рванул неподалёку фугас — его прозевали сапёры, разминировавшие минное поле. Но опять повезло — осколки прошли по ногам, да обожгло руку...

Узнали, как Лисичанск трое суток обороняли местные мальчишки и девочки — лет по пятнадцать-шестнадцать. Разоружили украинский блокпост, добыли оружие и дрались так, что прошла молва о российском спецназе. Почти все полегли, а шестнадцатилетняя девушка ("Красавка" был её позывной) бросилась с гранатами под танк... Совсем ещё дети, но каков дух к сопротивлению! Русский дух... Непокорные и непокоряемые...

Да, в том жестоком четырнадцатом году Донбасс чуть ли не с голыми руками встал против новой украинской власти и остановил украинские войска. И сейчас линия фронта проходит там, где проходила в сорок третьем, и сражаются здесь внуки тех солдат. А ведь в этом есть какая-то символичность, какая-то связь времён.

После той великой войны благодарные потомки поставили памятники, да только на Украине их нынче разрушают. А вот на Донбассе не только сохранили, но и поставили новые — уже в память о тех, кто с оружием в руках встал на защиту родной шахтёрской земли. Памятник ополченцам, памятник российским добровольцам, памятник интернационалистам, памятник жертвам бомбёжки ВСУ... Думал ли кто когда-либо, что появятся такие памятники? Всё это уже стало историей, сотворённой на наших глазах людьми, живущими или жившими рядом с нами...

Четыре дня, не думая о сне, еде и отдыхе, мы мотались по Луганской Народной Республике, выступая в подразделениях, интернатах, библиотеках... Старались успеть сделать как можно больше, а ещё смотрели и слушали, впитывали боль этих людей и этой земли. И видели, что сам наш приезд этим людям гораздо нужнее всех наших подарков и гуманитарки. Замполит

разведбата после нашего выступления буквально сиял и сказал просто, без патетики:

— Вот чего нам всем здесь не хватает — вашего слова. Вы представляете Россию и вселяете веру, что она с нами. Завтра бойцы уйдут на “передок” с уверенностью, что они — защитники земли русской. А это главное, это сила правоты своего дела, сила правды.

Где бы мы ни были, везде нас слушали с жадностью, ловя каждое слово. Евгений Бакало читал свой рассказ “Ура”, Вера Кобзарь — свои стихи, я — тоже стихи и отрывок из рассказа “Ильич”, ставшего популярным в Сирии. Выходил с гитарой Сергей Постолюк, и его песни проникали в самое сердце, а “Копьё” так вообще потрясло.

Не расставался с нами луганский поэт и прозаик Владимир Казмин, афганец. Его проникновенные стихи и песни под гитару тоже вызвали отклик в душах слушающих.

А вот роль лощмана взял на себя луганчанин Александр Ваздар. В 2014 году он был в составе фронтовой группы “Анна ньюс”. О себе не рассказывал, всё отшучивался, а у самого вся грудь в наградах. Он постоянно предлагал “заскочить” то в одно место, то в другое, чтобы мы могли как можно больше увидеть. Причём “места” эти были такие, что туда даже журналистам попасть непросто. Так мы побывали на линии разграничения сторон у станицы Луганская, где как раз намечалось разведение сил. Там рядом на холме стоит памятник князю Игорю и его дружине, весь в шрамах от пуль и осколков — резвились укры. Вообще Александр вполне достоин отдельного очерка или рассказа...

Запомнился “круглый стол” в Луганском храме иконы Божией Матери “Умиление”, устроенный настоятелем отцом Александром. В июле и августе 2014-го храм подвергся яростному обстрелу со стороны ВСУ, но почти не пострадал. Красивейшие витражи с изображениями святых и Божией Матери остались целы! Видно, на то была Божья воля! Лишь один снаряд пробил бетонную плиту подвала, в котором спрятались прихожане, но не взорвался. Говорили с отцом Александром о войне и мире, о русском духе, нравственности и о многом другом...

Развозили по библиотекам и интернатам подарки: канцтовары, игрушки, сладости и книги. Вообще сейчас книги на русском языке на Донбассе в большой цене, и им люди были рады особенно...

А в начале октября была ещё одна поездка в ЛНР, и было приятно вновь увидеть ставшие уже почти родными лица наших луганских друзей.

В этот раз с нами ехали два бывших десантника из Курска. Они привезли в Луганск останки бойца Красной армии Георгия Деркача, погибшего в 1943 году на северном фланге Курской дуги. Его призвали в Красную армию в ноябре 1941 года из Краснодарского военкомата, и многие годы числился он пропавшим без вести. Предадут его земле в день освобождения Луганска и Краснодона от немецко-фашистских захватчиков — 14 февраля, а пока что останки Деркача принял луганский музей “Память Донбасса”.

Музей этот по-своему уникален. Его создали сами горожане в те трагические дни 2014 года, когда украинские каратели пытались захватить Луганск. То есть ещё шла война, а луганчане уже верили в победу и думали о будущем. В музее есть предметы времён гражданской и Великой Отечественной войн и те, что относятся к нынешней войне на Украине. Все они собраны поисковиками, и экспонаты впечатляют. Экскурсию для нас провёл бывший ополченец с позывным “Сэнсэй” (он же — Палыч), тренер-рукопашник. Настоящий человек-легенда!..

Минуло уже пять лет с тех пор, как украинские регулярные части и добровольческие нацбаты пытались задушить восставший Донбасс. Выстояв в “мясорубке” 2014 года, республики потихоньку живут: заработали шахты и предприятия, латают ямы и воронки на дорогах и даже кладут новый асфальт. Но жизнь эту всё ещё нельзя назвать мирной. По-прежнему по всей линии фронта бесконечные обстрелы, короткие и яростные схватки, гибель людей... Устали, смертельно устали люди, но обратно в состав Украины их и прыжком не заманишь. Отрезал войной все пути назад Киев. Да и каждый прекрасно понимает, что если сюда придут украинские нацисты, то здесь начнётся кровавая бойня. В одном только Мариуполе были уничтожены сотни людей. А сколько в Харькове, Запорожье и других городах?..

Смотрит Донбасс с надеждой на Россию, ждёт и верит, что она присоединит его к себе, и эта проклятая война наконец-то закончится...

“Свеча памяти”

Двадцать второго июня, толком не поспав после трудного дня, мы поднялись в половине второго ночи и выехали из гостиницы с машиной сопровождения, поскольку до четырёх утра действовал комендантский час. Помчались по ночному Луганску, гадая, куда так спешим. Вскоре присоединились к ожидавшей нас в условленном месте колонне примерно из десятка машин. И только тогда узнали, что едем на “Партизанскую стоянку”, чтобы зажечь Свечу памяти в память о начале Великой Отечественной войны.

Происходило всё в полусотне километров от Луганска, возле села Малониколаевка, на том месте, где в октябре сорок второго погиб Ивановский партизанский отряд. Прямо у дороги – памятник конникам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, от которого к “Стоянке” ведёт через Поляну павших тропа.

Вместе с нами, как оказалось, сюда приехали депутаты Народного Совета ЛНР, сотрудники Генеральной прокуратуры и Народной милиции Республики, местные коммунисты, преподаватели и студенты Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Многие из них приехали вместе с детьми, и это правильно – так сохраняется связь поколений.

Ровно в четыре часа утра, в рассветных сумерках, мы зажгли поминальные свечи и возложили гвоздики на плиты мемориального комплекса “Звезда”. Именно в это время 22 июня 1941 года началось вторжение войск фашистской Германии и её союзников на территорию Советского Союза.

Потом дети читали стихи о войне. Это было необычно и трогательно, так, что щемило сердце.

Потом мы молча пошли цепочкой по старой партизанской тропе через байрачный лес, скрывающий балку Пасечную, завязывая красные ленточки на ветвях деревьев. Сделали остановку на Поляне павших, поставили поминальные свечи у могильных плит. На плитах нет имён и фамилий, а есть только надписи: “Неизвестный”, “Неизвестный”, “Неизвестный”...

И опять заплетяла тропинка среди дубов, акаций и клёнов, пока не оборвалась у “Партизанской стоянки”, музея под открытым небом, созданного патриотическим клубом “Подвиг”. Землянки, шалаши и окопы – всё как тогда, в сорок втором... В землянках висят фотографии партизан и карта действий отряда. Рядом, на опушке леса, стоит большой памятный камень с высеченными на нём словами: “Вечная слава павшим героям”. Под этим камнем захоронен безымянный боец партизанского отряда, принявший свой последний бой на этой поляне.

А позже в лесу был поминальный солдатский кулеш, звучали стихи и пронзительные песни Сергея Постолова. Трогательно до слёз и незабываемо...

Не было казённости – всё искренне. Ведь в сердцах луганчан тесно переплетены две войны – Великая Отечественная, и эта, нынешняя, в которой многие из них принимали участие и которая, по сути, ещё не окончена.

Лучше не говорить высокопарных слов о патриотизме и героизме отцов и дедов, а зажигать такие вот “Свечи памяти” каждый год двадцать второго июня в каждом городе и каждом селе, и чтобы возле них стояли, склонив головы, вместе взрослые и дети. Так сильнее будет духовное единение поколений и так до юных сердец лучше дойдёт, что такое истинные ценности. Потому что, постояв там, у “Свечей памяти”, дети, несомненно, станут носителями святой памяти о великом подвиге своих прадедов. Ведь верно сказал советский поэт Роберт Рождественский: “Это нужно не мёртвым! Это надо живым!”

Разговор с комбатом

В один из июньских дней нам удалось встретиться и пообщаться с комбатом легендарного батальона “Призрак”, который базируется в городе Кировске.

Его создал Алексей Мозговой ещё весной 2014-го, когда Донбасс только поднялся на борьбу за право быть русской землёй, а его жители — за право быть русскими. С самого начала войны “Призрак” участвовал во многих боях — защищал Лисичанск и Рубежное, оборонял Луганск, а в пятнадцатом штурмовал Дебальцево.

В батальоне (одно время он был и бригадой) воевали и служат теперь не только луганчане, но и добровольцы из России, с Украины, из Болгарии, Словакии... Они сплочены одной целью — борьбой с фашизмом.

А ещё в нём свято хранится память о комбриге Алексее Борисовиче Мозговом, уроженце Нижней Дуванки, потомственном донском казаке, воине и поэте, луганском Че Геваре.

“Неплохо в мае умереть, // остаться в свежести весенней”... Этими строками он словно предсказал свою гибель: 23 мая 2015 года его машину подло расстреляли из засады... Он навечно остался в народной памяти, и теперь на площади в центре Алчевска стоит памятник нестигаемому комбригу, а на месте его гибели — небольшой мемориал.

Не простили ему, что выступал за справедливость, хотел свободы и счастья народу, говорил, что у России и Украины общие враги — олигархи, развязавшие эту войну.

“По большому счету, мы убиваем друг друга вместо того, чтобы наказывать тех, кого должны наказывать. Воюем что те, что эти против олигархата, а убиваем почему-то друг друга, самих себя... Не пора ли образумиться, господа военные? Иначе у нас не останется ни одного! А те, против которых мы воевать должны, те будут жить и не тужить, и всё будет по-прежнему...”

Разве могли ему простить такие слова? Вечная память комбригу Мозговому!..

Кировск находится совсем рядом с линией фронта, и поэтому на его мирные кварталы время от времени падают украинские снаряды и мины. Так что спокойной его жизнь не назовёшь.

Нынешний комбат “Призрака” Алексей Марков (“Добрый”) раньше жил в Москве и работал айтишником. Но когда на Украине начался беспредел последователей Бандеры, он без колебаний всё бросил и в рядах российских добровольцев отправился на защиту Донбасса. Именно такие люди, как “Добрый”, не позволили ВСУ и украинским нацбатам задушить народные республики.

Марков рассказал нам, как живёт и воюет его батальон, и о многом другом.

Сейчас “Призрак” держит оборону в районе села Желобок, на северо-восточных подступах к Кировску. Точнее, от некогда цветущего села теперь остались одни лишь обгоревшие развалины. Желобок, в котором раньше проживало полторы сотни человек, опустел и стал своего рода символом жестокости этой войны, длящейся уже шестой год...

— Война не закончилась, она лишь перешла в пассивную, “ленивую” фазу, — сказал комбат. В его живом, умном взгляде читалась усталость. — Всё устали от этой войны, но ещё больше людей угнетает неопределённость будущего... Да и нацистам отвечать огнём нельзя — Минские соглашения вяжут нас по рукам и ногам. И всё же иногда мы даём им “обратки”, и очень неплохо... Людей только остро не хватает, потому что число энтузиастов из России сильно убавилось, и, в первую очередь, именно из-за отсутствия настоящих боёв. Поэтому нет возможности проводить достаточно частые ротации. Бойцы вынуждены неделями жить в окопах, а это тяжеловато. Но мы держимся и будем стоять до конца, иначе Донбасс захлебнётся в крови. Если уйдём отсюда, то украинским войскам откроется прямой путь на наши города... Кстати, расстояние между нашими позициями и украинскими позициями местами меньше пятидесяти метров, — добавил “Добрый”. — А это, сами понимаете, расстояние броска гранаты. Вот так-то... Те, кто сейчас остались в батальоне, это люди со стержнем внутри. Настоящие герои, которым не важны медали и ордена... Получившие ранения, едва встав на ноги, сразу возвращаются в строй, не хотят бросать здесь своих товарищей, которым без них будет ещё труднее... А бывает и по-другому. Приезжают добровольцы, но их надолго не хватает — либо сдают нервы после первого же серьёзного обстрела, либо не выдерживают рутину. Рыть окопы, строить

блиндажи и жить в них – никакой романтики. Война – это тяжёлая, изнурительная работа, и далеко не все годятся для неё...

Поговорив “по душам” с “Добрым”, мы пожелали ему и его батальону поменьше потерь (а без них, увы, не обходится и сейчас) и скорого завершения войны и выехали обратно в Луганск.

Храни Бог этих людей! Пока они есть, Донбасс никто и никогда не сможет поставить на колени.

Многострадальная Новосветловка

Хочу отдельно рассказать о Новосветловке, которая в августе 2014-го была захвачена 1-й Львовской мехбригадой ВСУ и батальоном “Айдар”. Всего две недели оккупации, показавшиеся вечностью...

Мы побывали в Новосветловке сначала в июне, а затем в октябре и узнали от местных жителей многое о том, что здесь творилось в те страшные дни.

Село это всего в полутора десятках километров от Луганска и менее чем в полусотне километров от границы с Россией и потому являлось тогда стратегически важной целью для украинских военных, стремившихся взять в кольцо столицу Луганской Народной Республики.

ВСУ и “айдаровцы” вошли в Новосветловку 13 августа, накануне Медового Спаса, захватив врасплох небольшой гарнизон ополченцев. Расположились в библиотеке, школе, поселковом клубе и даже в церкви, сразу показав, что они здесь на правах оккупантов. Каратели грабили, насильовали, убивали, просто так открывали огонь из стрелкового оружия и танков по домам, жестоко справлялись с пленными ополченцами и творили прочие бесчинства, сильно напоминая немецких захватчиков, побывавших здесь много лет назад. Всему этому есть живые свидетели.

Одна из местных жительниц, семидесятипятилетняя Светлана Васильевна Калиновец, рассказала о том, как 13 августа она вывезла из-под огня сильно обгоревшего танкиста, который позже всё-таки скончался от ожогов. Эта старая, но мужественная женщина говорила очень эмоционально, вспоминая пережитое, и не стеснялась самых резких слов в адрес украинских военных.

Танк был подбит недалеко от её дома, а потом, от второго попадания, детонировал боекомплект, и сильнейший взрыв сорвал башню и отбросил её к забору Светланы Васильевны. Оставшийся в живых танкист, раненый и контуженный, в почти сгоревшей одежде, заполз в соседний двор и попросил вывезти его из села к ополченцам. Калиновец, не раздумывая, завела свой старенький “жигулёнок” и, усадив в него танкиста, помчалась по горящей и гремящей Новосветловке. Несомненно, это настоящий подвиг русской женщины. Останови её каратели – смерть была бы неминуема...

Учащиеся Новосветловской средней школы тоже рассказали нам о тех ужасных днях. У некоторых из них тогда погибли или получили ранения родственники и знакомые.

– Самое страшное – это когда стреляет “Град”, – сказал один из школьников, который потерял родную бабушку...

А в конце августа, когда началось наступление ополчения, “айдаровцы” согноли несколько десятков жителей села в здешний Свято-Покровский храм и продержали там почти сутки. Всё время угрожали взорвать, а сами в это время грабили их дома.

– Они кричали, что пришли нас освобождать от москалей, – со слезами на глазах рассказывала другая женщина, продающая в храме иконки, свечи и прочие нужные прихожанам вещи. – Было очень страшно... Уже после освобождения посёлка ополчением моя племянница спросила, что ей писать первого сентября в сочинении “Как я провела лето”?.. О том, что она просидела всё лето в подвале?..

А ещё она поведала нам, что когда украинские войска покидали Новосветловку, то последний танк развернулся и выстрелил. Снаряд попал в людей, стоявших возле детского сада, и шестеро взрослых и детей было убито.

Двадцать девятого августа Новосветловку освободили. Тот день эта женщина помнит очень хорошо...

— В посёлок вошла колонна машин, и с них нам махали руками и кричали... Не бойтесь!.. Мы вас освободили!.. А мы стоим и плачем, как в фильме про Великую Отечественную...

Так или иначе эта война коснулась большинства городов и сёл Донбасса, и у некоторых из них судьба ещё трагичней, чем у Новосветловки. Взять хотя бы тот же Желобок... Но Донбасс, пройдя через все ужасы войны, выстоял и живёт, несмотря на большие трудности. Да по-другому быть и не может. Ведь это русская земля, и живут на ней русские люди...

Дебальцево

Дебальцево — небольшой городок Донецкой Народной Республики, возле границы с ЛНР. Семьдесят километров до Донецка, восемьсот — до Киева. До войны здесь проживало больше полусотни тысяч жителей, сейчас — едва половина. В конце июля четырнадцатого его захватили украинские войска, а в конце января две тысячи пятнадцатого ополченцы ДНР и ЛНР начали Дебальцевскую операцию по освобождению города и близлежащих сёл. Восемнадцатого февраля город был взят. Сейчас по его западной окраине проходит линия фронта...

Мы побывали в Дебальцево 8 октября, благодаря Сане Ваздару, который предложил нам “сгонять” туда. При въезде в город я увидел на дороге знак, сообщающий, что отсюда до моего родного Артёмовска (сейчас он опять стал Бахмутом) меньше сорока километров. Но, к сожалению, для меня эти километры были непреодолимы...

Проехали по городу и посетили среднюю школу № 4, где пообщались с ребятами. Школьники рассказали нам о том, что пережили летом 2014 года и в январе-феврале 2015-го, когда жители города вынуждены были месяц прятаться от обстрелов в подвалах. Некоторые из этих ребят потеряли своих родных и знакомых.

В Дебальцево, как и в Новосветловке, украинские каратели тоже стреляли по домам мирных граждан, хотя, в то же время, некоторые бойцы ВСУ кормили местных жителей своими продуктами. Что ж, несомненно, есть нормальные люди и “на той стороне”...

В городе местами ещё остались разрушенные и повреждённые дома — страшные отметины войны. На стенах школы, в которой мы были, видны свежие кирпичные и цементные заплатки на местах пробоев от снарядов.

Жители Дебальцево тоже надеются, что скоро наступит мир, и тоже не желают возвращаться в Украину. Я их хорошо понимаю...

Потом мы проехали по полуразрушенному прифронтовому селу Новогригоровка, в котором люди живут без отопления и горячей воды. Посреди одной из его улиц из земли торчал неразорвавшийся снаряд от РСЗО “Смерч”, своим видом напомнив нам о том, что мы находимся в одной из “горячих” точек планеты...

А потом мы побывали в расположении одного из батальонов армии ДНР.

— Отсюда до украинских позиций километра полтора, — сказал комбат. — Так что всякое бывает.

Нас провели в дом, где разместилось стрелковое отделение, и мы увидели бытовые условия живущих практически на передовой... Рядом с кастрюлями и сковородками стоят ящики с патронами и боеприпасами, на стенах висит боевая амуниция: камуфляжи, каски, бронезилеты и рюкзаки с НЗ... Рядом — пирамида с оружием: старенькие “калаши”, гранатомёты РПГ-7 и “Муха”...

Одним из жильцов оказался симпатичный и добродушный кот дымчатого цвета, который был контужен взрывом мины. Конечно, это всеобщий любимец, и он чувствует человеческую любовь. Я погладил кота, и он пошёл со мной по дому, словно показывал своё житьё-бытьё...

В штабе батальона нас угостили горячим чаем, и мы опять послушали о войне и о тактике украинских вояк — так называемых “жабьих прыжках”.

— Сначала они, пользуясь тем, что мы не можем вести активных действий, усердно роют окопы и подземные ходы, подбираясь к нам как можно ближе, а потом, в один прекрасный момент, неожиданно бросаются в атаку, — рассказал один из офицеров. — Иной раз эта тактика вполне срабатывает... Обидно. Потому что так мы, метр за метром, теряем свою землю...

В словах военного звучала горечь. В самом деле, не так уж много земли у Донецкой и Луганской республик. От двух областей им досталось чуть больше трети территории. Так что отступать особо и некуда...

На этом участке соприкосновения, как нам сказали, практически каждый день идут обстрелы и перестрелки, но во время нашего приезда было тихо. Повезло...

Русский дух и заветная мечта

Несомненно, 2014 год ярко показал всему миру, что русский дух всё ещё жив, и он по-прежнему крепок. Да, годы после развала СССР сильно повлияли на нас, многих сломав и превратив в рабов “шмотья” и “бабла”, но явно далеко не все позволили искалечить свои души. Именно поэтому так много добровольцев (кстати, и не только русских) пришло на помощь восставшему Донбассу.

Я убеждён, бандеровская бесовщина на Украине способствовала массовому взрыву самосознания и пассионарности русского народа, то есть яркому проявлению того самого русского духа. К сожалению, произошло это “благодаря” большой беде, но ведь чаще всего дух народа пробуждается как раз в смутные, тяжёлые времена, в экстремальных условиях.

Видимо, просто накопело! Ведь после 1991 года в России постоянно происходили социальные ухудшения, вызывавшие сильную горечь и протест в душах простых русских людей, и эти чувства год от года делались только крепче, они кипели и бурлили внутри, неистово жаждая выплеска. И события на Украине послужили своего рода катализатором, ускорившим и резко усилившим процесс кипения и бурления. Русский дух уже по-настоящему заклокотал, и когда началось возвращение Крыма, он, наконец, освободился от собственных внутренних оков и вырвался наружу. Добровольцы из России (сначала казаки, а потом и остальные) хлынули в Крым, положив начало “Русской весне”.

А потом настала очередь Донбасса, и его жители тоже показали свой русский дух, отказавшись встать на колени пред новой бандеровской властью Украины.

“ДОНБАСС НИКТО НЕ СТАВИЛ НА КОЛЕНИ, И НИКОМУ ПОСТАВИТЬ НЕ ДАНО”.

Эти слова Александра Захарченко, погибшего главы ДНР, написаны на стеле, установленной на мемориале возле Краснодона. Эта надпись весьма красноречива и не требует пояснений. Думаю, что совсем не случайно именно Донбасс оказался местом средоточия воспрянувшего русского духа. Возможно, это было predetermined свыше...

А ещё “Русская весна” и начавшаяся война показали, что у нас, русских, и сейчас могут появляться истинно народные лидеры, которые способны спланировать вокруг себя, вести за собой и брать на себя ответственность. Они стали командирами батальонов и бригад, возглавили народные республики, а многие из них отдали свои жизни за то, чтобы Донбасс оставался русской землёй.

Кроме того, на мой взгляд, сыграл свою роль ещё один немаловажный фактор. Это заветная мечта любого народа о справедливом государстве, в котором все равны и нет никаких господ – ни бояр или панов, ни олигархов, ни всяких прочих “буржуев”, бессовестно обкрадывающих народ. Именно она и повела русский народ за большевиками в годы гражданской войны – люди поверили в скорое осуществление своей заветной мечты. И такое государство было создано – Союз Советских Социалистических Республик.

Вот и в 2014 году русские люди поверили в то, что может возникнуть Новороссия – подобие СССР. Недаром на проекте флага Новороссии была начертана надпись – “Воля и труд!” Эта фраза воплотила в себе ту самую заветную русскую мечту – о равенстве и свободном труде для общего блага, то есть мечту о государстве свободных тружеников.

К сожалению, заветная русская мечта опять не сбылась – вместо вождённой Новороссии возникли ДНР и ЛНР, уменьшенные копии современной России, с такими же социальными пороками. Да и не получится создать государство-мечту, если на процесс влияют российские олигархи, стоящие за

спиной власти. Ведь, уничтожив люто ненавидимый ими СССР, наши домо-рощенные буржуи-нувориши не потерпят появления чего-либо подобного. Впрочем, это уже отдельная тема, и я здесь не буду её развивать. Я сейчас толкую о другом.

Российское руководство должно найти в себе мужество и силы и признать народные республики Донбасса, а ещё лучше – принять их в состав России. Потому что там живут русские люди, которые продолжают гибнуть от украинских обстрелов, и они ждут такого шага от России. Потому что Донбасс – это русская земля, а значит, он должен быть един с Россией, своей родной матерью.

Я желаю его жителям мирного неба над головой и надеюсь, что ещё побываю там и ещё увижу его благополучным и процветающим. Ну, а заветная русская мечта, даст Бог, однажды всё же сбудется. Лично я в это верю...

г. Белгород

ГЕННАДИЙ АЛЁХИН

ВЕРНУТЬ ПОГИБШИМ ИМЕНА

Мы разговаривали с ним по телефону в феврале 2019 года. Владимир Владимирович чувствовал себя неважно: перенёс инсульт. Замедленная речь, впрочем, не мешала ему вспоминать события 25-летней давности детально и основательно. Кто бы мог подумать, что это будет наш последний разговор? Через месяц его не стало.

Ушёл из жизни легендарный Щербаков – начальник известной всему миру 124-й Центральной лаборатории медико-криминалистических исследований тел погибших военнослужащих. Через него прошли тысячи неопознанных солдат и офицеров двух чеченских войн. И большинству из них он вернул имена! Именно благодаря Владимиру Щербакову и его подчинённым удалось опознать почти 100% военных и гражданских, предать их прах земле.

Полковник медицинской службы в отставке В. Щербаков много лет прослужил на Тихоокеанском флоте: два года – на миноносцах, затем – экспертом-криминалистом. В 1992 году перевёлся в Ростов-на-Дону, на свою малую родину. К тому времени он уже имел хороший практический опыт.

Лабораторию возглавил в начале первой чеченской кампании. Была поставлена задача – идентифицировать останки неопознанных трупов военнослужащих. Кто-то погиб при кровавом штурме Грозного, а кто-то сгорел в танке, подорвался на mine или фугасе или разбился на земле после попадания в вертолёт ракеты. А других доставляли из обнаруженных в Чечне мест массового захоронения, в основном, гражданских жителей.

Судмедэксперты начинали всю работу практически с нуля, на коленке. Но у них было огромное желание выполнить святую обязанность: вернуть имена погибшим, чтобы помочь солдатским матерям и родственникам. В те первые месяцы войны (да и потом!) небольшое здание 124-й лаборатории буквально осаждали толпы людей. Тут уж хочешь не хочешь, а приходилось делать то, что нужно, порой “через не могу”. Причём без права на ошибку. Иначе как ты потом будешь смотреть в глаза убитым горем матерям, отцам, сёстрам и братьям?

Давила на плечи сотрудников лаборатории и политическая составляющая. Тут уж постарались средства массовой информации, которые регулярно подбрасывали поленья в огонь. Какие только страшилки не сходили со страниц газет и экранов телевидения! И о многочисленных “эшелонах смерти”, стоящих в железнодорожных тупиках, и о рефрижераторах с останками погибших, которые никто не собираются разгружать для идентификации.

Щербаков работал днём и ночью, часто без сна и отдыха. Разрабатывал новые методы идентификации. Среди них, к примеру, дерматоглифика признаков кровного родства по отпечаткам пальцев. На основе этого метода была разработана компьютерная программа.

Щербаков пытался создать общую “антимортальную” базу данных военнослужащих именно для опознания. Однако по тем временам это сделать не удалось. Тогда ещё не было соответствующей законодательной базы. Внесённый в Госдуму проект закона идентификации и регистрации дошёл только до первого чтения. Затем его завернули. “Слуги народа” ограничились законом о дактилоскопической регистрации, с подтекстом: потом напишем ещё один закон – о геномной регистрации. И в этом правовом поле решили действовать.

Так вот и “действовали” многие годы. В итоге геномную регистрацию одобрили и приняли закон. Но он затрагивал только осуждённых за тяжкие преступления. А в военкоматах по-прежнему проводили лишь дактилоскопию пальцев рук.

Надо отдать должное В. Щербакову – он упорно добивался своего. Сама жизнь и практическая работа в лаборатории подсказывали другие подходы к решению этой тонкой, наисложнейшей проблемы. Начальника 124-й всё время подгоняли и требовали скорейшего результата.

Думаю, что чиновникам высокого уровня просто надоело само звучание этой темы в средствах массовой информации. Щербаков же настаивал на своём. Настойчиво предлагал подсказанную опытом и практикой модель работы в этом направлении: да, надо захоронить неопознанных солдат, но при обязательном условии, что с каждого погибшего будет взята необходимая информация. Только потом их можно предать земле, а судмедэксперты продолжат свою работу, с применением разных технологий для последующего установления личности.

К сожалению, мнение сторонников лишь визуального опознания возобладало. “А что вы с ними возитесь? Зачем? Есть же акт опознания”, – просто читалось в глазах некоторых чиновников, в том числе из Министерства обороны. Но как быть, если произошла ошибка? А они случались!

Щербаков рассказывал об одном довольно типичном случае. В Центр обработки и отправки погибших, находившийся в Ростове-на-Дону, поступило тело погибшего в Чечне Сергея Клочкова. О том, что это был именно рядовой Клочков, свидетельствовали акт опознания сослуживцами и военный билет. Но у экспертов лаборатории по ряду причин возникли сомнения. И они не развеялись, когда старший лейтенант Р. Азадьянц, хорошо знавший Клочкова, подтвердил первоначальные сведения. Следуя положениям приказа министра обороны РФ № 500, можно было поступить просто – отправить тело солдата для захоронения.

Но Щербаков решил провести повторное опознание. Проведённые лабораторные исследования достоверно установили, что на самом деле тело принадлежало рядовому Алексею Кокутину, а под его именем ошибочно проходил Клочков.

Чудовищная ошибка! Ещё бы! А ведь таких ошибок в первую чеченскую войну было допущено семь! Пришлось проводить эксгумацию. Хорошо, что эксперты заранее зафиксировали на видео и взяли идентификационную информацию. Таким образом, были предотвращены ошибки. Можно себе представить, что бы случилось, когда тела погибших, якобы опознанные в воинских частях, отправляются к местам захоронений, минуя 124-ю лабораторию! Страшно, когда трагедия сменяется зыбкой надеждой, а потом переходит в бесконечное ожидание, а потом – в тягостное, когда родителям вернут хотя бы тело погибшего сына.

Владимир Владимирович предлагал использовать хорватский опыт. По окончании войны на национальном кладбище Загреба построили мемориал. Он представлял собой пантеон. Но это только видимая часть. А под ним – бункер, где в контейнерах сохраняются тела. С ними можно работать, проводить исследования при получении новой информации. С одной стороны, хорваты всех погибших разместили на кладбище, с другой – ни одного не бросили и не закопали неопознанным. Как только идентификация будет закончена, можно и хоронить. Вот это наглядный пример того, как нужно обращаться с погибшими.

Кстати, о вышеупомянутом приказе министра обороны РФ № 500, в котором за основу был взят визуальный метод опознания. В то время в оборонном ведомстве, точнее, в Главном военном медицинском управлении преобладали противники генетики. Щербаков не раз писал докладные записки, объяснял, доказывал, спорил. Думаю, что вряд ли его выводы и обращения

доходили до министра. Чиновники встали в позицию глухой защиты и отгородились высоким забором непонимания. Полковника, пожалуй, лучшего эксперта в этой области, даже не пригласили на заседание Комитета обороны Госдумы, где рассматривался этот вопрос!

Знаете, в армии есть поговорка: “Дадут приказ – начнём рассказ”. В какой-то момент руководитель 124-й лаборатории решил высказаться публично – через прессу. Другого выхода у него не оставалось! Уж слишком значимым и волнующим был вопрос, затрагивавший судьбы многих людей. Как живых, так и мёртвых. Получил он за это два строгих выговора и представление о неполном служебном соответствии.

А вот фрагмент беседы Щербакова с журналисткой газеты “Известия” Е. Строителевой:

“Работы по розыску без вести пропавших, эксгумации наших солдат, погибших в первую чеченскую войну, практически заморожены (в Чечне захоронены около 250 неопознанных тел, и это только те, о которых известно). Хотя эксгумация и идентификация погибших в ходе военных действий – это средство умиротворения. Если беженцу дать “гуманитарку”, то он сегодня её съест, а завтра о ней забудет. А если помочь ему найти и похоронить своего Ваху, этого он никогда не забудет, и одним условием для наступления мирной жизни станет больше. Но ведь сейчас никто не ищет ни Ваху, ни Ивана! Спроси любого генерала: “Ты против того, чтобы мать получила тело своего погибшего сына?” Ни один не скажет, что против! Но генерал генералу – рознь. Один воюет, а другой сидит в уютном кресле. Отсюда и предложения минобороны о превращении специализированной 124-й лаборатории в Межрегиональный центр судебных экспертиз Северо-Кавказского военного округа. Но ведь войну в Чечне ведёт не округ, а значит, округ не сможет обеспечить системное решение проблемы. Пойдут сбои в работе, упрощенчество, как следствие – ложные захоронения, социальная напряжённость.

Этот приказ будет иметь негативные социальные последствия. Не раз говорил об этом и сейчас повторяю. В аналитических записках, которые я направлял в Москву, был и список из 101 военнослужащего, которых могли бы в результате планируемой реорганизации похоронить по ошибке под другими фамилиями!

– Разве сама идея о необходимости идентификации тел погибших не даёт гарантии, что все погибшие будут опознаны?

– Нужна система, которая бы работала на эту идею. А эта система складывается из нескольких составляющих: духовность, политика, законодательство и организационная структура. И последнее, но не по значению, – профессионалы, специалисты (как инструмент решения задачи). Жаль, что планка духовности страны далека от уровня твёрдого принципа: “Мы не допустим, чтобы наш гражданин потерял имя после смерти”. Есть, например, законопроект медико-криминалистической регистрации и идентификации в Вооружённых Силах РФ, который предусматривает создание национальной службы идентификации, как это принято в армиях цивилизованных стран. Но у нас решили: не надо никакого закона, можно ограничиться опознанием погибших, то есть достаточно показаний свидетелей о том, что, к примеру, этот человек – Иванов. И при этом никого не волнует, что в первую чеченскую войну в результате таких “опознаний” было 7% ошибок, во вторую – около 5%”.

Вскоре полковник Щербаков уволился в запас. Официальная версия – по достижению предельного возраста пребывания на военной службе. Но парадокс этой детективной истории в другом: через несколько лет этот пресловутый приказ № 500 отменили. Преобразованный Центр судебно-медицинских экспертиз СКВО (ныне – Южный военный округ) продолжил свою работу. Эксперты трудятся над слепками черепов и ДНК-профилями неопознанных солдат и офицеров.

Миссия остаётся прежней – вернуть погибшим имена. Цель, которой посвятил Владимир Владимирович Щербаков всю свою жизнь. Кстати, перед ним даже не извинились!

На подмосковном Ново-Богородском кладбище в местах захоронения уже установлены личности 136 военнослужащих. По желанию родственников многие из них захоронены по месту их жительства.

Работа продолжается. А значит, жива и память о настоящем профессионале, достойном офицере, герое нашего времени – Владимире Щербакове.

ВЛАДИСЛАВ ШАПОВАЛОВ

*Участник Великой Отечественной войны,
Почётный гражданин Белгородской области*

БЕЛГОРОДСКИЕ ЭТЮДЫ

КНИЖЕСТВО

Не красна книга письмом, красна умом.

Книга не бездыханный предмет из бумаги и краски, а живая субстанция мысли и духа. Книга – самый простой и удобный, самый доступный, самый массовый источник неограниченной информации. И очень важно – главный источник знаний.

Стоит себе молча на полочке, излучая энергетику, которая просветляет наши умы и отвечает на вопросы жизни.

Она легкодоступна, неприхотлива в общении, не требует лишних расходов, чем сама её стоимость.

Энциклопедия напоминает:

“КНИГА – важнейшая исторически сложившаяся и продолжающая развиваться форма закрепления семантической информации (главным образом, связного и достаточно пространного текста), предназначенная для её повторяющихся воспроизведения и передачи во времени и пространстве”.

Здесь важно “продолжающая развиваться”. Я бы добавил ещё: незаменимая форма передачи информации и, по сравнению с техническими средствами, – самый простой и доступный путь к мысли.

Ничто из средств передачи знаний не способно заменить книгу. Это самый надёжный источник. Твой вечный спутник.

Доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения БелГУ Николай Николаевич Олейник говорит, что телевизор не даст правильного развития речи, а компьютер не даст того объёма знаний, какой даёт книга, потому что мы, преподаватели, в компьютерную программу закладываем только тезисы. Полный текст находится в учебнике.

Так что без книги не обойтись.

* * *

Роюсь в кружеве памяти детства.

Помню, как в начале 30-х годов прошлого столетия к нам, в село Васильковка, где мы тогда жили, привезли киноустановку. Сначала её доставили поездом из области на станцию Ульяновка за сто километров, потом нашли бричку.

Диво дивное. Пацаны скопом ринулись в церковь – то бишь клуб. Громилы с красными бантами слева на груди (символ новой власти) свалили наземь с куполов кресты, иконы на стенах завесили кумачовыми лозунгами.

Электричества ещё не было, молодые крепыши крутили динамо-машину вручную. На белой простыне, растянутой перед амвоном, суетились какие-то человечики; отзвучивые на эхо купола заржали жеребиным реготом.

Между частями киномеханик включал маленькую лампочку, установленную на киноаппарате, открывал жестяные бобины с кинолентой, менял части.

Крутить ручку динамо-машины было нелегко. Охотников становилось всё меньше. Наконец, киноустановка потухла.

– Ну, кто докрутит, осталось две части! – крикнул киномеханик.

А поутру вдоль деревни от избы до избы покатались суды-пересуды. Мол, теперь книга не нужна, если перед тобою живые картины бегут.

Замечу в скобках. Чем старше я становлюсь, тем слабее воспринимаю кино (ясное дело: и телеэкран, особенно нынешний) и тем сильнее чувствую тягу к вечной книге. В молодости было наоборот. Видимо, кино – жанр незрелого возраста. И ещё – ленивого, ибо чтение – это труд, и не из лёгких, а тяжелейший.

На экране тебе показывают готовую картинку или воспроизводят события. Готовую кашу, кем-то специально сварганенную. Жевать не надо. Глотай!

А в книге каждое слово надо переварить самому, производя его в картинку или событие. Интенсивность работы и развития мышления удесятятся.

Если, конечно, ты не упиваешься наркотическим чтивом бестселлерного или детективного мусора.

* * *

Зайдёшь в библиотеку, а там, в шкафах, за стеклом, сомкнутые воедино золотыми корешками ряды умов, излучающих свою ауру. Такие родные, хоть и разные, порой противоречивые, но мирно стоящие на полках в навечном покое.

Наша замечательная Валерия Николаевна Колесник – человек высокой интеллектуально-духовной культуры, автор многих литературоведческих статей – однажды сказала: “Возможность быть наедине с книгой даёт возможность быть наедине с Богом”.

И действительно, самое ценное время, лучшая часть жизни проходит с книгой, ибо общение с книгой вернее общения с людьми.

Отрешиться бы от этого грешного мира и уйти в благодное уединение забвения вместе с книгой!

И нет ничего на Божьем свете отраднее, чем в самые длинные в году вечера поздней осени сидеть в кресле у мигающего пламенем камина с любимой книгой и под убаюкивающую мелодию вьюжной метели углубляться в буквенное счастье

Книга и человек – это два пытливых сердца в одном переплёте, при чтении они сливаются воедино или расходятся навсегда и даже становятся противниками.

Так что книга книге рознь, ибо ещё в позапрошлом веке митрополит Московский Макарий предупредил: **“Како нача книжно тиснение, тако диавол переселишася в печатну краску”**.

Мудрее не скажешь.

ЧТЕНИЕ

Чтение – главнейший фактор, движущая сила развития мыслительной деятельности человека. Развитие расширяет наши возможности, формирует личность, обуславливает поведение. Поведение – основной показатель сущности личности, играющий первейшую роль как в жизни самого индивидуума, так и в жизни окружающих – в семье, трудовом коллективе, – а в целом определяет состояние общества.

Я разделяю людей на две части: читающих и нечитающих. Сразу видно одних и других. От первых исходит одухотворённый свет, от вторых тянет тьмой и невежеством.

Ни одно техническое новшество — звукозапись, кинематограф, телевидение — не сравнится с чтением по интенсивности воздействия на развитие мышления. Да и первооснова вышеуказанных технических средств — слово. Сначала произносится (можно в уме) слово или текст, его кладут на бумагу, затем переносят на плёнку или экран.

Телеэкран кормит тебя готовой кашей, тщательно и обязательно преднамеренно, а часто и со злым умыслом приготовленной спецмастерами по обработке мозгов. Ты воспринимаешь набор готовых картин — лес, море, облака, и они отпечатываются в твоём сознании без особых умственных усилий. Часто ты смотришь телевизор лёжа на диване. Идёт, так сказать, пассивное восприятие уже кем-то переваренного. Здесь имеет место поверхностная зерцательность.

Телевидение, призванное в какой-то степени развивать ум человека, одновременно прививает леность ума и пассивность тела, обрекая свою жертву часто на многочасовую духовную экзекуцию и физическую неподвижность. Телевидение даёт самый низкий уровень развития, хотя иногда там идут глубоко интеллектуально-художественные передачи, и надо понимать, что делается это для приманки. Там же сидят неглупые люди и превосходно знают, как на живца ловить рыбку. Рыбак ведь тоже кидает в реку затравку и берёт рыбку на живца.

Мало того, что телеэкран ведёт к обездвиженности тела, специалисты уже официально говорят и по радио, что телевизор способствует отупению мозга. Во всяком случае, такое оно, телевидение сегодня.

Иное дело при чтении, где посредством условных индексов (букв) нужно самому создать в воображении картину — лес, море, облака — в деталях, цвете, запахе и т. п. Но это уже будут не те лес, море, облака, что на экране, а ваши собственные, сообразно уровню познания, опыту, наблюдательности.

Чтение заставляет мозг делать как бы больше “оборотов”. Мозговое вещество совершает гораздо более объёмную работу, чем при восприятии информации через экран. По сути, чтение — это сотворчество с автором. А это, в свою очередь, способствует более интенсивному развитию серого вещества.

Ещё одно преимущество имеет книга — протянул к полке руку, взял то, что хочешь ты, что нужно тебе, а не кому-то, тем более не то, что дают тебе насильно и со злым умыслом.

Но когда вы берёте в руку перо или кисть и начинаете сами создавать мир — те же лес, море, облака — вы переходите на высшую степень умственного усилия. Идёт самое интенсивное развитие мышления.

Но почему сейчас телеэкран притягивает большинство людей сильнее, чем книга? Здесь, видимо, срабатывает фактор, который можно назвать леностью ума. Человеческий организм запрограммирован природой таким образом, что, встречая препятствие, он как бы сопротивляется преодолению этого препятствия. И лишь затем волей, внутренним убеждением, крайней необходимостью находит в себе силы для преодоления того или иного препятствия. Телевизор смотреть легче, нежели читать вдумчиво книгу. У экрана шевелить мозгами нечего, он имеет способность шевелить мозги другим.

Таким образом выстраивается ряд: телесозерцание мира, воспроизведение кем-то созданного мира при чтении, наконец, творение мира. Три степени развития: пассивное, активное и творческое.

Я прихожу к убеждению, что без книги нет смысла жизни. Но книга должна раздвигать твой небосвод, а не омрачать его, уже не говоря о подавлении духа. И читать надо литературу, которая делает нас добрыми и справедливыми, а не злыми и агрессивными, литературу, которая делает нас сильными и всемогущими. Чтение возвышает личность, спасает этнос. Надо всегда помнить, что чтение остаётся главным источником культуры; в нечтении — разложение общества, вырождение рода, а в целом — нации. Знаменитый философ-просветитель Дидро говорил: **“Люди перестают мыслить, когда перестают читать”**.

Иными словами, кто не читает, тот не живёт, а существует. То есть читая — мыслишь; не читая — начинаешь хрюкать. И ещё: читая — становишься Человеком с большой буквы; не читая — становишься на четвереньки. И начинаешь блять.

Грамотный, начитанный человек пользуется среди нас большим уважением.

Классик русской литературы Ф. М. Достоевский говорил, **что гуманитарное развитие** (чему, в первую очередь, способствует чтение классической литературы. – В. Ш.) **помогает не только освоить профессию, но и совершенствует её на протяжении всей жизни человека.**

И тут встаёт крайне ответственный вопрос как для ребёнка, так и для родителя: **что читать современным, да и не только современным детям?**

Ибо важнее важного, какие убеждения, какое мировоззрение заложит в его сознание прочитанное. Отбор должен быть строжайшим.

Русская мудрость учит: не всё читай, иное пропускай.

Потому выбирать книгу, особенно для детей, нелегко, потому что за истёкшее время в искусстве образовалось столько наслоений, особенно идейных и политических, что в них разобраться трудно, ибо каждый режим переписывал русскую историю под себя.

Таким образом, всё сводится к тому, что для развития правильной речи надо обращаться к лучшим образцам классической художественной литературы.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

“Русские русских не любят...”

“К предательству таинственная страсть...” никогда не покидала наших “невозвращенцев” и “возвращенцев”, наших “дезертиров” и наших “перебежчиков” из пятой колонны, которые, переселившись на какой-нибудь Брайтон-бич, придумывали всякие причины, их оправдывающие, и начинали новую жизнь в новой общине. Эту жизнь подробно изобразил один из поэтов питерской “четвёрки” Анатолий Найман в книге “Роман с самоваром”, повествующей о быте и нравах советско-американской и русско-еврейской тусовки в ресторане под названием “Русский самовар”, созданном деньгами и усилиями трёх “шестидесятников” – Романа Каплана, Иосифа Бродского и Михаила Барышникова.

Ресторан изображён как некая Мекка для изголодавшихся по свободе единоверцев, которые приезжают в Америку посмотреть, как устроились на новом месте первопроходцы и стоит ли рискнуть и навсегда покинуть оставшуюся в другом полушарии Земли “Рашку”.

“Эмиграция, – пишет Найман, – была, казалось, сокрушительной. Самые энергичные, самые яркие, самые живые, самые талантливые уезжали”. Среди них был и Юзик Алешковский, вроде свой в доску парень, с которым я попрощался в Центральном доме литераторов после того, как мы выпили на прощанье и, как водится, заспорили. “Оставайся на своей территории!” – надменно произнёс он, оттопыривая нижнюю губу. Вскоре я ответил ему стихотворением, продолжившим наш спор:

*Для тебя — территория, а для меня —
это родина, сукин ты сын!
Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля
с тяжким стоном берёз и осин.*

*Я с тобою делил и победу, и хлеб,
и плохую, и добрую весть,
но последнее слово из книги судеб
ты не дал мне до срока прочесть.*

*Что ж, я сам прозреваю, не требуя долг,
оставайся с отравой в крови;*

*в языке и в народе известно, что волк
смотрит в лес, как его ни корми.*

*Впрочем, волк — это серый и сказочный зверь,
защищающий волю свою.*

*Всё давно мне понятно, но даже теперь
много чести тебе воздаю.*

Гнев за гнев, коль не можешь любовь за любовь.

*Так скитайся, как вечная тень,
ненадолго насытивший ветхую кровь
исчезающий оборотень...*

Написал и подумал: “А не слишком ли я жесток?” “Оборотень” вскоре исчез из Москвы, чтобы очутиться в “Русском самоваре”, завсегдатаи которого утешали себя, равняясь на классиков прошедших времён: “В масть пришло и было подхвачено словцо первой послереволюционной эмиграции: мы не в изгнании, мы в послании”... Ишь, чего захотели — славы первой эмиграции, из-под пера которой рождались великие книги: “Жизнь Арсеньева” Ивана Бунина, “Солнце мёртвых” Ивана Шмелёва, “Вёрсты” Марины Цветаевой, “Европейская ночь” Владислава Ходасевича, “Жизнь Клима Самгина” Максима Горького, “Что нам в них не нравится” Василия Шульгина... А что вышло из-под пера “небожителей” “Русского самовара”? Разве что порнографические повестушки Юзика Алешковского — “Моцарта русской прозы”, как ехидно его называл то ли Найман, то ли Бродский. Правда, в текстах Наймана из “Русского самовара” есть несколько признаний, заслуживающих внимания: “Русские русских не любят за границей не только потому, что по русской своей природе каждый каждому антагонист, и если на родине всё-таки приходится быть заодно, поскольку, во-первых, общежитие и, во-вторых, удобнее выживать, то тут — отвали, хочу пожить без тебя, козла. А ещё и потому, что не порти ты мне чужбину, куда я приехал отвязаться от того, к чему меня жизнь привязала, и, прежде всего, оторваться от родины <...> мы хотим не знать”. “Быть везде и нигде, жить на земле, которая ничья и каждого...”

Правильный диагноз поставил Найман своим соотечественникам. Разве что одну поправочку нужно сделать в этом признании: вместо фразы “**Русские русских не любят за границей**” ему следовало бы написать: “**Русские евреи русских евреев не любят...**” Вроде бы абсурдно звучит, но точнее не скажешь. Как тут лишний раз не вспомнить пророческие слова Александра Герцена: “Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозреваемое, исключительно ревнивое, то новый упрямый Израиль будет совершенно понятен”.

Но “к предательству таинственная страсть” обжигала души не только посетителей “Русского самовара”, приехавших на берег Гудзона. Они были отравлены ревностью друг к другу, ещё живя на просторах ненавистной им “Рашки”. Читаешь воспоминания “дочерей оттепели” и “сыновей Арбата” и поражаешься тому, что они, демонстрируя своё единство на публике, или на встречах с партийным начальством, или в подлом письме “42-х”, — когда оставались один на один с листом бумаги, то погружались в стихию “предательства” и взаимоиспепеляющей ревности.

Из “Дневника” Ю. Нагибина: “А Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из последних. Белла холодна, как лёд, она никого не любит, кроме — не себя даже, а производимого ею впечатления. Они оба с Женей — на вынос, никакой серьёзной и сосредоточенной внутренней жизни. Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюблённости, позёрстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорит он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском! Он и Вознесенского ненавидит (...), и мне ничего не простил. 3 сентября 1972 г<ода>.”

Из книги В. Аксёнова “Таинственная страсть”: “Давно уж с такой мерзостью, как никарагуанские мемуары Евгения Евтушенко, не сталкивался. Он всё ещё за свободу, оказывается, борется, гипертрофированный пошляк”.

Слова И. Бродского из главы В. Соловьёва “Иосиф в Египте”: “Вознесенский – это явление гораздо более скверное, гораздо более пошлое. В прошлом, я думаю, иерархии не существует, тем не менее Евтушенко – лжец по содержанию, в то время как Вознесенский – лжец по эстетике. И это гораздо хуже”.

А об Александре Кушнере Иосиф Бродский вообще отозвался с беспощадной жестокостью, возможно, потому, что последний никуда не эмигрировал, остался в Петербурге и, в сущности, выполнил завет Бродского: “Ни страны, ни погоста // не хочу выбирать. // На Васильевский остров // я приду умирать...”. Этого поворота судьбы Иосиф ему не простил: “... Кушнер, которого я до сих пор ставлю ниже остальных, хоть он и был очень популярен, и еврей... Посредственный человек, посредственный стихотворец... Крошка Цахес”.

Из “дневника Ю. Нагибина”: “Была Марина Влади, рассуждала о женском онанизме. Пришёл Высоцкий, дал ей по морде, и они ушли”.

Из книги В. Соловьёва “Не только о Евтушенко”: “Ночевал в Педелекино на даче у Евтушенко. Евгений Александрович строго-настроено приказал мне не открывать Ахмадулиной, если она будет стучаться в дверь... – Смотри, – сказал он. – она за бутылку с тобой в постель ляжет. Так что не открывай”.

А Иосиф Александрович с высоты своего нобелевского положения язвительно дразнил и евреев, и русских, и патриотов, и космополитов, и коммунистов, и сионистов, и если верить Владимиру Соловьёву, написавшему “Запретную книгу о Бродском”, с провокационной смелостью высказывался “по еврейскому вопросу: “XX век сплошь жидовизирован”, “русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум, пятьдесят процентов из тех, кто в этом веке считал себя поэтом, были евреями”, “кем угодно могу себя представить в другой жизни: мухой, червём, мартышкой, камнем. Даже женщиной. А вот гоем – никак”.

“Кончается жидовский век. Век трагедии и триумфа. Трагедия и есть Триумф. Что имена перечислять – жизни не хватит! Главное имя – Гитлер. Куда мы без него? Он сделал наши претензии обоснованными, сметя с пути препоны. Мой тёзка ему тоже пособил – не без того. После Холокоста любое проявление антисемитизма стало преступлением против человечества, что и развязало нам руки”. “Протоколы сионских мудрецов” на самом деле подлинник, евреи тайно гордятся ими и пользуются, как шаргалкой...”

(Из книги В. Соловьёва *Post Mortem*. Запретная книга о Бродском. М.: РИПОЛ-классик, 2006).

После всего сказанного недоумеваю: зачем “юдофил” Евтушенко набивался в друзья к Иосифу? Слава Богу, что Иосиф отвернулся от него и не захотел мириться с воплями Евгения Александровича о том, что он в одиночку противостоит “мировому заговору” “черносотенцев” всех стран. А что касается любви к родному пепелищу, то Бродский противостоял этому пушкинскому завету весьма изощрённо: “Мне нечего сказать / ни греку, ни варягу, // зане не знаю я, / в какую землю лягу. // Скрипи, скрипи, перо, переводи бумагу...” Это было перекличкой сразу с двумя знаменитыми пушкинскими изречениями. “Грек и варяг” Бродскому были нужны для того, чтобы читатель его стихотворенья вспомнил пушкинское хрестоматийное:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...*

Этой оглядки на Пушкина Иосифу показалось мало, и он добавил как бы от себя: “Скрипи, скрипи, перо, переводи бумагу”. Но и в этом случае Иосиф Александрович использовал последнюю строку из пушкинской “Осени” (“Октябрь уж наступил...”): “И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...” Одним словом, пытаясь “поиграть в прятки” с Пушкиным, Бродский использовал два пушкинских образа, но таким образом, чтобы не согласиться с любовью к родному пепелищу, о чём и сказал сам: “Зане не знаю я, / в какую землю лягу”.

А коли этого не знаешь, то и спроса никакого с тебя нету, поскольку в перечне племён у Пушкина есть “внук славян”, “финн”, “тунгус”, “калмык”, а “еврей” отсутствует. Но кто же в этом виноват? Конечно, Александр Сергеевич, которого Иосиф Александрович побаивался, в то время как к своим соплеменникам он относился, мягко говоря, амикошонски и даже хулигански.

А вот как отозвался о своих соратниках по “шестидесятничеству” Юлий Даниэль, припечатав всё либеральное болото одним махом:

Либералам

*Отменно мыты, гладко бриты,
И не заношено бельё...
О, либералы-сибариты,
Оплот мой, логово моё!*

*О, как мы были прямодушны,
Когда кипели, как “Боржом”,
Когда, уткнувши рты в подушки,
Крамолой восхищали жён.*

*И, в меру биты, вдоволь сыты,
Мы так рвались в бескровный бой!
О, либералы — фавориты
Эпохи каждой и любой.*

*Вся жизнь — подножье громким фразам,
За них — на ринг, за них — на риск...
Но нам твердил советчик-разум,
Что есть Игарка и Норильск.*

*И мы, шипя, ползли под лавки,
Плюясь, гнусавили псалмы,
Дерьмо на розовой подкладке —
Герои, либералы, мы!*

*И вновь тоскуем по России
Пастеризованной тоской,
О, либералы — паразиты
На гнощище беды людской.*

(“Говорит Москва”, М.: Московский рабочий. 1991. С. 228)

А ещё один поэт из лагеря “шестидесятников”-западников Владимир Корнилов, прислонившийся к “питомцам Политехнического” скорее от одиночества, нежели по идейным соображениям, так отозвался о странном сближении с ними:

*Ну, а если всё же греюсь
возле вашего огня,
значит, совесть или смелость
не в порядке у меня...*

* * *

В нашей среде всё было по-другому. Никогда никто из нас не сказал ни одного унижительного или оскорбительного слова друг о друге. Никто из нас не искал в произведениях своих друзей ни пошлости, ни развязности, ни лицедейства... Да скорее всего потому, что этих “достоинств” в них и не было. Как мне помнится, мы всегда радовались, прочитав новую подборку стихотворений Рубцова или “Последний срок” Распутина, или честный, трогательный и вызывающий чувство здорового смеха рассказ Шукшина. Мы отдавали

должное горестным повестям Белова о крестьянской жизни 20–30-х годов, восхищались стихами и поэмами Юрия Кузнецова, честной прозой Леонида Бородина, его “Третьей правдой” и “Годом чуда и печали”... А если и случались у кого-то из нашего круга какие-то неудачи, то мы или не обращали на них никакого внимания, или добродушно подшучивали друг над другом.

Если “дети XX съезда”, собираясь вместе, пели гимн сопротивления то ли властям, то ли эпохе тоталитаризма: “Возьмёмся за руки, друзья, // чтоб не пропасть поодиночке”, – то мы лечили душу стихами и музыкой “Осенней песни” Рубцова:

*Ну, так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрятся
Затаившийся снег!
На тревожной земле,
В этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек...*

Если мы кого-то и осуждали сквозь зубы, с досадой и горечью, так это Виктора Астафьева, да и не за повести и рассказы, которые мы считали выдающимися, а за то, что он поставил или разрешил поставить свою фамилию под позорным “письмом 42-х”.

Выбиваться в люди нам, детям русского простонародья, было куда труднее, нежели “детям Арбата”. Николай Рубцов после смерти матери-крестьянки воспитывался в деревенском детдоме, потом служил на флоте. После демобилизации работал матросом на рыболовном сейнере, потом учился в горном техникуме и лишь после такой изнурительной молодости поступил в Литературный институт.

Анатолий Передреев, выходец из крестьянской семьи, бежавшей в начале тридцатых годов из голодающего саратовского села в Грозный, тоже нахлебался вдоволь трудовой житухи, прежде чем обрёл литературную судьбу: работа на Саратовском металлургическом заводе в плавильном цеху, работа шофёром на грузовиках, служба в армии в ГДР, работа на строительстве плотины Братской ГЭС – вот этапы его “долитературного” пути... Его отец по возрасту не был мобилизован в Великую Отечественную войну, но три старших брата Анатолия Передреева с этой войны не вернулись. **“Три старших брата было у меня, // от них остались только имена”**, – а четвёртый брат вернулся с войны без обеих ног. Какими трудами зарабатывал Анатолий Передреев себе на хлеб, он рассказал в цикле стихотворений “Работа”:

*Я жил свободно и открыто,
Я делал чистые дела.
И производственная крыша
Над головой моей плыла.
Она была, как купол цирка,
Но не хватало высоты
Парам расплавленного цинка,
Удушью серной кислоты.
Но этот дым и слово “вредник”
Я принимал без лишних слов
И нёс брезентовый передник
Все шесть положенных часов.
И к вентиляторному ветру
Я прислонялся головой...
А на стенáх — плакаты века,
Призывы, лозунги его.
Они в упор кричали: — Выше
производительность труда!.. —
И жили голуби под крышей,
От снега спрятавшись туда.*

*Садилась голуби на фермы,
Роняли перья и помёт;
И падали, теряя формы,
Помёт коверкая, — в пролёт...
Как ветошь, тлело оперенье,
Но между цинковых чанов
Я нёс брезентовый передник
Все шесть положенных часов.*

У Юрия Кузнецова отец погиб смертью храбрых при взятии в Крыму Сапун-горы, где его фамилия увековечена на гранитной стеле. А сам Юрий Поликарпович отслужил в армии, отдал свой воинский долг по полной и даже был заброшен на Кубу во время Карибского кризиса...

Анатолий Штыров, ровесник Шукшина, был во время войны беспризорником, но его, как и многих других оставшихся без отцов подростков, подобрали на одном из вокзалов страны и определили в Нахимовское училище. Таким было решение Сталина в годы, когда у этой беспризорной вольницы было лишь два пути — или военное училище, или уголовщина со всеми её гибельными соблазнами “лёгкой” жизни... С помощью колхозных трудодней вошли в русскую литературу Вячеслав Шугаев и Василий Белов, Виктор Коротаев и Ольга Фокина, Алексей Прасолов и Валентина Сидоренко. А если вспомнить выдающегося прозаика, поэта и русского диссидента Леонида Бородина, тоже выросшего без отца и отсидевшего семь лет в мордовских лагерях за создание всероссийского христианского союза, если вспомнить “очарованного странника” — русского поэта Глеба Горбовского или прозаика Олега Куваева, автора изумительной повести “Территория”, то можно только удивляться, что они, как и многие другие дети простонародья, дети русского народа — Владимир Крупин, Юрий Убогий, Татьяна Глушкова, Альберт Лиханов, — вышли из сословия сельских учителей, провинциальных врачей, военнослужащих, из первого поколения служивой интеллигенции, осуществлявшей индустриализацию и культурную революцию 30-х годов. Вадим Валерианович Кожин, как никто, понимал, что традиции русской литературы продолжают не выходцы из партийно-государственной элиты, не “дети Арбата” и XX съезда КПСС, а потому издал в 1976 году в издательстве “Детская литература” коллективный сборник “Страницы современной лирики”, куда включил двенадцать имён: Владимира Соколова, Глеба Горбовского, Николая Рубцова, Анатолия Пердреева, Станислава Куняева, Анатолия Жигулина, Юрия Кузнецова, Василия Казанцева, Алексея Решетова, Эдуарда Балашова, Виктора Лапшина. Ни Евтушенко, ни Вознесенскому, ни Рождественскому, ни Ахмадулиной, ни Сошноре он не нашёл места в этой книге. Достигала ли в наших отношениях вражда между патриотами и либералами крайних пределов? В какой-то степени, да. Но мы всегда стремились вести борьбу в русле честного спора, в противостоянии аргументов и фактов, в своеобразном присутствии читателей. Если уж побеждать, то в публичном споре, где роль присяжных заседателей играет читающая публика. Наилучшим примером подобного честного противостояния была дискуссия “Классика и мы”, организованная нами в декабре 1977 года, в ответ на которую “штатники” вскоре огрызнулись изданием жалкого в художественном смысле “Метрополя”. Помню, что после пятчасового сражения на дискуссии “Классика и мы” наши друзья, московские художники, подарили мне Георгиевский крест и берёзовый туесок с запиской, где были слова: “За победу в неравном бою”. А мой сын, находившийся в зале, поздней ночью после дискуссии рассказал мне, что Дина Гейман, учившаяся с ним на филологическом факультете МГУ, заплакала от какого-то отчаянья, когда я под бурные аплодисменты и злобные вопли закончил своё выступление...

Чем ближе сдвигалось время к 1990-м годам, тем чаще мы схватывались друг с другом в “рукопашных” сраженьях, в словесных поединках, становившихся в годы перестройки обычным и даже рутинным делом. Последняя крупноформатная схватка произошла между нами, когда в августе 1991-го мы опубликовали в “Советской России” “Слово к народу”, а “дети Арбата” ответили нам через два года “Письмом 42-ух”...

Хочу ко всему сказанному добавить только одно: в отдельных случаях личная неприязнь самых отвязанных “шестидесятников”-либералов к нам

неожиданно для нас превращалась в беспредельную ненависть, какой мы не ощущали в 60–80-е советские годы. Ярчайшим примером этого феномена является заочная вражда между двумя знаковыми фигурами двух культур – Фридрихом Горенштейном и Василием Шукшиным. Вот что пишет в книге “Шукшин в кадре и за кадром” близкий друг Шукшина, кинооператор шукшинских фильмов Анатолий Заболоцкий:

“Был вечер памяти Шукшина (в первый год после смерти) в кинотеатре “Уран” на Сретенке. Во вступительном слове Лев Аннинский высказал мысль, что Шукшин, сам будучи полуинтеллигентом, обрушился против интеллигенции. В ответ из зала раздался громкий одинокий протест: “Сам ты полуинтеллигент!” Аннинский, прервавшись, попросил объявиться кричавшего, тот простодушно встал. Часть зала и оратор потребовали выдворить нарушителя из зала. Тут же нашлись и исполнители. Вслед изгоняемому кричали: “Пьянь! Черносотенец!” Я после Аннинского вылез к микрофону и, как умел, вступил-ся за крикуна-”черносотенца”.

И переходя в этой книге к другому сюжету, Анатолий Заболоцкий познакомил читателей с поразительной историей о том, до какого градуса ненависти доходили весьма известные вожди либерального лагеря, когда речь заходила о жизни и смерти Шукшина. Из комментариев А. Заболоцкого:

“В своих воспоминаниях Бурков пишет ещё и о том, что Шукшин якобы очень болезненно переживал ярлык “деревенщик”, страшно возмущался, когда его так называли... Если и обижался, то в первые послеинститутские годы, которые впоследствии заново оценивал, вспоминая прожитую жизнь. Но в дни, когда он был на съёмках в Клетской, “деревенщик” ему уже льстило, он был зрелый, а обижали его другие ярлыки: когда он заговаривал о Есенине, Победоносцеве, Столыпине, Лескове, об угнетении русских, то его клеймили националистом, славянофилом, антисемитом. “Только космополитом ни разу не окрестили”, – успокаивал себя Шукшин. Сколько о том получал записок из зала, живых вопросов на встречах! Кто только не поносил его в любом застолье в Москве! А венцом подобных нападок была появившаяся вскоре после смерти Шукшина за подписью Фридриха Горенштейна (одного из соавторов Андрея Тарковского, который некогда был сокурсником Василия Макаровича) публикация “Алтайский воспитанник московской интеллигенции. (Вместо некролога)”. Настроения, выраженные в этом пасквиле, сопровождали последние годы Шукшина, а перед смертью, можно смело утверждать, захлёстывали”. Вот несколько показательных отрывков из упомянутого “Вместо некролога”, сочинённого Ф. Горенштейном:

“Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея – только портить его. В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству. <...> На похоронах этого человека с шипящей фамилией, которую весьма удобно произносить сквозь зубы, играя по-кабацки желваками, московский интеллигент, который Анну Ахматову, не говоря уже о Цветаевой и Мандельштаме, оплакал чересчур академично, на этих похоронах интеллигент уронил ещё одну каплю на свою изрядно засаленную визитку. Своим почётом к мизантропу интеллигент одобрил тех, кто жаждал давно националистического шаша, но сомневался – не потеряет ли он после этого право именоваться культурной личностью.

Те, кто вырывали с корнем и принесли на похороны берёзку, знали, что делали, но ведают ли, что творят, те, кто подпирает эту берёзку своим узким плечом.

Не символ ли злобных тёмных бунтов – берёзовую дубину, которой в пьяных мечтах крушил спинные хребты и головы приёмным отцам алтаец, – не этот ли символ несли они? Впрочем, террор низов сейчас принимает иной характер, более упорядоченный, официальный, и поскольку берёза – дерево распространённое и символичное, его вполне можно использовать как подпорки для колючей проволоки под током высокого напряжения.

И, когда топча рядом расположенные могилы, в которых лежали ничем не примечательные академики, генералы и даже отцы московской интеллигенции, приютившие некогда непутёвого алтайца, когда, топча эти могилы, толпа спустила своего пророка в недра привилегированного кладбища, тот, у кого хватило ума стоять в момент этого шабаша в стороне, мог сказать, глядя на всё это: “Так нищие духом проводили в последний путь своего беспутного пророка”.

И это сказано о человеке, юность, отрочество, да и несколько зрелых лет которого (с 1943-го по 1954 год) прошли в трудах на пастбищах и полях алтайского колхоза, о человеке, работавшем слесарем на Калужском турбинном заводе, о человеке, освоившем профессию школьного учителя и директора сельской школы в родных Сростках, о человеке, отслужившем в годы “холодной войны” воинскую службу на Балтийском и Черноморском флотах, о человеке, поехавшем в Москву во ВГИК на деньги, которые матушка Шукшина Мария Сергеевна получила за проданную корову... Отца у Василия не было, он был расстрелян в 1933 году, в эпоху коллективизации.

К 90-летию Шукшина в журнале “Наш современник” была опубликована переписка Шукшина с друзьями и родными. Письма крестьянских, колхозных детей. Вот несколько примеров, свидетельствующих о том, как они жили и о чём они мечтали.

Из письма сестре Наталье: “Однажды я поклялся никому и никогда не рассказывать о себе. Смотри, я даже матери ничего не говорю. А знаешь, как это трудно?”

Из письма Василию Белову: “Был тут у меня один разговор с этими... Про нас говорят: что у нас это эпизод. Что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся свидетелями в рамках прожитой нами жизни, не больше. Особенно доставалось мне <...> неужели так, Вася? Неужели они правы?”

Из письма Шукшина Белову: “Нет, какой-то новый этап наступает несомненно. “Ничего-о, думаю, – это ещё не конец. Буду писать и складывать... Не падай духом, Вася... Много не сделаем, но своё – сделаем, тут природа (или кто-то) должны помочь... Спасенье наше только в работе”.

Из письма Белова Шукшину о “Калине красной”: “Фильм грандиозный. Обнимаю, радуюсь. Поплакал я втихаря. Такой горечи и такой боли ещё не было в нашем кино. Молю Бога, чтобы фильм поскорее пришёл к людям”.

Из письма Белова Шукшину: “А тебе дай Бог сил. Сделай ты “Степана” (фильм о Степане Разине. – **Ст. К.**) – По-нашему. Не марксиста, а Степана. А я уже вижу, как ты идёшь под секиру”.

В. Распутин о Василии Шукшине: “Нам сейчас очень не хватает Шукшина – как честного, никогда, ни при какой погоде не ломавшего голос художника, скроенного, составленного от начала до конца из одних болей, порывов, любви и таланта русского человека, как сына России!”.

А что касается кощунственного “некролога”, написанного недрогнувшей рукой Фридриха Горенштейна, то Анатолий Заболоцкий, приведя “некролог” полностью в мемуарах о Шукшине, с недоумением спросил сам себя: “Чем на него (“некролог”. – **Ст. К.**) мог бы ответить нормальный человек?” И вспомнил ответ Шукшина всем его недоброжелателям:

“Пожалуй, лучше всего это сделал сам Шукшин за 39 дней до смерти, 21 августа 1974 года. В авторской аннотации к сборнику своих рассказов и повестей (который выпустили в 1975 году издательство “Молодая гвардия”) он написал:

“Если бы можно и нужно было поделить всё собранное здесь тематически, то сборник более или менее чётко разделился бы на две части.

1. Деревенские люди у себя дома, в деревне.

2. Деревенские люди, уехавшие из деревни (то ли на жительство в город, то ли в отпуск к родным, то ли в гости – в город же).

При таком построении сборника, мне кажется, он даст больше возможности для исследования всего огромного процесса миграции сельского населения, для всестороннего изучения современного крестьянства.

Я никак “не разлюбил” сельского человека, будь он у себя дома или уехал в город, но всей силой души охота предостеречь его и напугать, если он поехал или собрался ехать: не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался, не принимай суетливость и ловкость некоторых городских

жителей за культурность, за более умный способ жизни – он, может быть, и даёт выгоды, но он бессовестный. Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами – стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый “городской язык”, коим владеют всё те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком”.

Да, основания не любить Россию и её народ у Фридриха Горенштейна были. Он тоже прожил нелёгкую жизнь. Его отец Наум Исаевич Горенштейн, профессор политэкономии и, конечно же, член ВКП(б), был расстрелян в 1937 году, как и алтайский крестьянин, отец Шукшина. Фридрих Горенштейн, видимо, для того, чтобы не носить фамилию врага народа и, скорее всего, по инициативе матери Эмки Абрамовны Прилуцкой, работавшей директором Дома для малолетних нарушителей, был переименован в Феликса Прилуцкого. Шукшину при таких же обстоятельствах фамилию не меняли.

В тридцатилетнем возрасте, в 1960 году, когда Шукшин закончил режиссёрское отделение ВГИКа, Горенштейн поступил в тот же ВГИК на высшие сценарные курсы, после чего написал 17 сценариев, из которых 5 были экранизированы.

Андрей Тарковский, Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Анна Берзинь, Виктор Славкин, Марк Розовский, как утверждает Википедия, “считали его гением”... В 1979 году он был удостоен чести стать автором “Метрополя” и с этим нимбом уехал в 1980-м на Запад, где его, как триумфатора, стали активно издавать в Германии и Австрии, а также в Нью-Йорке. В парижских театрах ставились его многочисленные пьесы, шли спектакли по его романам (названия романов “Википедия” не сообщает). Гений он или нет, теперь не имеет значения. Если гений, то очень жаль, что похоронен в Германии на каком-то старом еврейском кладбище. Гениям подобное захоронение не по чину. К гению не должна зарастать народная тропа. Вот к Шукшину она уже зарастёт никогда. А о местах последнего упокоения и о посмертных судьбах, подобных судьбе Горенштейна, один из самых неглупых “западников” Василий Аксёнов писал: “Не хочу умереть где-то за границей, потому что видел и ухаживал за могилами наших соотечественников и в Америке, и во Франции. Это самое грустное зрелище на свете – русское кладбище на чужбине”. Как бы то ни было, но жизнь развела Шукшина и Горенштейна, развела по-разному. Василий Макарович пророчески предсказал место своего упокоения – кладбище Новодевичьего монастыря в Москве; Фридрих Горенштейн в своём “Некрологе” сорвался и позавидовал “алтайцу” чёрной завистью. Впрочем, где лежит “шестидесятник” Горенштейн, для русской литературы серьёзного значения не имеет. У нас, русских, ещё живы в душе пушкинские заветы о “любви к родному пепелищу” и о “любви к отеческим гробам”. Именно на этом древнейшем чувстве великого евразийского народа покоится его история. Осознавая это, знаменитый скульптор Вячеслав Клыков создал богатырское изваяние Василия Шукшина и перевёз его за несколько тысяч километров от Новодевичьего к алтайской горе Пикет, где рядом с родными Сростками шумит родная Шукшину Катунь. Именно на родную землю Шукшина съезжаются со всех концов России к его богатырскому изваянию русские люди... Именно в Сростках они заходят в шукшинский музей, поднимаются на Пикет, заросший ромашкой, зверобоем и васильками...

Вполне естественно, что и у “детей Арбата”, и у “детей русского народа” были свои истории, критики и литературоведы, осмыслившие борьбу двух стихий. У “шестидесятников”-западников такими профессионалами стали Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин, Сергей Чупринин. У нас – Пётр Палиевский, Вадим Кожинов, Юрий Селезнёв. Но литературная борьба захватывала и многих других выдающихся персонажей эпохи. На мой взгляд, с удивительной глубиной и точностью оценок осмысливал культурную жизнь того времени композитор Георгий Васильевич Свиридов в своих дневниковых заметках, составивших впоследствии его книгу “Музыка как судьба”: “60–70-е годы были очень интересными. Ничтожность деклараций и общественно-политических

идей, высказанных скороспелым поколением “шестидесятников”, была осознана, и мысль общества ушла в глубину, в поиски новых путей к истокам национальной культуры, национального сознания, национального характера”. “Николай Рубцов – тихий голос Великого народа, потаённый, глубокий, секретный” (“Музыка как судьба”. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 126). О Евтушенко он высказывался беспощадно: “Литературный сексот, провокатор, которому в силу особенностей его службы разрешено говорить иногда некоторые вольности” (там же. С. 350). “Шостакович был музыкальным аналогом так называемой эстрадной поэзии (Евтушенко и Вознесенский), получавшей огромный резонанс в обществе. И совершенно не случайно, конечно, их плодотворное сотрудничество: 13-я симфония, “Казнь Степана Разина”, лирические канцоны (Микеланджело Буонаротти в переводе Вознесенского)...” “Государство опекает, лелеет аморфных людей, купленных или проданных, вроде Коротича, Евтушенко и подобных. Издаёт законы, охраняющие их достоинство”. “Ненависть в литературной среде к Астафьеву, Абрамову, Белову, Распутину – это ненависть к народному сознанию, народному строю чувств и мыслей” (там же. С. 538).

А разве не та же “таинственная страсть” руководила Марком Захаровым, когда он в 1989 году, выступая по телевидению, на глазах у всей страны сжёг в пепельнице, стоявшей на столе, свой партбилет, с помощью которого он стал в 1973 году худруком и главным режиссёром “Ленкома”, народным артистом СССР (1991) и лауреатом Государственной премии СССР (1987). А благодаря тому, что самим фактом уничтожения партбилета Захаров продемонстрировал Ельцину и его присным, что он “их человек”, ко всем советским званиям и наградам на него посыпались награды за предательство: три государственных премии России (1992, 1997, 2002) и три ордена “За заслуги перед Отечеством”, что сделало его почти “полным кавалером” этого ордена.

В связи с театральным и демонстративным уничтожением Захаровым партбилета мне вспоминается одна история.

В 70-х годах прошлого века я и весьма известный кабардинский поэт Алим Кешоков были в писательской командировке на Ближнем Востоке, где однажды вечером в гостинице у нас с ним зашёл разговор о сталинском переселении малых народов, в том числе и калмыков, за сотрудничество с немцами на восток страны. А Кешоков в то горячее время (лето 1942-го) служил в кавалерийском полку, который преследовал и дезертиров из калмыцких воинских соединений, разбежавшихся по степи и ждавших прихода гитлеровцев. “Сейчас мы все друзья, – сказал мне Кешоков. – Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов и я... А летом сорок второго Давид служил в 110-й калмыцкой дивизии, которая разбежалась при приближении немцев к Сальску. Хорошо, что не встретился мне в те дни Давид, – сказал Кешоков. – Я бы мог его просто из автомата перечеркнуть... А Семён Липкин, – продолжал Кешоков, – стал перед войной народным поэтом Калмыкии за перевод на русский язык народного эпоса “Джангар”, и наступавшие немцы разбрасывали с самолёта листовки с призывами: “Калмыки! Сдавайтесь! Ваш народный поэт Липкин уже у нас в плену”. Они думали, что Липкин – это калмыцкий поэт...”

Я вспомнил разговор с Кешоковым, когда прочитал стихотворение Липкина с яркой строчкой о предателях тех дней, когда “фарисеи и книжники // билеты партийные жгли”. Именно эту строку Липкина я взял эпиграфом к своей эпитафии, где речь шла о предательстве Марка Захарова:

*Когда вальяжный Марк Захаров,
творец сценических пожаров,
прилюдно партбилет поджёг,
то огорчённый Сёма Липкин,
поскольку был седым и хлипким,
от горя впал в глубокий шок.*

*Сердечко старого еврея
от наглой шутки фарисея
забилось разом невпопад,
он застонал, ломая руки:*

— *За что ты мне добавил муки,
Маркуша, книжник, ренегат!*

*Какой разлад, какое горе!
Но мне плевать, кто прав в том споре —
поэт Семён? Партиец Марк?
Меня в том споре не убудет,
пускай двух книжников рассудит
их мудрый соплеменник Маркс.*

Я не случайно написал, что распря между Марком и Семёном была распрей между двумя “книжниками”: Липкин, заклеивший в стихах 1942 года предателей Родины – СССР, сжигавших перед приходом фашистов в Калмыкию свои партбилеты, в 60–90-е годы прошлого века переродился в убеждённого “шестидесятника”, стал одним из авторов антисоветского “Метрополя” и в 1990-м, когда Марк Захаров сжигал свой партбилет, также уподобился “фарисеям”. Вот как разошлись перед распадом СССР судьбы сыновей четырёх малых народов – калмыцкого (“друг степей калмык” Кугультинов), кабардинского (советский кавалерист Кешоков), еврейского (фарисей Липкин) и крымско-татарского (Захаров, признавшийся в Википедии в родстве с этим племенем). Одним словом, получился из этого квартета своеобразный интернационал. А кому руководить “интернационалом”? Конечно, Карлу Марксу.

(Продолжение следует)

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

депутат Госдумы РФ

ЗДОРОВЬЕ ВОЛГИ – ЗДОРОВЬЕ РОССИИ

Выступление на заседании Госдумы

Река Волга – это не просто символ России, неотъемлемая часть культурного кода страны, её истории, уникальный природный памятник, но ещё и экономическая артерия страны.

В бассейне Волги, составляющем 13% территории Европы, сегодня проживает более 60 млн человек.

В настоящее время техногенная нагрузка на великую реку в 8 раз выше, чем на водные объекты в среднем по стране. В бассейне Волги производится 45% промышленной продукции, около 50% сельхозпродукции и около 20% всего рыбного промысла. Это самым пагубным образом сказалось на экологическом состоянии реки, процесс загрязнения которой идёт высокими темпами.

Проблематика экологического оздоровления Волги стоит очень остро и приобрела общегосударственное значение, поскольку она исчерпала возможности по самоочищению.

Это явилось одной из причин того, что фракция “Справедливая Россия” выступила с предложением к правительству о принятии закона в защиту Волги, а также разработки федерального проекта по возрождению этой реки. При отчёте правительства Дмитрий Медведев дважды заверил меня и депутатов Госдумы, что закон о Волге будет обязательно принят. Однако закон так и не появился.

Между тем, только закон может отрегулировать комплекс мер по сохранению природных экосистем всего бассейна Волги, по восстановлению биоразнообразия реки, остановить процессы её деградации, которые создают значительные угрозы экобезопасности страны.

Хорошо, что разработан федеральный проект “Оздоровление Волги”. Но он ориентирован, в первую очередь, на ликвидацию источников загрязнения реки, потому сосредоточен лишь на строительстве очистных сооружений. Однако для полного оздоровления Волги одних мероприятий по очистке сточных вод явно недостаточно. Существенный вклад в ухудшение экологической ситуации в Волжском бассейне внесла предыдущая хозяйственная деятельность, в том числе осушение болот и уменьшение водоохраных зон, включая и масштабную, хищническую вырубку лесов. Для разрешения ситуации нужны долгосрочные программы по расширению водоохраных зон, по существенному ограничению лесопользования в них, по восстановлению ранее

осушенных болот и обводнению торфяников. А это возможно только с принятием Закона.

Федеральный проект должен решить ряд важнейших задач, направленных на преодоление неблагоприятной экологической ситуации. Наиболее важная часть проекта – сокращение поступления в Волгу загрязнённых сточных вод.

Проект финансирует строительство очистных сооружений, но не финансирует канализационные сети. Но проложить эти сети тоже очень дорогое и финансово непреодолимое для муниципалитетов мероприятие. В итоге возникает патовая ситуация, так как строить объекты очистки сточных вод, не имея сетей, – бессмысленно. В проекте полноценно могут поучаствовать только те муниципалитеты, где уже были когда-то построены сети и очистные сооружения, но они пришли в негодность. А те населённые пункты, в которых нет ни очистных сооружений, ни сетей, оказываются вне проекта, и так и будут оставаться источниками загрязнения Волги.

Траговка федерального проекта предусматривает снижение объёма отводимых в Волгу загрязнённых сточных вод с 3,17 км³ в год на начало 2018 года до 1,05 км³ в год к 2024 году.

Только в границах Ярославской области на Волге расположено 29 очистных канализационных сооружений, большая часть которых сбрасывает в Волгу сточные воды, не соответствующие требованиям санитарных норм. Физический износ и технологическая отсталость этих сооружений определяют их низкую эффективность.

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге, к 2024 году должно составить 43. К этому периоду из акватории должно быть извлечено и утилизировано 95 затонувших судов.

По годам предусматривается увеличение численности населения волжских регионов, условия жизни которого должны быть улучшены за счёт реализации конкретных мероприятий.

В соответствии со статистическими данными в рамках проекта “Оздоровление Волги” мероприятия выполнены в 2019 году на сумму 7,7 млрд рублей, что составляет всего 68% от объёма финансового обеспечения на этот год.

Отдельными регионами объёмы финансового обеспечения в прошлом году освоены полностью или почти полностью. Это Вологодская, Волгоградская, Московская, Саратовская области и Чувашская Республика.

Не приступали к выполнению мероприятий программы Костромская, Ульяновская области, у них 0% выполнения при выделении по обоим субъектам более 1,2 млрд рублей.

Не планировали что-то делать по этому проекту в 2019 году Астраханская и Ивановская области.

Ещё по ряду областей (Нижегородская, Тверская, Республика Татарстан и Марий Эл) неполное освоение выделенных средств произошло по различным причинам – позднее заключение контрактов, отсутствие заявок, неготовность проектно-сметной документации.

По Ярославской области более 1 млрд рублей было перенесено на 2020 год. К сожалению, запланированные деньги не вложены были в строительство городских очистных сооружений из-за безответственности региона и Минэкономразвития России.

Вся эта картина подтверждает, что вхождение в проект “Оздоровление Волги” проходит непросто – выделение средств идёт с определёнными трудностями, и ещё с большими трудностями происходит освоение этих денежных ресурсов.

Текущий год должен показать способность регионов решать задачи экологической реабилитации нашей великой реки.

Пагубное влияние на состояние Волги окажет планируемое строительство целлюлозно-бумажного завода на берегу Рыбинского водохранилища. Компания “Свеза” готовит проектно-сметную документацию. Выбрана площадка в пределах рек Суда, Молога и Шексна. Эти реки понесут отраву ЦБК в Волгу. Кому тогда нужна программа “Оздоровление Волги”, если впадающие в неё реки будут её отравлять?! Это похоже на театр абсурда. Тем более, по данным Ярославского центра по гидрометеорологии, в области не осталось рек с чистой водой – 57% рек отнесены к категории “очень загрязнены”, 14% – к “грязной”, 24 – к “загрязнённой”.

Страшно и другое. В области 40 тысяч больных раком. Ежедневно выявляется 15–20 онкобольных. В Рыбинске выросло число больных раком за год на 27,4%, в Брейтове – на 52%. Если там будет ЦБК, то регион станет могоильником. И кому нужна будет целлюлоза? Хотя по проекту 96% её пойдёт на рынки Запада и Азии. Это похоже на колонию.

Повторяется история с загрязнённым Байкалом, где отходы ЦБК по сей день не утилизированы.

Экологическое состояние Рыбинского водохранилища очень уязвимо – это единственный водоём на всём Волжско-Камском каскаде, предназначенный для многолетнего регулирования стока.

По результатам многолетних исследований, проводимых Институтом биологии внутренних вод РАН, характер техногенного загрязнения экосистемы Рыбинского водохранилища подтверждает, что уже сегодня одним из основных загрязнителей этого уникального водоёма является Череповецкий промышленный узел. Это и крупнейшее в Европе металлургическое объединение “Северсталь”, химическое производство “ФосАгро” и другие предприятия. Ежегодно в Шекнинский плёс сбрасывается до 200 млн м³ загрязнённых сточных вод, содержащих высокотоксичные вещества.

При реализации проекта по оздоровлению Волги признана необходимость системного подхода к решению проблем антропогенного загрязнения.

Для восстановления нормального экологического состояния Волги необходимо очищать стоки не только промышленных и сельскохозяйственных предприятий, но и ливневые стоки с территорий городов. Хочется напомнить, что по состоянию на 2016 год из 60 млн человек, проживающих в Волжском бассейне, 48,8 миллиона человек живут в городах.

Не секрет, что по содержанию загрязняющих веществ эти сточные воды не уступают, а порой и превосходят производственные. Дождевые и талые воды несут с собой в водотоки почти всю таблицу Менделеева, ведь пыль и грязь с городских магистралей вбирает в себя большое число загрязнений современного города – от выбросов автотранспорта, труб предприятий до различного мусора. Не столь редки и случаи направления через систему ливневой канализации стоков малозащитной индивидуальной застройки.

Мониторинг такого сброса сточных вод в реки явно недостаточен. А очистные сооружения механического типа, возводимые на ливнёвках современных городов, не решают, к сожалению, проблему качественной очистки этих сточных вод.

Эта комплексная проблема требует своего решения – как с технической, организационной, так и с правовой стороны. Без этого все принимаемые меры по нормализации экологического состояния водотоков, в том числе и Волги, останутся полумерами.

Планом мероприятий по реализации проекта “Оздоровление Волги” в 2019 году Миннауки России разработана Концепция по снижению поступления загрязняющих веществ с застраиваемых территорий, промплощади, земель сельхозназначения и т. д. Данный документ, подготовленный Институтом водных проблем РАН, ориентирован на снижение загрязняющих веществ диффузного стока.

Не менее актуальным становится вопрос практической реализации направлений, предложенных Миннауки России, по предотвращению негативного воздействия ливневых систем и обеспечению надлежащего технического состояния очистных сооружений.

Сегодня Концепция направлена на рассмотрение в Федеральное агентство водных ресурсов с целью выявления возможностей её внедрения в пилотных регионах. Фракция “Справедливая Россия” считает, что этого недостаточно для практической реализации всех необходимых мероприятий. Требуется привлечение и Минстроя России, поскольку здесь напрямую затрагивается сфера ЖКХ. Принятие всех этих мер по оздоровлению экологического состояния Волги направлено на сбережение этой великой реки. И времени на её экологическую реабилитацию у нас не так много.

АЛЕКСАНДР МАРТЫНЧУК

“ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ РАССКАЖУ...”

Детство моё было непростое. Семья наша состояла из отца, матери, бабушки и пятерых детей. Земля была наделена по едокам. Примерно, гектара два было. После революции всё было нормально. Когда 20-е годы подошли, во время нэпа, начали поощрять тех, у кого урожаи хорошие и ухоженный скот. Одним словом, хозяйство крепкое. И люди как бы поднимались. Но люди, как вы понимаете, остаются всегда людьми: кто хорошо работал единоличным хозяйством, тот к колхозу подошёл не сразу, потому что думал: а как там-то будет? Не так просто общо жить, всё объединять, а как же делить? Я буду хорошо работать, а рядом со мной – плохо. Ведь если человек хуже живёт, значит, он работает хуже. Это сейчас зарплата, а тогда – как ты к земле отнесёшься, как ты её вспашешь, как ты её заборонишь, вовремя посеешь и вовремя уберёшь, то с неё и получишь. Отец мой любил лошадей: держал кобылу, жеребят. Были ещё, как я хорошо помню, два жеребца: один, гнедой, – тяжеловес, ноги мощные; другой жеребец – верховой вороной конь. У нас от дома был сравнительно далеко колодец, и для того чтобы воды взять для хозяйства, например, зимой, нужно было идти с ведрами. А чтобы лошадь напоить, ей надо было два ведра воды дать, значит, нужно было ехать верхом или вести её по дороге. Отец выводил жеребца – жеребец играет. Отец подсаживает меня на него, даёт мне повод – давай, пошёл. Жеребец уже дорогу знал.

Мне было всего лет 7-8. Конь идёт к колодцу нормально. К колодцу подходит – отец ему воду достаёт, ведро ставит. Вода такая прозрачная. Конь воду пьёт, голову поднимет. Ещё стоит. Отец ещё достаёт ему ведро. Ещё ставит. Он это ведро допивает. Отец и говорит: “Ну, давайте, пошёл!” А сам набирает себе два ведра воды на коромысло и несёт воду домой. А я на этом жеребце по дороге поехал. Вода-то холодная была, его забирает, он хвост оттопыривает – и по дороге как рванет, ногами задними бьёт, головой крутит. Теперь я смотрю, где больше сугроб. Я, конечно, держусь за гриву – какие там поводья! – смотрю только на сугроб, где побольше, раз – и в сугроб. Жеребец вдоль слободы поскакал, у нас украинская слобода была из двух десятков семей, а я пошёл домой. Отец говорит: “Ну, пришёл?” – “Пришёл”, – говорю. Отец берёт севалку, овса насыпал и выходит на дорогу. Жеребец наигрывается по дороге и подходит к нему. Овсом пошуршевал, пошевелил его губами, поел немножко, отец его погладил по шее, – “Ну, пойдём”. И он пошёл за отцом. На этом дело кончалось. Вот так мы и жили.

Колхоз организовали, большинство семей вступили в колхоз, а три семьи в него не вступили: наша семья, моего дяди и ещё одного — его звали Власом, как сейчас помню. Нам выделили самые отдалённые земли, самые неухоженные, на границах с другими деревнями — было километра три от деревни.

Но трём нашим хозяйствам в колхоз всё же пришлось вступить. Это был 1935 год. Пять лет продержались, были единоличными хозяйствами, три хозяйства на всю деревню. А дворов в деревне было 60–80. За счёт чего смогли столько лет продержаться? За счёт того, что объединились: была общая молотилка, общая жнейка. За это дело тоже прижимали: давали дополнительные налоги, дополнительные всякие сборы. Всё равно выдерживали. Хотя было только два человека, работающих в хозяйстве — отец и мать.

А детей было пятеро. Я самый старший, 1922 года. Мне было в 1935 году 13 лет. А в 1930 году сколько было? 8 лет, в школу только пошёл. И в 1935 году была бабушка, она за детьми ухаживала, а отец с матерью работали. Отец был сильный человек. У него ножища была — 45-й размер обуви носил. Физически сильный был, с него пот градом течёт, спина белая — он работает. Без всяких остановок работал. И что получилось? В 1932 году была продрозвёрстка. Был у нас один активист, некий Аникин, такой проходимец, пьяница, лодырь — никто, в общем. Но он выступал, знал, про кого что сказать, кто что сберёт. На одном из собраний он резко выступал. А у нас в деревне была одна бойкая семья, по фамилии Хлопуновы: два сына, отец. С ними особенно не знались. Аникин, видимо, так наскучил всем, надоел, что когда после собрания он переходил речку через мостик, его и прибили. Монтировкой или чем ещё. Как сейчас помню, пастух коров гонит, в дудку играет, хлыстом бьёт. Вдруг кричат: “Убили!” Все побежали, я тоже, обязательно нужно первым прибежать. Он на мостике лежит. Его сын прибежал, сразу его за карманы, а у него наган был, власти ему посодействовали. И началась история: якобы в деревне был заговор. Мол, объединение произошло зажиточного элемента. Для того чтобы не могли создать общие колхозы, такого активного человека решили убить. И кое-кого из мужичков арестовали, в том числе и моего отца. А отец был бойкий, на собраниях всегда выступал и говорил своё слово, что он знает. Он знал себя, крепкий был, ходил на кулачные бои. И был суд, тянулось дело. Но двое сыновей Хлопуновых твёрдо сказали, что никто их не подговаривал, и не было никакого заговора, Аникин всем надоел, и они сами решили его уничтожить. На этом дело кончилось. Но отец всё равно сидел. У нас забрали одну лошадь, вторую, третью. Две коровы были, и тех забрали.

Пятеро детей остались без кормильца, без хозяйства. Что делать? Мать едет в Москву. Она умела только читать печатные буквы, писать не могла. Расписаться могла каракулями. Не знаю, как это получилось, но факт тот, что она попала на приём к М. И. Калинину и по-простому (это был 1932 год) всё рассказала ему, как было, как люди жили, как всё получилось, какая семья, как отец работал, как мы остались. Он её выслушал.

Через два-три дня звонят из приёмной — она получает документы. Ей говорят: “Поезжайте”. Она берёт документы и едет. Достает документы, а там написано: всё вернуть. Всё. Лошади, коровы были в колхозе. Зерно, овёс были в амбаре у нас. И на амбаре — замок. Мать приходит к председателю и говорит:

- Документ видишь?
- А что тут написано?
- Я тебе его в руки не дам. — Он посмотрел документ.
- Ты мне лошадь отдай.

Он отдаёт двух лошадей. Одну лошадь оставляет. И одну корову отдаёт. Теперь уже его жена спрашивает:

- А как же мы останемся без этой коровы?
- Понимаете? К чужой корове привыкла.
- Была весна. Лошадей-то кормить надо. Мать и говорит:
- Мне овёс нужен.
- Сколько тебе нужно?
- Ну, ведро. Сколько дашь.
- Пойдём.

Он заходит в амбар, открывает. Ключ в замке остаётся. Она набирает ведро овса.

Он говорит:

— Ну, выходи.

Она выходит и при выходе закрывает на ключ замок, а ключ — к себе в карман.

Он:

— А ключ?

Она:

— Какой тебе ключ? Лошади мои, и овёс мой.

Он приходит к ней в дом и говорит:

— Да, после драки кулаками не машут.

Всё. Потом через некоторое время отпустили отца.

Это был 1933 год. Значит, мне было 11 лет. И вот в 1935 году у нас бабушка умирает. В возрасте 115 лет. Раньше люди просто умирали. Умирали своей смертью, что было уже подготовлено веком и своей жизнью. Изба у нас была небольшая — 6 на 6, — сени, кладовка. Мать месит хлеб, я рядом бегаю. За печкой лежачок удобный: летом, когда жарко, к стенке можно приклониться, зимой, когда холодно, к печке. Она там лежала. И вот она оттуда говорит: “Оля (мать Ольгой звали), постели мне на полу, я лягу”. Мать ей постелила. Бабушка легла. Лежит и говорит:

— Знаешь что, а я ведь умирать буду.

А ведь всё на ней было: дети, хозяйство, корова, куры, лошадь ещё тогда была. Что такое деревня без хозяйства? Это сейчас зарплата, пенсия. Тогда только свой труд был.

— Знаешь, я ведь умирать буду. Тяжело тебе будет. Так что смотри...

— Что ты, что ты, мама.

А она вздохнула — и умерла.

Её звали Евдокия. Она захоронена вместе с матерью, отцом недалеко от Зарайска.

В 1937 году начались репрессии. И отца опять арестовывают за то, что сразу в колхоз не вступил, что своё мнение выражал, конфликтовал, и по займу выступал. Когда его реабилитировали, мне дело давали смотреть, я был в прокуратуре. И остались мы у матери: я и четверо младших. Мать к мужской работе была не приспособлена, ведь всё отец делал. А я уже в средней школе учился.

До этого я получил серьёзную закалку. Сельская школа была четыре класса. Потом у нас была семилетка. Школа находилась в деревне Чернёво, и до Чернёва нужно было 10 километров ходить. Весной, летом, осенью ходили пешком туда и обратно каждый день на занятия. В одну сторону два часа. А зимой общежитие там было. Отец меня привёз в общежитие. Было мне тогда 12 лет (1934 год). Длинная большая комната, по стенам два ряда коек: с одной стороны — ряд, с другой стороны — ряд. Нас человек 20. Он привёз со мной подушку, набитую сеном, матрац, набитый соломой, два козла и дощатый топчан. Место моё оказалось около самой двери. Мне было 12 лет, а там уже были ребята лет по 15–16, “старички”, которые уже школу заканчивали. По возрасту я оказался самым младшим. Тогда там “дедовщина” была: меня положили у самой двери. Открывается дверь — и вот мой топчан. Тогда яблочный был год, ребята яблоки едят, а все огрызки в меня кидают. И, как чуть что — они кидались. Начинают на меня нападать, а я им — дудки: крепкий был парень, не поддавался. Но всё равно мне попадало. Запомнился мне один такой случай: у нас была печка, потолок высокий — метра три с половиной, высоко на печке стояла “молния” — лампа, освещала. Вот мне и говорят: если попадёшь яблоком в эту лампу, ничего не будет, а если не попадёшь, поддадим тебе. Ладно. Я яблоком — раз, точно! Лампа разрывается — и на койки. Начинается пожар. Но всё быстро погасили. Они видят, что я ещё тот, не сдаюсь им. Я выдержал. Но они меня научили. Закончился один год — старшие ушли, закончился второй — другие “старички” ушли, так я оказался в старших. И я уже стал там “дедом”. И давал младшим “прикурить”, особенно, конечно, я не издевался, но всё равно они были у меня в подчинении.

... В декабре 1941 года меня призвали в армию. Направили в Рязань, там спросили, сколько классов я закончил. Я сказал, что десять. И меня направили командиром миномётного отделения.

Примерно в марте 1942 года, к концу наступления под Москвой, нас перебросили на поездах в Сухиничи. Я был миномётчиком, первым номером.

Шли бои наступательные. Мы заняли одну деревню, и был со мною земляк. Дома все сгоревшие, но остались подвалы. А есть-то надо. Я своему отделению говорю: “Вы подождите, я подойду скоро”, – и пошёл. У меня с собой всегда был финский нож. Смотрю: дом, люк в подвал. Я – раз, дверь открываю, прыгаю в люк, а там солдат. Говорю: “Как ты сюда попал?” – “Попал”. Смотрю: у него баран – жители уже готовились к войне, значит, баранов резали и их хранили.

Я говорю:

– Знаешь, что – баран пополам.

– Как пополам?

– А так, очень просто.

Он видит, что я смелый, а смелость ко мне давно пришла. Я – барана по рёбрам, по хребту. Себе, конечно, большую часть оттаял. В вещмешок – раз. Смотрю дальше – бочка стоит. А в бочке – красная свёкла заквашенная. Не знаю, как её делают, но уцелела свёкла.

Я и её подобрал.

Пришёл в отделение: “Ребята, есть еда!”

И вот начались бои. Начались так: наступление – дают винтовки и – вперёд! Миномёты в овражке лежат. Мин нет. Снарядов нет.

Мой земляк Максимов погибает. При наступлении он отбирает пулемёт у немца, стреляет из него и в этом бою погибает. Его родственникам я рассказывал после войны, как он погиб.

Так мы двигались в конце Московского наступления, которое началось 6 декабря. Но вначале, конечно, оно было слишком упорным с обеих сторон. Много техники уничтожили. Но под конец силы наши слабеть стали. Немец оказался в укрепленных пунктах, в деревнях. А мы на открытом голом поле в снегу. У противника было преимущество.

Трудно было непомерно. Мы наступаем, немец по нам открывает миномётный огонь. Так было несколько попыток наступления без успеха, только большие потери убитыми и ранеными.

Но немцы тоже несли потери.

... Закончились наши курсы, это был март месяц или апрель примерно, и нас выпускают. Поезд подошёл. Я в вагоне расположился. Вынимаю свои документы, смотрю – лейтенант. Командир миномётной роты. Сразу.

Меня направляют в резерв Западного фронта. И тут-то я попадаю в 70-ю стрелковую Верхнеднепровскую ордена Суворова II степени дивизию.

А вы знаете, почему ей орден Суворова присвоили? Потому что мы делали большие переходы. Мы должны были быть там, где надо было срочно остановить наступление противника. Воевала эта дивизия хорошо – 11 Героев Советского Союза.

Первое боевое крещение дивизия приняла в Спас-Деменске в августе 1943 года. Бои шли с переменным успехом. Так как наша дивизия заняла оборону, сменив другую дивизию, огневые точки не были подготовлены заранее для того, чтобы обороняться. Немцы засекли, что мы сменили оборону. И что они сделали? У них не было большого наступления. Было наступление местного значения. Но оно у них было подготовлено.

У нас был завтрак, часть солдат выделяется из траншей для получения еды: не может старшина всю еду принести в траншею. И вот часть солдат ушла. В это время немцы проводят артиллерийский налёт. И начинают наступление. С их стороны были задействованы танки, самоходные установки. Пристрелка была, хотя и незначительная, но была. Я стреляю. Но немец пошёл на высоту. Там наши пушки стояли. Танк пошёл – и сразу пушку поднимает в воздух. И оборону нашу немец смял.

Я свой боезапас израсходовал, беру с собой миномёты и ухожу со своей ротой. Недалеко другие овраги начинаются, и в эти овраги я ушёл. Там остановился. Начал искать своих. И вдруг я натываюсь на командира полка Яценко и заместителя по политчасти. Они смотрят на меня:

– Ты откуда взялся?

Я:

– Как откуда? Я вывел свою роту, все миномёты сохранил, вынес. Боеприпасы все израсходовал.

— Мы же ведь послали две роты со стороны, чтобы тебя выручить. И безрезультатно. А ты вышел. Молодец!

Я тогда сразу ожил, конечно. Говорю:

— Вот моя рота. Давайте мне задание.

Они мне дают задание, и всё дело восстанавливается.

Командир полка Яценко аккуратный был мужик. Долго проверял человека, прежде чем ему что-то доверить. И много погибло тогда людей виновных и безвинных, даже не только от немцев, но и от своих. Я не хочу в это вдаваться. Неподготовленные были, всё-таки только-только сформировалась дивизия.

... Это было в 1943-1944 годах в Белоруссии. Близ деревни Горы и города Горки стояла дивизия, полки стояли по-разному. В Горках была Польская дивизия имени Костюшко. Их немцы постоянно обстреливали. Девять месяцев мы, в основном, в обороне стояли, бои местные были. В деревне рядом со стоянками полков находился госпиталь, там умирали в течение девяти месяцев в обороне. Всех хоронили в братской могиле. Братская могила и сейчас бережно сохраняется.

Была разработана операция “Багратион”. Началось освобождение Белоруссии (Второй Белорусский фронт). И когда немцы почувствовали, что они оказываются в окружении, то стали спешно убегать. Наш полк оказался как бы в этом “котле”, где немцы отбивались от нас и в то же время отступали.

Немцы, отступая, сжигали военную технику, которой было вокруг очень много. В лесах мы встречали стоящие в ряд сгоревшие автомашины, грузовики.

Наша задача была — задержать отступление немецких войск, перекрыть Варшавское шоссе. И было принято решение: организовать отряд, типа десанта, и перекрыть шоссе на дороге в районе Пекалино. Был сформирован отряд, человек, примерно, восемьсот, куда входил стрелковый батальон в полном составе и дивизион артиллерии 76-мм пушек.

Мы ночью двигались по дороге на “студебеккерах”. Немцы окопались слева и справа, а мы по дороге шли.

Я ехал тогда в машине. Мы заняли деревню Пекалино. Был дан приказ: всех покормить до рассвета — это было четвёртого июля — и ждать, что будет. Артиллерия заняла позиции, миномёты тоже были готовы к стрельбе, всё готово к бою. И вдруг, часов так в 6-7, толпа немцев, как показывают в фильме “Александр Невский”, идут “свиньёй”. Занимают дорогу и доступные места вдоль дороги, идут стеной, напрямую. Без боевого охранения, чувствуют, что пока это их территория. Потому что, если бы было боевое охранение, то они бы нас отследили. Пошли самоходные установки, танки, пехота сзади, и пошёл немец в наступление. Деревню захватили. В Пекалино погибла на моих глазах Барамзина Т. Н. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Нам был приказ: огонь открывать только при красной ракете. Они к нам уже подошли на расстояние 150-200 метров. И вот — красная ракета. И мы открыли огонь по этой массе — скопищу людей, технике, обозу, материальной части. Когда снаряд попадает в такую гущу, он, не взрываясь, наворачивает на себя людей. И вот такое длилось, примерно, минут 15-20. Такая убойная была борьба, сила с нашей стороны. Примерно через 20 минут они отступили. Мы сразу перегруппировались, те, кто остались в живых.

Мы фактически задачу свою выполнили. Но наши войска, наступающие с флангов, опоздали в своём наступлении примерно часа на три. В нашей группе людей почти не осталось.

Когда это всё закончилось, я докладываю Яценко:

— Техника вся уничтожена. Задание, которое было поставлено, батальон выполнил.

— Молодцы! Всё вы правильно сделали.

На этом дело кончилось.

Мы форсировали Неман. Эта река была с обрывистыми берегами. Когда проходили мост, то одна часть дивизии проходит, а другая к ней присоединяется. Между частями были промежутки, рядом никогда не шли. И вот сидит

ездовой на двуколке. И вдруг мост взрывается. И что вы думаете? Лошади падают вниз. А он как сидел на двуколке, так и сидит. Невредимый! Представляете?

Как-то раз дали команду занять территорию, которую немцы оборудовали. Мы пошли на прорыв. Остановились в одной деревушке, где-то на подходе к Пруссии. Там дома были интересные: стены кирпичные, а внутри пустотелые, потому что погода у них намного теплее, чем у нас. Когда нам было холодно, мы искали такую пустоту в центре, выбивали кирпич, туда вставляли трубу, а внизу — бочка с топливом, таким образом, грелись. И вот я сижу, дремлю, потому что мы ночью шли. Заходит замполит и говорит:

— Пойдём в ту комнату.

А я сижу на койке и дремлю.

Он снова говорит:

— Пойдём в ту комнату.

Я ему:

— Пошёл ты... Я сижу тут и сижу.

Он опять:

— Пойдём же в ту комнату.

Я ему:

— Никуда я не пойду! Ты хочешь — иди.

И вы думаете — что? Он идёт в комнату. Доходит до стола, и вдруг снаряд разрывается перед окном, и его осколком убивает. Что его тянуло туда? Видно, судьба...

Как-то летом мы шли на прорыв. Впереди речушка заболоченная, заросшая кустарником, а рядом возвышенность. Команда: остановиться, перекур. Мы остановились. Я сел на пригорок, закуриваю. Нам давали пачку табаку — трубочный табак, трофейный. Он завернут такой тонкой бумагой для закрутки. А солдатам давали махорку.

Вот я сижу на взгорке и курю. Ниже меня идёт инженер полка, говорит:

— У тебя есть закурить?

— Есть.

Я ему достаю табак, бумагу, и он начинает заворачивать. И откуда ни возьмись, летит снаряд, шуршит. Я раз и прыгнул в эту речку, меня всего забросало грязью. Он передо мной замертво упал, а я сижу, жив — невредим.

И был такой порядок: если знамя часть потеряет вне боя — кража или что-то ещё, — то полк расформируется. Если же в бою, то восстанавливается, если не захватит противник.

Мы были в Пруссии. Между нами и противником была высокая стена. Там — немец, а здесь я сижу, и со мной рядом офицер сидит. Тут траншея. Это было осенью, я в шинели сидел. А шинели у комиссара были двубортные, передняя часть (грудь) была с ватой. Внизу картина: речушка, заросшая кустарником, знаменосцы, трое, несут знамя. Меня офицер спрашивает:

— Слушай, какой порядок в армии со знаменем? А если знамя отберут или немец захватит?

Я ему:

— Расформируют. А если в бою, восстанавливают всё.

И откуда ни возьмись — летит снаряд, ударяет прямо в знаменосцев. И их, и знамя разорвало. Полковое знамя. А меня в грудь ранило. Думаю, что такое жжёт? Снимаю шинель, гимнастёрку, смотрю: горячий осколок лежит у меня на груди. Представляете? Вата задержала, лацкан шинели.

Это было в Пруссии осенью (сентябрь 1944 года), когда созревает свёкла. Там было свекольное поле, а наша оборона проходила по этому полю. И вот у меня записано: в штрафную роту дать 5 пулемётов. Но штрафная рота нас подвела: она отступила. Мы оказались в окружении, и нам пришлось отступить.

У нас в батальоне остался один пулемёт, и я его таскал с места на место, туда, где было необходимо. Я стрелял из пулемёта, а мой ординарец держал ленту. В конечном итоге немцы решили сделать прорыв через нас. По полю была прорыта глубокая траншея, наша оборона пересекала её. Немцы собрались в овраге, чтобы незаметно атаковать и отрезать батальон. Но получилось

так, что я оказался в этом месте, а у нас там НП был метрах в пяти от траншеи. И немцы допустили одну глупость — для того чтобы начать наступление на нас, чтобы нас отрезать, они выпустили красную ракету. А у меня, как оказалось, пулемёт был нацелен на это место. Я сразу раз — двумя пальцами на гашетки нажал и пошёл их поливать.

Ещё один момент расскажу. Он как бы идёт вперемешку со всеми остальными. Коса Мемель. Клайпеда. Клайпеду перед нами освободили от немцев, и мы тоже подошли. Но когда я туда вошёл, то там ни одного человека не было. Всё пусто: пустые дома, ничего нигде нет. Мы подошли к окраине, дул холодный ветер с Балтийского моря. А раз ветер холодный, влажный, он пронизывает тело, и нам надо погреться. Мы на окраине подожгли некоторые дома и грелись. Мы с ординарцем на лошадях сели и поехали к порту, к причалу. Проехали пустые верфи. Вошли в город и стали в дома заходить — нигде ничего нет. Ни кусочка хлеба, ничего съестного. Только собачка сидит в кресле и смотрит на тебя такими глазами... Маленькая собачка, больших собак я не встречал, только маленькие были. И столько баракла разного! Ужас! Полные шкафы. Нам разрешали посылки домой отсылать. И обычно солдаты приходят, шкаф открывают, что нравится, выбирают. Некоторые даже швейные машинки хватали и тащили. Но бывало и так: до следующего дома доходит, а там вроде машинка лучше, он первую бросает, а ту берёт. Ужас один. Трофеи. Но я на это дело никогда не поддавался. А мы нашли пасеку и мёд. И этим мёдом воспользовались. Но наш полк потом отвели. И что получилось? Когда наш полк отвели, ночью, помню, зарево в городе. Немец заложил взрывчатку под домами и стал взрывать. И кто зашёл после нас, понёс большие потери. А наш полк не пострадал. Потом наш полк на косу, длину 110 километров, встал в оборону. И наша задача была такая: не пустить немцев со стороны моря.

Коса — Фишгафен. Она тянется от Клайпеды до Кёнигсберга. Самое широкое место косы 700 метров. Самое узкое — 300. Вдоль косы шоссе, типа конюшни, и там стояли батареи, а от батарейного питания было освещение. Мы ходили к морю, к заливу — там песок. Специально сделаны деревянные ограждения, чтобы не было оползней. И наш батальон оказался в очень выгодном месте: немец, убегая, оставил свою фабрику-кухню. На фабрике-кухне осталось растительное масло, мука, коньяк французский. Они не успели эвакуировать. Интересная у них капуста: капуста не просто рубленая, фаршированная, если взял её вот так, начинаешь поднимать, можно, наверное, всю бочку вынуть оттуда, одна за другую цепляется. Представляете? Такая вкуснятина. Наши повара — специалисты стали разные пончики делать, пирожки на масле. Коньяк тоже пригодился.

И вот приезжает к нам заместитель командира дивизии, не помню фамилии, мужчина лет 45.

Приезжает для ориентировки местности, проверить, какие у нас дела. А у меня пара лошадей, длинный фаэтон немецкий на резиновом ходу. Мы сели и поехали. Фаэтон крытый, большой. Заместитель командира дивизии на бричке приехал, вдвоём с адъютантом. Он всё одобрил. Все обеспечено. Данные везде рассчитаны.

Я спрашиваю:

— Обедать будете?

Мне запомнилась одна его присказка: “О чём говорить?” — на всю жизнь.

Он:

— О чём говорить? Конечно.

А мы, офицеры, находились на втором этаже. Получилось так, что я, в основном, за командира батальона был: то одного кого-то ранило, то кто-то погиб. В общем, не знаю, почему так получалось. Я, заместитель по строевой части и замполит — офицеры. Нас трое и он — четвёртый. Сели за стол. Я говорю:

— А это можно?

Он же полковник, а я — капитан. В войну можно было что угодно сделать, знаете.

А он:

– О чём говорить?

Я вытаскиваю бутылочку, он её берёт, стаканы были немецкие – такой стаканчик кверху зауженный, их ровно четыре стакана. Пол-литра на 4 стакана.

Я эту пол-литровочку разливаю. Он выпивает. Поговорили, поговорили. Мы – молодые, для нас бутылку выпить – это было раз плюнуть. Вроде как воды выпить в то время.

– Товарищ полковник, может быть, ещё?

– О чём говорить?

Выпили ещё. Закуска была хорошая. Выпили, поговорили. А он:

– Знаешь, что? Я в Ленинграде был начальником училища.

Потом спрашиваю:

– Может, ещё (третью)?

Он:

– О чём говорить?

Беру третью. Выпили ещё по стакану. Смотрю: он уже начинает заговариваться. Думаю: что делать? Отказать? Не могу. Предложить ещё – тоже рискованно. А мы ещё бутылку выпили. И получилось по бутылке на каждого. Для нас это была ерунда.

– О чем говорить?..

Он вынул свои документы. Стал показывать нам. Всё рассказывать, что он нас пачками выпускал. Мы ему поддакиваем, лишнего сказать ничего не можем. И когда он четвёртый стакан выпил, о стол опёрся и повалился набок.

Мы его подняли и на кровать. Одна наша глупость была, что мы не сняли с него мундир. Его там перекутило, стошнило. Весь мундир испачкался. Потом мы его раздели, мундир с него сняли, помыли, как следует всё сделали, вещи почистили, посушили, подгладили. Всё. Он утром проснулся. Неудобно ему.

– Товарищ полковник, разрешите.

Он:

– Ничего, ничего. Всё нормально.

Я ему:

– Вот ваш мундир. Всё нормально?

– Нормально всё.

И мне тоже было неудобно, скажет – напоил.

Бледненький. Он мне:

– Ты мне бутылочки три положи.

А я говорю ординарцу:

– Ладно, положи ему четыре.

И уехал он. После этого были там какие-то совещания, встречались. Я на него посмотрю, он на меня посмотрит, улыбнётся и всё. Но никакого общения с ним у нас не было.

Мы всё там живём. Коньяк кончился, а ребята мы ушлые, не то, что сейчас. В армии, я имею в виду. Гнать самогон, из муки. А как же? Всё, в чём есть крахмал, это есть самогон.

Смотрю: без всякого предупреждения заявляется начальник политотдела дивизии. Утром. Часов в 9, когда у нас завтрак. Такой распорядок дня. Мы уже расположились, сидим четверо, и вот мне докладывают. У нас бутылочка самогона стоит, заделанная чем-то красным. Он заходит. Я встаю, докладываю:

– Товарищ полковник, так и так. Всё нормально. Никаких происшествий, ничего. Мы завтракаем.

– Ничего, ничего. Садитесь, пожалуйста.

И что мне делать? У нас уже налиты стаканы. Мы ещё не выпили.

Думаю: что же делать? Пойду на риск:

– Товарищ полковник, будете?

Он:

– Запах-то есть?

Я наливаю ему стакан. Мы чокнулись: за нашу победу! Он выпил и говорит:

– А всё же самогон!

Ну, думаю, будет нам взбучка. Ничего подобного, всё обошлось, всё прошло без всяких последствий.

Мы на косе месяца полтора были, минимум.

В Восточной Пруссии мы стояли на одной высоте, а немец на другой. Позади немцев — Балтийское море, там в обороне стояли, в основном, немецкие моряки, у них были снайперы, тяжелые пулемёты.

В это время я был замкомандира батальона. Командир полка ставит задачу — атаковать и взять высоту. Была небольшая артподготовка. После команды “в атаку” пехота не поднялась. Я выхватываю пистолет и команду: “Вперёд, в атаку, за мной! Члены партии — вперёд!” Пехота поднялась и пошла, невзирая на пулемётный огонь со стороны противника. Мы несли потери. Но немцы не выдержали нашей атаки и оставили траншеи. Я вскочил в занятые траншеи, уже была связь с полком, и смотрю, как отступают немцы. Связной кричит: “Вызывает первый!” Я к телефону, докладываю, что высота взята, и, когда отошёл, в это время в ячейке, где я наблюдал, взрывается снаряд.

Далее наша дивизия заняла форт. Я в форт заскочил, смотрю: стоят тут и там топчаны, ремень, а на нём — пистолет, самый сильный их пистолет. Я его в карман положил, смотрю: плащи чёрные, я один плащ схватил — холодно было. В шкафу стоят бутылки вина. А до этого нам сказали: ни в коем случае вино и водку не пить — отравлено. Открываю шкаф, рукой за бутылку взялся, а она пыльная. Думаю: кто же будет пыльную бутылку травить? Я эту бутылку положил в карман.

В это время нам дали перерыв. Я был командиром штурмовой группы. А было так: одни штурмовали, другие отходили, третьи снова заходили. Дают задание: штурмовая группа штурмует объект, а вторая уходит. У нас как раз был перерыв. Подхожу поближе, мои помощники сидят. Я говорю одному:

— Открывай бутылку, наливавай стакан!

Он наливает стакан.

Я говорю:

— Себе налей!

Я этот стакан выпиваю. И у него осталась ещё бутылка. Сухое вино. Слабое.

Я говорю:

— Знаешь, что? У нас будет перерыв полчаса. Я, может, подремлю, а ты меня потом разбуди.

Проходит полчаса, он меня толкнул, я проснулся, ему говорю:

— Давай другую бутылку.

— Что ты, ты когда, — говорит, — немножко всхрапнул, они у меня эту бутылку отобрали и всё выпили.

Пруссия. Апрель 1945 года. Командовал я штурмовой группой при штурме Кёнигсберга. Теперь я подхожу к ранению, которое получил.

Я выхожу из блиндажа на определённое задание, и вдруг снаряд взрывается, ударяет осколком меня в спину. А было холодно. Это было 7 апреля 1945 года. Я сразу почувствовал, что мне тепло. Я был в кителе и в телогрейке, сразу рукой я взял впереди — кровь. И не упал даже. Возвращаюсь в траншею, иду в блиндаж, где до этого находился. Как сейчас помню, впереди меня оказалось поваленное дерево. Я нагнулся, вхожу в блиндаж. А там оказались санитары.

— Что с тобой?

— Я ранен.

Снимают с меня телогрейку, китель, делают перевязку. Я ложусь. Через некоторое время прибегают мой ординарец и ординарец замполита.

— Товарищ капитан, товарищ капитан, обед принесли.

Я говорю:

— Мне обедать нельзя.

При ранении в живот ни в коем случае ни есть, ни пить нельзя, мы это уже знали.

Я говорю:

— Несите меня в медсанбат. Срочно.

Они меня схватили и понесли.

Меня спасло ещё и то, что я до этого не завтракал и вечером не ужинал. У меня был пустой желудок. Вот это меня и спасло. Воспалительного процесса не возникло.

Несли мимо наступающих войск. Потом меня оставили. Через некоторое время подъезжает повозка — двуколка, которую они нашли и меня повезли. Вдруг слышу, что начался скандал, догоняет нас человек, у которого они украли повозку. У него военная повозка, он за неё отвечает. Они начинают скандалить, дело доходит до столкновения, чуть ли не до оружия. Я вынимаю пистолет и как пистолетом ударил о повозку, выстрелил. Говорю:

— Отдайте повозку! Отдайте повозку ему.

Они меня вынимают из повозки и возвращают ему повозку. И меня снова понесли. Несут, несут, и тут вдруг переправа. Идут навстречу войска: пушки, танки. Они меня на носилки, накрыли шинелью. И, помню говорят:

— Пропустите, пропустите. Командир полка (так они сказали). Дайте проход. — Меня вынесли, на берег положили, и опять куда-то ушли. Смотрю: на повозке приезжают. Меня — на повозку и снова повезли. И привезли в медсанбат. Ординарец говорит:

— Тебе вещи принести сюда?

Я говорю:

— Не знаю. Успеешь — принесёшь, не успеешь — не принесёшь.

Вещи были хорошие, на них даже командир полка охотился, потому что я одного немецкого генерала раздел. И оружие с него снял. И вот я там лежу, а они особенно обо мне и не думают, потому что с моим ранением нужен специальный врач. Простой хирург за это не берётся. Кишечник ведь весь вынимается наружу, и его начинают перебирать.

Хирурга такого в медсанбате не было, и врач задаёт вопрос:

— На самолёте полетишь?

Я говорю:

— Полечу.

И меня несут, чуть ли не голого, — правда, вещи мои основные — китель, сапоги хромовые — мне положили. И несут меня на самолёт У-2. Там два человека в люльках: с одной стороны люлька и с другой — люлька. Привозят меня в Тильзит (сейчас Советск). Лётчик посадил самолёт в поле. Меня на носилки и сразу в госпиталь.

И вот меня оперируют. Когда первый раз оперировали, наркоз стали подносить — я лежу. Врач:

— Сестра, наркоз!

Я лежу. Врач ещё:

— Мартынчук!

— Я!

Врач:

— Сестра, наркоз!

Врач:

— Мартынчук!

— Я!

Врач хочет начать делать операцию. Третий раз говорит:

— Сестра, наркоз!

— Мартынчук!

Я отвечаю как бы в душе, он меня не слышит. И врач понял, что я готов для операции. Чувствую, что что-то зашуршало по животу. И всё. Он меня прооперировал, привезли меня в палату, лежу, есть не могу, ничего делать не могу. Подойдёт врач, послушает — всё нормально. Через некоторое время отправляют меня в другую палату. А до этого мне сделали переливание крови. Раньше я был в палате, где лежало человек 6–8, в другой палате, куда меня перевели, всего два человека. Я лежу, и другой лежит. Он полежал полдня — увезли, привезли следующего, он полежит полдня — увозят. А я всё лежу. Я врачу говорю:

— Слушай, у меня всё пересыхает: губы, горло — мне бы водой смыть всё это дело.

Он говорит:

— Не положена вода.

Я:

— Надо, надо.

Он говорит сестре:

— Хорошо, принеси ему.

Были всегда старшая сестра и сестра-хозяйка. А врач был майор. Медсестра приносит мне стакан воды, вату, отёрла мне губы, дала в рот немного воды. Я сполоснул и выплюнул.

Врач посмотрел на меня:

— Поставь ему воду и вату, он всё сам себе сделает.

А я лежать на спине не мог и на животе не мог — полулежал на подушках. Я никогда не терял сознания: ни во время ранения, ни после операции, потому что основные органы у меня работали. Проходит некоторое время. Лежу день, лежу два, три... Смотрю: приносят мне первое, второе и компот. Я сестре говорю:

— А что, мне положено?

Она говорит:

— Да, положено. Врач прописал, можете не волноваться.

Я взял в руки всё это и как в дверь тарелку хажнул. Она, конечно, убежала. Видимо, по их расчётам, я должен был уйти из жизни давно. Решили, что я безнадежный.

Врач приходит:

— В чём дело?

А я:

— Вчера мне нельзя было воду пить, а сегодня я должен щи есть?

И мне это прекратили. Я полежал день, другой. Меня перевели в основную палату. Смотрю: мне дали кагор — 60 граммов, кагор стали выписывать, начали постепенно давать еду и лечить. И вдруг мне стало снова плохо. У меня начался воспалительный процесс. Снизу стало давить на сердце, на лёгкие, начал задыхаться. Я говорю:

— Врач, делай мне операцию.

А он:

— Не могу я тебе операцию делать, у нас сегодня банный день.

Я ему:

— Ничего не знаю.

А со мной ребята, офицеры, лежали, встают и бегут к начальнику госпиталя. Приходит начальник госпиталя — высокий мужчина, солидный, с бородкой:

— В чём дело?

Я говорю:

— Давит мне снизу. У меня что-то не в порядке внутри, меня оперировать надо. Я хочу, чтобы меня оперировали.

Он отошёл вместе с начальником отделения, о чём-то они тихо поговорили и ушли. Тогда меня на каталку и увезли. Снова вскрыли, опять кишечник весь вытащили, промыли, что нужно, зашили или отрезали, вставили две дренажные трубки. Если бы я ещё подождал полдня, то у меня начался бы перитонит, и я был бы "готов". И я после начал постепенно поправляться. Потом мне стали вино давать. Один раз мне принесли водку. Сестра говорит:

— Пей.

Я:

— Не буду пить.

Мою полевую сумку всю обобрали. А у меня были даже немецкие авторучки, карандаши разноцветные были. Всё у меня взяли. Ещё там были письма домашние, а в письмах — золотые маленькие часы, мне их разведчики подарили. И они их не нашли. И когда мне вернули сумку, то я нашёл эти часы, а сестры увидели часики, стали около меня "крутиться". Она обнесёт всех вином, а мне побольше. Стал я поправляться, ходить я ещё не мог. Они вывезут меня, держат, а я иду дальше, за стенку держусь.

И вдруг я задумал уехать в Россию. Тильзит — это же Пруссия. Поеду в Россию. Стал проситься, чтобы меня отправили в Россию. Вообще же, зря я это: там у нас и рыбка была хорошая, вино давали. А когда вино не стали мне давать, я сестре говорю:

— Слушай, мне вино отказались давать. Что мне делать?

А она:

— А ты недоешь что-нибудь и пообедай плохо. Скажи, что у тебя настроение плохое.

Я начинаю врачу "загинать". Он спрашивает:

— А вы вино получаете?

Я:

– Нет.

– Ну, пропишите. . .

Прописали. А когда я водку пить не стал, приходит врач, спрашивает:

– Почему водку не пьешь?

– Не пью и всё.

– Не стыдно тебе? На фронте пил?

– Пил.

– Пей!

Ну, я выпил, конечно, граммов 30. . .

Теперь, когда меня стали переводить в основную, общую палату, я врачу говорю:

– Слушай, вот меня привезли на самолёте сюда. У меня была шинель новая, китель, брюки, как положено, обмундирование, шапка, планшет, сапоги хромовые. А я думаю: “Вот, выпишусь отсюда. Что я? Драное мне дадут что-нибудь. Офицер прошёл войну, и я приеду ни в чём. Где я что возьму?”

Он говорит сестре:

– Обход закончится, посмотри его вещи.

Обход закончился. Прошло время. Сестра приходит, приносит мне вещмешок мой.

– Шинель твоя?

– Моя.

– Китель твой?

– Мой.

– Брюки твои?

– Мои.

Сапоги, шапка. Сумка пустая оказалась.

– Планшет твой?

– Мой.

Она мне говорит:

– Мне все эти вещи сдать на основной склад или у меня пусть останутся?

Я говорю:

– Пусть они у вас останутся.

Я думаю: буду выздоравливать – к девкам пойду, гулять пойду. Не думал даже о том, что я не выживу. Почему-то у меня в голове даже мыслей таких не было. Организм был сам настроен, не только мысли. Бывает так, что в мыслях один настрой, а получается на самом деле по-другому, а бывает и нет. Так вот, у меня даже другого настроения не было. Я начну поправляться, пойду к девкам. Мне было 23 года. Самый такой подходящий возраст. Офицер. Погоны. Капитан.

.....
Редакция сердечно поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Александра Даниловича Мартынчука с 98-летием!

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

НОВАЯ НЕНОРМАЛЬНОСТЬ

Опасная новизна

Чиновники, их медиаобслуга всё чаще повторяют: “новая нормальность”. Стильно звучащее словосочетание подхватила наша падкая на звонкую фразу элита. После отмены карантина о “новой нормальности” заговорила Москва.

Начало, как и следует, положила власть. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, два с половиной месяца выступавшая одним из главных ньюсмейкеров страны, директивно заявила телеканалу “Россия 1”: “Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки” (цит. по: “Газета.ru”. 28.04.2020).

Эксперты тут же принялись развивать тезис. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сформулировал: “... Это будет другой мир, и мы будем привыкать в этом жить” (там же).

Разумеется, “новая нормальность” всего лишь термин. Но если его сделали модным, вбросили в СМИ и вколачивают в головы обывателей, значит, он несёт важный актуальный смысл. Что же он означает?

Нас уверяют, будто речь о гигиене. Дескать, напуганное эпидемией неосознательное население наконец-то научится чаще мыть руки, не чихать в физиономию встречного и вообще соблюдать социальную дистанцию.

Дмитрий Абзалов ссылается на опыт Уханя. Там после карантина люди держатся подальше друг от друга, а купленную в ресторанах еду несут домой – привыкли.

Солидная “Независимая газета” в редакционной статье “Новая нормальность” – это осмысленная чистота и жизнь в режиме онлайн” (11.05.2020) разъясняет: “Больше людей станут добровольно надевать маски и перчатки в привычные сезоны эпидемий, заботиться о дезинфекции рабочего места, осторожнее пользоваться общественным транспортом, гораздо менее спокойно, чем прежде, относиться к нарушению личного пространства”.

Кто бы возражал? Но привычный мир для этого менять не нужно!

Совсем другой взгляд на “новую нормальность” обнаруживается в экономической литературе. “New normal” – концепция, которую ввели специалисты PIMCO в 2009 году для описания экономических процессов”, – информирует финансовый словарь “Smart-lab.ru”.

Пояснение: PIMCO – Pacific Investment Company – американская фирма, крупнейший мировой инвестор на рынке облигаций (там же). Показательно время появления термина – 2009 год, предыдущий отмечен глубоким экономическим кризисом.

Концепция основана на нескольких положениях. Главные: “Экономика не восстановится от кризиса в нормальной циклической форме; в течение долгого времени рост будет долгим, а безработица высокой” (там же).

Как видим, “новая нормальность” совсем не про гигиену, социальную дистанцию и дезинфекцию рабочего места. Сохранить бы это самое место при высокой безработице!

Воспользовавшись кризисом, нас приглашают в мрачную реальность, до поры отвлекая разглагольствованиями в духе мультяшного Айболита.

Статья в международном научно-исследовательском журнале Research-journal.org раскладывает всё по полочкам: “New normal – новое состояние экономики после радикальных перемен (посткризисное) с выраженным замедлением экономического роста, высокими показателями безработицы, обострением долговых проблем на уровне страны, хозяйствующих субъектов и индивидов и значительная неопределённость на различных рынках” (№ 2, 2019).

У меня вопрос: стоит ли привыкать к такому “другому миру”?

Понимаю – от моего нежелания ситуация не изменится. Мы обеднели! Агентство Regnum информирует: зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина. Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-сервисом “Работа.ру”.

Хотелось бы, конечно, узнать, почему наряду с падением доходов большей части населения состояния российских миллиардеров за время карантина увеличились на 62 миллиарда долларов (forbes.ru. 26.04.2020)?

Получается, что богачи остаются при прежней нормальности, вполне комфортной, и даже существенно улучшают своё положение, навязывая остальным новую норму с едва ли не половинным урезанием уровня жизни.

В одночасье обедневшему среднему классу и вконец обнищавшим беднякам остаётся “по одежке протягивать ножки”. РИА НОВОСТИ сообщает: “После пандемии коронавируса рынок России ждёт новая модель потребления. Как к ней приспособятся россияне, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков” (04.06.2020).

Ничего мудрёного гендиректор не открыл: “Фактор цен становится одним из ключевых в принятии решения о покупке. Экономия на фруктах и овощах. Кто покупал говядину, станет покупать свинину. Кому и она не по карману, переключится на курицу” (там же). Что будут есть те, кому стала недоступна и курятина, – дешёвая еда миллионов, гендиректор не уточнил.

Голословными декларациями ситуацию не изменишь. Но и “привыкать”, “приспосабливаться” к ней, как настойчиво советуют господа Абазов и Федяков, не стоит.

Вспомним, Россия прошла через множество кризисов, которые меняли реальность круче, чем нынешний коронавирусный. Последний по времени – распад Советского Союза. Всё лежало в руинах: хозяйственные и социальные связи, общественные идеалы и нравственные ценности. И всё-таки люди, стиснув зубы, мобилизуя все силы, стремились вернуться к нормальной жизни.

Так неужели на этот раз мы примем навязываемый нам новый порядок?

Тем более, речь в данном случае не только об экономике. Статья в Research-journal опубликована в 2019 году. Кризис – ещё не инфекционный, а экономический – только начинался. Эпидемия и карантинные меры, принятые во всём мире, в частности, в России, добавили к картине “новой нормальности” дополнительные выразительные и зловещие черты.

Нас последовательно лишали прав, которые считались неотъемлемыми, за которые десятилетия боролись жители Запада и России. Которые – вместе и по отдельности – в иное время готово было отстаивать общество.

В иное время, но не в период объявленного карантина.

У нас отняли право на свободу передвижения (электронные пропуска).

Право на неприкосновенность жилища и частной жизни (“социальный мониторинг”).

Право на труд – частично. Сотни тысяч работников малых предприятий и т. н. самозанятых были заперты дома и лишены заработка.

Но даже в сравнении с положением этих “лишенцев” люди 65+ были поражены в правах ещё сильнее! Им вообще запретили покидать квартиры. Время от времени проскальзывали упоминания о том, что они, как и прочие, могут сходить в магазин и в аптеку. Но тут же эти “ послабления ” дезавуировали.

Стариков передали на попечение соцработников и волонтеров. 1,9 миллиона столичных пенсионеров – на несколько тысяч волонтеров! Если бы бабушки беспрекословно повиновались указам, они бы просто умерли с голода. . .

Нас уверяют, что все эти меры предпринимались для нашего блага. Не стану спорить. Хотя мы ещё поговорим об эффективности карантина.

Очевидно, однако, что мероприятия такого масштаба (а человечество не знало ничего подобного!) вряд ли затевают ради одной утилитарной цели.

Это ведь не только ряд карантинных мер. Это слом сознания. В запретительной горячке апреля и мая дикость многих ограничений не осознавалась в полном объеме. Но теперь, при взгляде назад, нельзя не задуматься. Даже во время войны передвижение граждан регулировалось менее жестко (комендантский час в ночное время). И даже частная жизнь – первая жертва чрезвычайных ситуаций – охранялась более тщательно, чем в период карантина. Кстати, так и не объявленного официально.

Для чего же ломали привычную жизнь, а вместе с ней и наше сознание?

Наивно ожидать прямого ответа на этот вопрос. Но логично предположить – как раз для того, чтобы заставить принять “новую нормальность”. Именно потому, что она ненормальна. Что она связана с падением привычного уровня жизни (который и так по стране в целом невысок). С крушением жизненных перспектив – как оплачивать кредиты, если доходы упали? С потерей работы и бизнеса.

Да никогда в нормальных условиях люди не примут такое! Поэтому элиты по всему свету – дело не только в России (хотя нас интересует прежде всего наша страна) – воспользовались чрезвычайной ситуацией, чтобы навязать новую реальность,

В принимаемых мерах просматриваются не только утилитарные цели, но и трагикомические черты. Незадолго до падения карантина информагентства объявили: “Мужьям, жёнам и другим членам московских семей, имеющим разную прописку, разрешили гулять вместе. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк” (Lenta.ru. 28.05.2020).

Вы слышали – Немерюк разрешил!

Наверное, только во времена крепостного права барин мог разрешить (или запретить!) мужу и жене гулять вместе.

К счастью, изоляция завершилась. Но сторонники тотального контроля не желают смириться. В тот же день, когда москвичей выпустили на улицу, источник в мэрии предупредил: “Ограничения ещё могут вернуться” (“Эхо Москвы”. 08.06.2020).

Одновременно с отменой изоляции президент подписал закон о создании Единого федерального информационного реестра, куда будут собирать данные о каждом жителе РФ.

На мой взгляд, точное определение “новой нормальности” дал депутат Госдумы заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин: “Новая нормальность”, как видят её власть и капиталисты, – это сокращение цены труда, урезание прав и свобод граждан, система тотальной электронной слежки” (@Afonin_Y 01.05.2020).

“Для нашего блага...”

А может, мы ещё будем вспоминать московского мэра как спасителя города. Энтузиасты медики просчитают, сколько жизней сохранило закрытие столицы.

Но даже если взять только медицинский аспект двухмесячной эпопеи, нельзя не заметить: при реализации предохранительных мер обнаружилось последствия незапланированные, о которых, скорее всего, не думали, которые не учитывались в момент принятия решений.

В сообщениях о работе Оперативного штаба упоминалось об участии в заседаниях вирусологов. Возникло ощущение, что все решения, о которых москвичи нередко отзывались с сарказмом, принимаются под руководством этих специалистов. Иначе как объяснить, к примеру, майское заявление С. Собянина, что ограничительные меры могут сохраняться до изобретения вакцины (ria.ru. 28.05.2020).

Представьте, огромный город, чьи базовые решения дублировали регионы, замирает в ожидании чудесного средства, не ведая, сколько придётся ждать!

Специалист – фанатик своего дела. Дело инфекциониста – борьба с вирусом. Он не обязан думать о том, выдержат ли многомесячное заточение жители, не загноётся ли экономика. COVID должен быть повержен любой ценой! “Специалист подобен флюсу. Его полнота односторонняя” – вспомним Козьму Пруткова.

Но не все учёные страдают односторонностью. Именно среди инфекционистов выдвинулись критики жёсткого карантина. Беда в том, что их в высокие кабинеты не допускали.

Заведующий кафедрой вирусологии Сеченовского университета академик РАН Виктор Зверев резко высказался об изоляции: “Мы больше людей потеряем от других болезней, которые накапливаются у того, кто сидит дома на самоизоляции” (Рамблер. 20.05.2020).

Член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон конкретизировал – от недостатка движения развивается гиподинамия, гипоксия – нехватка воздуха. “Добрый десяток болезней усугубляется сидением дома” (Росбалт. 20.05.2020).

Вызвали резонанс и высказывания зарубежных учёных, с московскими ограничительными мерами впрямую не связанные. Нобелевский лауреат Майкл Левитт раскритиковал саму идею карантина: “Решение запереть людей в квартирах было продиктовано политикой, а не здравым смыслом” (DON24.ru. 25.05.2020).

Ко времени пришлось и публикация исследования учёных Университетской больницы Эссена. По их наблюдениям, начатым ещё в 2000 году, длительная изоляция “повышает риск возникновения сердечных приступов и инсультов на 44%” (IARegnum. 23.05.2020).

Конечно, определить, сколько людей умерло не от вируса, а от суровых условий карантина, затруднительно. И всё же данные, представленные в мае заместителем столичного мэра Анастасией Раковой, заставляют задуматься.

Отвечая на западные обвинения в том, что Россия занижает количество смертей от COVID, Ракова детализировала статистику смертности. В апреле 2020 года в Москве умерло на 1,8 тысячи человек больше, чем за тот же период 2019 года – 11 846 по сравнению с 10 005 (“Север столицы”, № 19, 2020).

Из общего числа от коронавируса и его последствий скончались 639 человек. Среди остальных 11 207 смертей, по словам Раковой, 60% случилось “из-за сосудистых катастроф (инфарктов миокарда и инсультов), злокачественных заболеваний 4-й степени и других болезней” (там же).

Обратите внимание – инфаркты и инсульты поставлены на первое место. Следовательно они стали причиной наибольшего количества смертей. Это явно больше, чем 639 умерших от COVID. Поскольку смертность в нынешнем апреле значительно превысила показатели 2019 года, логично предположить, что это связано с какой-то чрезвычайной ситуацией. Именно такой ситуацией был карантин.

Отечественный авторитет академик РАН Владимир Сергиев указал на абсурдность ограничительных мер: “Почему в основу профилактики в России поставили изоляцию здоровых, а не выявление больных и контактов, что всегда давало хороший эффект в отечественной практике” (newdaynews.ru. 05.06.2020).

Академик знает, о чём говорит. Он 10 лет возглавлял Главное управление карантинных инфекций Минздрава СССР и отвечал за борьбу с эпидемиями.

Болезни физические лишь одно из побочных следствий карантина. Психологи и психиатры предупреждают о хворях душевных. “Что же будет с людьми? Или 10 психологических последствий самоизоляции” – озаглавлена статья психолога. Упомянуты “паранойяльные страхи”, “посттравматическое расстройство”, “танатофобия – страх смерти”, “обострение тревожного расстройства”, “депрессия” (“Жизнь как чудо”. 04.04.2020).

К слову о депрессии. Немецкие психиатры бьют тревогу: “Ограничения, введённые на фоне эпидемии, вызвали существенный рост числа случаев тяжёлой депрессии”. Исследователи Частной высшей школы Геттенгена называют цифру – 5% (meddaily.ru. 08.06.2020).

Кто-то скажет: подумаешь, ерунда! Но в такой населённой стране, как Германия или Россия, 5% – это миллионы людей. Людей с искалеченной психикой. И виной тому не сама эпидемия, но ограничения, введённые на её фоне.

Об экономическом ущербе все два карантинных месяца не то что говорили – кричали и предприниматели и работники. Закрылись десятки тысяч предприятий. Только в Москве и только в сфере торговли и обслуживания – 47 тысяч.

Миллионы людей потеряли работу и средства к существованию. Формально работодателей обязали выплачивать зарплату. Но пользуясь фактическим бесправием работников, хозяева отправляли их в неоплачиваемые отпуска, урезали жалованье. А мелкие предприниматели сами остались без средств.

Последствия ощущаются до сих пор и будут проявляться ещё долгое время. Многие предприятия после карантина так и не сумели открыться, другие работают с низкой нагрузкой.

Специалисты предупреждают: “Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян” (телеканал 360°. 08.06.2020).

Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХ и ГС оценили масштаб возможного влияния карантинных мер на рынок труда. “49,7% всех работающих россиян трудятся в потенциально уязвимых сферах. В группу риска сейчас попали почти 35 миллионов человек” (там же).

Безработица – не только драматичное падение доходов, это и алкоголизм, и распад семей, и суициды. В России о связи самоубийств с потерей работы почти не пишут. Иное дело в Америке. “Сегодня врачи предупреждают, что многомиллионная безработица... может привести к 75 тыс. “смертей от отчаяния” (так на Западе именуют самоубийства) – приводит Рамблер данные из США (29.05.2020).

В том же материале агентство цитирует заокеанского эксперта: “Парадокс в том, что самоизоляция спасает нас от коронавируса, но бросает на растерзание трём главным убийцам Америки – самоубийствам, алкоголизму и педерозу” (там же).

Можно, конечно, позлословить над трудностями американцев. Однако, на мой взгляд, плодотворнее задуматься о схожих проблемах в России.

Мы ещё вернёмся к разговору о социальных последствиях карантина. А пока, обозревая побочные явления изоляции, можем повторить бессмертные слова В. Черномырдина: “Хотели как лучше, а вышло как всегда”.

Неудобные вопросы

В майском выпуске журнала “Forbes” журналист Николай Усков опубликовал статью под примечательным названием “Неудобные вопросы о COVID: можно ли было обойтись без жёсткого карантина?”

За ответом ходить далеко не нужно. Его дают наши соседи – Швеция и Беларусь. Там не стали закрывать граждан в квартирах. За что и подверглись ожесточённой травле в прессе – мировой и российской.

Брань в адрес наших славянских соседей для “отечественных” СМИ привычна. Белорусский лидер для них – самодур, колхозник. Как только не честили Александра Лукашенко!

Шведы – иное дело. Критиковать викингов, которые издавна воспринимались у нас как представители Запада, в Москве решились не сразу. Поначалу печатали гневные филиппики английских газет (те больше других нападали на шведов) и лишь затем выступили сами. Заголовки красноречивы – “Коронавирус победил Швецию”, “Швецию постигла коронавирусная катастрофа”, “Отказ от карантина не помог Швеции избежать проблем в экономике”. И выстрел дуплетом: “Безалаберный дуэт: почему Швеция и Белоруссия поступили не мудро”.

Чтобы оценить основательность выступлений, обращусь к последнему. В заголовке процитированы слова итальянского вирусолога Андреа Крисанти: “Решение Швеции и Белоруссии не вводить жёсткие карантинные меры во время пандемии... не было мудрым, поэтому страны понесли слишком большой ущерб” (yandex.ru. 13.06.2020).

Итальянский профессор сурово указывает на “слишком большой ущерб”. Сравним: в Швеции от COVID умерли 4 874 человека, в Белоруссии – 303, в Италии – 34 301 (coronavirus-monitor.info. 14.06.2020). Сопоставьте цифры и оцените степень объективности итальянского специалиста.

Кстати, это тот самый Андреа Крисанти, который открыл т. н. “бессимптомных” коронавирусами (РБК. 12.06.2020). Помните, ими особенно пугали обывателей – симптомов нет, а зараза передаётся. Только в июне ВОЗ устами своего технического руководителя по реагированию на COVID-19 Марии Ван Керкхове объявила: “Бессимптомные носители коронавируса не заразны” (coronavirus-monitor.ru. 09.06.2020).

Теперь Крисанти страшит “второй волной” вируса. Как видим, у COVID-19 есть энергичные пропагандисты. Служители “пандемии страха”.

Между прочим, английскую прессу, ожесточённое других нападающую на шведскую модель, вдохновляет такой же пропагандист Нил Фергюсон. И когда пишут: “Британские учёные из Имперского колледжа в Лондоне...” – имеют в виду именно его. Самое любопытное: Фергюсон не эпидемиолог. Как сообщает ТАСС, он профессор математической биологии. Выстраивая математические модели эпидемии, Фергюсон пришёл к выводу, что “мягкие ограничительные меры могут привести к гибели сотен тысяч человек”. Он сумел навязать свою точку зрения британскому премьеру. Но в мае Фергюсон уволился из научного совета при правительстве (meduza.io. 06.05.2020).

Светлым пятном на этом грязноватом фоне смотрится интервью с главным эпидемиологом Швеции Андресом Тегнеллом, которое “Комсомольская правда” перепечатала из научного журнала Nature (kr.ru.25.04.2020). Привлекает спокойный тон и взвешенная позиция идеолога шведской модели.

Обосновывая свою позицию, Тегнелл ссылается на здравый смысл и национальные традиции. “Мы не стали закрывать общество, – говорит он. – Во-первых, в других странах не до конца отдают себе отчёт, что это значит попытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не кончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и получим новую волну”.

Тегнелл отмечает, как вздорные, рассказы о том, что в Швеции к вирусу относятся несерьёзно, вообще не принимают защитных мер. “Абсолютно неверно думать, что ситуация с коронавирусом здесь пустила на самотёк, позволяя инфекции свободно распространяться, чтобы создать в итоге массовый иммунитет. Ограничений немного, но они существуют. Запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, в ресторанах работают только открытые веранды и площадки, пожилым людям рекомендовано избегать социальных контактов, руководителей компаний попросили перевести работников на удалёнку... В старших классах и университетах ввели дистанционное обучение. Людям постоянно напоминают: мойте руки, соблюдайте дистанцию, не выходите из дома, если заболели. Только если в большинстве стран за соблюдением следит карательная государственная машина, то шведы всецело полагаются на сознательность граждан”.

Показательно: Тегнелл в интервью говорит об “обществе”. В то время как наши чиновники и журналисты о “населении”. Тут разница не только стилистическая, но и смысловая.

Население – это аморфная сумма людей, проживающих на данной территории. Общество – организованная структура, действующая целенаправленно, на основании своих интересов и по законам, им над собою признанным.

Практика подтверждает эти рассуждения, которые кому-то могут показаться умозрительными. Тегнелл указывает: “Мобильность граждан в Стокгольме сократилась на 75%”.

Относительно высокая смертность во многом обусловлена ситуацией в группах, “которые не впитали в себя шведскую культуру и самодисциплину”. Так деликатно именуют мигрантов. Их число в Швеции значительно больше, чем в других скандинавских странах, с которыми обычно сравнивают шведские показатели смертности. Выразительны данные из статьи “Швеция: коронавирус поражает в основном мигрантов”: из первых 15 погибших в Стокгольме шесть были сомалийского происхождения (“Око планеты”. 19.04.2020).

Значительная доля умерших (до половины) приходится на дома престарелых. И тут коренные жители косвенно поминают мигрантов. По словам шведов, не так давно дома престарелых приватизировали, и теперь обслуживающий персонал набирают из низкоквалифицированных работников, которые и послужили переносчиками болезни.

Шведские власти реагируют. Выделено 220 млн долл. на усиление защиты пожилых (“Шведская модель борьбы с коронавирусом”. Рамблер. 13.05.2020).

Как бы то ни было, шведам удалось уберечь страну от вала смертей. 4 874 человека – это не сотни тысяч, как пророчил Нил Фергюсон. И даже не 9 655, как в Бельгии (coronavirus-monitor.info. 14.06.2020), сравнимой по населению со Швецией и в отличие от неё карантин введившей.

Тегнелл и не обещал избежать жертв. Цель шведской модели – обойтись умеренным количеством жертв и дожидаться формирования массового иммунитета, способного уберечь страну от новых волн COVID.

Андреа Крисанти, нападая на шведскую модель и одновременно пугая второй волной вируса, противоречит сам себе. При несформировавшемся иммунитете придётся снова вводить изоляцию. А если за второй волной последует третья? Никакая экономика не выдержит! Да и люди, как бы они ни дорожили здоровьем, не дадут снова загнать себя под замок.

Эксперты констатируют: “В долгосрочном плане может оказаться, что, столкнувшись со второй, третьей волной заболевания, многие страны всё равно пойдут по шведскому пути” (Рамблер. 13.05.2020).

То же можно сказать и о белорусской модели, к сожалению, недостаточное обстоятельно представленной в медийном пространстве. Зато показатель смертности – один из самых низких в Европе – свидетельствует о продуманности белорусского пути. Не случайно главный инфекционист Минздрава Республики Беларусь Игорь Карпов заявил: “Я общался с коллегами из других стран. Многие... жалеют, что закрылись от коронавируса” (SB.by. 02.05.2020).

Почему же по всему миру нынешней весной приняли другой путь, ведущий к краху экономики, разрушающий привычный образ жизни? Создающий ту самую “новую нормальность”, к которой нас теперь пытаются приохотить.

В потрясённом, измученном карантинном обществе всё больше людей готовы объяснить такой поворот при помощи конспирологии. Существует масса теорий – от заговора фармакологических корпораций, раздувающих пандемию страха ради получения сверхприбылей, сговора финансистов, пытающихся под коронавирусной завесой скрыть крах долларовой системы, до зловещих планов Билла Гейтса, якобы стремящегося, воспользовавшись ситуацией, чипировать население планеты – то ли для полного подчинения “мировому правительству”, то ли для истребления.

Не готов поступиться правилом серьёзных исследователей – иметь дело только с верифицируемыми сведениями. То есть с теми, которые можно проверить. Фармакологические гиганты, конечно, попытаются получить миллиарды на создание вакцин; финансисты не преминут провернуть сомнительные операции. Всё это можно проверить, а заодно подтвердить аналогичным поведением в недавнем прошлом.

А вот истребление человечества...

Полагаю, подозрения общественности в данном случае основаны на обывательской вере в сверхчеловеческое могущество и изобретательность мировых элит.

К счастью, эти подозрения не находят подтверждения. Крупнейшие политические события последних лет – Brexit в Европе, избрание Трампа в Америке, радикализация режима Эрдогана и усиление светского исламизма на Ближнем Востоке, неуступчивая позиция Пекина во внешней и внутренней политике – всё это катастрофические поражения глобалистов, являющихся синонимом мировой элиты. Их интеллектуальный потенциал и стратегическая энергия близки к исчерпанию.

Вернусь к статье Николая Ускова, с упоминания которой я начал главу. “Пандемия стала испытанием не только для систем здравоохранения, но и для элит разных стран. В массе своей они продемонстрировали психологическую неустойчивость, некомпетентность, недалёковидность и фундаментальное недоверие к собственному народу. Большинство принятых мер не имело под собой никакого научного обоснования” (Forbes.ru. 21.05.2020).

Если подобное печатают в главном органе глобальной элиты, значит, дела совсем плохи!

Я много лет пишу о несостоятельности тех, кто стоит у руля мировой политики. В работе “Возвращение масс” (М., 2010), удостоенной Большой литературной премии как “лучшая книга года”, я приводил многочисленные примеры

их стратегических просчётов, недалёковидности, трусости, коррумпированности, аморальности. Грубейшие политические ошибки (Ирак, Афганистан), бесконечные судебные процессы, связанные с лидерами Израиля, Италии, Германии, Франции.

Советую читателям ознакомиться и с замечательной книгой американской исследовательницы, дважды лауреата Пулитцеровской премии Барбары Такман “Ода политической глупости” (рус. пер.: М., 2013), где проанализированы самые скандальные провалы властителей в мировой истории.

К сожалению, врождённый этатизм русского человека мешает ему осознать мелкость и некомпетентность тех, кого он считает вершителями судеб.

Вместо хитроумных планов власть имущие продемонстрировали растерянность, близкую к панике. Когда в Ломбардии заболевшие тысячами поступали в больницы и врачи вынуждены были решать, кого подключать к ИВЛ, а кого обречь на смерть, элиты испугались ответственности. “Избиратель не простит вала смертей”, – вот что свербило в воспалённом сознании. Не коварством, а страхом продиктованы решения о закрытии городов и стран. Таким образом надеялись замедлить распространение эпидемии и тем самым снизить нагрузку на больницы.

Российские политики и медицинские чиновники оказались в особенно уязвимом положении. Проводимая в последние годы “оптимизация” серьёзно подорвала отечественное здравоохранение. Г. Зюганов сослался на данные Счётной палаты: “. . .Только с 2017 по 2020 годы в стране было уволено 42% медперсонала” (“Наш современник”, № 6, 2020).

Если западные системы здравоохранения, подкреплённые солидными бюджетными деньгами, валились одна за другой – Италия, Испания, Франция, Великобритания, – то что могло произойти с нашей “оптимизированной”? Поэтому карантин объявили по жёсткому варианту.

Но если стратегическое мышление – не их конёк, то в изворотливости элитам не отказать. Получив на руки проблему, обжигающую кожу, власть имущие почувствовали, как она буквально под пальцами превращается в палочку-выручалочку. Имя этому волшебному средству – “социальное разобщение”.

Запугав население и заперев его по домам, власти осознали: это не только медицинская мера предосторожности, но и мощное политическое средство.

Запретили собираться по 5 000, по 500, по 50 человек, запретили выходить на улицу. Никто не ворохнулся! Ни пылкие итальянцы, ни свободолюбивые французы. Ни мощные профсоюзы, ни хулиганистые анархисты.

Про нас не говорю. . .

А если принять это как данность? Продлить ограничительные меры на полгода, на год?

Так они пришли к “новой нормальности”.

Гулявшую по интернету мысль внятно сформулировал бизнес-аналитик Дмитрий Яхно. “Это репетиция, – оценил он карантинные меры. – Выясняют реакцию людей на раздражители. И мы видим, что люди не делают ничего. Они принимают всё как есть. . . И если в следующий раз ребята захотят построить всех, надеть всем кандалы с цифровыми датчиками, никто особо спорить не будет. Это репетиция” (Кейс-штурм. 11.06.2020).

Вот чего следует опасаться. Ни вакцины, ни чипирования, ни Билла Гейтса. “Ребят”, решивших “построить всех”.

Другое дело, что ожидание чипирования (пусть и враждебное) не предполагает никаких действий. Знай сиди и подвывай от тоски и злобы. Тогда как перспектива “новой нормальности” требует от каждого поступка.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 12 “Научная полемика”

Временами возникает ощущение, что Кожинов испытывал своеобразное наслаждение процессом приобщения к благородному делу издания Бахтина людей, в принципе, менее всего для этого подходящих.

Он умудрился “втравить” в это великое дело Шкловского (который менее всего готов был обольщаться подходами Бахтина к Достоевскому), Виноградова (который и десятилетия спустя не мог забыть уничтожающего отзыва Бахтина о своих работах), Ермилова (именно ему принадлежит первое письмо, адресованное в правление “Советского писателя” с настоятельной просьбой переиздать “Проблемы творчества Достоевского” (особую пикантность ситуации придавало то, что бывший неистовый рапповец, писавший и издававший погромные статьи и книги, ставший волей судьбы тестем Кожинова, представлял собой замечательный материал для кожиновских “экспериментов”, когда под влиянием молодого зятя совершал поступки, ещё несколько лет назад для него немислимые), Федина (о чём уже шла речь), Рюрикова (который со скрипом поставил свою подпись на “внутреннем”, как он думал, отзыве и пришёл в настоящее бешенство, увидев этот коллективный “отзыв” на страницах “Литературы и жизни”: “Не случайно группа видных деятелей культуры – К. Федин, В. Виноградов, Л. Тимофеев, М. Храпченко, В. Шкловский, Л. Пинский, Л. Гроссман, Б. Рюриков, В. Кирпотин – обратилась в издательство “Советский писатель” с предложением переиздать книгу М. Бахтина...”). Кожинов, периодически сопоставляя в своих работах этого времени творчество писателя с творчеством режиссёра, ставящего спектакль на сцене, в жизни словно воплощался в своеобразном “постановщике” некоей мистерии с очевидно “плутовским” подтекстом. Он словно не видел возникающих на своём пути препятствий, а когда они возникали перед его взором во всей своей неумолимости, преодолевал их в каком-то порыве творческого вдохновения. И в самом деле, какое здесь было ему дело до собственной книги! Да пусть болтается в издательстве бог весть сколько времени ещё! Главное – Бахтин.

Общение с Бахтиным изменило, в частности, многое в понимании Кожиновым культурного времени и культурного пространства. Он воскрешал в новой эпохе созданное в 1920–1930-е – в эпоху, как он воспринимал её, созерцающая своего учителя – антикультурную, породившую и сосредоточившую силы, разрушавшие великую **традицию**. И этому взгляду не противоречило многое, усваиваемое Кожиновым из той же самой эпохи.

Под влиянием трудов и личности Бахтина, как вспоминал Кожин, он не просто пересмотрел многое из прежнего (в частности, кардинально изменился его взгляд на жизнь и творчество Маяковского), но вообще пришёл «к отрицанию всего исторического пути России, начиная с 1917 года».

Это чрезвычайно интересное признание, если учесть, что упоминаемое «отрицание» сформировалось не только в силу бахтинского непосредственного воздействия: во многом, как бы совмещая своё зрение с бахтинским, читал Кожин «советскую классику», точнее, русскую классику советского периода. В самом деле, пристальное чтение «Двенадцати» Александра Блока, «Страны негодяев» Сергея Есенина (впервые после 1927 года напечатанной в только-только появившемся пятитомном собрании произведений поэта), шолоховского «Тихого Дона», фадеевского «Разгрома», серафимовичского «Железного потока», панфёровских «Брусков», многого и многого из того же Маяковского — само по себе формировало предельно антисоветский (точнее, антиреволюционный) настрой. Волей-неволей приходили мысли о русской классике, «отрицавшей» дореволюционное бытие, и советской, с ещё большей силой «отрицавшей», по сути, бытие советское.

И здесь уже подспудно начинал действовать знаменитый принцип «отрицания отрицания».

До поры до времени разнообразные бытийные и культурные пласты, совмещающиеся в кожиновском сознании параллельно, лишь намекали на их нерасторжимое единство — и эти намёки ещё предстояло понять и усвоить. Но определялось главное: бесконечность самого органического человеческого бытия, непрерывность мысли и духа, бессмертие плодов их благотворного труда и нескончаемость времени. Смерть, чреватая рождением и потому не имеющая окончательной власти над жизнью... В этом потоке бесконечного вознесения духа, причастия к великому жил, в упоении творя и пробивая великие труды в печать, молодой исследователь. Даже уже созданное им самим и кажущееся мелким и недостойным грядущих замыслов, не повергало в отчаяние. Напротив — стимулировало к дальнейшему творчеству.

Нереабилитированный (в эпоху массового «реабилитанса») Бахтин, «обломок ушедшего навсегда», становящийся живым классиком для новых и последующих поколений!.. Да уже одно это оправдывало существование на земле его молодого ученика и последователя... Может быть, я несколько опрометчиво сказал ранее о Кожине как о человеке, раз и навсегда избавившемся от соблазна воздвижения какого бы то ни было «культа». Всё же «культ» Бахтина — не единоличный, «кожиновский», а коллективный, — конечно, присутствовал в его сознании. Да и не могло быть иначе. Бахтинская теория романного слова, «отказавшегося от абсолютизма единого и единственного языка», представляющая собой, как позже писал Кожин, «переворот в самом человеческом бытии», сама по себе в умах молодых людей создавала этот «культ», скорее, создавало его — опять-таки по позднейшей характеристике Кожина — «предощущение» исключительной глубины и универсальности его «философии-филологии»... Складывавшийся с 1960 года «культ» поначалу объединял очень немногих людей тогдашнего молодого поколения, но их круг непрерывно расширялся, и именно в русле и «на волне» этого «культа» было осуществлено в 1963 году издание «Проблем поэтики Достоевского» и в 1965-м — «Творчества Франсуа Рабле»...

Кожин не случайно ставил слово «культ» в кавычки, ибо культ какой-либо личности в прямом смысле слова в той или иной степени ограничивает и тормозит собственную жизненную и творческую волю, тогда как «культ» Бахтина, существовавший в неразрывной связи с упоением от собственного открытия, которое на глазах воплощалось в продолжающейся жизни, лишь окрылял, поднимал в воздух, высвобождая запас сил, казалось, ранее неведомый.

«Когда Вадим Кожин затеял переиздание «Достоевского», М. М. не верил в успех и удивлялся, что получается», — свидетельствовал Сергей Бочаров. Это «неверие» и это «удивление» Бахтина стимулировали Кожина, думается, больше, чем стимулировало бы настойчивое и прямое соучастие. Не меньшим стимулом были и разнообразные препятствия, которые приходилось преодолевать, ставя поистине театральные представления. Кожин любил вспоминать, как от имени Федина (как его родная дочь) явилась к Лесючевскому ещё юная старшая дочь Вадима Валериановича от первого брака

с передачей из рук в руки коллективного письма, поддерживающего переиздание “Проблем поэтики Достоевского”. В упоении от избытка творческой энергии, он с удовольствием “ставил спектакли” в самой жизни, за что получил даже в своём ближайшем кругу репутацию своеобразного “provokatora”. И здесь мы имеем прелюбопытнейшие воспоминания о совсем молодом Вадиме Валериановиче его доброго знакомого начала 1960-х – начинавшего тогда одесского прозаика Александра Суконика.

Его первый рассказ, напечатанный в столичной прессе, – “Кораблики” – в “Московском комсомольце”, был предварён небольшим кожиновским вступлением с благожелательным упоминанием так называемой “южнорусской школы”: “...Трудно даже перечислить видных писателей, сформировавшихся в Одессе – этом своеобразнейшем, неповторимом городе или даже, скорее, особом мире, стране. Но прошли года, и получилось так, что Одесса в литературном отношении затихла... Тем приятнее мне представить сегодня читателю рассказ одарённого прозаика, который – как это ясно из его вещи – кровный одессит... Я не сомневаюсь, что за этими “Корабликами” последуют и другие, ибо знаю, что автор – пока ещё не профессиональный писатель, а инженер – упорно и с предельной чёткостью овладевает искусством прозы. Уже начали жить в рукописи его более серьёзные и зрелые вещи...”

Кожинский аванс так и остался авансом. Серьёзным прозаиком Александр Суконик не стал – гораздо большую ценность представляли его работы о Достоевском, написанные уже в эмиграции, куда он отправился в 1974 году (не могу исключить, что толчком к этим работам стали долгие вдохновенные беседы с Кожинным, буквально заражавшим своих собеседников Бахтиным-Достоевским). Но ещё интереснее – мемуарные страницы книг Суконика, в которых речь идёт, в частности, о молодом Кожинове. Тем большой интерес представляют эти страницы, если знать (и сам одессит этого не скрывает) о холодном, если не абсолютно враждебном отношении автора к “позднему” Кожинову. Поэтому мемуарная глава “Вадим сквозь призму времени”, где цепким взглядом уловлен и весьма живо обрисован Кожин-авантюрист и Кожин-единомышленник и “единочувственник” Суконика, чрезвычайно любопытна. И искренне жаль, что в сборник мемуаров, посвящённых Вадиму Валериановичу – “Сто рассказов о великом русском”, – эта глава не вошла, видимо, проигнорированная составителем, ориентировавшимся на сплошных кожиновских пожизненных друзей и товарищей.

“Почему я сошёлся с Кожинным, а не с либералами?” – удивляется ныне сам себе Суконик и пытается, вспоминая себя тогдашнего, всерьёз ответить на этот вопрос. И отвечает, думается, по возможности честно – что-то из сказанного им и можно, и нужно бы оспорить, но в данном случае важен автопортрет мемуариста начала 1960-х: “До Кожинова я был в искусстве человек, так сказать, прямого импульса и любил всё прямое, классическое и реалистическое, на вершине чего царил Лев Толстой, и мне было не по душе всё, что пришло позже: условность, выверт, модернизм. Я долго не мог читать Достоевского, в котором нет ничего реального и прямого, а только модернизм и выверт... И всё-таки во мне, кроме дневной прямоты, ночевало и другое, хотя я этого не знал...”

В своём радикализме я презирал не только советскую власть, но и вообще материалистическую философию (как она понимается в контексте греческой и немецкой философии). Либералы, с которыми я столкнулся в Москве, были советские прогрессисты, и пиком их достижения был журнал “Юность”, который печатал писателей Аксёнова и Гладилина, а я этих писателей не мог читать из-за их столь очевидной для меня не просто поверхностности, но какой-то полуфабрикатности. Кожинов сразу стал мне родным, потому что он презирал эту прогрессистскую полуфабрикатность не меньше меня, только благодаря своему культурному багажу умел куда лучше выразить...”

Более того: Суконик называет Кожинова “братом по духу” и как бы подчёркивает гармонию жизненного поведения Кожинова и его литературного и человеческого “поля” (при кажущейся – в сознании мемуариста – несовместимости одного с другим): “Вадим был очарователен, может ли очаровательность быть серьёзной? Я думаю, что Вадимова несерьёзность была замечательным качеством именно потому, что, прежде всего, он сам себя не принимал всерьёз, и его очарование состояло в его лёгкости и в том, как он непрерывно гулял (то есть как бы не жил плотной жизнью, но скользил вдоль

неё)... Для Вадима как будто не существовало другого состояния, как быть в компании и быть на публике, эту свою жизненную роль он исполнял естественно и грациозно». То есть, пользуясь терминологией Суконика, был «дневным» человеком — при всей тяге к якобы «ночному» Достоевскому.

Впрочем, сам Суконик фактически пишет о том, что всё его восприятие Достоевского как «модернизма» и «выверта» улетучилось именно под влиянием Кожинова (вообще-то создаётся впечатление, что автор словно забыл, как характеризовал прозу классика двумя страницами ранее): «... Достоевский в нашем кругу вовсе не понимался как парадоксалист или, того хуже, модернист («модернизм» было ругательное слово в устах Вадима в том смысле, что модернисты были западные писатели с Джойсом во главе, а Достоевский был реалист)... Без Достоевского не было бы Вадима, и без Вадима не было бы Достоевского — то есть того Достоевского, который после долгих советских лет полузапрета возрождался у нас как почвенник, славянофил и пророк России. И опять же здесь был поворотец. Вадим номинально мог почитать первых славянофилов, но их имена мало упоминались в нашем кругу, а весь упор был на Достоевском и Розанове (который вовсе и не был таким уж славянофилом, но зато тоже был с поворотцем)... Он не передёргивал смысла строк Достоевского, как впоследствии в своих исторических книжках передёргивал факты истории в угоду нацконцепции, а если натура персонажа Достоевского соответствовала его натуре, то на это, как говорится, была воля Божья (так у А. Суконика. — **С. К.**), и, более того, тут был символ времени (*Вадим был символ времени* — не потому ли так подробно пишу о нём?)...»

Конечно, Суконик здесь, скорее всего, не по злому умыслу, а невольно — в соответствии со своим нынешним мироощущением — подгоняет факты под нарисованную воображением «нацконцепцию», не говоря уже о том, что «кожиновский Достоевский» никак не сопрягался со «славянофилом» (да и не мог сопрягаться — блестящий знаток и творчества Достоевского, и славянофильского наследия не мог и думать сводить эти миры воедино). По поводу «передёргивания фактов» (к которому мы в своё время вернёмся) мемуарист здесь уж совершенно не оригинален. Понятно, что всё это писалось через много лет, в эмиграции, где Суконик, как показалось ему, обрёл себя нового («внутренний» западник соединился с западником «внешним») — и взгляд назад очень многое спрямлял (если не примитивизировал), сохраняя при этом точные и яркие детали прошлого.

Такие, например, как визит супругов Кожиновых (Вадима Валериановича и Елены Владимировны) в одесское жилище Суконика с подарком (второй книгой рассказов, переизданных после нескольких лет полузабвения Андрея Платонова) и со словами: «Своей книжки я в магазине не нашёл, но это как раз гораздо лучше» («не нашёл» он сравнительно недавно вышедшее «Происхождение романа». — **С. К.**). «Это было существенно в Вадиме, в нём не было ни на мгновение тщеславия и заботы о своём эго», — подчеркнул Суконик.

Такие детали, как разговор об «Одном дне Ивана Денисовича», когда «Вадим рассказал мне, что в «Новом мире» лежит рукопись некоего Солженицына о лагерях и что это шедевр. «Мне дали на ночь, потому что это ещё большой секрет, и я прочитал два раза, — якобы небрежно, но с ударением сказал он, пожёвывая своими губошлёпными губами, — нарочно, чтобы сбить впечатление от темы». Это было необыкновенно характерно: коль скоро тема была про лагеря, то есть с политикой, значит, от неё пахло дешёвкой, а мы, новоявленные хранители высоких ценностей русской литературы, не хотели дешёвки, мы вслед за Вадимом хотели «общечеловеческого». Прошу не понять меня превратно: Вадим не научил меня такому желанию, оно жило во мне задолго до встречи с ним, потому мы и сошлись. Но он преподносил мне дореволюционную русскую культуру, давая направление, он объединял единомышленников, подсовывая им нужные книги, оформлял мысли, подстёгивал и будоражил. И остальное зависело от них самих...»

Кожиновские «спектакли» Суконик изображает как намеренную провокацию, подчёркивая чисто жизненный смысл и игнорируя эстетический, тогда как у самого Вадима Валериановича они по существу не расходились. Занятно читать страницы, посвящённые оформлению брака Вадима Кожинова и Елены Ермиловой, когда шаферами на свадьбе были сам мемуарист и Юз Алешковский, а пиршество происходило в ресторане «Узбекистан». Алешковский явился уже выпившим (Суконик не преминул подчеркнуть, «что Юзик

ведь был алкаш, да и Вадим от него отставал ненамного в этом”) и получил от Кожина выговор, сделанный преувеличенно возмущённым тоном. А после ресторана счастливый муж пригласил всех отправиться в гости... к Эльсбергу, заранее разыгрывая сцену по принципу контраста — более несовместимых персонажей, чем его гости и Эльсберг, трудно было вообразить. К тому же по дороге был прихвачен ещё один кожиновский друг того времени — внук бывшего наркома иностранных дел Литвинова Павел. “Его я тоже видел в первый раз, — пишет Суконик, — и он мне сразу не понравился. Я вообще относился к диссидентам с неприязнью, их плоская политическая субстанция была мне чужда... Уж, наверное, Кожинов любил диссидентов не больше моего, но всё это у него не было так догматично: он был столичный и светский человек, а я был невежественный, наивный провинциал, да ещё с моралистическим уклоном...”

Короче, прибыли они к Эльсбергу, в квартиру, полную антикварной мебели и где книги гроздьями свисали со стен, держась на них каким-то невероятным чудом. Выпили хозяйского коньяку (Алешковскому добавлять явно не следовало!) — и Вадим Валерианович упрямил “Юзика” спеть его знаменитое “Товарищ Сталин, вы большой учёный...”, при этом обращаясь к Эльсбергу: “Это замечательная песня, Вы сейчас убедитесь” — и, тут же, без паузы — к Алешковскому: “Ты спой, спой, не упрячься, Яков Ефимович прекрасный ценитель поэзии”. Алешковский спел, отстукивая ритм ладонями по поверхности огромного резного стола, и на кожиновский вопрос: “Как Вам, Яков Ефимович?” — услышал ответ крученого-перекрученого жизнью, “сидевшего” и “сажавшего” доктора наук: “Сильно”. Эльсберг всё понял, но проглотил, не поперхнувшись. И в этот кульминационный момент певца вывернуло наизнанку на дорожку ковёр.

Кончилось тем, что Кожиновы взяли такси и быстро уехали (“Ненавижу!” — последнее, что услышал не приходящий в себя Алешковский от Елены Владимировны).

* * *

Начало 1960-х — счастливое время для Кожина с одновременным подведением итогов целого периода прошедшей жизни.

За плечами три вышедшие книги: “Виды искусства”, “Основы теории литературы”, “Происхождение романа”, вызвавшие большой интерес и живое обсуждение в литературных кругах.

О “Происхождении романа” появились отзывы в “Русской литературе”, “Литературной газете”, “Вопросах литературы” (дважды!). Первым повёл разговор бывший сокашник Кожина по МГУ и будущий непримиримый оппонент (со временем превратившийся во врага) Юрий Суровцев, который в данной ситуации был весьма дипломатичен и местами даже доброжелателен, высоко оценив кожиновскую методологию, которая “принципиально враждебна как фотографической эмпирии, так и пережиткам “абстрактно-имманентного”, “внутрилитературного” подхода к вопросу о жанрах, стилях и т.д.”... “Удача сопутствует В. Кожинову там, — писал Суровцев, — где он последовательно придерживается этой установки, где он в самой “теории” и “дедукции” не делает ни шагу, не “выводя” её из подлинно понятой “истории”... Автор вообще чувствует себя уверенно (а иногда излишне самоуверенно...) в обширнейшем и разнообразнейшем материале литератур французской, немецкой, итальянской, испанской, русской. Он много знает, начитан, опирается на авторитетные труды...” Не только Суровцев — многие и многие будущие оппоненты Кожина не скроют своего удивления его начитанностью и многознанием. Но Суровцева в большей мере интересовала — что он специально подчеркнул — методология. И дальше начинается “ария за упокой”: “...Искусство... “выводится” из реальной истории, но уже так, что начинает парить над ней...” “Парит”, оказывается, и над Марксом (главным авторитетом!), ибо в своих рассуждениях о “бродяжничестве”, Кожинов, ссылаясь на Маркса, оказывается, противоречит ему. Кожинов “только обобщает”, “увлечённый поисками общности, он строит некий каркас, но не точное отражение исторически многообразных процессов. С ними автор обращается довольно свободно”. Как будто автор подрядился излагать всё уже

изложенное до него (хоть бы и в унисон с Марксом!..). Через два года Суровцев уже на страницах “Вопросов литературы” утверждал, что, “желая избежать вульгаризирующего социологизма, В. Кожинов через отрицание конкретной историчности пришёл к “структурам” как таковым... Стремление преодолеть вульгарный социологизм перерождается какую-то асоциальную методологию”.

В рецензии В. Кавельмахера и А. Мазаева “Новая концепция происхождения романа” эти вздорные утверждения Суровцева (без ссылки на него) фактически дезавуировались.

“Какое же новое художественное содержание, по мнению В. Кожинова, “перелилось” в форму “романа вообще” и затвердело в виде некоего субстанционального ядра жанра? — спрашивали авторы. — Этим содержанием был эстетически зафиксированный народным сознанием новый общественный факт: появление в обществе позднего Средневековья активного внесословного индивида... Начинается “почти повсеместное бродяжничество”, предшествующее, по словам Маркса, созданию буржуазного общества... Именно эстетическое содержание, связанное с неведомым до XVI века миром бытия и сознания частного человека, и обусловило революционный скачок в искусстве прозы... Наиболее интересным в исследовании В. Кожинова является момент перехода от собственно “содержания” к собственно “форме”, иначе говоря, сам акт рождения жанра... Вновь, после М. Бахтина, поднимает автор проблему “изображённой” речи...” И вот здесь наступает черёд серьёзных претензий, с которыми сам Кожинов не мог внутренне не согласиться: “Однако, при всей важности затрагиваемых во второй половине книги проблем теории жанра, В. Кожинов не поднимается до той высоты теоретического обобщения, которая была продемонстрирована им при определении принципа “незавершённости”. Автору не удалось “вывести” некоторые специфические особенности прозаической формы романа, проследить сам процесс перестройки прозаической материи жанра. Поэтому интересные замечания и наблюдения автора не становятся здесь фактом теории”.

И пусть далее авторы вновь переходят к очевидным достоинствам рецензируемого исследования: “Автору удаётся с точки зрения своей концепции по-новому увидеть некоторые хорошо знакомые шедевры мировой литературы... Вполне оправдан тот акцент, который В. Кожинов делает на книге протопота Аввакума, видя в ней “предтечу русского романа”... Теоретические выводы анализа заставляют по-новому взглянуть не только на этот величайший памятник допетровской Руси, но и на всю историю русской литературы... Вместе с тем, вопреки намерениям В. Кожинова, создаётся впечатление, что в его концепции жанр наделён способностью к самостоятельному движению...” При этом, “несмотря на сделанные замечания, работа В. Кожинова представляет собой весьма интересное по обстоятельности и глубине исследование. За последние годы появилось несколько трудов по теории романа. Рецензируемую книгу можно считать одной из самых удачных...” Кожинов слишком хорошо видел и достоинства, и недостатки своей работы, определяя её для себя как “добахтинскую” (даром, что последние главы писались в контексте теснейшего общения с Бахтиным). Потому-то он в будущем ни разу не сделал попытки переиздать свою книгу, невзирая на периодические издательские предложения.

Годом ранее (практически одновременно с рецензией на книгу Пинского) он опубликовал почти одновременно в “Литературе и жизни” и “Вопросах литературы” один и тот же текст под разными названиями — “Литература и литературоведение” и “Научность — это связь с жизнью”. Статья была посвящена Бахтину (при позднейшей републикации он и назвал её “О трудах М. М. Бахтина”), и речь в ней шла о трудно продвигающихся к печатному станку “Проблемах поэтики Достоевского” и только-только замысленном переиздании “Творчества Франсуа Рабле” в контексте разговора о современном положении литературоведения.

“Наше литературоведение, — утверждал Кожинов, — в сущности, очень мало и плохо исследует само литературное произведение как таковое... Работы чаще всего пишутся преимущественно по поводу произведений, в связи с ними, но не о них самих... Нет ясного и конкретного исследования целостного искусства писателя в его неповторимом и богатом своеобразии... Задача науки — проникнуть в самый этот мир (произведения искусства. — С. К.),

понять и оценить его с позиции жизни. А литературовед как бы “обходит” этот мир по кругу... В результате литературоведение — одна из самых сложных гуманитарных наук, требующих большого и подлинно творческого труда, — оказывается делом лёгким и простым. Совершенно ясно, что такая “наука” о литературе не нужна ни писателям, ни читателям... “Типичные” литературоведческие “труды” — скорее лженаука, ибо, претендуя на звание науки о литературе, они дискредитируют её...”

К этому времени выходит и продолжает выходить обилие книг как “теоретических”, так и посвящённых творчеству отдельных писателей. И, по сути, Кожинов почти всю эту продукцию отправил в макулатуру. Ещё и с определением “лженаука”, будто пришедшим из недавних времён! А Кожинову в высшей степени было наплевать на то, как его поймут. Нужно было, чтобы поняли главное: что настоящая наука о литературе есть. И сосредоточена она в ещё не вышедших из печати в новейшее время мало кому известных книгах мало кому известного Бахтина.

“В книге М. Бахтина творчество Достоевского исследуется именно как целостный “мир, живущий в конкретной материи художественной формы...” Кожинов не “рекламирует” — он “втягивает” читателя в раскрываемую “дверь”, предлагает заново прочесть классику вместе с его исследователем, воспользовавшись его инструментарием... “Здесь нет ни одного слова “по поводу”: на протяжении всей работы мы вместе с автором тщательно анализируем сами произведения Достоевского, проникая через сюжет, через образные детали в их содержание... Сама эта работа не проста, она требует от читателя внимания и напряжения...”

Но одно дело — с “вниманием и напряжением” внимать анализу знакомого и близкого художественного мира, и совсем другое — открывать мир совершенно непривычный, может быть, даже поначалу отталкивающий. Здесь требуется соответствующее предисловие, “ввод” в тему — и Кожинов одаривает необходимым “комплиментом” современного “потребителя искусства”.

“Не приходится говорить о всеобщем, подчас поражающем интересе к искусству, который так характерен для современности, — об этом говорят толпы людей перед дверями концертных залов, выставок, кинотеатров, очереди в книжных магазинах. Гораздо важнее, однако, тот факт, что в их возникновении можно разглядеть закономерность, которая никак не может быть объяснена интересом к “зрелищам”... В этой закономерности выражается жажда подлинной художественной культуры...”

Но насколько этот современник, “жаждущий подлинной художественной культуры”, в состоянии воспринять совершенно не знакомый ему эстетический мир? “Мне кажется, что наше время, наша жизнь сами по себе необычайно “многовалентны”; трудно перечислить все те глубоко различные эстетические явления, которые вызывают в нас самый искренний энтузиазм”... Кожинов отдаёт должное эстетическим запросам современника и одновременно прокладывает “тропинку” к оставшейся в далёком прошлом эстетике раннего европейского Средневековья или позднего барокко. “Задача — и притом труднейшая, — пишет он, — заключается в понимании конкретных закономерностей, которые определяют современное бытие этих старых явлений”. Тут он и переходит к труду Бахтина, к рассмотрению им в книге о Рабле “грандиозных, гиперболических и как бы даже “чудовищных” образов тела”... “Исследователь всесторонне раскрывает существо этой забытой нами, но всецело сохраняемой сегодня народами Азии, Африки и Океании красоты... Материально-телесное начало здесь воспринимается как универсальное и всенародное... Все проявления материально-телесной жизни и все вещи отнесены не к единичной биологической особи и не к частному эгоистическому человеку, но как бы к народному, коллективному, родовому телу”, — цитирует Кожинов Бахтина, напроць отмечая фрейдистские концепции этой древней эстетики. Более того, он настаивает на её современности именно во “всенародном”, а не в “индивидуалистическом” смысле, помяная “народные полотна Гогена”, “скульптуры замечательного сына мордовского народа Эрзи”, “монументальную живопись Диего Риверы”, “эпическое творчество Пабло Неруды”, “современное искусство народов Азии, Африки, Океании”... То есть “подлинный историзм в эстетике имеет самое острое современное значение”, и сама эта эстетика обращена в настоящее и в будущее в искусстве народов, только-только освободившихся от колониального гнёта...

Едва ли можно преувеличить, сказав, что эта статья (вместе с организованными Кожинным коллективными письмами) серьёзно повлияла на продвижение книг Бахтина. И “Проблемы поэтики Достоевского”, вышедшие через год и вызвавшие ожесточённую полемику в “Литературной газете”, которую начал Александр Дымшиц статьёй “Монологи и диалоги” и на которую последовал ответ авторов коллективного письма в защиту книги – Валентина Асмуса, Владимира Ермилова, Виктора Перцова, Михаила Храпченко и Виктора Шкловского (нетрудно предположить, что автором текста этой “коллективки” был всё тот же Кожин – и как же он наслаждался зрелищем “избиения ортодокса” группой, почти целиком состоящей из таких же “ортодоксов”!)... Poleмика продолжилась и на страницах научных журналов. Завязался серьёзнейший спор о “полифонизме” у Достоевского. Сама бахтинская концепция “полифонического романа” вызвала неприятие и у Г. Фридлиндера, и у Ф. Евнина, и у Б. Бурсова. На страницах “Вопросов литературы” в ожесточённую схватку вступили Лев Шубин (“Гуманизм Достоевского и “достоевщина”) и Геннадий Поспелов (“Преувеличение от увлечения”)...

“Конечно, Вы уже читали статьи Л. Шубина и Г. Поспелова. – писал Кожин Бахтину. – Мне статья Шубина очень нравится, хотя в неё и пришлось вставить некоторые прагматические детали. Статья Поспелова ужасна, но, по-моему, не может повредить благодаря своему наукообразному тону. Меня особенно поразила его мысль о том, что “незавершённость” героев Достоевского объясняется тем, что в романах изображается не вся их жизнь... Это изумительно”.

Любопытную историю рассказывал Вадим Валерианович в письме к Михаилу Михайловичу от 2 декабря 1964 года:

“26 ноября состоялось обсуждение Вашего “Достоевского” в МГУ. Присутствовало более 300 человек. Выступало человек 15. Все, за исключением одного, оценили книгу очень высоко, хотя была и полемика по ряду проблем. Один противник – это Переверзев... Да, да, тот самый. Ему только что исполнилось 80 лет. Говорил он так, будто на дворе 1929-й, а <не> 1964-й. Это было даже странноватое ощущение. С ним никто не полемизировал, его восприняли как некое атмосферное явление. Было даже жалко его. (Он, кстати, уже несколько лет пытается переиздать что-либо – я знаю об этом от А. А. Белкина, который помогает ему в этом, – но ничего не выходит. В самое последнее время только продвинулась в какой-то мере его маленькая книжка о Нарезном).

Выступали и Бочаров, и Гачев, и я. Но подробно в письме не расскажешь. Отложу до встречи. Важно, что на обсуждении были представители из редакции Гослитиздата – они расскажут там об успехе...”

От “представителей Гослитиздата” зависела книга о Рабле – и Кожин справедливо возлагал большие надежды на услышанное и воспринятое ими... Что же касается ортодоксального марксиста Валерьяна Переверзева, в своё время “разгромленного” (борьба с “переверзевщиной” стала на короткое время своеобразной литературной “профессией” на рубеже 1920-1930-х годов), дважды отсидевшего и реабилитированного (в 1965-м ему-таки удалось переиздать свою старую книгу “У истоков русского реалистического романа”), то он, писавший ещё до революции о стиле Достоевского как порождении психологии “упадочного мещанства”, и здесь не изменил себе. Кожин вспоминал его выкрики: “Где здесь социология, где здесь классовость?! О какой вообще концепции здесь может идти речь?!” Оставалось, действительно, отнестись к нему, как к “атмосферному явлению” (сложно представить, что чувствовал в это время организатор обсуждения Абрам Александрович Белкин, всерьёз пытавшийся помочь старому мастодонту вернуться в литературу).

Отдельного упоминания удостоилась статья Бориса Бурсова “Возращение к полемике”. “Читали ли Вы уже статью Бурсова о Вашем “Достоевском” во 2-м номере “Октября” за 1965 год? Это небезынтересно, – в частности, он критикует Вас с националистической позиции, на которой он недавно утвердился в своей книге “Национальное своеобразие русской литературы”, 1964; вообще национальный вопрос приобретает сейчас невероятную остроту”.

Это “с националистической позиции” едва ли можно понять, не уловив здесь заряда ядовитой иронии, особенно если прочесть следующие бурсовские пассажи: “Как известно, на Западе Достоевского часто превозносят не

столько за его великие художественные открытия, сколько за его якобы пророчества, соответствие душевного строя его героя умосознанию современного человека, а то и за постижение “мистической русской души”. А ведь именно в книге М. Бахтина провозглашается, что Достоевский, единственный из художников прошлого, дал наиболее совершенную модель современного мира...” И, соответственно, Бахтин “объективно даёт некоторую пищу буржуазному литературоведению”. По этому поводу Владимир Турбин писал Бахтину: “... Бурсов, разумеется, ничего не понял, а в одном месте – глупо и неоправданно передёрнул: утверждение о том, что Достоевский предвосхитил современную картину мира, превратилось в утверждение о том, что Достоевский предвосхитил картину современного мира. Получилась чепуха. Получилось нечто прямо противоположное тому, что написано в Вашей книге...” И в письме Кожинова по этому же поводу: “Вы же знаете, как обычно ничтожно и бьёт мимо цели наша критика...”

Впрочем – это был уже “пейзаж после битвы”. Главное было сделано.

* * *

В это время Кожинов упорно трудился над разработкой теории художественной речи (специально ей была посвящена целая глава в “Теории литературы” и большая статья “Слово как форма образа”, напечатанная в сборнике коллективных трудов). Он настаивал на изучении художественного слова “как формы искусства, а не как одной из форм речи”, опираясь, как он сам подчёркивал, на труды Бахтина, Бонди, Виноградова и Винокура в противовес реанимируемыми деятелям ОПОЯЗа, которыми, утверждал Кожинов, “художественная речь трактовалась как особый язык, а не как *содержательная форма искусства*”. Отталкиваясь от основного тезиса – “писатель может быть сопоставлен с режиссёром, который с помощью артистов поставил пантомиму или танец... писатель в точном смысле слова разыгрывает речевую деятельность” – Кожинов, неумолимо разделяя понятия “язык” и “речь”, резко отделяя стилистику художественной литературы от литературоведения и речь художественной литературы от художественной речи, которая, собственно, и является предметом изучения, на чём и сосредоточена поэтика, – тщательно и основательно подводит читателя к выводу: “... искусство писателя в целом вообще предстаёт – если рассматривать произведение с внешней стороны – непосредственно как искусство речи, которое, в конечном счёте, вбирает в себя всю содержательность, все стороны творческой деятельности писателя”.

“... Художественная речь – это, строго говоря, уже не вполне речь в собственном смысле слова, но специфическое явление – “язык искусства” или, точнее, форма искусства. Подобно этому человеческое тело или человеческий голос, становясь “орудием”, “материалом”, “формой” танца и пения, так же становятся особыми феноменами.

Это может быть воспринято как оригинальный, но беспочвенный выверт мысли. Однако тот факт, что художественная речь не вполне является речью, обладает существенными отличиями от человеческой речи как таковой, этот факт имеет объективные, не могущие быть оспоренными подтверждения”.

Разумеется, крайнее неприятие вызвало у исследователя, увы, типичное для многих теоретических трудов того времени утверждение, что “жанр, образы, композиция, язык и все другие способы художественного изображения... приёмы... *сами по себе* (Кожинов специально выделил эти слова. – С. К.), взятые безотносительно к жизненному материалу, ничего не выражают”. Кожинов расценил подобное суждение как пережиток вульгарного социологизма, который “смыкается, как это ни парадоксально, с самым крайним формализмом...” Ибо “формалист понимает форму именно как “ничего не выражающую”, “чистую” конструкцию, которая воздействует на читателя только в качестве системы знаков и их соотношений, лишённой какого-либо значения”. И здесь Кожинов ссылается на манифест структурализма – “Тезисы Пражского лингвистического кружка”, – где “утверждалось, что исследователь художественной речи имеет своим объектом “автономную ценность языкового знака” и должен “изучать поэтический язык как таковой”, не предполагая в нём какого-либо “значения”, “смысла”, ибо “идейная сторона литературного

произведения” точно так же представляет собою “сущность независимую и автономную”.

Эта ссылка была отнюдь не случайна и чрезвычайно актуальна, так как в начале 1960-х структурализм обрёл новую жизнь, и его представители всерьёз уверяли читателя в том, что их метод анализа литературных произведений является подлинно научным и наиболее точным среди всех других.

С тем же самым письмом, где Кожин рассказывал Бахтину об обсуждении “Проблем поэтики Достоевского” в МГУ, он прислал Учителю своё новое сочинение с соответствующим уведомлением: “Пока осмеливаюсь просить посмотреть мою статью о структурализме. Мне крайне важны Ваши замечания, Михаил Михайлович!.. Она написана как ответ на статью семиотика И. Ревзина, помещаемую в том же номере “Вопросов литературы”. Статья, надо сказать, малосодержательная (И. Ревзин ругает в ней статью Палиевского). Выслать её Вам я не имею возможности – в редакции один экз<емпляр>. Но, как мне кажется, из моей статьи ясно, о чём идёт речь у Ревзина...”

О создании “структурной поэтики” дискутировали уже не один год. В довольно жёстком разговоре приняли участие А. Колмогоров, Б. Бялик, К. Зелинский, В. Пекелис, Л. Тимофеев, Е. Ермилова, В. Зарецкий, А. Жолковский, Ю. Щеглов. Все выступления вертелись вокруг одного: можно ли исследовать литературное произведение математическими методами, называть ли подобное исследование подлинной наукой, не имеющей отношения к “интуитивизму”... В этой дискуссии статья Палиевского “О структурализме в литературоведении” вызвала особый интерес.

Молодые теоретики из ИМЛИ (в частности, Кожин) уже высказались на страницах “Теории литературы” о том, что сведение структуралистами литературы к “языку” и игнорирование ими понятия “художественной речи” – следствие наивного “сциентизма”, в принципе неспособного на анализ литературного произведения во всей его совокупности. Палиевский добавил яду, разложив по полочкам аргументацию новых научных древоточцев, настаивая на том, что сам художественный образ сопротивляется его “разъятию” с помощью математики (которая, как тогда многим представлялось, может объяснить и классифицировать всё в этом подлунном мире).

“...Своей неуступчивостью художественный образ доказывает только то, что постоянно доказывает своей стойкостью в современной жизни его прообраз – человек, а именно, что необходимая дифференциация, которая протекает теперь во всех областях и производит всё новые дисциплины, не означает полного распада и никогда не сможет исчерпать и устранить свой собственный источник – единство мира. У этого единства есть свои особые, “личные” представители – индивидуальность, организм, человек, вообще жизнь, которые не сводятся ни к какому набору отдельно постигаемых сторон и обращены своим основанием в бесконечность.

Художественный образ на эту неисчерпаемость и опирается.

Поэтому, что бы ни говорили сторонники чёткой определённости, литературоведение (если только оно не пожелает изменить ради “ясности” своему предмету) должно выполнять свои обязанности и постоянно учитывать в рассуждениях – любыми доступными ему средствами – присутствие этого целого нерасторжимого ядра, то есть быть одновременно и точным, и неточным, приближаться к чётким, рациональным определениям и в то же время не отпускать, не терять из смысла ещё неопределённое.

Иначе говоря, оно обязано немедленно жертвовать своей “естественной” научностью, как только обнаружится, что современная её форма не дотягивается до богатства искусства. За это оно будет, понятно, подвергаться бесчисленным обвинениям в эклектизме, импрессионизме, даже агностицизме и отказе от науки, хотя признание ограниченности одной из научных форм вовсе не означает отрицания науки вообще”.

Эти слова буквально вывели из себя “главу” начавшей складываться тартуской структурально-семиотической школы Юрия Лотмана. В “Лекциях по структуральной поэтике” (в точном соответствии с прогнозом Палиевского) он заявил, что “эта откровенная защита наиболее плоского интуитивизма в науке скорее поражает экстравагантностью, чем убедительностью”. А в письме к своему единомышленнику Борису Егорову не сдерживал эмоций: “Палиевский – дурак, дурак, дурак!!!”

Эмоции вполне понятны. Пётр Васильевич со всей обстоятельностью показал всю “сциентистскую” ограниченность якобы универсального метода, оставшегося методом, что называется, “для своего круга”, высмеяв его претензии на “универсальность”.

“В современной науке о литературе есть только одно течение, которое стремится исчерпать неисчерпаемое. Его и представляет структурализм, распространяющий на литературу математический анализ и теорию информации. С их помощью объявляется “в принципе возможным” исчерпать значение и дать точную модель искусства, пересмотрев набор его конечных элементов и отношений. Иначе говоря, предлагается новая “квадратура” того художественного круга, который образует произведение и который, не в пример математическому, был всегда далёк даже от приближённого исчисления, потому что его принцип отражения мира в сознании был по самой своей природе (по определению, если угодно) индивидуальным, то есть совсем иным.

Правда, такая разница никогда не смущала структуралистов – и это было большой ошибкой в основании их теории. Индивидуальность для них в её собственном принципе никогда и не существовала; она рассматривалась как простая единичность, часть какого-нибудь общего (или многих “общих”) отношения, которое стоит лишь открыть, чтобы элемент стал на своё “функциональное” место в ряду других элементов, после чего картина, естественно, становилась ясной, как учебник математической логики. Стирание “лиц” проводилось структурализмом даже с особой гордостью: наконец за “хаосом” и болтовней о “неповторимости” являлось нечто универсальное; оно просматривалось везде, его нельзя было отрицать – чего же ещё? Наука должна быть объективной.

Предположим, мы закончили анализ такого произведения и, довольные раскрытыми секретами, увидели художественную идею полной, развернувшейся до конца. Попробуем теперь перечитать произведение. Что это? Только что завершённый анализ вдруг снова повиснет над безднами, до которых он не дотянулся, не достал, и даже обязательно встретит нечто такое, что в него уложиться не может, ради чего придётся ломать построение и начинать всё сначала, конечно, если аналитик на это способен. Проще и спокойнее, разумеется, отвернуться от него и объявить случайностью, которая лишь подтверждает смысл “главного”, добытого последовательной логикой. Можно и вовсе его не увидеть; такие случаи, к сожалению, не редки. . .”

Старый метод, идущий ещё от формалистов, – потратить весь заряд умственной энергии на выяснение того, “как сделано произведение”. Так родился основной способ исследования в структурализме – формализация, то есть расчленение предмета на простейшие единицы и связи, поддающиеся математическому выражению. . . Бессилие структуралистов с их инструментарием и “птичьим языком” для “непосвящённых” было объяснено наглядно и остроумно: “Избавившись от индивидуального, то есть установив, что оно является простой комбинацией общих начал (все остальные разговоры – ненаучный вздор или тщетные надежды “виталистов”, этих варваров-жизнепоклонников), структурализм, понятно, почувствовал, что поле деятельности перед ним расчистилось совершенно. Как и следовало ожидать, в работах его, распространившихся на литературу, вопрос о пределах формализации даже не был поставлен. . . Нерасчленимое целое образа тотчас же восстало против обособления и чужеродной оголённо-рассудочной организации. Но тут-то и обнажилась неисправимая беспомощность структурализма. В таких “феноменах”, как художественная литература, формализации поддались не они сами, а лишь внешний материал, с помощью которого они были выражены и который сам по себе ещё никакого отношения к искусству не имел. С самого начала, взявшись расчленять “искусство”, структурализм стал расчленять его на такие элементы, которые не были элементами искусства”.

Когда встречаешься с утверждением, что “поэзия может и должна рассматриваться как особым образом организованный язык” (В. Топоров), сразу хочется ответить пушкинскими словами: “Он видел во мне коллежского секретаря, – говорил Пушкин о Воронцове, – а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое”. Палиевский не просто указал на то, что от этого взгляда “пришлось отказаться даже русским формалистам”, начинавшим именно с попыток обособить “поэтический язык”, что это то же самое, “что рассматривать

всю записанную человеческую мысль как “особым образом организованный алфавит”. . . Палиевский обратил внимание на то, что новые структуралисты топчутся на давным-давно вытоптанном поле. Что “структурную поэтику”, следуя русским формалистам, строила американская “новая критика”, а потом эта “поэтика” развалилась “как схоластическая и непригодная”. Кстати говоря, на это замечание учёного не ответил ни один оппонировавший ему структуралист. Этого наблюдения просто предпочли не заметить.

Вывод был по-своему убийственным: “Структурализм в литературе, по-видимому, бесплоден. В литературоведении он может означать только то, что и в других, имеющих дело с цельным человеческим содержанием областях: это капитуляция живой мысли перед абстрактной логикой и разобщённо-технической, мёртвой стороной современной цивилизации”.

И. Ревзин в статье, озаглавленной “О целях структурного изучения художественного творчества”, сводил противостояние структуралистов и “антиструктуралистов” к противостоянию “редукционистов” и “ирредукционистов” и заявлял: “. . . тот “непознаваемый остаток”, который прокламировали ирредукционисты, оказывается всё-таки постижимым, то есть точно формулируется, а заодно фидеизм изгоняется ещё из одного своего прибежища”. . . Палиевский как противник “изгнания” фидеизма обвинялся в том, что “он изолирует литературоведение от общих тенденций развития современной науки”. . . Понятно, что наука в виде структурализма ещё не всемогуща. Понятно, что “для описания индивидуальности Пушкина. . . необходимо рассмотрение такого ансамбля, который мы сегодня (выделено мной. — С. К.) формальными средствами обозреть не можем”. Но — лиха беда начало! Не ошибается тот, кто ничего не делает, а коренную, фундаментальную ошибку самого подхода к предмету можно не замечать в упор! Оказывается, “одно из основных заблуждений” Палиевского состоит в том, что “его “интуиция” всемогуща и никакой научный аппарат (!-С. К.) ему не нужен”. А тот аппарат, которым пользовались учёные для написания “Теории литературы”, очевидно, и есть тот самый “фидеизм”, который подлежит изгнанию из “своего прибежища”. . . Потому что у критика П. Палиевского якобы “абсолютно нет никакой положительной программы”. . . Уже опубликованные теоретические труды (в частности, “Художественное произведение” с классическим разбором повести Толстого “Хаджи-Мурат”) можно вообще не брать во внимание. И вот тут начинается самое интересное. “Научная полемика”, поминутно скользя по самому краю “научности”, наконец, срывается в яму. Оказывается, сверхзадача оппонента не показать всю псевдонаучность “нового” метода, а запретить его. Да-да, именно так и формулировал Ревзин: “П. Палиевский. . . действительно убеждён, что импрессионистское описание впечатлений, получаемых нами от художественного образа, может помочь проникнуть в его суть, что описание адекватно предмету только тогда, когда сохраняет расплывчатость и туманность. . . Отсюда проистекает и другое заблуждение П. Палиевского, что какую-либо науку можно вообще построить на системе запретов, формулируемых ещё до того, как эта наука выработала чёткую совокупность операционных, проверяемых на деле критериев”.

Зачем же понадобилось Палиевскому, по логике Ревзина, “запрещать” структурализм? (Более дикую идею вряд ли было возможно “вложить” в голову учёного! Но тут уже все средства хороши. А главное — нужно было представить в контексте развернувшейся полемики себя любимых в виде “гонимых” и “запрещаемых”. Палиевский потом прекрасно исследует этот “комплекс” в статье “К понятию гения”).

Чему же всё-таки призваны служить, по мнению Ревзина, структурные методы в литературоведении? Оказывается, “есть надежда, что структурное изучение для начала хотя бы простейших форм художественного образа. . . позволит выработать методы более экономного решения стоящих перед кибернетикой задач”. Вот оно, ключевое слово: “кибернетика”! Из “продажной девки империализма” (никто, конечно, ничего подобного не формулировал — но кому какое дело, когда эта формулировка, невесть кем придуманная и кому надо приписанная, уже вовсю гуляет по интеллигентским кругам!) превратившаяся в юную прогрессивную коммунистическую красавицу, на которую нельзя и взглянуть косо! А Палиевский, оказывается, обуюн “страхом перед кибернетикой и проникновением её в литературоведение”. . . И вот тут-то под “научный спор” начинает подводиться серьёзная идеологическая база.

“В сущности, любой прогресс в науке о живом и в особенности о человеке достигался в упорной и зачастую трагической борьбе с теми, кто всячески, не важно, богословскими ли, гуманитарными ли аргументами пытался — иногда из самых лучших побуждений и даже из неверно понятого гуманизма — остановить вторжение бесстрастного инструмента учёного в живую жизнь”... Вы, господа хорошие, о “науке” и “псевдонауке”, “культуре” и “цивилизации”, “языке” и “образе”, а мы-то, современные и прогрессивные, видим в вас не кого-нибудь, а ретроградов и реакционеров, вполне сравнимых со средневековыми охотниками на ведьм!

Читалось это всё невооружённым глазом. И Кожин не случайно достаточно мягко назвал статью Ревзина “малосодержательной”. В ответ он написал свою статью, в самом названии которой ставил необходимый вопрос: не “в чём задача структурной поэтики”, не “какие проблемы она призвана решить”. Вопрос ставился в корень: “возможна ли структурная поэтика?” Возможна ли она, как таковая?

Если Палиевский “разбирался” со структуралистами, что называется, на “своей” территории, то Кожин спокойно шагнул на территорию “чужую”. Он исходит “изнутри” аргументации возможных оппонентов. “Те современные исследователи, которые полагают, что они уже непосредственно разрабатывают структурную поэтику... на самом деле сводят законы поэзии к закономерностям языка. А это значит, что создание структурной поэтики как таковой ещё не начиналось... И. Ревзин, по-видимому, хорошо сознаёт, что о структурной поэтике говорить по существу ещё весьма рано... Поборники структурной поэтики... стремятся подойти к тому рубежу, где они отчётливо осознают, что их эксперименты не имеют прямого отношения к изучению поэтики, а лишь сводят “структуру образа” к структуре языка”... “Сведение” словесного образа к языку вносит немалую путаницу и дезорганизацию и в лингвистические понятия, — усмехался Кожин. — Впрочем, что поделаешь. В развитии любой науки издержки и накладные расходы всегда во много раз превышают прибыли...”

Кожин неспроста удивлялся одному немаловажному обстоятельству: по высказываниям структуралистов создавалось впечатление, что после ОПОЯзовских трудов изучение поэтики в Советской России прекратилось как таковое. “Как ни странно, — замечал Вадим Валерианович, — противники структурной поэтики, проявляя своего рода единодушие с её сторонниками, тоже как бы полностью игнорировали развитие нашей поэтики за три-четыре десятилетия”. И учёный решил напомнить “о некоторых работах... выдающихся представителей нашей филологии”, преодолевших ОПОЯзовское наследие, — о Григории Винокуре, Павле Медведеве и Валентине Волошинове.

Конечно, он прекрасно знал, что автором книг “Формальный метод в литературоведении”, вышедшей в 1928 году под именем Медведева, и “Марксизм и философия языка”, изданной годом позже под именем Волошинова, является Бахтин (о чём Кожин открытым текстом говорили прекрасно знающие историю вопроса Виктор Виноградов и Наум Берковский). Но тем с большим удовольствием (и убедительностью) молодой теоретик использовал эти старые труды в новой ситуации.

Опираясь на Винокура, он подчёркивал, что “понятие “язык поэзии” аналогично не понятиям “язык науки”, “язык газеты”, “разговорный язык”... но основным, даже метафорическим понятиям “язык музыки”, “язык танца”, что в “языке поэзии” “слова переживают глубокое превращение. Каждое слово языка, войдя в качестве строительного материала в язык поэзии, само — и во всей своей цельности — становится “внутренней формой” поэтического значения”, и, следовательно, слова вступают в поэзии “в принципиально своеобразные отношения, несвойственные языку”. А это значит, что говорить о поэзии как об “особым способом организованном языке” не приходится. “Поэзия есть всё-таки поэзия, а не язык”.

Конечно, нельзя было пройти мимо обвинений в “ненаучности”, “стремлении идти поперёк прогресса” и тому подобного словесного хлама. “Когда кто-либо, — иронизирует Кожин, — указывает на сугубую ограниченность, локальность новых методов лингвистики, сторонники последних обычно бросают в ответ обвинения в консерватизме, в противостоянии прогрессу и т. д. Такого рода обвинения, однако, справедливы лишь по отношению к тем, кто считает развитие новых методов ненужным (или вредным) делом вообще.

Но совершенно несправедливы такие обвинения по адресу тех, кто стремится определить действительное значение и роль этих методов, их реальные границы и пределы... Между тем в опытах создания точных методов для гуманитарных наук явно господствует своего рода упоение успехами... На этой почве, естественно, проросло немало сенсационных книжек и статей, листая которые просто не знаешь, чему удивляться: фантастическому невежеству или абсурдности логики...»

Кожинов, уже знакомый с методами полемики структуралистов и семиотиков, специально обозначил, что его цель «не в том, чтобы «громить» семиотику и структурную лингвистику, но лишь в том, чтобы попытаться уяснить их реальные возможности, их пределы», которые, судя по всему, не видят и не хотят видеть многие её апологеты. Так, опираясь на Волошинова (точнее, на Бахтина), он подчёркивает разницу между понятиями «знак» и «сигнал». «Вся глубина различия знака и сигнала выражается в том, что систему *сигналов* могут полноценно воспринимать животные и машины, а система *знаков* доступна лишь человеку», и смешивать эти понятия недопустимо. Суть в том, что «предметом семиотики являются не знаковые системы в собственном смысле, но системы сигналов».

По существу, Кожинов указывал на то, что поборники структурализма и семиотики не до конца разобрались в своём собственном предмете и в целях, которые они перед собой ставят, хотя и претендуют на некий «универсализм». Он указывал на то, что «развивается... и своего рода «философия языка», упоминая, в частности, работы Унамуно, Хайдеггера, Лосева, Шпета и других исследователей. «Правда, — не преминул заметить Кожинов, — среди представителей структурной лингвистики принято третировать всякое философское рассуждение о языке как антинаучный «поток сознания»...»

И, к слову, о прогрессе: «Я убеждён, что попытки создания точной науки о поэзии будут продолжаться... Сама идея такой науки, конечно, является в точном смысле прогрессивной... Но когда И. Ревзин, например, выступает с безоговорочной и абсолютной защитой прогрессивности вообще, я не могу не сказать, что всякий прогресс относителен и в ходе прогресса люди всегда не только приобретают, но и нечто теряют, а во-вторых, «прогрессивное» — это далеко не всегда значит «хорошее», то есть доброе, истинное, полезное, прекрасное. Современный тоталитаризм, например, есть результат «прогрессивного» развития экономики. Но стоит ли защищать этот прогресс, петь ему хвалы?»

Подобные утверждения не могли не приводить структуралистов в ярость — они-то считали себя всерьёз создателями, хранителями и окучивателями «свободной» от всякой идеологии и от всякого «тоталитаризма» «территории»... Более того, вызревшие на этой «территории» плоды подавались как последнее слово науки. А тут их сравнивают... с кем?!

Ответная статья Юрия Лотмана под заголовком «Литературоведение должно быть наукой» была выстроена ещё относительно дипломатично, даром что полностью отвергалось противопоставление знака и сигнала, шла жёсткая полемика с Кожиновым по поводу термина «инвариант»; критика того, что структуралисты и семиотики декларировали как свои достижения, объявлялась выступлением против науки как таковой. Экземпляр кожиновской статьи был буквально испещрён возмущёнными пометами Лотмана с претензией на иронию. «Мне могут возразить, что та реальность, которую я называю знаком... и не входит в компетенцию семиотики; последняя призвана изучать именно внешнюю систему языковых сигналов», — писал Кожинов. Подчеркнув слова «которую я называю знаком», Лотман в рукописи своего ответа снабдил их следующей репликой: «Это звучит как «огурец», который я называю «интегралом», — полностью проигнорировав ссылку Кожинова на статью семиотика и единомышленника Лотмана А. Пятигорского, который настаивал на том, что структурная лингвистика изучает именно **сигналы**.

Лотману (как и Ревзину) было бы гораздо спокойнее иметь дело с «отрицаниями» Палиевского, чем с «амбивалентностью» Кожинова, который, при всей погружённости в серьёзность проблемы, «как бы резвяся и играя», отдавал должное семиотике: «Нельзя переоценить, например, её роль в разработке проблем «искусственного языка» для машин... Успехи структурной лингвистики значительны»... Кожинов лишь ставил ей необходимый предел, говоря о том, что семиотика «и не ставит задачей проводить «эстетический»

анализ”. Более того, он брал себе в союзники не только Пятигорского, но отчасти и... самого Лотмана, ссылаясь на его “Лекции по структуральной поэтике”: “Он объявляет свой метод “структурным” и широко использует семиотическую терминологию. Но в его интересной и содержательной работе нет, по существу, никакого структурализма в собственном смысле слова, исключая некоторые рассуждения общего характера”.

Лотман ответил, используя грозное оружие в виде цитаты из Маркса: “Утверждение о том, что применение математических (то есть структурных и статистических) методов в принципе приводит к возрождению формализма, находится в вопиющем противоречии с известным мнением К. Маркса, сохранённым для нас памятью Поля Лафарга: “Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удаётся пользоваться математикой”... Намёк был понятен: против шпаги выкапывают заряженное орудие. Дескать, с нами спорьте сколько угодно, а попробуйте-ка с Марксом! Ещё более яростен в пришивании идеологических наклеек был друг и единомышленник Лотмана Борис Егоров: “У противников “математизации” под поверхностью из борьбы за “гуманизм” скрывается (бессознательно или отчётно) своеобразное “религиозное” стремление предохранить “душу” от научного познания. Но в человеческом организме всё меньше становится неисследованных уголков. Эмоции, интуиция, “душа” – их штурмует наука. Если мы не богословы, а учёные, то должны верить в безграничные возможности познания”... Обвинение в “религиозности” и “богословии” было достаточно внятным. Вот и подумаешь: не зря Вадим Валерианович упомянул в своей статье о тоталитаризме...

Этот технократизм, который становился уже не модой, а болезнью, жестоко высмеял Эвальд Ильенков в статье с характерным заголовком “Почему мне это не нравится”: “В рассуждениях “отчаянных кибернетиков” – то бишь сочинителей кибернетической мифологии – постоянно встречаешь такой мотив: ах, не нравятся тебе наши затеи, не хочешь, чтобы тобой бездушная Машина командовала? Сам собой управлять желаешь? Мало ли чего тебе желается! Это в тебе всё “иррациональные эмоции” бунтуют! Вбил себе в голову, будто ты и есть венец творения, предел совершенства. Вот мы тебе покажем, какой ты венец!”

Кстати сказать, Ильенков, придя однажды в гости к Кожинovu и обнаружив на его столе книгу “Формальный метод в литературоведении”, буквально впился в неё, с наслаждением зачитывая вслух многочисленные абзацы. Но когда Кожинov попытался привлечь его внимание к только что вышедшим “Проблемам поэтики Достоевского”, Ильенков вообще отказался воспринимать это творение великого ума. Марксист с явным уклоном в гегельянство, он так и не смог переступить через себя.

Что же касается Кожинова, то полемика со структуралистами была кратким, но достаточно значимым эпизодом в его творческой жизни. Он с юных лет был очарован тайной, заключённой в художественном слове, и не терял этого очарования до конца жизни. В короткой рецензии на подборку рассказов Георгия Семёнова он писал о его героях, что “все эти люди по-настоящему сложны, глубоко, даже в чём-то таинственны и что в них заключена такая внутренняя сила, такая человеческая энергия, объём которой не может быть учтён заранее”. Через полтора десятка лет он скажет своим слушателям – молодым стихотворцам руководимой им поэтической студии: “В истинное стихотворение переносится саморазвивающаяся частица жизни”. Претензия “просчитать” то, что в принципе “не просчитывается”, виделась ему в потугах структуралистов и семиотиков, о чём он, по сути, и написал в “Вопросах литературы”.

...Пройдёт много лет. И в том же журнале будет опубликована статья культуролога и доктора философии, “приобщение” которого началось именно с работ Лотмана. Ныне автор непреложно утверждает: “Языковая модель литературы – представление о литературе “как языке”, – сколь бы привлекательной она ни выглядела, является ложной” (курсив автора. – С. К.). По сути, в этой работе другими словами утверждается то, о чём писали ещё в 1960-е Палиевский и Кожинov: “...лингвистическая модель литературы не может освободить филолога от необходимости встречи с чрезвычайной сложностью своего “объекта”. Но в этой встрече, даже стараясь её избежать, филолог обречён обнаружить, что литературный текст, своего рода микрокосм, как увеличительное стекло, высвечивает бесконечно ветвящийся, обманчивый,

захватывающий, но и в чём-то пугающий макрокосм окружающей его культуры”.

С другой стороны, станут появляться на белый свет псевдонаучные труды вроде того, где автор со ссылкой на слова “зарубежных авторитетов” (дескать, “формализм изначально воспринимался как “еврейская” теория, потенциально разрушительная для национальных культурных иерархий) будет утверждать буквально следующее: “Во второй половине 1960-х и позднее наследующий формализму структурализм в национально-консервативных кругах (это словосочетание уже стало неким штампом. — С. К.) также считался еврейской научной школой... Этноцентристская подоплёка их стремления пересмотреть представление о главных в отечественной науке направлениях в пользу “традиционной” (характерные, однако, кавычки! — С. К.) русской, уходящей истоками в дореволюционный период гуманитаристики, была несомненна...” Подспудное приклеивание оппонентам структуралистов ярлыка “антисемитов” здесь поистине несомненно... И тут волей-неволей снова обратишься к Лотману, который в письме к Егорову после обзывания Палиевского “дураком” приписывает: “И с претензией + 5% лёгкого доноса”.

Где он увидел этот “донос” — пусть гадают “заинтересованные люди”. Не исключено, что “вычитал” в статье “О структурализме в литературоведении” нечто “этноцентристское” (чего не сыщешь там днём с огнём) и на что решил ответить своими “5% тяжёлого доноса” в виде использования Карла Маркса.

Впрочем, о “национальных проблемах” и кожиновском “этноцентризме” ещё пойдёт речь. А пока я снова привлеку в свидетели Александра Суконика, тем более что, напомним, речь как раз идёт о Кожинове 1960-х годов: “. . . В Вадиме не было на йоту конкретного неприязненного чувства ни к конкретным евреям, ни даже к чему-либо специфически еврейскому, будь то кухня, быт или искусство”.

Но эта тема ещё, как говорится, впереди. “Национальный вопрос”, как писал Кожинов Бахтину, действительно, “приобретал невероятную остроту”. И для самого Вадима Валериановича в первую очередь.

“В его сознании произошёл перелом, — вспоминал Сергей Бочаров. — Я могу точно датировать начало этого перелома. Это было 13 июля 1963 года. Я приехал из Коктебеля, и мы встретились с Вадимом на ВДНХ (мы там обычно пили пиво). И там я впервые от Вадима услышал слова, которые меня удивили. Вадим объявил, что нация, национальная проблема — это проблема номер один...” О том же вспоминал и Лев Аннинский, как до него в это же время донеслась кожиновская фраза:

— Надо заниматься разработкой русской национальной идеи.

1963 год. Ещё один рубеж, ещё один переворот (который подготавливался предыдущими годами) в сознании и в душе нашего героя.

(Продолжение следует)

АТИЛЛА САДЫКОВ

ПОД СЕНЬЮ РУБЦОВСКОГО ДРЕВА

Памяти поэта Вячеслава Богданова

Со мною что-то стряслось, и я вдруг заговорил прозой. Наверное, это оттого, что слишком много времени я носил в себе груз непридуманных живых рассказов моих собратьев по перу из литобъединения “Металлург” об их личных встречах с поэтом Николаем Рубцовым. Преломлённые через мою душу, эти рассказы жглись друг о друга и вырывались из груди наружу, прямо-таки просились к перу и бумаге. Но я то и дело сдерживал себя и задавался вопросами: “А что же это получится у меня – Рубцов глазами моих друзей? Отражение с отражения? Позвольте, позвольте, да имеется ли в этом надобность?”

Однако мой внутренний голос денно и ночью упрямо твердил мне: “Послушайся меня! Все истинные поэты накрепко связаны незримыми нитями, словно звенья одной цепочки: своими судьбами, биографиями, выстраданными строчками. Вот, посмотри сам: у Рубцова и у твоих собратьев-челябинцев схожие судьбы – голодное военное и послевоенное детство, сиротство, раннее взросление в заводских цехах и общежитиях. И разве случайно то, что вы встретились с Рубцовым и его поэзией именно в начале шестидесятых годов, в пору самых тяжких невзгод для него, и оказали ему (кстати, очень вовремя!) моральную и материальную поддержку, делились с ним последним куском хлеба? И разве случайно написал об этом известный русский поэт Василий Фёдоров крепкие запоминающиеся строки: “...Поэты, как планеты, // Взаимно притяжимы – // ... Слетит один с орбиты // – Несдобровать другому!”

Сказано очень верно и убедительно. Ещё раз поразмыслив я, почитатель Николая Рубцова, с помощью своих друзей вхожу сегодня в волшебный мир его поэзии, распахиваю настежь дверь в знаменитое общежитие Литературного института, в котором и мне довелось проживать в начале 80-х и послушаться разных былей и небылиц о похождениях моего героя. Вхожу, словно в сказку, в которой все молодцы, как Рубцов, в которой поэты не разучились удивляться, радоваться чужой удаче. И пусть Николай Рубцов предстанет таким, каким он утвердился в памяти моих друзей: может быть, не таким ершистым, раздражительным, нередко неуживчивым и разозлённым, каким он был в действительности. Суть не в этом. Главное – он нёс людям добрый свет.

Сам Николай Рубцов, говоря в стихах о своей колючести и трудном характере, не забыл, однако, сжатой формулой выразить суть: “Поэт несколько не опасен, // Пока его не разозлят”. Эти строчки оказались крылатыми. А толчком к их написанию послужила не очень-то спокойная жизнь поэта в Москве, в общежитии Литинститута на улице Добролюбова (дважды его исключали из

этого вуза, переводили на заочное отделение, восстанавливали со скрипом на очном – Рубцов был слишком индивидуален и, по мнению блюстителей строгих порядков, вносил смуту в ряды студентов). Но об этом периоде его жизни пусть расскажут те, кто был в ту пору рядом с Рубцовым и давал ему деньги на хлеб, на чай, а иногда на более крепкие напитки. Одним из таких близких по духу и верных друзей Николая Рубцова был наш уральский поэт Вячеслав Богданов.

Вспоминается лето шестьдесят девятого. Вячеслав только что прилетел из Москвы. Он был в то время руководителем нашего заводского литобъединения “Металлург”. Полнолицый, голубоглазый, с разбухшими от ветров и морозов ручищами, прошедший многолетнюю закалку на высотах коксохима Челябинского металлургического, он знал цену настоящей мужской дружбе и поэтическому слову. Его пронзительно честные, проникновенные стихи об Урале, о родимой деревне, о судьбах крестьян в горестные военные и послевоенные годы заметили мастера поэтического цеха Людмила Татьяничева и Василий Фёдоров, помогли автору выпустить книги, возможно памятуя пушкинскую фразу: “Хорошо помогать лошади, которая и сама тянет увесистый воз!”

Открытый первыми удачами, Вячеслав круто набирал высоту, надёжно сплавляя тамбовское деревенское речение с говором уральского городского рабочего люда: “В шестнадцать лет покинул я село, // но в двадцать восемь не приехал в город”; “Я в мир пришёл творить, а не рыдать, // века и так к нам на слезах приплыли”. Это как-то сближало поэзию Богданова с поэзией Рубцова, нередко их фамилии ставили рядом в обзорах русской современной поэзии. Дух соперничества поэтов витал над нами, но мы отращивали крылья под сенью рубцовского древа. . .

Однако вернёмся к буйно цветущему скверу возле Дворца культуры челябинских металлургов, где мы, литовцы, несмотря на каникулы, собрались на встречу с Вячеславом Богдановым. Его рассказ о поездке к Николаю Рубцову я записал почти дословно, потому передаю слово ему, и пусть были и небыли о Рубцове прозвучат в его исполнении.

“Взбираюсь на пятый этаж общаги Литинститута, нахожу нужную комнату. Дым стоит коромыслом. Студенты сидят кто где: на диванах, на табуретках, на полу. Словом, пиршество в разгаре. Во главе стола – Николай, уже изрядно нагруженный спиртным, рядом с ним Боря Чулков, поэт из Вологды, Цехил Камалов из Дагестана – поэт и драматург, студент из Монголии со странной кличкой “Солидол”. Словом, народ разношёрстный, пишущий и пьющий.

– У козлёнка – вот беда – // отрастает борода, и козлёнка прямо с детства // можно дедушкой звать. . . – прочитал Солидол. Рубцов рассмеялся, он ценил юмор. Следом рассмеялись и другие. Довольный хозяин обвёл взглядом присутствующих, уставился в меня:

– Теперь твоя очередь радовать нас, Вячеслав. . .

Я прочёл два стихотворения – “О России” и “Конь”, – жестами словно бы раздвигая комнату. Студенты выжидательно посмотрели на Рубцова: только он мог, по их мнению, вынести “приговор”. Тот покрутил в руке фарфоровую зелёную китайскую пиалу, бережно поставил её на стол, подумал с минуту и выдохнул:

– “Конь” у тебя смотрится, Вячеслав, строчки светятся, я даже с ходу запомнил:

*...И вот ты снова рвёшься на дыбы
И мечешься, как будто от удущья,
Но две оглобли,
Как конвойных
ружья,
Стоят на страже у твоей судьбы...*

– Живым пахнет, живым пахнет, – пропел он, и ему вторили его друзья:

– Да-да, действительно, он не повторил тебя, Коля, нашёл свой поворот темы, хотя до твоей “Судьбы” не дотянул. . .

Рубцов усмехнулся, спросил:

— А кстати, “Судьбу”-то мою знаешь?

Я кивнул. И тут же полностью прочёл вслух его “Судьбу” — о том, как лучшего скакуна в округе кастрировали, впрягли в телегу и приказали возить кирпичи на стройку:

*...И упал он, весь пылая и дрожа,
Под огонь
ветеринарного
ножа.
И поднялся он, тяжёл и невесом.
Покатилось колесо за колесом.*

— Шестьдесят второй год, Коля! — восхищённо сказал Цехил Камалов. — Подумать только! Семь лет назад написано!

Как примагнитченные, ребята плотнее жались друг к другу: в образе коня они видели образ России, из которой вырезали цвет нации. Поэты Есенин, Гумилёв, Мандельштам, Николай Клюев, Борис Корнилов, Павел Васильев — велик и тяжёлок скорбный список. Слово “колесо” в контексте стихотворения прозвучало трагически-зловеще.

— Молодец, Коля! — воскликнул кто-то из студентов.

— Да я сам знаю, что молодец, — с улыбкой отвечал польщённый автор. Однако собутыльник не унимался, он единым духом зачитал пушкинское восьмистишие о коне:

*Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле чистом и широком
Своенравно не скачи.
Всё равно тебя заставлю
Я смириться под собой,
В мерный круг твой бег направлю,
Укороченной уздой...*

— Ведь это же гораздо слабее твоей “Судьбы”!

— Ты Пушкина не тронь! — резко перебил Рубцов. — Все мы ему тут, вместе взятые, в подмётки не годимся! — и жадно, вздохнув допив порцию “зубровки”, тяжело выдохнул:

— Эх, юноши, юноши...

Под навалившимся гнётом тишины неожиданно прозвучали две строчки Евтущенко: “По ночам — какие суки бабы, // По утрам — какие суки мы!” Николай ухмыльнулся и тихо произнёс: “Может быть, вот эти две строчки от него и останутся... А остальное у него всё наносное, от Маяковского. Чересчур политизирован. Вот, скажем, “Братская ГЭС” — сплошное графоманство. Декабристы, Чернышевский, Герцен — не люблю, когда историю государства Российского переписывают рифмами. Да ещё катаются по загранкам, а на какие шиши?”

Вообще тема “катания по загранкам” его очень забавляла. “Нужно путешествовать внутри себя, в своей душе, искать сюжеты в исконно русском слове, — нередко говаривал он. — Пристало ли нам, порушившим российские церкви и монастыри — нашу неуываемую красоту и духовную крепость — глядеть на какие-то египетские пирамиды?”

Он зло сверкал глазами, понемногу успокаивался. Бережно, словно ребёнка, умащивал на коленях выдавшую виды хромку с разноцветными мехами, рассыпал пальцы по кнопкам и протяжно, задушевно пел свои песни”.

Вот таким запомнился мне рассказ Вячеслава Богданова о духовном брате и удивительном поэте Николае Рубцове, великие тайны поэзии которого он стремился постичь всю свою сознательную жизнь.

ЯНА САФРОНОВА

ПОП-ПСИХОЛОГИЯ — НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Что может заставить известного критика поменять жанр?

Возможно, воспоминания о легендарном прошлом литературы, которые не дают покоя и по сей день, требуют быть записанными на бумагу. А может быть, большая личная утрата, которую захочется выписать и выговорить. Или ещё вариант — желание оправдать свой литературный путь, книгой защититься от нападков профессионального писательского сообщества.

Что бы ни подвигло героинь этой статьи сменить упорядоченный критический мир на свободу эссеистического повествования, в итоге перед нами — три высказывания о жизни, литературе и о себе. Три сознания, которые отражают особенности поколения, в котором им повезло сформироваться. И одновременно — процесс изменения общества, приоритетов, смещения акцентов.

Но всё-таки прежде всего критик меняет жанр, когда ему есть что сказать “поверх” литературы, когда он хочет высказать больше. И тут мы можем рассчитывать на предельно откровенный разговор, в котором будет только о самом важном. Ведь когда ты наконец получаешь возможность высказаться не о другом, преломлённом в литературное произведение, а о себе — сколько интересного ты наговоришь...

Наталья Иванова. Такова литературная жизнь: Роман-комментарий с ненаучными приложениями. М.: Б. С. Г. Пресс, 2017.

Книгу Натальи Ивановой “Такова литературная жизнь: Роман-комментарий с ненаучными приложениями” вряд ли можно назвать романом. Первая её часть — это сборник эссе, где автор рассказывает о многолетней работе в “толстых” журналах, о писательских поездках и отдельных личных впечатлениях. Далее помещается страстно написанная литературная хроника с 1986-го по 1999 год включительно. Завершают книгу короткие рецензии-аннотации на книги, тем или иным образом попавшие в круг чтения Ивановой.

Пожалуй, самый занимательный для читателя раздел — первый, где можно узнать о литературном быте обыкновенного советского редактора. Наталья Иванова, ныне — замглавреда “Знамени”, опытный литературный работник. Она трудилась в издательстве “Современник”, долгое время работала в журналах “Дружба народов” и “Знамя”.

Профессиональный интерес представляют подробные заметки о том, как раньше всё было устроено в редакциях “толстяков”. Вот, например, содержательная информация о “самотёке” — материалах, попавших на редакционный стол не по рекомендации или личному приглашению, а прямо с почты: “Каждая рукопись регистрировалась — и по закону приравнивалась к письму

трудящегося. А на письма трудящихся полагалось отвечать в обязательном порядке. В течение двух месяцев, строго. <...> вы должны были чётко и ясно мотивировать свой отказ. Отказ в как можно более вежливой форме – иначе на вас пожалуются в этот самый Контроль, и грозный контроль придёт проверять вас, а заодно и всю редакцию”. Сейчас редакции оставляют за собой право не вступать в переписку с будущими авторами, но и отправить рукопись в журнал стало легче: находишь в интернете электронный адрес и прикрепляешь вложение... или десять вложений. О смене формата общения с авторами Наталья Иванова пишет увлечённо и остроумно, вспоминает забавные случаи и приводит фрагменты переписки.

Однако о рабочей схеме “Знамени” в 1970-е годы Иванова отзывается прохладно: все рукописи должны были быть согласованы с цензурным начальством, кроме того, в изданиях сидели стукачи. О современном состоянии родного журнала заместитель главного редактора пишет едва ли полслова. Разве что... немножко хвастается: “В других редакциях на праздник накрывают столы поскромнее – сотрудники сами (в отличие от нас, заказывающих фуршет через кейтеринг) нарезают бутербродики, сами выкладывают селедочку, огурчики, колбаску... И когда я вслух сожалею о наших расходах на двух официантов в белоснежных кителях с галунами, на белые свечи и “скартерти со свисом”, то Сергей Чупринин (главный редактор “Знамени”. – **Я. С.**) мне на это говорит: “Ну, ты же любишь понты!” Да, люблю”. Высшее писательское удовольствие: сравнить себя с соседом и понять, что тебе живётся лучше.

Также в рубрику счастливых воспоминаний интеллигента о прошлом попадают многочисленные поездки, премии, дачные встречи в Переделкино. Картина рисуется идиллическая: Грузия, Франция, Америка, Англия – и везде принимают, как дома, обмениваются опытом и общаются о творчестве. Прекрасная атмосфера для жизни и труда. Заграничные кущи чаруют и манят Наталью Борисовну, иногда влечение становится сложно преодолеть... Случай с украденным бумажником в Париже: “Возвращаемся пешком по бульвару Сан-Мишель, мимо кафе “Люксембург”, где мы сидели днём, перед выступлением. И ещё пытались заказать такси – у Маканина устали ноги. А вдруг? Захожу – радостной улыбкой встречает меня официант, ведёт к бару, а там – бармен достаёт откуда-то снизу мой бумажник. Со всеми деньгами и карточками. Вот она, реальная европейская честность. А карточки в Москве пришлось делать заново”. Поучительная история о том, что лучше всегда там, где нас нет.

Критик Наталья Иванова не скрывает своих политических пристрастий: они сугубо либеральны. Но и литературу она воспринимает как борьбу двух противоположностей, как настроенную оппозицию, за которой глаз да глаз, не проследишь – рванёт. Порой это приобретает даже маниакальное звучание: “Что бы я ни писала и где бы я ни выступала с тех пор, определённое направление следит за мною весьма внимательно. Причём “патриоты” разных оттенков (там тоже есть свои оттенки)”. В пространстве “Такова литературная жизнь...” все следят друг за другом из идеологических окопов.

Так продолжается и до сих пор. Рассказывая о литературном форуме ФСЭИП, в народе “Липки”, Иванова особенно заостряет внимание на журнале-оппоненте: “А надо сказать, что чем дальше, тем больше вести семинары приглашали *разные журналы* – и *разные* по своим убеждениям люди. Александр Казинцев и Сергей Куняев, представляя “Наш современник”, открыто пропагандировали взгляды журнала, использовали каждое выступление как трибуну. <...> А потом все гуськом, тихо-мирно шли в столовую обедать или ужинать; сидели за соседними столами (совместная трапеза сближает, именно поэтому психологи советуют в целях укрепления брака завтракать и ужинать только вместе). Вообразите картинку: младший Куняев после пафосной речи – за спиной Андрея Арьева”. Когда речь заходит о “противоборствующем лагере”, авторская ирония достигает апогея. И почему-то распространяется только на других, что особенно странно, ведь автор сидит за тем же столом и, наверное, так же гуськом выдвигается за ужином в столовую...

Нахождение в накалённом противостоянии накладывает отпечаток и на трактовку литературных фактов. Во втором разделе, хронике, Иванова берёт во внимание в основном публикации “Нового мира” и “Знамени”, говорит о том, что яркие дебюты почти всегда случались только на страницах этих

журналов. Кроме того, что это свидетельствует о суженности взгляда, кон- фронтативный подход критика ещё раз указывает на полную обращённость в прошлое. Линию водораздела можно проследить. До 1997 года исследова- тель увлечённо перечисляет главные литературные произведения периода, тщательно отыскивает сюжет года... Но вот в 1997-м вместо подробного об- зора – “Медный год”, – речь, произнесённая на присуждении премии “Анти- букер”, а в 1999-м и вовсе... игровой алфавит. Ивановой становится неинте- ресно, литература с её баталиями, огромными тиражами и открытиями для неё заканчивается “там”. Потому в книге, написанной в 2017 году, разливае- ся океан ностальгии. С течением времени уже ничто настолько не задевает: краткие отчёты о прочитанных современных книгах в третьей части занимают по полстраницы, больше половины их объёма составляют отвлечённые рас- суждения.

Отзываясь на “Такова литературная жизнь...”, критик Юлия Подлубнова сравнивает книгу с “Дневными звёздами” Ольги Берггольц. Подлубнова ого- варивается, что аналогия не совсем точная, и всё же проводит параллель в начале и в конце рецензии. На мой взгляд, “Дневные звёзды” – полный ан- типод сочинения Ивановой: у Берггольц на первом плане её захватывающая, потрясающая биография поэтессы-блокадницы, а Наталья Иванова, напро- тив, отстраняется от событий, происходящих в стране. Захват Белого дома описывает скупо: перебежала с толпой с одной стороны Нового Арбата на дру- гую, попала под обстрел, зашла в квартиру к друзьям, посмотрела телевизор, пошла обратно, побрела к метро.

Мало Наталья Борисовна говорит и о личном. Назывно упоминает мужей, с обидой делится, что один из них не понимал, зачем покупать книги, если есть библиотеки. А ведь отношение к печатному изданию у Ивановой особое, по наследству переданное, молитвенное. Да, действительно “Роман с лите- ратурой” – определение не жанровое, но смысловое.

Автор книги искренне любит призрак бурной, разноречивой словесности позднего советского периода. Литературная обстановка тех лет – самое важ- ное, сокровенное, что принесло массу жизненных впечатлений – главный ге- рой мемуарных записей. Расставаться с ним и смотреть в незаинтересован- ное лицо современного читателя больно. Наталья Иванова этого и не делает, предпочитая вести ироничный разговор о приёмах, премиях, белых скатертях и мимолётом встреченных друзьях или недругах-литераторах.

Валерия Пустовая. Ода радости: роман. М.: ЭКСМО, 2019.

Прошлую книгу критики Валерии Пустовой “Великая лёгкость. Очерки культурного движения” завершало программное эссе. В нём Пустовая чётко обозначила, что для неё главное в литературе: “По мне, так читать стоит толь- ко для этого – расслышать правду и не суметь быть прежним”. Затем критик размышляла о подходах к исследованию литературы: “Теперь изучают не ли- тературу, а саму жизнь – и техники гармоничного в ней пребывания. Недаром верховным критическим эпитетом наше время назначило понятие “живой”. И будто бы в развитие и подтверждение этой мысли следующей вышла книга “Ода радости”, сборник эссе, организованных по сквозной тематике жизнен- ного материала. В трёх частях – “Одна”, “Пара” и “Третий” – автор откровен- но рассказывает о потере матери, обретении любви и, наконец, семьи.

Творческая биография Валерии Пустовой не менее богата, чем у Натальи Ивановой. Будучи молодым автором, Пустовая долгое время возглавляла от- дел критики журнала “Октябрь”, выпуск которого был приостановлен с января 2019 года. Но об этом в книге не говорится как о чём-то первостепенно важ- ном, литература и литературный процесс здесь всего лишь часть повседневно- сти. Они “впяны” в постоянный, но в общем-то обыденный разговор, который лишь обрамляет события настоящей жизни: “В наш самый последний вечер дома мы сплетничали про номинации Нацбеста, хотя впору было схватить её за мизинец и сидеть, лбом вжавшись и повторяя: “Мама, мамочка”, – но так мы уже провели день до этого”. Литература в “Оде радости” “работает” на жизнь, и это подкупает. Прочитанные книги, в свою очередь, служат отправ- ной точкой для рассуждений, они утешают, поддерживают и направляют. Ав- тор открыт тому, что принесёт ему книга, благодарен за то, что она может дать.

Забавно было обнаружить полное совпадение, повторяющееся в женской писательской судьбе поколениями. Пустовая часто упоминает, что муж не разделяет её восторг от покупки массы печатных книг. Однако меняется ракурс: “В культуре для взрослых перепроизводство и конец бумаги. В детском книгоиздании – листы ожидания за тысячу-полторы и сетование потребителей, что вот этот хит размером больше листа А4, на который в доме нет места, нам опять не достать”. Критик легко отказывается от “настоящей” книги для взрослых, потому что знает: можно скачать электронную версию в полцены. Но у детства нельзя отнять удовольствие общения с литературой, поэтому новые сокровища продолжают пополнять коллекцию.

Литературных поездок у постсоветского литератора Валерии Пустовой тоже хватает. В связи с потерей литературой статуса они стали скромнее: подмосковные “Липки”, теперь кочующие по городам России, редкая удача посетит писательскую резиденцию в Шотландии. Везде находится вдохновляющее, интересное, привлекательны сами люди: они открывают новое, общение с ними позволяет расширить культурный и жизненный опыт.

Самое ценное в книге – предельная искренность, которая иногда перехлёстывает: читаешь подробности становления молодой матери, и становится неловко, будто подглядывал в окно чужого дома. Но всё же, когда честность переживания набирает силу, то становится важным личностным открытием: “Крестный путь, я чувствую это как крестный путь. Она вернулась домой, чтобы пройти его до конца. Сквозь вопли: “Сдохни меня!” – обращённые к Богу, в чьей власти оборвать страшное до срока, через унижение немощью и нечистотой, через измену тела, шатнувшегося под тяжестью беды, и бичевание словом: “Кто только мордой меня не возил”, – как скажет о медицинских работах. А главное, через несправедливость – незаслуженность, невольность горя”. Интересны рассуждения Валерии Пустовой о религии, автором движет постоянное желание понять, сопоставить закон и собственное восприятие Бога: “. . . Когда я впервые внесла сына в храм, я проговорила: “Смотри: тепло, красиво, Бог. . .” – и сама испугалась сорвавшейся глупости: кто же Бога на последнее место ставит? Но потом поняла: так сработал закон первого познания. < . . . > Бог начинается там, где тепло и красиво, иначе остаётся абстракцией”. Словом, наблюдать за сплетениями неожиданных логических цепочек в “Оде радости” почти то же, что и следить за развитием сюжета в художественном произведении, где герой подошёл слишком близко и почти касается тебя через текст.

И вот, учитывая нетривиальность суждений, подвижность мысли, чёткость в формулировках и, наконец, имея опыт чтения статей профессионального критика Валерии Пустовой, не устаёшь поражаться: сколько же противоречащей друг другу информации может комфортно сосуществовать в её сознании! Основа всего – убеждённая религиозность, которая проникает во все сферы жизни. С ней соседствуют вошедшие в обиход сонники: “. . . и я уже только по инерции с утра гуглю буквари сонников”; гороскопы: “. . . я вообще внимательно запоминаю советы, и даже в одном гороскопе прочла. . .”; соционика, которая называется лженаукой, но всё равно учитывается: “лженаука соционика типично нас как двух инфантилов”; и, безусловно, психология: “Захотелось выйти из того, что мне психолог расчертит в популярную схему треугольника. Следите, сказала, вам будет слишком легко в это включиться: агрессор–жертва–защитник”.

Ярый интеллектуальный коктейль смешан из ингредиентов низкой степени сочетаемости, особенно первого со всеми остальными. Молодой образованный литератор Валерия Пустовая каким-то невероятным образом оказывается в эпицентре всех модных “женских” информационных тенденций. О них ожидаешь услышать на каком-нибудь Ютуб-канале с названием “Девчонки”, но прочтешь в этой книге оказываешься не готов. В одном из интервью* Пустовая говорит о том, что наиболее перспективное направление в литературе сейчас – это синтез: “Синтез разнородного – язык нашего времени, которому доступно слишком широкое восприятие: сразу в нескольких плоскостях. Я бы, как писал классик, сузил, да уже, как пишут сейчас, не развидишь жизнь в объёме всех возможных для нас толкований”. Но кажется, что синтезом

* Ганиева А. Они что, и на барабанах играли? Интервью с Валерией Пустовой // Новая газета. 2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-12-19/10_1011_valeria.html (дата обращения: 29.04.20)

называется банальная путаница и незрелость суждений. С одной стороны, ориентация критика на жизнь и человечность привлекает, а с другой – как доверять его мнению, если в том же интервью он признаётся в том, что его литературные вкусы зависят от жизненных обстоятельств* и процессов самопознания, а они проходят по линиям гороскопов и сонников...

Одна из областей прикладных интересов Валерии Пустовой “выпирает” из текста. Психология определяет течение повествования и лексический состав “Оды радости”. И кажется даже, что непрерывно звучащее словосочетание “терапевтическая проза” в рецензиях критиков о книге – определение, под сказанное умным критиком в ней же. “Коучинг”, “паттерны”, “травматический опыт”, сеансы с психологом, внимательное чтение и прослушивание работ Людмилы Петрановской... В конце концов – прямое сравнение: “Как хорошо разглаживать, подчищать и размечать мир в рамках текста. Наверное, такой же кайф, как разгадать и вытряхнуть чужой психологический кейс”.

“Психологические сессии” в двадцатом веке стали распространённым явлением. Кто же будет отрицать, что разговор с хорошим психологом – вещь полезная? Но применять психологические схемы, которыми профессионал врачевал на сеансе, в обсуждении литературного произведения как один из главных аргументов – вряд ли хорошая идея. Этим Пустовая занимается, например, в статье “Ритуал единственного дня” о нашумевшей книге Анны Старобинец “Посмотри на него”: “Прожить чувства – задача из области психологической терапии, с которой клиенту обычно труднее всего справиться. Прежде чем добраться до прямого ответа на простой вроде бы вопрос: “А что вы чувствуете?” – психологу приходится постепенно снимать наросшие на чувствах хитиновые щиты, мешающие клиенту слышать самого себя. Наблюдения о “системе” в книге Старобинец работают, как один из таких щитов”. Поверхностные оценки того, что именно приходится делать психологу, и сопоставление этого с писательской задачей – странное смещение, присущее времени доступной информации, когда, прослушав пару десятков лекций, ты “становишься” профессионалом в любой области...

Галина Юзефович. О чём говорят бестселлеры. Как всё устроено в книжном мире. М.: АСТ, 2018.

Нельзя сказать, что самый популярный (или выдаваемый за таковую) критик страны Галина Юзефович кардинально сменила жанр в книге “О чём говорят бестселлеры”. Скорее слегка вышла из зоны комфорта. Обычная для неё форма – это короткие рецензии, где книга кратко пересказывается, сравнивается с другой и становится частью рекомендательного списка авторитетного критика. В своих работах Юзефович всюду использует так называемый “информационный стиль”: краткость, чёткое деление на абзацы и подразделы, простота языка.

Сборник “О чём говорят бестселлеры” – вторая по счёту книга в творческой биографии писательницы. И здесь она не просто рассуждает о новинках, но пытается объяснить массовому читателю, как всё устроено в книжном мире. Учитывая явный коммерческий успех Юзефович**, можно рассчитывать на то, что она и правда обладает нужным знанием.

От критика, который всегда заявляет о принципиальной простоте своих работ, не стоит ожидать концептуальных сложностей: в книге нет особенного композиционного деления. Статьи тематически перетекают одна в другую, иногда их завершают списки-навигаторы, призванные решить проблему

* Ганиева А. Они что, и на барабанах играли? Интервью с Валерией Пустовой // Новая газета. 2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-12-19/10_1011_valeria.html (дата обращения: 29.04.20): “То же и с реализмом: я всю жизнь рвусь к полноте проживания и осознания реальности в литературе – не потому ли, что это мой главный страх? Впоследствии оказалось, что сжиться с реальностью помогает как раз голая проза Сенчина или вот Дмитрия Данилова, к которому поначалу у меня тоже возникло непонимание”.

** Для сравнения: “О чём говорят бестселлеры” издано в самом коммерчески успешном подразделении издателя-гиганта “ЭКСМО-АСТ” – “Редакция Елены Шубиной” – тиражом 5000 экз. Книга Валерии Пустовой тоже была напечатана в “ЭКСМО”, но тут всё скромнее – 2000 экз. Работа Натальи Ивановой “Такова литературная жизнь” вышла в узкопрофильном филологическом издательстве “Б. С. Г.-Пресс” тиражом 1000 экз.

“а что почитать на тему...” (здесь может быть любая переменная). Притом написаны статьи с выдержанной профессиональной дистанцией. Юзефович не говорит о личном и не позволяет себе излишней эмоциональности, но всё же иногда...

Сквозной сюжет книги – это защита и оправдание литературного отверженничества, явлений словесности, которые признаны широкой публикой, но не принимаются всерьёз профессиональным сообществом. Автор лишь иногда отпускает оценочные комментарии вроде “старомодный толстожурнальный очерк”, но создаётся впечатление, что на страницах книги ведётся скрытая дискуссия как раз с представителями этих самых “толстых” журналов.

Возьмём хотя бы открывающий книгу текст “Зачем нам критика, или Вместо предисловия”. В нём Галина Юзефович противопоставляет свой способ работы тому самому “старомодному”. По её словам получается, что если критика прошлого сосредотачивалась на контексте и личности автора, то новая, представителем которой является сама писательница, берёт во внимание прежде всего объект (т<о> е<сть> книгу), и “бесхитростно” приносит её публике на раскрытых ладонях. Разумеется, искренне заботясь об удобстве читателя, а потому разжёвывая ему содержание.

Лёгким мановением руки, без всяких прямых и безапелляционных заявлений, Юзефович создаёт заряженное противопоставление: критики “классического” формата хотят, чтобы вам было скучно и вы читали про них самих или про никому не нужные контексты, а я – чтобы вы с пользой провели время и сосредоточились непосредственно на самом произведении.

Таких виртуозных софизмов в книге масса. Заранее обобщая их, можно вывести формулу: Юзефович призывает расслабиться и получать удовольствие. Вот, например, литературный мир волнуется отсутствие качества в массовой литературе и то, что она заполняет полки книжных магазинов, создавая блокаду для по-настоящему художественных произведений. У критика к этому подход особый: “Если книгу читает полмиллиарда людей по всему свету, уже неважно, хороша она или плоха с литературной точки зрения, – важно, что мы узнаём из неё об окружающем нас мире”. Округлим мысль: “Но безразлично кривить губу, смотреть сверху вниз и соколиным глазом прозревать в любом большом успехе результат всемирного заговора, плод бесстыжей маркетинговой раскрутки или, на худой конец, признак полнейшего всемирного дурновкусия – крайне неосмотрительно. Большой успех не бывает “незаслуженным” или случайным <...> Вместо того, чтобы высокомерно наслаждаться собственным иммунитетом к объектам массового вкуса и героически выгребать против течения, интереснее и продуктивнее будет найти и осмыслить магию, делающую великий бестселлер великим бестселлером. Про магию всегда интересно – не верите мне, спросите Джоан Роулинг”. Вот так сначала говоришь, что книга с миллионными тиражами становится неприкасаема только из-за популярности, а потом подпускаешь в конце немножко магии, и будто ничего и не было.

Представим себе ситуацию: вы сидите вечером в своей квартире и читаете “Пятьдесят оттенков серого” (неважно, почему “бестселлер” к вам попал, просто оказался у вас в руках) – и вам становится отвратительно, стыдно и неловко от развесёлых описаний извращённого секса и глупости главной героини. Но не надо безразлично кривить губу! Стоит философски задуматься, какая такая магия сделала эту книгу “великой” и продаваемой для полумиллиарда людей. Когда осознание магии придёт, книга, вероятно, с удовольствием дочитается.

То же с Нобелевской премией. Всем возмущающимся распределением “слонов” Галина Юзефович даёт отповедь, мол, прежде всего, кандидаты рассматриваются Нобелевским жюри за литературное мастерство. Правда, потом в подтверждение своих слов даже никого из лауреатов последних лет не цитирует... Невидимым противникам, которые говорят, что Нобеля дают неизвестным писателям второго ряда, критик возражает: “Словом, прежде чем возмущаться “неизвестностью” победителя и подозревать, что дело тут исключительно в “политике”, лучше воспользоваться услугами Google: лично меня подобная практика многократно спасала от конфуза”. И так во всём, абсолютно во всём. Вот Юзефович говорит о новых переводах детских книг, и даже зачин оправдательной речи – одинаковый: “Другое дело, что прежде чем проклинать современного переводчика и результаты его работы, всегда

хорошо бы честно спросить себя: а вдруг нам просто хочется, чтобы перевод был “как в детстве”...” Также неправы теньевые литературные мастера, когда обвиняют автора в желании эмоционально манипулировать читателем. По Юзефович, книге не надо сопротивляться – этим мы лишаем себя удовольствия. Помните молитвенное отношение к печатному изданию Ивановой? А идейное коллекционирование детской литературы Пустовой? У популярного критика всё проще: она с радостью сообщает, что теперь необязательно носить на себе бумажные кирпичи.

Но чтобы прийти к примиряющим выводам, автор сначала выстраивает линию защиты. И главный инструмент в ней – уже знакомое нам психологическое обоснование. Помимо массы иностранных слов, которые как бы позволяют включиться в общемировой литературный процесс, книга изобилует рассуждениями о “травматичном опыте” и “повторяющихся паттернах”, а литературу предлагает воспринимать как коллективную психотерапию.

Юзефович поднимает актуальную тему: произведения, в которых речь идёт о советском периоде, осмысляется прошлое страны, а не её настоящее. “Обитель” Захара Прилепина, “Зулейха открывает глаза” Гузель Яхиной, “Зимняя дорога” Леонида Юзефовича и др. Весь XX век критик аккуратно характеризует общей травмой и находит в перечисленных произведениях большой потенциал: “... литература предлагает нам сегодня спасительную шину, позволяющую зафиксировать несчастный палец (ранее он был сломан. – Я. С.) и ощупать наше прошлое так, чтобы в плечо не стреляло <...> переварить нашу общую травму, полюбить и принять в себе не только расстрелянного или раскулаченного прадеда, но и прадеда-вохровца или прабабушку-доносчицу можно, только отказавшись от однозначного деления на правых и виноватых”. Принятие манипуляций, ощупывание сломанных пальцев, переваривание людей... Образный ряд Галины Юзефович при всей толерантной психологичности письма становится садистским, как только она пытается ласково уговорить на смирение сопротивляющегося читателя.

Если принимать на веру всё, чему учит критик в “О чём говорят бестселлеры”, то книжный мир сейчас – полиморфное пространство, где, в общем-то, всё можно, а потому нужно опасаться однозначных суждений. Место, где “... издательство – это своего рода бренд, и относиться к нему следует примерно, как к бренду, производящему ваши любимые джинсы или самую приятную на вкус зубную пасту...” Книга приравнивается к продукту, с помощью которого можно удовлетворить базовые потребности. Даже думать особенно не нужно, учитывая, что по идеальной теории Юзефович критик уже заранее расказал её содержание. Так что – смотри на симпатичную обложку, да и покупай, будешь хорошо выглядеть и приятно пахнуть.

Галина Юзефович призывает пытаться понять ту “магию”, которая формирует литературную моду, но она и сама является её предметом. Секрет прост: в своих работах она оправдывает деградацию читателя. Гладит холодной рукой по горячему лбу, говорит, что это не мы стали хуже, а мир стремительно изменился. Мы просто за ним не успели, но если прочтём вот это “великое”, “гениальное”, “идеальное”, то догоним, пропсихотерапевтируемся и выйдем из “травмы двадцатого века” как новенькие. Опыт показывает обратное. Приводимый критиком в пример “бестселлер травмы” “Зулейха открывает глаза” Гузель Яхиной о плачевной судьбе татар в советском государстве, вышедший на телеканале “Россия-1” в виде сериала в апреле 2020 года, вызвал широкий скандал*. А это же просто людям надоело терпеть, что им ломают здоровые пальцы, бормоча что-то о травме и паттерне.

Так называемая поп-психология** даёт готовые рецепты решения проблем. Она находит своего почитателя и в России: самой продаваемой книгой в стране за 2019 год стало руководство Марка Мэнсона “Тонкое искусство

* Щербинина О. Что происходит вокруг сериала “Зулейха открывает глаза”: Хама-тову оскорбляют, коммунисты требуют прекратить показ // Tjournal [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://tjournal.ru/tv/159610-chto-proishodit-vokrug-seriala-zuleyha-otkryvaet-glaza-hamatovu-oskorblyayut-kommunisty-trebyuyut-prekratit-pokaz> (дата обращения: 29.04.20)

** Поп-психология носит коммерческий характер и переплетает теории/данные экспериментов/термины научной психологии с чем угодно: псевдонаукой, вольной трактовкой психологических теорий, ложными экспериментами или экспериментами с недостаточной выборкой, своим жизненным опытом, кармой, аурой.

пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо”*. Нет ничего удивительного в том, что люди хотят быть счастливыми, а если заглавие книги напрямую обещает это – руки тянутся её купить. Но вот проникновение сурrogата в профессиональные литературные умы вызывает тревогу, особенно когда они так далеки друг от друга: авторитетный “толстожурнальный” критик и работник Валерия Пустовая и самый популярный интернет-критик Галина Юзефович, которая напрямую сотрудничает с издательствами и имеет действительное влияние на общественное мнение. И обе как заведённые всё “травматизируют”.

Да, от агрессивного противостояния либералов и почвенников новое поколение литературы, может быть, уйдёт. Говорят, это не наша война. Вопрос в том, куда придёт. Куда ведут пунктирные дорожки? В психотерапию, соционику и гороскопы?..

* Названы самые продаваемые книги в России за 2019 год // Комсомольская правда. 2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.kp.ru/daily/27087/4159736/> (дата обращения: 29.04.20)

АЛЛА НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ЧЁРТОВЫ КУКЛЫ ЗАКАБАЛЁННОЙ РОССИИ

(в преддверии 190-летия великого русского христианского писателя)

*Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных,
и не сидит в собрании развратителей*

Пс. 1, 1

Часть 1

В светлую память о Николае Семёновиче Лескове (1831–1895), великом христианском писателе-классике, непревзойдённом художнике слова, стоит пристальнее взглянуть на один из поворотных моментов его жизни – историю увольнения с государственной службы. На вопрос: “Зачем Вам такое увольнение?” – Лесков ответил: “Для некролога”. Это произошло в 1883 году – 137 лет назад.

Определением министра народного просвещения И. Д. Делянова Лесков был отчислен из министерства “с увольнением от звания члена особого отдела Учёного комитета по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения”.

1 марта 1883 года в 29-м номере журнала “Церковно-общественный вестник”, с которым сотрудничал автор “Соборян”, “Запечатлённого ангела”, “Очарованного странника” и других шедевров русской словесности, сообщалось, что 9 февраля из Министерства народного просвещения отчислен “коллежский секретарь Лесков (известный наш писатель)”.

Широко известного автора – горячего просветителя и проповедника христианских истин, чьей жизненной и творческой установкой всегда было писать и говорить так, чтобы укрепить в человеке “проблески разумения о смысле жизни”¹, чтобы “что-нибудь доброе и запало в ум” (XI, 472) и сердце читателя, – уволили из Министерства просвещения. Парадоксальный, казалось бы, факт: истинный просветитель оказался ненужным на государственном уровне российской нивы просвещения.

С чего же всё началось? Как и почему выдающийся русский писатель сделался гражданским служащим невысокого ранга – с чином коллежского секретаря, который скромно ютился на десятой ступеньке служебной лестницы из 14 классов согласно Табели о рангах? К слову, тем же мелким, незначительным чином были “пожалованы” гении русской литературы А. С. Пушкин и И. С. Тургенев.

Зачем же решился Лесков делить своё время между вдохновенным творческим трудом и чиновничьей службой? За ответом далеко ходить не надо. Он на поверхности: это бедность, материальная неустроенность, финансовая необеспеченность, недостаток средств даже на скромную жизнь без излишеств – обычная судьба честного писателя в России и раньше, и теперь. Стеснённость в денежных средствах испытывали и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и многие их собратья по перу масштабом поменее.

Лесков не раз оказывался в бедственном материальном положении. Величайший певец русского подвижничества, создавший для Руси “иконостас её святых и праведных”, подчас претерпевал нужду на грани голода и нищеты. Нельзя без душевной боли читать горькие сетования в лесковских письмах: “Мне буквально нечего есть; у меня нет средств работать новой работы, которая бы меня выручала из беды <...>; мне нечем заплатить полтораста руб<лей> за дочь мою, обучающуюся в пансионе <...>, и я не могу отдать 200 руб<лей> долгу г. Краевскому, – что меня стесняет до последней степени” (X, 266); “я бился пятнадцать лет и много раз чуть не умирал с голода” (XI, 254).

Однажды на грани отчаяния обратился Лесков в Литературный фонд с прошением предоставить ссуду в 500 рублей, которые он обязывался возратить с процентами, завершив работу над пьесой **“Расточитель”**: “Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства – моя драма <...> средства же не умереть с голода и продолжать работу без такого пособия Фонда решительно не вижу” (X, 266). Писательская организация отказала в этой просьбе, но в виде подачки-милостыни снисходительно предложила “оказать некоторое пособие автору <...> предварительно собрать сведения о положении г. Лескова”.

Писатель не принял фарисейского подаяния. Как только он узнал о постановлении Литературного фонда, то ответил немедленно: “Не имея способности принимать от кого бы то ни было безвозвратных пособий, я тем более далёк от желания получить их от членов русского литературного общества, которое отозвалось, что оно меня не знает и в кредите мне отказывает” (X, 267). Так литературные псевдособратья – пигмеи в сравнении с Лесковым по силе творческой одарённости – в очередной раз ханжески от него отреклись.

“Славы не ищущу, совести боюсь, в деньгах нуждаюсь” – такую надпись сделал Лесков на своём фотографическом портрете, подаренном критику В. П. Буренину, выступавшему в последние годы жизни писателя с одиозными статьями (в 1890-е годы в газете “Новое время” он поместил ряд резких заметок и фельетонов о лесковских сочинениях). Эта фотография с автографом Лескова хранится в Доме-музее писателя в Орле.

Сберегается в орловском музее и другой автограф писателя – на его книге “Смех и горе (разнохарактерное potpourri* из пёстрых воспоминаний полинявшего человека. Посвящается всем находящимся не на своих местах и не при своём деле)”, подаренной младшему брату в 1871 году.

В тот год Лескову исполнилось 40 лет. Новую книгу он расценивал как важную творческую веху в субъективно переживаемый переломный момент своего земного поприща. Это одно из этапных произведений Лескова. Позднее он признавался: “Я стал думать ответственно, когда написал “Смех и горе”, и с тех пор остался в этом настроении – критическом и, по силам моим, незлобивым и снисходительным” (X, 401-402).

Дарственная надпись весьма оригинальна: *“Достолюбезному старшему брату моему, другу и благодетелю Алексею Семёновичу Лескову, врачу, воителю, домовладыке и младопитателю от его младшего брата, бесплодного фантазёра, пролетария бездомного и сея книги автора. 7 июля 71 г. СПб”*.

Слова эти поначалу могут вызвать недоумение: Николай Семёнович называет Алексея Семёновича, который был шестью годами моложе писателя, “старшим братом”. Но речь здесь идёт не о возрасте, а о “старшинстве” в смысле материальной обеспеченности. Алексей Семёнович Лесков был киевским врачом с обширной практикой, что позволило ему обзавестись собственным особняком вблизи Софийского собора – стать “домовладыкой”. Достаток дал ему возможность быть “благодетелем” небогатых ближних и дальних; “младопитателем”, поскольку к нему “лепилось, около него кормилось

* Попурри – смесь, мешанина (франц.).

и ютилось и своё, и женино, и невесть чьё до какого колена родство или свойство”². Младший брат писателя был радушен, щедр и обладал особым даром “пригрева близких”.

Старший Лесков, посвятивший свою жизнь самоотверженному литературному труду, в глазах меркантильных обывателей – “бесплодный фантазёр”, “пролетарий бездомный”, который не нашёл от трудов праведных не только палат каменных, но даже не имел хотя бы какого-нибудь стабильного заработка. И в шутку, да и всерьёз (снова срабатывает разнополярная система координат “смеха и горя”) умаляет Лесков себя перед младшим братом – “старшим” по бытовому устройству жизни. Так за шутливой формой дарственной надписи проступает немалая доля горечи.

Чтобы как-то поправить свои финансовые дела, получать обеспечивающее жизнь жалованье, а также в новом качестве посодействовать делу народного просвещения, писатель поступил на государственную службу. В начале января 1874 года Лесков был назначен членом особого отдела Учёного комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа. Министр обещал годовой оклад в две тысячи рублей. Однако это оказалось враньём и издёвкой: в реальности денежное содержание Лескова на службе было урезано ровно вдвое.

Писатель с большим именем в литературе так и не дождался хотя бы какого-нибудь повышения заработка за все долгие годы безупречной служебной деятельности. В 1881 году Лесков писал И. С. Аксакову: “Решили, что довольно с меня и меньшего жалованья, – назначили членом учёного комитета (1000 руб<лей>), и с тех пор я здесь восемь лет “в забытии”, хотя Толстой (Д. А. Толстой – министр народного просвещения, обер-прокурор Святейшего Синода. – **А. Н.-С.**) знал меня хорошо, считая, по его словам (Кушелёву и Щербатову), “самым трудолюбивым и способным”, и лично интересовался моими мнениями по делам сторонним (например, церковным)” (XI, 254).

Так лесковские надежды, связанные с государственной службой, были с самого её начала развеяны: “Вместо сколько-нибудь ощутительного укрепления бюджета и выполнения иногда любопытных, живых служебных заданий предстояло полу-стариковское сидение за рассмотрением книг, издаваемых для народа, под нестерпимым гнётом “благочестивого вельможи” (2, 178).

“Помилуйте, с утра до вечера убиваться над какою-нибудь сушью, над какою-то, с позволения сказать, бумажною мертвечиной”, – говорил о чиновничьей службе один из героев пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина “Тени” (<1862>)³.

Однако Лесков со всей ответственностью, с полной самоотдачей выполнял трудоёмкую, кропотливую работу: был рецензентом, готовил многостраничные доклады (один из важнейших – “О преподавании Закона Божия в народных школах”), объёмные служебные записки, заключения, отчёты, массу другой служебной документации. Подробное описание материалов этого рода деятельности писателя представлено в книге его сына и биографа Андрея Лескова⁴.

В период службы писателя в Министерстве народного просвещения сменились четыре министра, но ни один из них не подумал хотя бы как-то отметить и поощрить необыкновенного сотрудника за безупречный, добросовестный труд, на который затрачивались большие силы, драгоценное время.

Лескова обходили также повышением по служебной лестнице, забывали повышать классный чин даже за выслугу лет, держали, что называется, “в чёрном теле”.

“Крупному человеку у нас всякий ногу подставит и далеко не пустит, а ничтожность всё будет ползти и всюду проползёт”, – говорится в лесковской статье “Заповедь Писемского” (1885).

О том, каким издевательствам “чиновная шишмара” (2, 179) подвергала писателя, как куражились над ним, язвили и жалили его канцелярские букашки, отравляя Лескову жизнь, он вспоминал в письме Аксакову: “Наконец им стало стыдно не давать мне ничего, и Георгиевский (председатель Учёного комитета. – **А. Н.-С.**) лет через пять после моего поступления сделал представление о награде меня за многие полезные труды и “за прекрасное направление, выраженное в романе “Некуда”, навлекшем на меня ожесточённое гонение нигилистической партии”, – чем бы Вы думали: чином надворного советника, то есть тем, что даётся каждому столоничальнику и его

помощникам. Мне это испрашивалось в числе двадцати человек, назначаемых к особым наградам к Новому году. И что, Вы думаете, последовало? Толстой на обширном и убедительном докладе Георгиевского надписал: “Отклонить”, — а из числа двадцати чиновников одного меня вычеркнул. И это всякий чиновник департаментов видел и хохотал над тем, что значит быть автором “Некуда”. “После того и деться некуда”, — острил в сатире Минаев. Чем же эта молодёжь напоевалась, видя такое усердие меня обидеть, признаться сказать, в таком деле, которое мне и неинтересно, потому что быть или не быть “на дворным советником”, уже, конечно, — всё равно” (XI, 254-255).

Несмотря на последнее заявление в этом фрагменте письма, по всему его тону чувствуется, что обиды и унижения не прошли для Лескова даром, бурлили и поднимались со дна души, засели в “печенях”, как позже писал он о приснопамятном “огорчённом налиме” в своей последней повести “Заячий ремиз” (1894).

“Нам по службе нет счастья в роду”, — говорил писатель своему сыну Андрею (2, 176). В министерстве продвигали тех, кто даже близко не мог сравниться с Лесковым по одарённости, глубинному постижению жизни России, знанию русского народа “в самую глубь”. Честный высокоталантливый художник русского слова, идущий своим путём, — “против течений”, — государственной системе был неугоден, здесь привечали только раболепствующих низкопоклонников, вышколенных и выдрессированных бездарностей по прозванию “Чего изволите?” Собственное мнение здесь никогда не приветствовалось, вызывало подозрение, отторжение и страх.

Крайне нерасположен к выдающемуся русскому писателю был его непосредственный начальник по службе А. И. Георгиевский — завистливый инордец-безбожник, выходец из Одессы. Он отличался особой еврейской мстительностью и не забывал “оцарапавшее его перо” — статью Лескова “Литератор-красавец” (1867), в которой однажды был задет писателем задолго до его поступления на службу. На одном из автографов Лесков сделал приписку: “Георгиевский Александр Иванович. Экс-либерал из Одессы. — “Рука Каткова” и “подобие Бисмарка в России” (2, 179). О нём же отозвался писатель в одной из корреспонденций: “провинциальная шушера и чиновная шишмара, взросшая в пресмыкательстве и добывающаяся его от других” (2, 179).

Пронырливая одесская “шушера”, прокрававшаяся искательством, подобию страстием и подкупом до кресла председателя комитета в министерстве, продажная бестия Георгиевский мнил себя важной персоной и не упускал случая подчеркнуть свою значительность. Ординарность, напустившая на себя начальственное высокомерие, не терпела таланта и самобытности в подчинённых. Этому чиновнику подошла бы характеристика из пьесы Салтыкова-Щедрина “Тени”: “Он так же, как и все эти трутни-проходимцы, весь сшит из чужих лоскутьев, весь набит чужими словами, весь пропах чужими запахами”⁵.

В романе “На ножах” (1871) — за три года до поступления на службу — Лесков разоблачил один из распространённых способов многовековой массовой мимикрии противников Христа, подобных экс-нигилисту, “деятелю на все руки”, еврею Тихону Кишенскому. Таким, как он, “нужен столбовой дворянин”, в том числе и для того, чтобы под прикрытием русских, особенно знатных фамилий, пробираться на руководящие должности, занимать ключевые посты в государственных, коммерческих, религиозных, общественных учреждениях России с целью кабалить, разлагать и уничтожить коренное население страны, глумясь над его христианскими идеалами и православной верой; маскируясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски прикрываясь благими целями добродетели, безбожно обогащаться, получать свои барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне. О чужеродном кабальном иге, опутавшем Россию, действительно предупреждали Святые отцы — христианские подвижники.

“Кто втёрся в чин лисой, тот в чине будет волком”, — писал о таких В. А. Жуковский. О подобных проходимцах говорил также И. А. Крылов в своей басне “Осёл” (1815):

*В природе и в чинах высота хороша,
Но что в ней прибыли, когда низка душа.*

Салтыков-Щедрин в драме “Тени” представил типические черты бюрократической среды: “надо много ловкости, чтоб пробалансировать”, “нужно только обладать бесстыдством!”; “от них разит тлением”; “какая-то неприятная юркость, какое-то молодеческое желание блеснуть изворотливостью совести”⁶. “Точно я попал в трущобу, в которой копошится гадина, и не знаю, где она кроется и куда хочет направить своё ядовитое жало!”⁷ – мог бы воскликнуть вслед за щедринским героем Лесков.

Характерен переданный сыном писателя следующий эпизод служебных взаимоотношений между начальствующим и подчинёнными: упоённый сознанием собственного властительного величия, Георгиевский церемонно-торжественно появлялся на заседаниях комитета всегда последним, “дабы иметь возможность благосклонно принять почтительное приветствие всего состава возглавляемого им органа и, первым опустясь в председательское кресло, милостиво пригласить всех занять свои места. Это пышное “сретание”, повторявшееся каждый вторник, мутило дух уже отвыкшего от многого литератора. Чтобы не вставать при появлении его превосходительства в распахивавшихся курьером дверях, Лесков никогда не садился до появления последнего” (2, 180-181).

Автор этих строк, имеющий многолетний опыт государственной службы, свидетельствует, что до настоящего времени во всей бюрократической низости сохраняется точно такая же чиновничья “церемония” с ожиданием “высокого лица” (будь то губернатор, председатель законодательного собрания, начальник департамента и т. п.), появление которого все обязаны почтить вставанием и получить снисходительное разрешение садиться. Какой-нибудь мелкий чиновничко-наблюдатель (чаще всего сотрудник организационной службы), чтобы потом доложить “наверх” о нелояльности к власти предающим, по старинке “берёт на карандаш” – заносит в блокнотик фамилии тех, кто не успел или не захотел раболепно привстать перед начальственной персоной.

Пожалуй, всё это мелочи. Но, как известно, из такой вот “тины мелочей” складывается жизнь, а человек наиболее проявляется именно в мелочах. В цикле “оглушительных” очерков “Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры)” (1878–1880) Лесков обратил внимание на те “мелочи жизни, в которых человек наиболее познаётся как живой человек, а не формулярный заместитель уряда – чиновник, который был, да и умер, а потом будет другой на его место – всё равно какой” (VI, 535). Писатель показал неразрывную связь мелочей с общим устройством жизни.

Часть 2

Пылкий человек с пламенной душой, с трудом сдерживающий праведный гнев и негодование, Лесков задышался в удушливой, затхлой атмосфере “умеренных и аккуратных” канцелярских ничтожеств, угодливых лизоблюдов, продажных подлецов, по-лакейски заискивающих перед вышестоящими и готовых при всяком удобном случае пинать нижестоящих.

Понятия “чиновник” и “подлец” в русской классической литературе составляют один синонимический ряд. “Будешь ты чиновник с виду // И подлец душой”, – писал в “Колыбельной песне” Н. А. Некрасов. В поэме “Кому на Руси жить хорошо” (1866–1876) он сложил о чиновниках такие строки:

*В груди у них нет душеньки,
В глазах у них нет совести.
На шее — нет креста!*

О безбожных, бессовестных, бездушных бюрократах, об их жизни, “полной трагикомических скачков от наглости к пресмыкательству” (XI, 24), не раз говорил и писал Лесков. Марионетки, заводные живые механизмы получили у писателя многозначное именование “чёртовы куклы”.

О замысле романа с этим названием Лесков сообщал 3 августа 1875 года в письме А. П. Милюкову, говоря о подхалимах и прихлебателях из Министерства народного просвещения, славших министру графу Д. А. Толстому приторно-льстивые восхваления: “Ещё ли не деятели? А того нет, чтобы сказать графу о стене, который стоит по всей стране за неразрешение переэкзаменовок

за одну двойку... Кто же будет с ними? – Конечно, только они сами, пока их чёрт возьмёт куда следует. Они мне и здесь и воду, и воздух гадят, и на беду их тут много собралось.

В заключение скажу, что вся эта пошлость и подлость налили меня до желания написать нечто вроде “Смеха и горя” – под заглавием “Чёртовы куклы”, и за это я уже принялся” (VIII, 627-628).

Комитет, в котором работал писатель, вызывал у него отвращение: “Комитет мерзил” Лескову ещё с 1875 года, а учёного председателя его Лесков, опасаясь своей вспыльчивости, почитал за счастье “не видеть” вовсе” (2, 177).

Согласно лесковской эпиграмме, государственный контролёр Т. И. Филиппов – “мерзкий сводня, // Лыстец презренный и холоп” (2, 187).

Упомянув в письме о министре Делянове, писатель добавлял: “к которому я питаю только презрение, вполне им заслуженное” (2, 195).

Этот министр народного просвещения налагал путы на дело просвещения народа и прославился недоброй славой, когда издал нормативный акт, прозванный в России “циркуляром о кухаркиных детях”, в котором предписывалось не принимать в гимназию “детей кучеров, прачек, мелких лавочников и т. п.”. Лесков немедленно откликнулся статьёй “Гимназический крах” (впоследствии – “Темнеющий берег”). Он писал издателю А. С. Суворину: “Ивана Делянова с его последним распоряжением, кажется, позволятся сажать на кол тою частию его тела, которая у него более прочих пострадала” (XI, 351).

На протяжении последних постперестроечных десятилетий планомерно проводится изуверская политика разрушения и уничтожения полноценного образования. Страх чиновников от образования перед честным словом русских писателей столь силён и так велика ненависть к отечественной литературе и её “божественным глаголам”, призванным “жечь сердца людей”, что до настоящего времени христиански одухотворённая отечественная словесность заведомо искажается, преподносится с атеистических позиций в подавляющем большинстве учебных заведений России. Варварское притеснение русской словесности в школе привело к катастрофической тотальной безграмотности во всех областях деятельности, вплоть до высших властно-чиновничьих сфер. Чудовищно то, что в России повальной неграмотности уже мало кто удивляется и почти никто её не стыдится. Это приметы нашего времени, неоспоримые факты.

Очень “опрятный в душе человек”, Лесков никогда не поступался своими принципами. В одном из писем он заявлял: “Прошу вас на меня никогда не смотреть как на пешку, которую можно двинуть без разбора во всякий след. Это всегда будет ошибочно и мне несносно” (2, 195).

Наиболее актуально звучат слова Лескова, который устами своего героя-правдолюбца Василия Богословского в повести “Овцебык” (1862) обращался к тем “благодетелям” народа, у кого слово расходится с делом: “О, горе сим мытарям и фарисеям! <...> А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Всё на языничестве выезжают, а на дело – никого. Нет, ты дело делай, а не бреш. <...> эх, язычники! фарисеи проклятые! <...> Таким разве поверят! <...> Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй” (I, 52).

“Возненавидел я сборище злонамеренных и с нечестивыми не сяду” (Пс. 25, 5), – словами писал можно было бы передать отношение писателя к государственной службе. И всё же он, неуживчивый в гнусной среде бездарных и бездушных министерских чинуш, вынужден был тянуть эту тяжкую лямку.

Терпение Лескова вызвало удивление у его сына – автора биографии писателя: “Почему-то сам он, как это ни странно, точно не задумывался над тем – совместимо ли с занимаемым им служебным положением, год от года становившееся всё менее “благонамеренным”, если не “потрясовательным”, направление всей писательской его деятельности? Почему-то не собрался пересмотреть вопрос – нужна ли ему вообще на что-нибудь эта нудная служба с её жалким окладом, отнимающая так много рабочего времени от писательства, со всеми её досаждениями! Что могла она сулить в будущем, если до сих пор приносила только одни уязвления, недвижимо держа его на самой низкой оплаченности в восемьдесят рублей в месяц, не повышая в чинах даже “за выслугу лет”! Шёл планомерный измор. Как можно было его не замечать и терпеть!” (2, 176-177).

В письме к А. С. Суворину у Лескова есть знаменательные слова: “Я не мщу никому и гнушаюсь мщения, а лишь ищу правды в жизни” (X, 297-298). Такова была его человеческая, гражданская и авторская позиция. “Законникам разноглагольного закона”, подменяющим заповеди Божьи лукавыми социально-политическими установлениями, Лесков противопоставил Христа, “Который дал нам глаголы вечной жизни”. В рассказе “Под Рождество обидели” (1890) писатель предложил поразмышлять: “Читатель! будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшней Новорождённый <...> ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко: обдумай – с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного закона, или с Тем, Который дал тебе “глаголы вечной жизни”...”⁸.

В лесковский текст органично вживляется евангельская цитата. Апостол Пётр, отвечая Христу, говорит, что Господь для людей – единственное духовное прибежище: “Симон Пётр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого” (Ин. 6, 68-69).

Справедливо названный “величайшим христианином среди русских писателей”⁹, Лесков оставался с Христом, слушаясь, прежде всего, голоса совести и отказываясь “с притворным благоговением нести мишурные шнуры чьего бы то ни было направленного стандарта” (XI, 234). Писатель и на государственной службе выбрал службу Христу по Его заповеди: “Кто Мне служит, Мне да последует” (Ин. 12, 26).

Незадолго до отставки Лесков по распоряжению министра был назначен членом комиссии по рассмотрению сочинений, представленных на соискание премии имени Петра Великого. За эти труды писателя удостоили специальной золотой медали. Но он не принял министерской награды и попросил отправить её в Орёл для помощи беднейшему ученику гимназии, в которой сам когда-то учился. Уже после увольнения – 31 марта 1883 года – Лесков писал редактору “Исторического вестника” С. Н. Шубинскому: “Золотую медаль, мне следующую, просил прямо из министерства отослать в Орловскую гимназию на помощь беднейшему ученику, отправляющемуся в университет” (2, 198). Спустя неделю – 7 апреля – Лесков извещал о том же директору Орловской гимназии.

С каждым годом возрастала критическая настроенность писателя по отношению к несправедливо устроенному обществу. Лесковское творчество становилось не просто оппозиционным, но по-настоящему “потрясательным” (выразительный словообраз не сходит со страниц повести “Заячий ремиз” – “лебединой песни” писателя).

В эти годы созданы хроника “Захудалый род” (1874), повесть “Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)” (1874); начат роман “Чёртовы куклы” (1875); написаны рассказы “Пигмей” (1876), “Железная воля” (1876), очерки “Великосветский раскол” (1876); очерки и рассказы 1877 года “Карикатурный идеал. Утопия из церковно-бытовой жизни”, “Владычный суд”, “Бесстыдник”, “Некрещённый поп”, “Явление духа”. Затем в 1878 году появились очерки “Русское тайнобрачие” и “Мелочи архиерейской жизни”, рассказ “Ракушанский меламед”; в 1879 году – “Одноруд”, “Шерамур”, “Рождественский вечер у ипохондрика” (впоследствии: “Чертогон”).

Писатель устраивал настоящий чертогон бесам в человеческом обличье. Одно за другим следовали хлёсткие, жгучие, занозистые беллетристические и публицистические произведения: “Безбожные школы в России”, “Об обращениях и совращениях”, “Случаи из русской демономании”, “Епархиальный суд”, “Дворянский бунт в Добрынском приходе”, “Святительские тени”, “Иродова работа”, “Бродяги духовного чина”, “Райский змей”, “Церковные интриганы”, “Официальное буффонство”, “Синодальные персоны”, “Поповская чехарда и приходская прихоть”, “Заказная литература”, “Благонамеренная бестактность”, “Вечерний звон и другие средства к искоренению разгула и бесстыдства”, “Жидовская кувырколегия (Повесть об одном кромчанине и о трёх жидовинах)”.

Одновременно из-под пера Лескова выходили истинные шедевры художественной прозы: “На краю света” (1879), “Кадетский монастырь” (1880), “Несмертельный Голован” (1880), “Белый орёл” (1880), “Дух госпожи Жанлис” (1881), “Христос в гостях у мужаика” (1881), “Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе” (1881), “Путешествие с нигилистом” (1882), “Привидение в Инженерном замке” (1882).

Кто знает, сколько ещё превосходных произведений мог бы создать писатель-христианин, если бы рутинная казённая служба не отнимала у него столько сил, времени и не отвлекала бы от литературного творчества!.. И если бы не события в связи с государственной службой Лескова, имена всех этих “сиятельных”, “высокопоставленных” и “высокопосаженных” особ: сановников, руководителей министерств, департаментов и комитетов — никто бы не вспомнил, они сгнули и стёрлись бы навсегда: “нечестивые <...> как прах, возметаемый ветром” (Пс. 1, 4), — но теперь известны недоброй памятью.

Художественно-публицистическое творчество в период государственной службы неуёмного писателя не могло не навлечь на него злобу, гнев, враждебность и мстительность власть имущих. Чего стоят одни только названия лесковских сочинений (автор любил, чтобы заглавие было “едко и метко”, чтобы “кличка была по шерсти”), говорящие сами за себя!

Разрыв государственно-служебных отношений назревал около десяти лет, но был неизбежен. Наконец, он произошёл самым драматическим и нетривиальным образом — всё, что связано с Лесковым, с его личностью и творчеством, не могло быть не отмечено самобытностью и оригинальностью.

Властям, указавшим на несовместимость литературной деятельности Лескова с его государственной службой, не удалось обуздать великого русского художника слова. Тогда в ход был пущен неприкрытый административный произвол. Министр предложил несговорчивому служащему подать прошение об отставке. В переводе на современный бюрократический язык — написать заявление об увольнении по собственному желанию. Только этот вид отставки давал право на получение пенсии. Писатель категорически отказался подать такое прошение.

Под непосредственным впечатлением тяжёлого разговора с министром Лесков писал своему киевскому другу Ф. А. Терновскому: “Дело рассказывать долго нечего: оно произошло 9-го февраля — с глазу на глаз у Деянова, который всё просил “не сердиться”, что “он сам ничего”, что “все давления со вне”. Сателлиты этого лакея говорили по городу <...> будто “давление” идёт даже от самого государя, но это, конечно, круглая ложь. <...> Прошение не подал и на просьбу “упомнить” о прошении — не согласился. <...> Не огорчён я нисколько, но рассержен был очень и говорил прямо, и сказал много горькой правды. На вопрос: “Зачем вам такое увольнение”, — я ответил: “Для некролога” — и ушёл. О “Комаре” (статья Лескова “Протопоп Комарь и две Комарихи”. — **А. Н.-С.**) не было и помина, а приводились “Мелочи архиерейской жизни”, “Дневник Исмаилова (лесковские очерки “Синодальные персоны”, “Картины прошлого”. — **А. Н.-С.**) и “Чехарда” (“Поповская чехарда и приходская прихоть”. — **А. Н.-С.**) <...> Сочувствие добрых и умных людей меня утешало. Вообще таковые находят, что я “защитил достоинство, не согласясь упомянуть о прошении”. Не знаю, как вы об этом посудите. Я просто поступил по неодолимому чувству гадливости, которая мутила мою душу во время его подлого и пошлого разговора, — и теперь не сожалею *ни*мало. Мне было бы нестерпимо, если бы я поступил иначе” (2, 187–189).

Писатель скорректировал принцип, высказанный Г. Р. Державиным в XVIII веке: “И истину царям с улыбкой говорить...” Лесков уверился на примерах своего многотрудного жизненного и писательского пути: “истины” пора говорить без улыбок, и это можно, а ещё более — это *должно*” (XI, 576). За год до смерти — 22 февраля 1894 года — он писал С. Н. Терпигореву: “При каком-нибудь уважении к себе неглупый человек” не станет “хихикать” с властителем, а “поставит его просто на пристойное от себя расстояние” (XI, 576). В истории увольнения Лесков показал образец исполнения этого принципа. Так, он непреклонно отверг всякие компромиссы и “без улыбки” высказал в лицо министру “много горькой правды”, поставив его “на пристойное от себя расстояние”.

Говоря о Лескове пушкинскими стихами, можно сказать: “*Не в первый раз он тут явил // Души прямое благородство*”.

Туго натянутая струна лопнула. Быстро завертели колёсики обычно неповоротливой бюрократической машины, на этот раз мгновенно приведённой в движение рулевыми — “чёртовыми куклами”: “9 февраля подписывается “определение” министра народного просвещения за № 1878, коим совершается “отчисление” Лескова от министерства, а 21 февраля приказом минист-

ра за № 2 оно закрепляется. Всё просто: и без прошения, и без объяснения причин, и без рубля пенсии за двадцать лет беспорочной службы отечеству” (2, 190).

Этот возмутительный факт не остался без внимания прессы: “известие это “произвело некоторую сенсацию” <...>. “Что же касается увольнения г. Лескова, то оно просто является каким-то вопросом и во многих возбуждает недоумение” (2, 191), – писали газеты. Поскольку дело получило широкий общественный резонанс, Лесков решил печатно разъяснить недоумения открытым письмом¹⁰: “Малозначительное событие – оставление мною службы в Учёном комитете Министерства народного просвещения – неожиданно для меня сделалось предметом разнообразных толков, которые частью проникли в печать и, как у вас сказано, “возбуждают недоумение”, которое я имею побуждение разъяснить.

Я отчислен от министерства “без прошения” по причинам, лежащим совершенно вне моей служебной деятельности, которая в течение десяти лет признавалась полезною и никогда не привлекала мне никакого упрёка и ни одного замечания при трёх министрах: графе Д. А. Толстом, А. А. Сабурове и бароне Николаи. – Для оставления службы мне *не вменено никакой вины*, а указана только “несовместимость” моих литературных занятий с службою. Ничего более.

В том, что я отчислен не по прошению, а “без прошения”, тоже нет ничего меня порочащего или обидного. Мне была предоставлена полная возможность отчислиться по той форме, которая обыкновенно признается удобнейшею, но я сам предпочёл ту, которая, на мой взгляд, более верна истинному ходу дела.

Этим, я надеюсь, могут быть разъяснены все “недоумения” моих ближних и дальних друзей и недругов” (2, 191-192).

Драматический разрыв государственно-служебных отношений – увольнение без прошения и без пенсии – Лесков воспринял как освобождение от утомительно тяжкой, унижительной, нетворческой, рутинной работы, с которой было покончено навсегда. Целиком и полностью писатель посвящает себя литературе, своему высокому призванию – художественной проповеди.

Спустя десять лет после увольнения в позднем рассказе “Административная грация (Zahme Dressur* в жандармской аранжировке)” (1893) Лесков описал “наши смрадные дни”, когда “никуда не уйти от гримас и болячек родной политики” (IX, 388). Администраторы “грациозно” избавляются от неугодных служащих под теми или иными псевдоблаговидными предложениями.

Подобные отношения на чиновничьей службе были всегда и сохранились в их пакостной неизменности до настоящего времени. О чём и свидетельствует автор этих строк, также недавно отставленный с государственной службы в органе региональной власти – так называемом “Орловском областном Совете народных депутатов” – уже в XXI веке по всем приёмам “административной грации” под видом “сокращения штата”. Как и следовало ожидать, штат вскоре вновь был раздут до размеров бóльших, чем до сокращения. Набрали ложно-образованных, но “своих” – угодных и услужливых.

Фарисеям и “законникам разноглагольного закона” Господь Иисус Христос адресовал гневное обличение: “Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобноносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них” (Лк. 11, 46).

“Не можете служить Богу и мамоне” (Лк. 16, 13), – говорит Христос. Как легко и соблазнительно зло может рядиться в одежду добра. Распознавать такую маскировку учил Святой старец Силуан Афонский: “Всякое зло <...> паразитарно живёт на теле добра, ему необходимо найти себе оправдание, предстать облечённым в одежду добра, и нередко высшего добра”, потому что “зло всегда действует обманом, прикрываясь добром”. Но, как пояснял старец, различение добра и зла необходимо и возможно, поскольку “добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область, чуждая духу Христову”¹¹.

“Была бы душа в сборе да работали бы руки”, – писал Лесков своему другу, киевскому профессору и историку Церкви Ф. А. Терновскому. Он был

* Мягкая, ручная дрессировка (нем.).

писателю “мил и близок по симпатиям и даже по несчастию”: “Оба мы были одинаково и одновременно оклеветаны и вышвырнуты из службы как люди “несомненно вредного направления”. История эта подлая и возмутительная по своему гнусному и глупому составу, была тяжела для меня (и остаётся такою), а Филиппа Алексеевича она стёрла с земли” (2, 273–274). Терновский был лишён кафедры в Киевской духовной академии, ему также угрожало увольнение из Киевского университета. Но смерть профессора в 1884 году опередила это “подлое и возмутительное” событие.

Известие о смерти Терновского, судьба которого была во многом схожа с лесковской: “Мы с ним одновременно понесли одинаковые гонения несправедливых людей, и я это перенёс, или, кажется, будто перенёс, а он, – с его удивительно философским отношением к жизни, – опочил... Пожалуй, не выдержал...” (2, 274), – подтвердило мысль писателя об отношении властей к честным людям в России. По этому поводу Лесков не раз цитировал строки пушкинского стихотворения: “Здесь человека берегут, // как на турецкой перестрелке!” (2, 254)

Писатель продолжал переносить несправедливые нападки фарисеев, но до конца дней своих готов был служить Родине, насколько хватало сил.

Так, в “картинках с натуры” из жизни церковного “чиноначалия” “Мелочи архиерейской жизни” ставились задачи отнюдь не “мелкие”: вымести “сор из храма”, призвать священнослужителей всецело соответствовать их высокому духовно-нравственному предназначению. Но для самого автора “Мелочи...” обернулись крупными проблемами и в его жизни сыграли свою фатальную роль.

Писатель и его книга подверглись настоящим гонениям. “Мелочи архиерейской жизни” явились одной из главных причин увольнения Лескова из Учёного комитета Министерства народного просвещения в 1883 году. Год спустя книга была изъята из библиотек “по высочайшему повелению”. В 1889 году, когда писатель узнал об аресте напечатанного без предварительной цензуры 6-го тома Собрания его сочинений, куда входили “Мелочи архиерейской жизни”¹², он испытал первый приступ болезни сердца, оказавшейся впоследствии смертельной. По свидетельству сына Лескова, “экземпляры оторванной части шестого тома были отвезены в Главное управление по делам печати и там были сожжены” (2, 381).

Как мог вынести всё это несправедливо гонимый писатель непостыдной совести? Неизменное утешение черпают изгнанники за имя Христово в антиномиях Нагорной проповеди: “Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”; “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас” (Мф. 5 – 6; 10–12).

Евангельское обетование “блаженств”, уготованных Господом всем, кто словом и делом возвещает истину, духовно укрепляло Лескова. А “пострадать за правду – это в порядке вещей” (X, 470), – сознавал писатель. “Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны”, – учит святой Апостол Пётр. И если кто-то “пострадал как Христианин, то не стыдись, а прославляй Бога за такую участь” (1 Пет. 4; 14, 16).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 тт. – М.: ГИХЛ, 1956–1958. Т. 11. С. 477. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы – арабской.

² Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 тт. – М.: Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 155. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.

³ Салтыков-Щедрин М. Е. Тени // М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 тт. – М.: Художественная литература, 1965. Т. 4. С. 358.

⁴ См. также: Чуднова Л. Г. Н. С. Лесков в Министерстве народного просвещения // Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: В 30 тт. – М.: ТЕРРА, 1996 – издание продолжается (весьма показательно для современной государственной издатель-

- ской политики отношение к сочинениям Лескова: к 2018 году, за 22 года с начала издания, выпущено в свет лишь 13 из 30 запланированных томов. — **А. Н.-С.**). Т. 13. С. 534–576.
- ⁵ Салтыков-Щедрин М. Е. Тени // Указ. изд. С. 364.
- ⁶ Там же. С. 345, 350, 379.
- ⁷ Там же. С. 376.
- ⁸ Лесков Н. С. Под Рождество обидели // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 3-х тт. — М.: Художественная литература, 1988. Т. 3. С. 205.
- ⁹ J. von Guenter. Leskov. Russlands Christlichster Dichter. — Jahrgang 1, 1926. — S. 87.
- ¹⁰ Новости и Биржевая газета. 1883. 10 марта. № 65.
- ¹¹ Старец Силуан. Жизнь и поучения. — М.; Новоказачье; Минск, 1991. С. 107–108.
- ¹² Запрещённый цензурой 6-й том Собрания сочинений Лескова составили “Захудалый род”, “Мелочи архиерейской жизни”, “Архиерейские объезды”, “Епархиальный суд”, “Русское тайнобрачие”, “Борьба за преобладание”, “Райский змей”, “Синодальные философы”, “Бродяги духовного чина”, “Сеничкин яд”, “Приключение у Спаса в Наливках” (СПб, 1889). На этой книге из личной библиотеки писателя имеется особый лесковский шпемпель: “редкий экземпляр”.

“НАШ СОВРЕМЕННОК” ДЛЯ МЕНЯ – МОЁ ВСЁ

Добрый день, уважаемая редакция! Журнал «Наш современник» – единственный из «толстых» литературно-художественных журналов, кроме регионального «Севера», выписываемых Медвежьегорской центральной городской библиотекой имени Ирины Федосовой. В 4-м номере вы опубликовали маленькую повесть А. Лиханова «Незабытые игрушки». «Какими они были, если были вообще? И можно ли забыть свои игрушки?». Продолжая А. Лиханова, наша библиотека начала сбор воспоминаний о довоенном и военном детстве и об игрушках наших читателей. Наш проект так и называется #Незабытые игрушки #75летПобеды. Предложили принять участие и коллегам из других районов Карелии. Спасибо Альберту Анатольевичу за творчество, за цикл «Русские мальчики», за память о прошлых нелёгких годах и человеческих судьбах!

С уважением
Елена Романова
зав. сектором краеведения
Медвежьегорской центральной городской библиотеки
имени Ирины Федосовой,
г. Медвежьегорск,
Республика Карелия.

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич! Посылаю вам открытое письмо президенту.

Его печатать никто не будет. И я не о том. Просто, зная отношение журнала «Наш современник» к Сибири и Иркутску, хочу, чтобы вы знали, как нам живётся и о чём думается. А думаем мы о России, ведь русская земля не только вокруг Кремля.

С уважением
Т. Г. Бусаргина

Уважаемый Владимир Владимирович!

В 2009 году, каюсь, я писала открытое письмо Д. А. Медведеву в защиту русской культуры. Понимаю: глупо писать человеку, который считал, что России «всего-то двадцать лет», что Большой театр «был брендом России, является брендом России и останется брендом России». Письмо моё осталось без внимания (если не считать ответа тогдашнего министра культуры и публикации в московском журнале «Достоинство»). Словом, прав оказался мой со-служивец, который, узнав о намерении писать письмо Медведеву, помню, сказал: «Зачем? Это равносильно тому, как если бы жители оккупированной Смоленщины писали жалобы в комендатуру».

Уповать на власть — наша национальная традиция, и вот теперь, так же ни на что не надеясь, пишу Вам, Владимир Владимирович! Но пусть и это моё письмо, как у нас в Сибири говорят, на пустые леса кукушкин звон, я ещё попытаюсь вступить за Россию — больно смотреть на то, что происходит.

Владимир Владимирович! Неужели Вас, как, к сожалению, многих в Вашем правительстве, прельщает перспектива обнаружить на одной седьмой (пока ещё) части земли некое новое географическое пространство “под брендом Россия”? Но если Россией по-прежнему будут править люди, которые живут, “не чуя под собой страны”, то мы, как предрекал Валентин Распутин, “проснёмся в своей постели, да не в своей стране”. А мне кажется, что мы давно живём не в своей стране, да только этого не поняли, так как ещё не проснулись. Вот уже и сбербанк, где хранится моя тощая пенсия, как оказалось, России не принадлежит. Куда дальше?

Все ответы в перспективах развития нашей КУЛЬТУРЫ. “Разговор о культуре — разговор об ожидающей нас судьбе”, — писал когда-то Николай Бердяев. Культура — единственный способ ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ человека, превращения его из биологической особи в существо духовное, социальное. КУЛЬТУРА ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ государства, а потому должна быть под защитой его Конституции.

Казалось бы, как просто. Не говорим же мы о том, что для всего живого нужен воздух. Ныне действующая Конституция принималась в лихие, беспмятные к прошлому России ельцинские времена. Тогда, мягко скажем, представление о её будущем было туманным. Поправки к Конституции должны быть сделаны с ясным пониманием смысла и значения культуры в судьбе всякого государства, пониманием того, что от государственной политики в области культуры зависит духовное самочувствие народа, пониманием того, что КУЛЬТУРА определяет цивилизационный код, особенность, отличие одного народа, одного государства от другого, чем мы и интересны друг другу.

КУЛЬТУРА — внегенетическая память народа о себе. Она не наследуется биологически. Она исторически сохраняется и возвращается, то есть культивируется, возделывается живущим поколением людей и передаётся следующему.

Поправки к Конституции о культуре помогут закрыть дорогу безнаказанному разгулу на нашем ТВ антикультуры и аморализма, а главное — позволят принять многострадальный ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ, О ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА, О ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ.

Закон о культуре ждут творческие работники — неплохо было бы определить принципы соработничества государства и деятелей культуры, а также меру их ответственности за духовное здоровье и благополучие своей страны.

Я работник образования. Оно должно давать не только знания, но СВЕТ душе, отсюда и произошло слово ПРОСВЕЩЕНИЕ. Откуда же СВЕТ, если гуманитарные предметы и в школе и ВУЗах сведены до минимума, а компьютер из подспоря, предназначенного освободить мозг человека от рутинной работы и оставить ему больше времени для творчества, превратился в фетиш, род компьютерной тюрьмы. Со школой беда — даже и писать не хочется. Помните, что после полёта Ю. Гагарина президент США признался: “Мы, американцы, проиграли русским КОСМОС за школьной партией”. А мы, русские, за школьной партией проигрываем не только космос, но саму РОССИЮ!

Спасибо нашим министрам образования — они честно отработали свой забугорный паёк! А не могли бы они перенять у своих кумиров хоть что-то полезное, например, запретить (ограничить) детям начальных классов пользоваться смартфонами или ввести в школьный обиход, во избежание повальных сколиозов, парты-конторки?

Когда-то Ромен Роллан высказал такую мысль: если бы Россия не дала миру ничего, кроме литературы, то и тогда она осталась бы в истории как великая из великих. Со времён митрополита Илариона и протопопы Аввакума СЛОВО формировало русское духовно-нравственное, историческое сознание, гордость за деяния предков, идеалы, которые всегда были выше сытости. И что немаловажно — воспитывало вкус и любовь к волшебному русскому языку, о котором Осип Манделштам писал: “Каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль. Отлучение от языка, столь высокоорганизованного, РАВНОСИЛЬНО ДЛЯ НАС ОТЛУЧЕНИЮ ОТ ИСТОРИИ”.

Владимир Владимирович!

Принижение литературного дела, приравнивание Союза писателей к Обществу собирателей спичечных этикеток привело к разбуханию СП – не только по трудам: члены одного союза зачастую даже в обличье друг друга не знают. И читатель не знает, как из культуроподобного хлама этих “богатеньких буратино” отыскать хоть что-то похожее на литературу. А всему виной непризнание писательского труда за труд профессиональный. Писателей, членов СП СССР (куда совсем не просто было попасть) лишили всего, что положено работающему человеку в России – это не просто позор и просчёты законодателей. Это системный ход, подрывающий самый корень вековых духовных устоев России. Как выживать писателю, особенно в глубинке? Даже в жирной Москве, богатой частными (других-то нет!) издательствами, прозабуют поэты и писатели. Кто их, не медийных и не пронырливых, а талантливых и настоящих, будет печатать? Они “нерентабельны”! Частных издателей не литература заботит, а прибыль, они плодят графоманов и потребителей “чтива”, развлекаловки и отвлекаловки. Правду сказать, иногда из милости, без всяких намёков на гонимый, на газетной бумажке и кое-как печатают талантливых и рентабельных иркутян (Глеба Пакулова, Валентину Сидоренко и др., к примеру, в издательстве “Вече”). И на том спасибо.

ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СИБИРИ С МЕТРОПОЛИЕЙ НЕТ

Москва, стараниями многих, из столяного града превратилась в город для “москвичей”, и отнюдь не коренных. А коренные из творческой интеллигенции побиваются на памятник великому русскому писателю Василию Белову. Не опасно ли доверить судьбу Москвы и России воровской пронырливой наброды со всего Союза? Где былое притяжение матушки Москвы? “Москва, как много в этом звуке...”? Всё это не так безобидно, как кажется.

Мои предки живут в Сибири более двухсот лет, они осваивали илимскую пашню, потом строили плотины, которые её затопили, а сейчас, говорят, вся наша энергетика уже давно не наша и даже не российская. Почему нещадно вырубают и составами гонят куда-то наш лес, опустынивая всё вокруг? Нам, туземцам, никто ничего не объясняет. И мы не понимаем, почему при обилии природных ресурсов мы так бедны, что не можем позволить себе иметь хоть какое-нибудь издательство при Министерстве культуры. У какого правительства, какой страны спросить: почему при просторном Доме Союза писателей Иркутска, чудом и при помощи Валентина Распутина отвоёванного у нуворисей, нельзя содержать книжную лавку. Нельзя – и всё тут! Вспомнишь времена, когда книги, изданные в Иркутске, не шли под нож, как зачастую сейчас, а доходили до Москвы, Крыма, Владивостока. Об этом заботился библиоколлектор, посредник между издателем и книжным рынком. По мнению господ коммерсантов, в том числе и от политики, умеющих считать всё лишь в купюрах, это нерентабельно. Советую подсчитать: во что обойдётся потеря культурных связей на просторах всех одиннадцати российских часовых поясов? Убеждена – будет повод прослезиться.

УТОЧНИТЬ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ликвидировать несурязицу в Конституции, ЧЁТКО ПРОПИСАТЬ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРАЁВ С МЕТРОПОЛИЕЙ.

Нашим губернаторам не позавидуешь. Как защищать интересы жителей края, поддерживать их социальную идентичность с соседними сибирскими регионами опережающего развития, как найти рычаги эффективного управления краем при явном ограничении его прав и возможностей?

Владимир Владимирович!

Подобно тому, как жизнь на Земле бережёт тонюсенький слой озона, так основы цивилизации, духовный стержень государства оберегает тонюсенький озоновый слой высокой культуры, связанной с народной почвой, а вовсе не горы попсовой антикультуры, паразитирующей на инстинктах толпы. Музыкальная, литературная, зрелищная и прочая поппа, кривляясь на корпоративах олигархов, зарабатывает на коттеджи для своих породистых мопсов.

“ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ – БЕЗДАРНОСТИ ПРОБЬЮТСЯ САМИ”

Идеологию и политику, в том числе и культурную, в нашей стране, к сожалению, определяют “технократы”, и не той вовсе среды, из которой выходят Капицы и Раушенбахи. Полузнайки, зацикленные на новациях и инновациях, посчитали Иркутск, слывший когда-то культурной столицей Сибири, бесперспективным городом. Не стал наш край, как соседние регионы, не только территорией опережающего развития, но и вообще хоть какого-то развития. Куда-то делись одиннадцать наших заводов, принадлежность двух оставшихся – авиазавода и шелиховского алюминиевого завода – тайна за семью печатями. Ни на что нет средств – Иркутский театр юного зрителя (ТЮЗ) тому уже тридцать лет, как отдан под шопинг – торгуют неликвидами со всего белого света. В город не едут настоящие оперные певцы – о строительстве концертного зала наш Мацуев уже много лет понапрасну печётся. И наши писатели, которые забыли, что такое оплата труда (как известно, Распутин гонорары получал только при советской власти, а потом лишь какие-то премии от каких-то фондов), достойны лучшей участи.

Владимир Владимирович!

Я хочу верить, что Вы понимаете Россию, страну, которой Вам выпала участь управлять, понимаете то, что в культурном коде нашего народа (не приведи Господи его расшатывать!) заложен приоритет государственных интересов над личными. Нам ли бояться тягот, хоть социальных, хоть природных? Сколько их было на моём веку? Переживём мы, с Божьей помощью, и этот коронавирус! Как будем жить дальше – вот вопрос!

**НО ЖИТЬ ПО-СТАРОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
СИБИРЯКИ УСТАЛИ ХРИСТАРАДНИЧАТЬ!
НЕ ПОРА БЫ НАПРАВИТЬ ХОТЬ МАЛЕНЬКУЮ СТРУЙКУ
ИЗ ТРУБ СИБИРСКИХ ГАЗОПРОВОДОВ НА КУЛЬТУРУ?**

ПОКА НЕ ВОСТРУБИЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАС ТРУБЫ АПОКАЛИПСИСА!

Бусаргина Тамара Георгиевна,
кандидат искусствоведения,
почётный работник
высшего специального образования

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Шлю я Вам свои пожелания здоровья из Саратова.

Три недели болела гриппом, лекарства сейчас не помогают, поэтому лежала в постели, обложившись Вашими книгами, – они лечили меня, читала их с утра до вечера. Много раз читанные-перечитанные, многие знаю почти наизусть, и всё-таки ничего лучшего не нахожу для себя. Ни в поэзии, ни в прозе.

За эти три недели перечитала Ваши книги: “Поэзия. Судьба. Россия”, “Любовь, исполненная зла”, “Со слезами на глазах”, и даже нашлась у моих друзей редкая книга, изданная у нас в Саратове в 1990 году, – “Не сотвори себе кумира”. Очень радуется то, что наш город внёс свою лепту в дело популяризации Вашего творчества.

В прошлом году исполнилось 10 лет, как я возглавляю созданный по моей инициативе Саратовский Рубцовский центр. Несколько раз в году мы – активисты – выступаем перед школьниками, студентами, ветеранами и пр. аудиторией с литературно-музыкальными композициями о Рубцове и Передреве, который является нашим земляком и творчество которого мы наравне с Рубцовым широко пропагандируем и даже много лет пытаемся увековечить его имя, но пока безрезультатно.

Конечно же, стихи Рубцова и Передреева я тоже неоднократно перечитывала, как и Ваши. Эти поэты стали классиками, их изучают в школе – они вошли в учебники русской литературы (и это здорово, замечательно, достойно!). Но и Ваши стихи берегут русскую душу. Они мне настолько близки,

словно я сама пережила всё это и написала их когда-то давно, в другой жизни...

Ваша проза тоже очень близка мне. Читаю о Ваших путешествиях в горах, тайге и других местах, и не просто представляю себе, а вижу, словно смотрю кино, а если точнее, то нахожусь непосредственно с Вами рядом, вижу Ваши следы на мокром песке, луну, о которой Вы пишете, и даже рыбу, которую Вы выловили и несёте к костру. Потрясающе написали Вы об Эрнсте Портнягине, я пережила вместе с Вами будто бы свою личную потерю его гибель.

Конечно, Вам за Вашу жизнь многие люди писали многочисленные письма. Среди них много именитых и знаменитых, в отличие от меня, простого человека, и писали слаженно и грамотно. Но я не стремлюсь быть оригинальной и превзойти других своей литературной речью, — я просто высказала Вам всё, что на душе.

Сейчас с восторгом и упоением читаю в “Нашем современнике” главы из Вашей новой книги “К предательству таинственная страсть”. И как всегда, узнаю много нового и интересного. С нетерпением жду выхода этой книги, чтобы приобрести её.

За 10 лет существования Саратовского Рубцовского центра мы неоднократно проводили, как я уже сказала, литературно-музыкальные вечера, посвящённые Рубцову и Передреву, а также и близким по духу к ним литераторам: Вам, Вадиму Кожинину, Юрию Кузнецову, Александру Проханову, Николаю Зиновьеву, Николаю Мельникову и др. Но мы проживаем в провинции и многого не знаем. У Вас огромный жизненный опыт, и хотелось бы обратиться к Вам с вопросом: не могли бы Вы подсказать нам, на кого из современных русских литераторов надо обратить внимание для просвещения наших земляков? Спасибо Вам за то, что Вы есть. Живите долго и продолжайте радовать нас своим творчеством.

С большим уважением к Вам
Любовь Чиркова

P. S.: Станислав Юрьевич, сейчас я пишу статью о Геннадии Ступине, нашем земляке. В своей книге о Юрии Кузнецове Вы упоминаете о посвящении Ступину, но, к сожалению, полностью я нигде его не нашла. Не могли бы Вы его выслать, а также поделиться краткими воспоминаниями о Ступине. Заранее благодарна Вам за помощь.

* * *

Добрый день, многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал писателей России “Наш современник” для меня — моё всё. Я чту каждую его букву, берегу каждую страницу, читаю и перечитываю. Числа с 20-го каждого месяца прихожу на почту, звоню на главпочту — не пришёл ли новый номер. За журналом хожу сама, чтобы не повредили обложку, не помяли странички. С трепетом вглядываюсь в имена авторов.

К сожалению, журнал стал приходиться всё позже... Поэтому в последний вечер января я взяла № 12 за 2017 год, чтобы перечитать прекрасное старое, раз уж нет пока нового...

Стихи редкого Поэта милостью Божией Анатолия Передреева я видела у нас в библиотеке в худеньком тоненьком сборничке (листать журнал я обычно начинаю с конца). Помню, как обрадовалась, когда случайно узнала, что один из членов нашего ЛТО любит поэзию Передреева и учится у него.

Альберт Лиханов предвьяет своей статьёй повествования трёх победителей конкурса коротких рассказов. В статье “Под звездой Паустовского” он пишет о Сергее Бодрове из Вологды, члене Союза писателей, и его рассказе “Силачиха”, занявшем первое место. Рассказ мне близок и понятен. Я тоже учитель-пенсиянер, одинока. Из моего родного районного посёлка Вохма Костромской области пишут, что волки таскают собак даже днём. А подпись под рассказом: Сергей Петрович Багров. Я не поняла: кто же является автором рассказа?

Может, в первых номерах “Нашего современника” за 2018 год есть разъяснение по этому поводу, но у меня эти три номера взяли и не вернули. А спросить не у кого: журнал выписываю я одна.

Несколько лет тому назад я выписывала вологодский журнал “Огородные подсказки”, редактором которого был Сергей Петрович Багров. Он был очень внимателен к читателю-автору, публиковал мои немудрёные заметочки и сочинения-предложения моих учеников, даже в конвертике присылал семена редких на Севере огородных культур. Его поздравительную Новогоднюю открытку я храню до сих пор.

Эрудированностью, внимательностью к читателю, тактичностью он очень напоминал Вас, уважаемый Станислав Юрьевич. Я надеюсь, что именно он является победителем конкурса коротких рассказов.

Мурман Джгубурия своей статьёй “Венец мужества, или Поэзия+Судьба = Родина” вернул меня к самой значимой сейчас для меня Вашей книге “Поэзия. Судьба. Россия”.

И снова, к своей радости, отмечаю в статье грузинского автора: “...вижу, как любит он творения своих друзей-соратников, – его произведение украшает уйма великолепных стихотворений Передреева, Рубцова, Кузнецова...”

И чуть выше – Ст. Куняев: “Я сам, видя передреевскую беспечность и безалаберность, счёл своим радостным долгом собрать все его стихи, составить из них книгу, перепечатать и отнести её в издательство “Советский писатель”...”

Замечательно, что в статье грузинского поэта отмечаются Ваши чисто человеческие качества, уважаемый Станислав Юрьевич. Не раз читала я о Вашем участии в судьбах авторов больших и малых: “Вы накрыли стол, угостили и к тому же помогли “двумя синенькими” на проживание”...

Это же читала я и слышала и об А. И. Казинцеве – он тоже очень внимателен и старается всем помочь. И вся редакция равнодушна.

Спасибо грузинскому поэту Мурману Джгубурии, родившемуся в том же 1932 году, что и С. Ю. Куняев, и имеющему непосредственное отношение к одному из моих любимых русских поэтов А. С. Грибоедову, что он ещё раз рассказал многонациональному читателю России о русском поэте высокого полёта, главном редакторе журнала “Наш современник”, выдающемся публицисте, литературном критике, историке, мыслителе и, с гордостью это повторяю, чуточку моём земляке, который для меня является высоким идеалом человека порядочного.

Всего Вам доброго, здоровья и новых творческих успехов всей редакции!
Извините за беспокойство.

С уважением и признательностью
Бабенко Галина Леонидовна
Котельнич, Кировская обл.

* * *

Доброго дня! С огромным восторгом читаю книгу Станислава Юрьевича “Умом Россию не понять”, прочёл “Терновый венец”. Написано искренне, самокритично, тонко, талантливо. Помню Вас на “Русских встречах” в Перми. Наверное, мог бы и не писать свой отзыв, но хотелось протянуть руку через пространство и время. Прочитую только своего покойного товарища: “Мы питаемся с Вами из одного котла”. Спасибо за книги и жизненные ориентиры. Мне 38, но ощущаю Вас своим старшим товарищем.

А. Дерягин
г. Пермь

* * *

Неожиданное письмо я получил от одного из читателей, внимательно прочитавшего главу из моей книги “К предательству таинственная страсть” о наших отношениях с поэтом Межировым. Узнав из этой главы, что известный

поэт является двоюродным братом фанатичной террористки Р. Землячки, автор письма впал в истерику:

“Здравствуйте!

Являюсь подписчиком вашего журнала не первый год.

Хорошо, что вы напоминаете нам, каких авторов стоит читать.

Вот узнал об Александре Межирове. Обязательно буду искать его книги. А *тряпкина* только с маленькой буквы писать. Какие Герои нашей родины! Розалия Землячка! Бела Кун! Срочно искать о них литературу! А белые офицеры, храмы с жирными по'па'ми – это ненадолго. А кто как умер, не вам судить. Балашова порубил сынок топориком, – знать, заслужил. Всё во власти промысла Божьего. Не хвалитесь.

Пишите больше, читаю ваши статьи с карандашом в руках!

“Виктор” “fantikfuntikov”

Читаешь такое злобное письмо от неизвестного “фантикфунтикова” и вспоминаешь слова Шолохова, который в 1952 году на вопрос своего подростка-сына: “Когда закончилась гражданская война?” – ответил: “А она ещё не закончилась”. И Шолохов был прав. Она не закончилась и сегодня, о чём свидетельствует трусливое письмо безымянного автора.

* * *

Здравствуйте Станислав Юрьевич!

Сегодня, третьего апреля, почтальон принёс мне второй номер журнала “Наш современник”. Я был приятно удивлён и очень благодарен. Пролистав неоднократно постранично журнал с внимательным просмотром опубликованного, пришёл к выводу, что журнал стал повесомей своими февральскими публикациями.

Каждый раз обращаю внимание на повести о Вадиме Кожинове Сергея Станиславовича. Написано талантливо! Читаешь и как будто сам присутствуешь при этом. Молодец! Но одно дело описывать, а другое – излагать так, чтобы, прочитывая, ощущал, как будто о самом себе читаешь. Написано с душой и чувствительно. При издании книги о Кожинове написанное будет восприниматься глубже, поскольку будет объединено в единое целое. Писать о человеке, которого знаешь, – одно, но писать о человеке-писателе, с которым общался, – совсем другое. Ведь эта книга явится концентрированным повестью-рассказом о человеке, который имел своё мнение о том, в чём сам жил, в чём проживало близкое и неблизкое его окружение. Сергею удаётся передавать то, что творилось в отечественном обществе до Кожинова и во время его творчества, умело сравнивая с протекающим нынешним временем, показывая, что происходило, что происходит, и намекая, что будет, возможно, повториться.

А. Шерник
Алма-Ата

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Посылаю Вам свои горестные зарифмованные философские мысли.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

*Вечер... Небо в хмурых тучах;
По делам я шёл в подвал;
И на грязной снежной куче
Стопку книг я увидел...
Бомж какой-то в ней копался
Заскорузлую рукой;
Рядом чей-то том валялся –
“Вознесенский”... Боже мой!..*

*Стал рассматривать я ближе:
“Блок”, “Некрасов”, “Михалков”...
В стороне ещё я вижу
Ключья вырванных листков...
 Кто-то вынес на помойку,
 Бросил в снег — и был таков...
 Видно, “перепланировку”
 Начал он не с тех углов...
То, что предки накопили
За советские года, —
Всё на свалку притащили,
Бросив в кучу без стыда...
 Там — оторвана обложка;
 Тут — потёки между строк,
 Как слезливая дорожка
 Мне, поэту, — как урок:
Где пристанищем последним
Лягут в грязь мои труды —
Рядом с Блоком, с Вознесенским...
Здесь же, с ними — ляжешь ты...*

* * *

*...Сколько помоек завалено книгами!..
В макулатуру сдают их бомжи...
Рифмою скованный, словно веригами,
Хочешь не хочешь, поэт, а пиши!
Басни, поэмы, баллады с сонетами;
Лиру свою для народа настрой,
Чтоб, очарованный струнами этими,
Нёс их читатель со свалки домой!
В ясный ли полдень, в погоду ль ненастную —
Всё он прочтёт, веселясь иль скорбя;
Эх, кабы жить в эту пору прекрасную,
Где добрым словом помянут тебя...*

Андрей Афанасьев
г. Калуга

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Мне 45 лет. Родился на Байкале в г. Слюдянка, станция, где омуля продают, где пахнет углём и где в выходные все иркутяне прут в горы с рюкзаками и допотопными горбовиками. Дальше были Красноярск, Новосибирск и Якутск. С 19 лет живу в Москве. Род моего отца с Урала. Наверно, вы рыбачили на Вишере. Деревня Сыпучая. Там почти все раньше Ильиных были, а теперь стоят пустые дома, заросшие малиной. Я часто сплавливаюсь по уральским рекам на резиновой лодке. Как-то у Тена я прочитал: “Чтобы понять художника эпохи Возрождения, нужно хотя бы недельку пожить одному в тайге”. Намотал я этих неделек. Окончил МГУ. Работаю детским психологом. Недавно читал лекцию в школе и познакомился с учеником по фамилии Давыдов. Ну, начал умничать, говорю фамилия у тебя знаменитая. А он мне: “Так я и есть его пра... внук”. Гляжу: тот же нос, те же глаза — всё, как на картине с трубкой, только без седой пряди. Бывает же такое чудо! Я с ним сфотался, вот, не знаю, как прирепить и вам отправить. Чума с этими компьютерами... Я в этих делах неандерталец. Ворох бумажек у меня со стихами.

*Забывтый дом в заброшенном селе
стучит разбитой форточкой о стену*

*и вспоминает, словно бы во сне,
хозяев ненарошную измену.
О, сколько этих изб на русской стороне
стоят, надвинув крыши на макушку,
где навсегда погас огонь в окне
и детский смех не радует старушку...*

Недавно был в Ваймаре. Почему русского человека трясёт не на Мойке, а в Ваймаре? В общем, хочу пообщаться с вами. Хотел когда-то с Астафьевым, да в Красноярск только в 2003-м приехал после детства; потом хотел с Беловым – и тут продинамил, а кроме вас, ещё с кем? Может, вы и скажете. Мне стихи ваши нравятся, они ладные. Наверно, Белов бы так сказал. Мои все рваные. И воли нет выпрямлять.

*Замкнулся мир под килем Магеллана,
Замкнулся человек в себе самом,
свободен ум от веры и обмана,
и сердце не тоскует ни о ком.*

Олег Ильиных
сайт “Дело русского человека”

ЭДУАРД АНАШКИН

ГОЛОС РАВНИНЫ ПРОДРОГШЕЙ

Авторская биография поэта Николая Ивановича Коновского известна куда как меньше, чем его стихи. Можно даже сказать, что личность этого поэта не просто в тени его творчества, но как бы растворена в нём. В наше время, когда мало-мальски попадающий в рифму автор начинает направо и налево давать интервью и всюду говорить о себе, такое явление, когда поэт ушёл в тень своих стихов – редкость. Известно о Коновском, как об авторе, вовсе немного.

Родился в 50-х годах на Белгородчине. Выпускник Московского литературного института им. А.М.Горького. Автор книг «Равнина», «Твердь», «Зрак», «Врата вечности». С юности живёт в Москве. В литературу вошёл в конце 80-х, первая книга вышла в самом начале лихих девяностых годов. Следующая книга была издана только в 2004 году, спустя почти полтора десятилетия. Неудивительно, что в эпоху, когда русская литература стала не просто не нужна, но и опасна властному режиму, поэт жил без возможности издать книгу. По сути, целое поколение поэтов по причине литературного безвременья выпало из внимания общественности... Впрочем, легко говорить и мыслить поколениями и эпохами. А как приглядишься к судьбе конкретного человека, так и понимаешь, что обобщение порой хромает, как и сравнение.

Николай Коновской даже без регулярного книгоиздания всё-таки не стал заложником безвременья. Он не просто выжил и духовно личностоял. Он остался поэтом. Иногда такие вынужденные, как их называют специалисты, «вымолчки» поэтам посылает Бог. Чтобы талант безо всякой суеты вызрел, как дорогое вино, которое при суетной шумихе частенько перекипает в уксус. Суета повседневности нередко лишает нас возможности прозреть отсвет вечности, делающий стихи – поэзией:

*Спустилась ночь, утихли сердца битвы,
В один конец уже в руках билет.
Но полоснул опасный, словно бритва,
И ослепил – любви забытой свет!
И захлебнулись ливнем водостоки,
Затрепетал сожжённый зноем сад!..
О, свет звезды, печальный и жестокий,
Сгоревшей миллионы лет назад!*

Не так ли поэты, которых, как никого другого, можно сравнить со звёздами, питают нас светом своего творчества, сами при этом оставаясь незримыми для материального зрения. Но есть зрение духовное, данное нам космосом, Богом. Оно и питает наши души светом поэзии Пушкина,

Лермонтова, Есенина, других поэтов-классиков. И этот свет неподвластной времени поэзии тем ярче, чем дальше от «источника излучения». Поэтическому почерку Николая Коновского присуща та молитвенная несуетность, которая резко выделяет его из массива современной «актуальной» и «злободневной» поэзии. Взгляд поэта Коновского, даже упавая на современность, видит то, что обычный человек увидеть часто не может в силу «замыленности» взгляда агрессивной сиюминутностью:

*Туманится, слезится взор:
В распахнутости безначальной –
Какое небо и простор, ?
Сияющий простор пасхальный!
И на ладони – вся Москва
В наитье голосов былинных!..
Что там за дивные слова
Таятся в медных исполинах!..
Пусть крестный жертвенной Руси,
Ход крестный в шествии безмолвном.
Восстань, звонарь, и огласи
Отчизну радостным трезвоном!
<...>*

Это стихотворение не просто о пасхальном звоне и звонаре. Это стихотворение о поэте и о нездешнем крылатом «звоне», что вызрел в молитвенном великопостном смирении, чтобы огласить радостью окрестность. Чтобы ради небесного простора дать себе шанс оторваться от земной тверди. Поэтический мир Николая Коновского не назовешь перенаселенным. Это мир человека, сознающего свою изначальную одинокость, но при этом ощущающего родство со всем миром. Мир русского поэта! Душа автора способна вместить столько смыслового простора, что надобность во внешних деталях материального мира словно бы отпадает сама собой... Только простор. Только тишина. Только Россия!

Для меня, как для читателя, удивительно, что автор этих строк, живущий в столичном московском мегаполисе, более похожем на муравейник, сумел сохранить своё поэтическое пространство чистым от суеты и «движухи». Читаешь его стихи, и поневоле закрадывается чувство, что такие несуетные пространственные строки могли быть написаны только вдали от городской толчеи. Где-нибудь на сибирских необъятных раздольях, где встретить человека – целое событие. Отраднo, когда такие встречи случаются и становятся знаковыми вехами для поэта. И как следствие – для читателя.

*Третьи сутки – лишь холод и снег,
Свищет ветер, надрываясь и плача...
Что за мир, что за люд, что за век,
Что за лютая стужа собачья!
Выдувая из дома тепло,
Кружит вьюга в медлительном танце.
Замело тебя, Русь, замело –
Как в известном поётся романсе.
<...>
Я лишь в снах твоих – чаемый гость,
А на большее – и не дерзаю.
Дай мне руку! – за тысячу вёрст
Как я страстно тебя осязаю!
Ах, родная, в такой снеговой –
На крылечко, да в легоньком платье!..
Над душой, над судьбою твоей
Я навеки смыкаю объятия!*

Это стихотворение на равных можно причислить к жанру любовной, но и патриотической лирики. Несмотря на личные моменты, в образе лирической

героини, к которой обращается автор, так или иначе проступают черты России. Думается, что для всякого настоящего русского поэта главной лирической героиней всегда была и остаётся – Россия. Именно к ней обращены самые пламенные строки русских поэтов. Впрочем, что удивительного? Родина, Россия – женского рода! Выбегающая навстречу поэту во время вьюги на крылечко, да в легоньком платьице женщина – чем не Россия, которая никогда не умела себя беречь и всегда спешила навстречу тому, кому поверила?..

Когда я стал читать книгу «Лирика» Николая Коновского, подаренную мне московской детской писательницей Светланой Вьюгиной, я долгое время находился под впечатлением этого моего небольшого открытия! Хотя, думается, такое же открытие сделали отдельно от меня все читатели книги. Книга предстала как объяснение в любви России, как желание предостеречь и оберечь её в нашу жестокую эпоху. Вот и в чертах девы-весны из другого стихотворения Николая Коновского также проступают черты России, с которой можно расстаться, но которую невозможно разлюбить. Ведь одно только воспоминание о ней дает силы жить, надеяться, верить и восхищаться миром.

*Сначала усладой забытых усад
Был тихий, как снящийся сон, листопад.
Срывались с деревьев, ложились листья
На землю, на давние чьи-то следы.
Затем, заметая дворы и дома,
Дохнула холодным дыханьем зима.
И призраком диким – до неба возрос
В пространстве мятущемся – снежный хаос.
А после морозов, ясна и красна,
Явилась завидная дева-весна:
Вода забурилась, запахла синель,
И мир огласила полночная трель
Певца, что умрёт от восторга вот-вот...
Потом долгожданное лето придёт,
Как счастье – от горя, как солнце – из тьмы.
...А после с тобою расстанемся мы.*

Дева-весна, побеждающая хаос и превращающая его в космос поэзии, космос созидания и весеннего возобновления жизни. Прекрасный поэтический образ! Николай Коновской не из тех авторов, которые много и часто поминают Господа в своих стихах. Вроде бы и не так много в творчестве Николая Ивановича стихотворений-обращений к Богу, к Небу. Но всё его творчество, стоит с ним соприкоснуться, пожить хотя бы несколько дней в мире поэзии, созданном Коновским, предстаёт именно молитвенным, несуетным. Мир, пронизанный осознанием изначальной трагичности. И в то же время наполненный надеждой и верой в то, что всё, что случается с человеком, происходит не зря и не случайно. Поэтический мир, созданный поэтом Коновским, далёк от роптания, обличения, но пронизан богатырским смирением, с каким, вероятно, шли в бой, будучи уверены в победе света над тьмой, наши русские богатыри. Шли на «голос равнины продрогшей», как на голос любимой женщины, зовущей на помощь.

МАРИЯ БУШУЕВА

МЁД ЖИЗНИ

Новая серия художественной прозы издательства “Любимые” открывается книгой Лидии Сычёвой, в которую вошли рассказы разные, от лирических (“Август в Абхазии”) до почти сатирических (“Идейный карьерист”). Книга о страшной пустоте жизни, если из жизни уходит любовь. И о вере, что настоящая любовь – “это всегда брань, борьба с силами тьмы”, борьба, преобразующая мир и в кризисные времена способная удержать жизнь на своих плечах.

“Мёд жизни” – это, прежде всего, материнская любовь. Это родной дом: “Дом! Какое же это счастье!.. Оно – как вода и воздух, как солнце и сон, как любовь и ласка. Настоящая любовь никогда не разрушит дом, никогда ни у кого ничего не отнимет” (“Вера Могучая”). Вот этот ракурс – взгляд на мир через призму материнской любви – в книге главный. И самый пронзительный, искренний рассказ “Утешение” – о материнском уходе, о том, как героиня (рассказ-исповедь, почти дневник написан от первого лица) переживает уход матери.

Вспоминается “На долгую память” Виктора Лихоносова, но линия сходства отстоит достаточно далеко и от сердцевины рассказа, и от стилистики всей книги. Лидия Сычёва – верный ученик русской классики, и то, что Владимир Сорокин (писатель абсолютно из другого литературного контекста) стилизовал, полагая отмирающим, Лидия Сычёва воспринимает как образец, вдыхая в создаваемое по классическому образцу произведение живое дыхание сегоднешнего дня.

В этой верности традиции есть несомненные плюсы, но есть и некоторые минусы: например, часть концовок в рассказах строится по одной и той же “классической модели” и оттого кажется вторичной. Но ряд рассказов – “В дождь”, “Щедрый стол”, “На скамейке”, “Гуси есть гуси”, “Невеста с приданым”, “Ещё и не жил” – показывает, что и в строгих рамках традиции можно создавать не отжившее, а живое. Традиционная проза – это ведь не просто языковой феномен, но и вопрос веры. В том числе – веры в литературу. И вот здесь – на первый взгляд незаметная на фоне боли о потери мамы, которая для автора “глубинная и, может быть, единственная связь с вечностью, со всем миром, со Вселенной, со всем счастьем и радостью” – болевая точка рассказа “Утешение”.

Мама, незаурядная умная женщина, бывшая “очень думающим человеком, рвущимся в тенётах беспросветного быта”, для Лидии Сычёвой (здесь не стоит отделять автора от исповедующейся героини) – почти святая: “Она и была, наверное, святой ещё при жизни. Для меня, во всяком случае. Сколько в ней было доброты, сочувствующей мне! Сколько неубываемого тщательного трудолюбия! По её способностям суждена была ей другая жизнь”. Живущая

крестьянским трудом женщина, одна из всего окружения, очень любила читать, трепетно вслушиваясь в “слово, так истончающее человека, делающего его таким ранимым, хрупким”. У её родни и соседей в цене совсем другие люди — “крепкие люди, построившие детям дома (или купившие в городах квартиры), люди с трудовым (хозяйство) или зарплатным достатком (на худой конец, с достатком воровским), люди с машинами, в дорогой, с базара, праздничной одежде”, “приветствуются и бой-бабы, умеющие и работать, и спеть-сплясать”. “Слово писателя, — горько замечает писательница, — тут не нужно. Оно даже странно”, “разве что маме моей нужно было”. Но мать уходит, уносит “мёд жизни” — тепло любви родного дома — и уходит вместе с ней её страстная любовь к литературе, которой эмпатически питалась вера в слово у её дочери: у дочери происходит внутренний надлом, когда ей, писательнице, начинается вслед за “крепкими людьми” или “бой-бабами” ненужной казаться литература.

Наоборот, герой рассказа “Из жизни Любарёва” — не очень удачливый, несмотря ни на что верящий в своё призвание писатель, — ощущает порой “прилив нежности” к “занятию, погубившему его жизнь, — нет, не надо ни денег, ни признания, ни славы”, думает он на пороге смерти. Можно вспомнить добром, признаётся Ваня из рассказа “Путь стрелы”, “лишь дни, озарённые вдохновением, “Божьей искрой”: Ваня ушёл от призвания, решив, что, видимо, слабо была натянута тетива лука его судьбы...

Возвращает веру в литературу автобиографической героине Лидии Сычёвой Православная Церковь и любовь к мужчине: “Я всё время искала любви. И готова была найти её в самом ничтожном предмете. И Бог, видя мою беспомощность, смилостивился” (“Вера Могучая”). Теперь сердцевина мира сосредоточена в мужских ладонях: “Я, как пчела-абхазянка, везде летала, вольная, чтобы принести нектар и сладость жизни тебе, тебе одному”, — это голос героини рассказа “Август в Абхазии”. Даже если проходит жизнь, любовь как вечное чувство остаётся: “Во дворе пахло виноградом, несобранные гроздья сохли на лозе, сухие листья устлали дворик, придавая ему сиротливый и брошенный вид. Лишь отважная, одинокая роза, символ любви, призывно цвела у порога...” (“Из жизни Любарёва”).

Со страниц книги встают разные характеры и типы. Народ (а Лидия Сычёва знает народную жизнь) — это не только “бой-бабы” и “крепкие мужики”, но и 19 миллионов тех, кто едва выживает: “Я ему говорю: “Папа, вы не вздумайте помирать! Мы на вашу инвалидную пенсию кормимся”. А он: “Ой, дочка, буду стараться, тянуться!” (“В гостях у золотого миллиарда”). Это обманутые одинокие женщины (“Гуси есть гуси”) и “лохи”-избиратели: “— В прошлые выборы (...) я уже сидела в комиссии. И у меня потом правая рука, которой фальшивые протоколы подписывала, чирьями пошла до плеча. (...) Обдумала я это дело со всех сторон и поняла: болезнь — знак свыше, Божье предупреждение. Больше в таких выборах не участвую” (“Про Дашу, Машу и демократию нашу”), это ставшие бандитами и погибшие парни, клонувшиеся на “романтику больших денег”: “Когда-то такие ребята поднимались первыми в атаку, сражаясь за родину, потом парни этого типа ехали на целину и на БАМ, переливая свои силы и здоровье в достижения социализма, но вот настало время, когда идеологи призвали их к новому служению — быть богатыми во что бы то ни стало, быть не хуже, чем люди с Дикого Запада...” (“Девочки, мальчики”)...

И всё-таки скрепляет все рассказы именно любовь. Потому что она скрепляет жизнь, не даёт ей рассыпаться, потерять смысл, если зов любви не услышан (“Её судьба”), или стать ничтожно-уродливой, как изуродовала авария лицо Лены, предавшей своего жениха, которого она действительно любила, но казавшегося ей слишком добрым и непрактичным по сравнению с другом — “хозяйственным”, из богатой семьи. Некий заманчивый практический ген порой пытается заявить о себе и начать доминировать даже в самой прозе Лидии Сычёвой, тонко смещая этические акценты, тогда она вынуждена вступать с ним в борьбу. Борьбу верой. В любовь. В литературу.

НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ

“О ВЕРЕ, ДОБЛЕСТИ И ВОЛЕ...”

Русская поэзия всегда несла в себе дыхание глубокой истории, воскрешая в своих поэтических строчках память о великих государственных событиях и великих гражданах нашего Отечества. А уж тех и других в историческом прошлом России хватает с избытком, при этом события и герои постоянно друг с другом пересекаются, о чём свидетельствует триптих известного московского поэта Андрея Шацкого “Лебеди Тютчева”, только что выпущенный в свет Санкт-Петербургским издательством “Любавич” при содействии Президента литературного фонда “Дорога жизни” Дмитрия Александровича Мизгулина, тоже, кстати сказать, известного современного поэта.

Эта небольшая по объёму книжечка Шацкого представляет читателям ёмкий триптих, посвящённый роду знаменитого поэта Фёдора Тютчева, и в частности – Захару Тютчеву, принимавшему участие в российском посольстве в Золотую Орду. Первая часть триптиха именно о том и повествует, как “князь Великий Дмитрий Иванович послал к нечестивому царю Мамаю избранного своего юношу, по имени Захарий Тютчев, испытанного разумом и смыслом”, и эта глава в триптихе так и называется – “Захарий Тютчев”. Фоном по сюжету триптиха проходят образы князей Димитрия Донского и Олега Рязанского, игумена Земли Русской Сергия Радонежского, а также всего русского народа, нашедшего в себе силы подняться на борьбу с жестокой ордой Мамаю. Призыв к этому восстанию и нёс с гордостью “Тютчев – из рода Тютчевых Захар”, без страха шедший за пределы родной Руси ради грядущей в будущем победы:

*...Неся на Куликово поле
Завет отцов из тьмы веков:
О вере, доблести и воле,
И одоленьи на врагов!*

*А в синеве, расправив крылья,
Сопровождая княжью рать,
Летело лебедей обилье –
Небесных витязей отряд!..*

По сути дела, глава “Захарий Тютчев” является в произведении Шацкого основной, поскольку несёт в себе информацию о победе русского народа в Мамаевом побоище, которая открыла для русичей путь в распахнувшейся перед ними истории. Эта победа и легла в фундамент веры русского народа в Господа Иисуса Христа, Богородицу Марии и всех святых, с той поры незримо

участвовавших во всех русских сражениях – от поля Куликова до Бородина и Курской дуги:

*Свершилось! На берёзах сергии
Осенний ветерок качал,
Когда полки с победой – Сергей
В воротах Кремника встречал.*

Две последующие главки триптиха Андрея Шацкого – “Лебеди Тютчева” и “Овстуг” – выводят его произведение далеко за пределы Мамаева побоища, унося ввысь вслед за летящими по небу лебедями и бессмертной судьбой самого Фёдора Ивановича Тютчева, прекрасный памятник которому встречает посетителей на входе в его имение на берегу речки Овстуженки. Место, где родился поэт и где прошло его детство, не может не трогать душу поклонников русской поэзии, так как эта земля, этот пруд и берёзы сохраняют в себе дыхание самого творца. Не случайно этот уголок России притягивает к себе тех, кто однажды впустил в своё сердце запоминающиеся стихи Тютчева:

*Задумчиво на памятник мессии
Глядим, не опуская строгих глаз.
Нам не прожить без Тютчевской России,
И ей, наверно, не прожить без нас.*

Обращение Андрея Шацкого к судьбе Фёдора Тютчева, а также представителям его рода наполняет его душу и, соответственно, стихи глубокими философскими мотивами, пробуждая в каждом читающем его стихи или посещающем его родимые места незатухающее чувство Родины. Русская поэзия – это не просто один из поэтических жанров литературы, а скорее – та чистая кровь, что течёт в наших собственных венах, возвышая нас над растилающимися вокруг полями и лесами России. И пока в нас продолжают пульсировать ритмы русских стихов, мы не забудем ни одного из наших поэтов, удерживающих в своих строчках великую и необъятную Родину.

Хочется верить, что маленькая книжечка стихов Андрея Шацкого обязательно донесёт до читателей огромную глубину русской поэзии, один из истоков которой продолжает пульсировать в имени Фёдора Ивановича Тютчева...